

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1982

2



1982



# НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Февраль, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В ДНИ ВИЗИТА В ФРГ: Евгений Григорьев. Высокая миссия мира; Владлен Кузнецов. Кто мы?	3
МУЖЕСТВО — Николай Флёров, М. Богословский, Владимир Нежданов, Иван Петрухин, Борис Репин, Н. Рудой, Игорь Селезнев, Игорь Тарасевич, Феликс Чуев, стихи	19
ЮРИЙ НАГИБИН — Терпение, рассказ	25
ВАДИМ РАБИНОВИЧ — Пять стихотворений	54
ВИТАУТАС БУБНИС — Час судьбы, роман. Перевел с литовского Виргилиус Чапайтис	56
НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ — Гонконг, роман. Окончание	129
<b>ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ</b>	
КСЕНИЯ НЕКРАСОВА — Стихи. Публикация и предисловие А. Рубинштейна	215
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
АЛЬФРЕД КОЦ — Бессменная вахта Александра Нерота	217
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
БОРИС ВАХТИН — Гибель Джонстауна	230
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ВАДИМ БАРАНОВ — Дело критики — выносить профессиональные суждения	248
АНАТОЛИЙ БОЧАРОВ — ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ — Это десятилетие, диалог	255
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
Литература и искусство	267
Владимир Туркин. Журнал и стихи. — Я. Гордин. Неизбежность прозрения. — А. Турков. Живая вода памяти. — Р. Юренев. Чудо братьев Васильевых.	
Политика и наука	277
П. Черкасов. Правда о фашизме. — К. Преображенский. На скамье подсудимых — милитаризм.	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: Антон Иванов.— Евгений Чернов. Этот высокий девятый этаж. Рассказы и повести. Евгений Чернов. День до обеда. Рас- сказы и повести. ✦ Т. Шеханова.— Виктор Гончаров. Летящий мальчик. Поэма. ✦ Н. Еремин.— Б. Я. Розен, Я. Б. Розен. Металл осо- бой ценности. ✦ И. Дрейцер.— Е. Н. Перцик. Город в Сибири (Проб- лемы, опыт, поиск решений)	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

---

## В ДНИ ВИЗИТА В ФРГ



ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ

### *Высокая миссия мира*

**Ж**изнь современного мира, дипломатическая хроника наших дней чрезвычайно насыщены разнообразными событиями. Большинство из них тонет в рутинном политическом круговороте. И только немногие прокладывают глубокую борозду в международных отношениях, ставят вехи в мировой политике, оказывают сильное воздействие на устроения миллионов людей.

Минувший год был в этом отношении отмечен двумя событиями, между которыми существует прямая внутренняя связь.

Начало 1981 года ознаменовалось историческим XXVI съездом КПСС, который выработал курс на устранение угрозы войны, на разоружение, разрядку и мирное сотрудничество государств с различным социальным строем.

А 22—25 ноября состоялся визит Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева в Федеративную Республику Германии. Он стал крупной политической акцией в практическом осуществлении советской Программы мира для 80-х годов. Выступления советского руководителя в Бонне получили общеевропейский и мировой отклик. Визит воспринят народами как большой и действенный вклад в дело обеспечения надежной перспективы мира в Европе и на всей планете.

Это была третья поездка Л. И. Брежнева в ФРГ. Она длилась всего четыре дня. Но столь короткий по времени визит аккумулировал в себе многое: и позитивный опыт прошлых советско-западногерманских встреч на высшем уровне, и все то новое, что произросло на ниве наших отношений за минувшее десятилетие, и перспективы на будущее. Нашла продолжение традиция плодотворных бесед, линия взаимодействия на благо наших народов. В то же время в нынешней сложной международной обстановке особенно важно, что визит привнес в пользу мира мощный заряд новых конструктивных советских идей и предложений. Они открывают перед народами реальную возможность избавить Европу от угрозы испепеляющего термоядерного пожара, обуздать гонку вооружений, обеспечить желанный прочный мир.

Площадь в центре Штутгарта. Бронзовый Шиллер. Дома старинной архитектуры, возрожденные из пепла минувшей войны. Там, за ними, шумел, сновал толпами, мчался автомобильными потоками большой современный город, насчитывающий около 600 тысяч жителей. А в микромире этого достопримечательного уголка с памятником великому поэту, уроженцу близлежащего Марбаха-на-Неккаре, царил благостное спокойствие. Автомобилям тут место только под площадью, где построен подземный гараж. Прохожих мало. Можно было без помех любоваться старинной декорацией площади,

мысленно представляя себе, как выглядела здесь дневная сцена в далекие шиллеровские времена.

И вдруг надпись на гранитном цоколе: «Долой НАТО!» Антивоинный призыв на таком пьедестале выглядит несколько неожиданно. Но если вдуматься, логика тут есть. Ведь Шиллер воспевал «желанный мир» в Европе, исстрадавшейся от «невыразимо горестной войны». Он восклицал:

На мрачном фоне ужасов былого  
Светлей казаться будет наше время,  
Грядущее надеждой процветет!

Что и говорить, актуально звучат эти строки из драматической поэмы «Валленштейн». Война всегда была бедствием для народа. И все-таки то, что может ожидать наш континент и человечество в случае ядерной катастрофы, не идет ни в какое сравнение с бедами Тридцатилетней и всех других прошлых войн.

Эта осознанная тревога напоминает сегодня о себе в ФРГ повсюду. Не только на тихой шиллеровской площади в Штутгарте — все западногерманские города пестрят лозунгами, требующими отвергнуть натовское «довооружение», предостеречь размещение нового американского ракетно-ядерного оружия средней дальности на земле страны. Каждый день то тут, то там массовые демонстрации. Идет сбор подписей под Крефельдским воззванием, требующим отказать от опасных планов превращения ФРГ в стартовую площадку американских ракет. Призыв поддержали уже более двух миллионов граждан.

Однажды, в конце 50-х годов, Западную Германию сильно всколыхнуло Движение против атомной смерти. Были массовые митинги, демонстрации. Они сыграли свою роль в борьбе против аденауэровских планов приобщения бундесвера к оружию массового уничтожения. В то время молодой социал-демократический депутат бундестага Гельмут Шмидт прогремел на всю страну страстной речью против атомного вооружения. Сейчас, как глава правительства, он защищает так называемое двойное решение НАТО, предусматривающее и возможность «довооружения». А такая позиция далеко не синхронна настроениям мировой общественности. Разница, однако, не только в этом. Такого поистине массового, активного антивоенного и антиракетного движения ФРГ в своей истории еще не знала. Оно необычно широкое по политическим и социальным признакам участников. Оно включает в себя сотни организаций. Оно пробуждает общественную мысль и действие. Оно вошло в жизнь, звучит в полный голос.

Мы оказались в Штутгарте вскоре после завершения советско-западногерманских переговоров. Нас пригласили на дискуссионный форум, организованный политическим клубом буржуазной свободно-демократической партии. Само проведение форума было одним из множества проявлений поистине необычайного прилива интереса к Стране Советов, ее внешнеполитическому курсу — прилива, порожденного пребыванием на Рейне высокого советского гостя.

И вот скромный школьный зал с бетонными стенами, сохранившими следы опалубки, в небольшом соседнем с Штутгартом городе Меглинген. Собрались люди разных профессий — от адвокатов, инженеров до рабочих — и разного возраста: от пенсионеров до безусых юнцов. Три с половиной часа длится разговор. И, кажется, не будет конца заинтересованным вопросам о всех аспектах состоявшегося визита. Кто бы ни брал слово — приветствует это событие, результаты политического диалога на Рейне. Многие хотят узнать подробности о том, как оценивал руководитель КПСС и Советского государства международное положение, соотношение сил между Востоком и Западом, особенно в Европе, как конкретно мыслит Советский Союз выход из того опасного положения, в которое завело европейский континент натовское решение о «довооружении».

Мнения, доводы в дискуссии далеко не всегда совпадают. Нередко просто расходятся. Но чувствуется, какое большое впечатление произвела речь Л. И. Брежнева в Бонне, с какой серьезностью стараются собравшиеся проникнуть в суть новых советских предложений, как заинтересованно отмечают они пользу и необходимость советско-западногерманского взаимодействия на поприще добрососедства и мира.

Когда мы прощались, подошли двое юношей. Обоим по восемнадцать лет. Оба кончают в этом году школу и оба активно участвуют в антивоенном движении. Мы хотели сказать, заговорил тот, который назвался Андреасом, что с большим интересом следили за советским визитом, считаем его хорошим делом. Кроме того, он помог развеять ряд предрассудков в отношении советской политики. А это очень важно сейчас, заключил он и произнес по-русски: «До свидания!»

Так уж получается в силу многих обстоятельств, что каждый советский визит на высшем уровне в ФРГ обретал непреходящее значение и для развития двусторонних отношений, и для перспектив европейского и всеобщего мира. Как в 70-х годах, так и теперь польза и необходимость продолжения такого диалога очевидны. Все три визита Л. И. Брежнева в ФРГ придавали советско-западногерманскому сотрудничеству в различных областях позитивные импульсы, нужное политическое ускорение, позволяли обобщать опыт межгосударственных связей, обсуждать кардинальные проблемы обеспечения мира, намечать основные направления в совместной работе на будущее.

ФРГ — государство, имеющее обширные международные, и в том числе союзнические, связи. На Рейне бывает много официальных посетителей. И чего греха таить, они нередко ведут там разговор прежде всего о вооружении, военных ассигнованиях, военной нативской подготовке и т. д.

Советские визиты носят прямо противоположный характер. Они всегда одухотворены только идеей мира, разрядки, добрососедства. И диалог идет только вокруг таких тем, сопровождается конструктивными советскими предложениями. Это придает таким встречам особое значение в мировой политике, делает созвучными с чаяниями народов. Отсюда всеобщее внимание, которое привлекают они к себе на планете (например, для освещения ноябрьского визита в Бонн съехались 1600 представителей средств массовой информации со всего мира!). Отсюда и то обстоятельство, что визиты эти занимают видное место в книге современной истории, становятся крупными событиями в борьбе за мир, надолго определяют важные направления международной дискуссии.

Разумеется, советско-западногерманские отношения строятся на основе принципов мирного сосуществования, как и связи нашей страны с любым другим капиталистическим государством. Однако их крупнейшее значение для дела европейской разрядки и мира неоспоримо. Да и достались отношения добрососедства между нашими странами с огромным трудом.

Позади тяжелое военное прошлое, стоившее таких невероятных жертв и бедствий; позади казавшиеся непроходимыми завалы аде-науэровской политики, десятилетия враждебности и «холодной войны». Чтобы преодолеть все это, потребовались большое мужество, реализм, напряженный поиск и труд. Прошлое служит предупреждением на будущее. Прежде всего в том, чтобы с территории ФРГ, как отмечал федеральный канцлер Г. Шмидт, никогда больше не была развязана новая война. И оно же напоминает о необходимости беречь достигнутое в советско-западногерманских отношениях, развивающихся под благотворным воздействием Московского договора 1970 года.

Историческое значение имел первый визит Леонида Ильича Брежнева в ФРГ, состоявшийся в мае 1973 года. Он закрепил совершенный в результате Московского договора поворот в отношениях между СССР и ФРГ в сторону добрососедства и сотрудничества.

«Скажу откровенно: советскому народу, а тем самым и его руководителям, было не так легко открыть эту новую страницу в наших отношениях,— отмечал тогда советский гость, обращаясь к западногерманским телезрителям.— Слишком живы еще у миллионов советских людей воспоминания о минувшей войне, о тяжких жертвах, о страшных разрушениях, которые принесла нам гитлеровская агрессия. Мы смогли перешагнуть через прошлое в отношениях с вашей страной потому, что мы не хотим его возврата».

Эта политическая воля нашла выражение в Совместном заявлении руководителей двух стран. Она была подкреплена рядом соглашений и договоренностей в экономической, культурной и других областях.

Помню приподнятое настроение, порой праздничную атмосферу, которые окружали тот первый визит. Однажды мы работали в корпункте «Правды», который находился неподалеку от дома, где жил тогдашний федеральный канцлер Вилли Брандт. Вдруг слышим множество взволнованных голосов, смех, поспешные шаги. Оказывается, это обитатели столичного района на горе Венусберг, узнав, что Леонид Ильич находится в доме канцлера, немедленно стали собираться у обоих въездов в резиденцию, горячо приветствуя высокого советского гостя. Небольшая деталь, но памятная, выразительная.

Да и повсюду в западногерманских краях подавляющее большинство людей — кто сознательно, а кто интуитивно — радовались тому, что Советский Союз протянул им руку добрососедства, что открылась перспектива нормальной, более спокойной жизни в Европе. Ведь под воздействием поворота в советско-западногерманских отношениях последовала нормализация отношений ФРГ с Польшей и Германской Демократической Республикой. Заключение четырехстороннего соглашения сняло остроту западноберлинской проблемы. В последующий период удалось убрать мрачную тень Мюнхена и урегулировать политические отношения между ФРГ и Чехословакией. Были установлены дипломатические связи Бонна и с другими европейскими социалистическими странами. Оба суверенных германских государства — ГДР и ФРГ — вступили в Организацию Объединенных Наций.

Все это означало признание послевоенных реальностей, создавало новую обстановку на европейском континенте. Во взаимосвязи с политикой мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества с социалистическими странами ФРГ как государство обретала новые возможности, в том числе способность играть более конструктивную роль в международных отношениях в целом. Процесс разрядки получил мощное ускорение. Европа вышла на прямую дорогу к Хельсинки.

В мае 1978 года состоялся второй визит Л. И. Брежнева в ФРГ, который вошел в советско-западногерманские отношения как еще одна историческая веха. В итоге переговоров были подписаны на высшем уровне документы большой важности. Это Совместная декларация, которая выражала решимость обеих сторон следовать курсом, определенным на Общевропейском совещании в Хельсинки. Документально закреплялось обоюдное понимание того, что мир является важной целью, на которую должны быть ориентированы политические действия обоих государств, как и усилия других стран. Декларация провозглашала намерение повышать качество и уровень советско-западногерманских отношений во всех областях. Этой цели

полностью отвечало Соглашение о развитии и углублении долгосрочного сотрудничества СССР и ФРГ в области экономики и промышленности. Оно рассчитано на четверть века.

Люди доброй воли приветствовали новый важный шаг вперед по пути разрядки и добрососедства. Однако ничто и никогда не давалось без усилий, без острой борьбы с недоброжелателями, противниками нового развития в Европе, которых хватало и хватает на Западе, да и в самой ФРГ.

«Мир станет действительно прочным тогда,— говорил Л. И. Брежнев на официальном обеде в замке Аугустусбург,— когда он превратится в главный ориентир и критерий политики всех государств, когда не страх перед соседом, а осознанное стремление честно сотрудничать друг с другом, договариваться без ущерба для чей-либо безопасности будет определять подход правительств к возникающим проблемам».

Жизнь подтвердила своевременность и дальновидность такого предупреждения, сделанного 4 мая 1978 года. Резкий поворот политики Соединенных Штатов Америки на конфронтацию с миром социализма, подхлестывание гонки вооружений, на погоню за военным превосходством подверг в конце 70-х— начале 80-х годов разрядку тяжелым испытаниям на прочность. Строительство здания разрядки затормозилось. Однако стены выдержали яростный напор холодных ветров.

70-е годы — десятилетие разрядки — не прошли даром. Преимущества мирного диалога, сотрудничества не поблекли в сознании народов. Разрядка показала, что такой путь реально возможен. Более того — категорически необходим. В этом смысле пример советско-западногерманского сотрудничества выходит за двусторонние рамки. Он ясно подтверждает, что государства с различным строем могут искать и находить взаимоприемлемые решения и ориентиры даже в самых сложных ситуациях, если они учитывают реальности и не ищут для себя односторонних выгод. Этот пример вновь и вновь показывает, как окупаются усилия, вкладываемые в достижение взаимопонимания. И третий советский визит на высшем уровне в ФРГ был естественным продолжением линии на разрядку, на взаимовыгодное сотрудничество, на конструктивное развитие отношений между странами.

Подсобный рабочий Тео Швайцер, человек лет под пятьдесят, в прошлом горняк, потерявший работу на шахте, нажимает кнопку — и огромный тяжелый стальной лист с грохотом катится на роликовом конвейере к прессу. Молодой машинист стана Рудольф Донде нажимает кнопку — и машина закругляет длинные края листа. Потом еще один пресс и еще один усилием в 60 тысяч тонн — и большая труба кажется на непосвященный взгляд готовой. Однако ее еще надо растянуть изнутри, придать абсолютно круглую форму, сварить по шву, подвергнуть механическому, гидравлическому, ультразвуковому, рентгеновскому и, наконец, просто визуальному контролю человеческого глазом, прежде чем она обретет товарное качество.

Мы в цехе холодного проката трубокатного завода фирмы «Маннесман», в самом центре индустриального Рура — Мюльгейме. Группе советских журналистов демонстрируют современную технику, технологию и качество. И этим здесь заслуженно гордятся. Разговор идет об особенностях стали, из которой делают трубы и которая должна обладать особой прочностью и вязкостью и содержать не более тысячной доли процента серы. Нам рассказывают и о том, как высокие требования, предъявляемые к такой продукции в условиях сибирских температур, повлияли на прогресс здешнего трубопроизводства.



Но наибольшее удовлетворение вызывает в Мюльгейме стабильное сотрудничество с Советским Союзом. Оно обеспечивает загрузку предприятия, работу коллективу. Вот уже многие годы почти половина продукции завода идет советскому заказчику. Вскоре будет отмечаться поставка восьмимиллионной тонны труб. В обмен, в рамках так называемой компенсационной сделки, ФРГ получает столь необходимый ей природный газ.

В канун советского визита на высшем уровне в Эссене был подписан новый крупнейший контракт «газ — трубы». Западногерманская печать назвала его сделкой века. Он предусматривает поставку труб для нового газопровода, который будет протянут из Сибири, и поставку в ряд западноевропейских стран дополнительных количеств советского природного газа, в том числе 10,5 миллиарда кубометров ежегодно для ФРГ. Понятно, сколь сложна организационная, техническая, финансовая и другие стороны такого предприятия. Однако сложнее всего оказались обстоятельства политического свойства.

Как ни странно, проект мирного и взаимовыгодного сотрудничества столкнулся с оппозицией Вашингтона, который вознамерился торпедировать его. Это делалось и путем нажима на западноевропейских союзников и с помощью посул. Буквально за день до подписания контракта в США предприняли последнюю отчаянную попытку. В западногерманскую печать была срочно подброшена и разрекламирована идея военного концерна «Дженерал дайнемикс» построить гигантские подводные лодки-танкеры и доставлять с их помощью в ФРГ сжиженный газ подо льдом Северного Ледовитого океана прямо с Аляски. Западногерманские деловые круги восприняли эту фантастику с вежливой улыбкой, а газеты ФРГ на следующий день писали: «Наконец-то многолетние переговоры завершены. Можно приступить теперь к реализации проекта «газ — трубы» Советского Союза и западноевропейских стран». Здравый смысл и интересы взаимной выгоды взяли верх.

Новый долгосрочный контракт — крупнейшее начинание в решении энергетической проблемы Европы. Вместе с другими проектами, которые согласованы или рассматриваются сейчас советской и западногерманской сторонами, он образует солидную основу для последовательного наращивания взаимовыгодных экономических связей вплоть до начала следующего века.

В хозяйственной области между нашими странами накоплен большой опыт, достигнуто многое. «Газ — трубы» — своеобразный символ поступательного взаимовыгодного сотрудничества. Но далеко не единственный. За последние десять лет советско-западногерманский товарооборот вырос в 10,5 раза. В выполнении советских заказов участвует примерно две тысячи западногерманских предприятий. И это немаловажный фактор для ФРГ, где все более дает себя знать проблема занятости (безработица этой зимой охватывает около полутора миллионов западногерманских трудящихся). По данным западногерманских профсоюзов, деловое сотрудничество с СССР позволяет сохранять около полумиллиона рабочих мест. Советско-западногерманские торговые, промышленные, научно-технические, культурные связи одновременно образуют материальную основу укрепления взаимного доверия.

Теперь, в итоге ноябрьского визита руководителя КПСС и Советского государства, развитию добрососедского мирного сотрудничества между СССР и ФРГ дан новый энергичный импульс. Этот процесс не только взаимовыгоден. Он существует и потому, что экономическое сотрудничество оказывает политическое воздействие на отношения между государствами, способствует международной стабильности и упрочению мира. Руководители СССР и ФРГ подтвердили, что оба государства будут и впредь следовать историческим

маршрутом, который проложен в двусторонних отношениях Московским договором, а в отношениях между всеми странами, участвовавшими в общеевропейском совещании,— хельсинкским Заключительным актом. И это весьма важно.

Любопытно, когда встречаешь в Бонне некоторых деятелей, бывших соратников Аденауэра, которые, что называется, до последнего патрона сражались против Московского договора, Заключительного акта Хельсинки, других соглашений, образующих договорную ткань разрядки в Европе. Теперь они на словах признают эти международные документы и вытекающие из них обязательства ФРГ. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Без этого ХДС/ХСС сейчас трудно было бы, даже невозможно подойти к западногерманским избирателям. И в общем хорошо, что основа советско-западногерманских отношений признается ныне в ФРГ всеми ведущими политическими силами.

И все-таки порой трудно подавить улыбку, когда какой-нибудь господин, поднимавший всегда руку против, начинает ныне поучать, как следует толковать, например, хельсинкский Заключительный акт и как, по его мнению, должно вести себя в свете этого документа то или иное социалистическое государство. Просто не веришь поначалу своим ушам, когда оппозиционный парламентарий начинает вдруг уверять, что у фракции ХДС/ХСС существует ныне чуть ли не полный «консенсус» в области внешней и оборонной политики с федеральным правительством. А потом подсовывает старые, чуть модернизированные представления и требования, давно потерпевшие банкротство.

В общем, битва проиграна, но кое-кто, по-видимому, считает, что сама война продолжается. Таков, по существу, подход значительной части реакционных кругов ко всему, что связано с нашей страной. Главная ставка недоброжелателей делается и делается на массивную пропаганду «советской военной угрозы». Тут неизменно выделяется пресса концерна Шпрингера. Несть числа небылицам, подтасовкам, домыслам, фальсификациям, которые пускаются в ход, чтобы доказать «советское превосходство», оправдать этим планы ракетно-ядерного «довооружения», посеять в душах людей сомнения, недоверие к нашей стране. Такой пропаганде реакционной прессы и некоторых политических кругов помогают соответствующие службы НАТО и Вашингтона, подбрасывая пресловутый «материал». Ее воздействие дает себя знать.

Но примечательно одно обстоятельство. Сторонники этого американского плана, одобренного НАТО, в общем-то находятся в обороне. У них нет достоверных аргументов. Хорошо известно, что в Европе существует относительное равновесие военных сил, в том числе в ядерной области. Советский Союз имеет 975 носителей оружия средней дальности, а страны НАТО — 986. Против фактов не пойдешь. Вот он, неоспоримый примерный паритет, который делает абсолютно беспочвенными всякие разговоры о необходимости натовского «довооружения». План этот чрезвычайно непопулярен. Насколько, что федеральный канцлер немедленно поспешил откренститься от приписанного ему американской прессой авторства идеи размещения новых ракетно-ядерных средств средней дальности в Западной Европе, и прежде всего 108 «Першингов-2» и 96 крылатых ракет на западногерманской территории.

Зачем, кому это надо? — спрашивают западные немцы. Впрочем, не только они. «Перед европейцами,— писала недавно мюнхенская «Зюддойче цайтунг»,— одновременно встают два вопроса. Если ограничена ядерная война мыслима и американцы готовы допустить ее, чтобы, как намекнул Рейган, спасти собственную шкуру, то разве может отвечать европейским интересам размещение дополнительного американского оружия средней дальности? Если же такая война

немыслима, поскольку ее нельзя ограничить, зачем тогда вообще нужны дополнительные ядерные средства средней дальности в Европе?» Тут все резонно, логично.

Известное интервью Л. И. Брежнева западногерманскому журналу «Шпигель», опубликованное накануне визита, его выступления и высказывания во время пребывания в Бонне помогли многим лучше разобраться в этих и других вопросах, волнующих миллионы людей. Мы часто слышали в этой связи от западногерманских собеседников благодарные отзывы.

Конечно, ноябрь, когда состоялся третий советский визит в ФРГ,— преддверие зимы, или, как порой говорят немцы, поздняя осень,— не лучшее время на Рейне. Первые визиты, проходившие оба раза в мае, совпали с буйным цветением весны. Осень стирает яркие краски «романтического Рейна», закрывает туманной пеленой окрестные горы, срывает листву резкими ветрами, хмурит лица людей. По-своему это как бы соответствует тревожному периоду, переживаемому сейчас народами Европы и всего мира.

Увы, у всех на виду Соединенные Штаты Америки раскручивают бессмысленную и опасную гонку вооружений. Полтора триллиона долларов брошено на гигантские программы развертывания стратегических и иных вооружений. Поставлено на конвейер производство варварского нейтронного оружия. В штабах Пентагона Европу рассматривают не иначе как театр военных действий, а политические и военные стратеги заигрывают с идеями «ограниченной» ядерной войны на нашем континенте. Вот откуда надвигается роковая угроза.

«Что бы нас ни разделяло, Европа — наш общий дом. Общность судеб связывала нас веками, связывает и сегодня,— с большой силой говорил Леонид Ильич в своей речи в Бонне.— Мы глубоко убеждены,— продолжал он,— что планы разместить в Западной Европе, и прежде всего на территории ФРГ, новое американское ракетно-ядерное оружие, нацеленное на СССР, создают для всего континента такую грозную опасность, какой еще никогда не было. Люди остро ощущают эту опасность и, конечно же, ждут, что будет сделано все для ее устранения».

Вот почему этот наиболее острый и животрепещущий вопрос был поставлен в центр переговоров в Бонне, поставлен Л. И. Брежневым со всей прямотой и определенностью.

Известно, что обе страны выступают за ограничение и сокращение ядерных вооружений в Европе. Однако в ходе переговоров стороны не нашли общего понимания того, как этого добиться практически. Подход Бонна к этому важнейшему вопросу в значительной степени скован натовскими представлениями и обязательствами. Западногерманская печать не раз отмечала, что именно на Рейне подсказали президенту Рейгану формулу так называемого нулевого решения, которая в натовском варианте бесстыдно предусматривает одностороннее разоружение Советского Союза при одновременном сохранении всего ядерного потенциала средней дальности, нацеленного на нашу страну. Тут нет ни равенства и одинаковой безопасности, ни тем более «нулевого решения». В ходе бесед федеральный канцлер отстаивал так называемое двойное решение НАТО, которое допускает возможность дополнительного размещения американского ядерного оружия средней дальности в Европе.

Однако и сложные вопросы обсуждались на переговорах в духе взаимного уважения, вполне откровенно. Никто не скрывал имеющиеся разногласия, не обходил острых углов. Но упор делался на то, что должно сблизить. И в этом отношении важнейшее значение имеют новые конструктивные предложения, выдвинутые Л. И. Брежневым в Бонне,— предложения, которые адресованы, разумеется, и другим странам, прежде всего Соединенным Штатам Америки, на-

шему партнеру по переговорам в Женеве о ядерном оружии средней дальности в Европе.

В чем же суть этих предложений?

Во-первых, существенно дополнено советское предложение о моратории на развертывание новых и модернизацию имеющихся ядерных средств средней дальности в Европе на период, пока ведутся переговоры по этим видам вооружений. Советская сторона была бы готова — при согласии другой стороны на такой мораторий — сокращать некоторую часть своих ядерных вооружений средней дальности в европейской части нашей страны в одностороннем порядке, двигаясь к тому низкому уровню, о котором можно будет условиться в итоге советско-американских переговоров.

Во-вторых, Советский Союз провозгласил намерение выступать в ходе женевских переговоров за радикальное сокращение обеими сторонами ядерных средств средней дальности. За сокращение не на десятки, а на сотни единиц! При этом, разумеется, необходимо учитывать как американские средства передового базирования, так и соответствующие ядерные средства Англии и Франции.

В-третьих, мы были бы готовы договориться и о полном отказе обеих сторон — Запада и Востока — от всех видов ядерного оружия средней дальности, нацеленных на объекты в Европе. Более того, Советский Союз вообще за то, чтобы в конечном итоге Европа была освобождена от любого ядерного оружия — будь то средней дальности или тактическая. Вот это было бы действительно «нулевое решение», справедливое для всех сторон!

Предложения, выдвинутые товарищем Л. И. Брежневым, — это программа свертывания ядерных вооружений в Европе. Программа четкая, ясная, реалистическая. Как показали многочисленные отклики, она отвечает чаяниям всех народов, требованиям широких масс, выступающих против угрозы ядерной войны.

Визит Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева в ФРГ, состоявшийся 22—25 ноября 1981 года, стал крупной вехой в советско-западногерманских отношениях, в борьбе против угрозы ядерной войны, за разрядку, добрососедство и мир. Проведена исключительно важная и полезная работа. Выдвинуты идеи и предложения, которые во многом определяют сейчас международную дискуссию и переговоры по проблемам войны и мира. Народы расценивают визит как событие огромной важности, ибо это была действительно миссия мира в самом полном и высоком ее понимании.

---

## ВЛАДЛЕН КУЗНЕЦОВ

### *Кто мы?*

**Д**есять с лишним лет не приходилось мне бывать в ФРГ. Тем разительнее предстают взору перемены. Бонн, этот «город-деревня», не показался мне таким уж сонным, как прежде. Едва ли можно было себе представить, что в нем забуллит 300-тысячный митинг обеспокоенных военной угрозой людей. Жизнь стала более комфортабельной, но и более дорогой: цены подскочили вдвое-втрое. Сколько же воды утекло с тех пор в Рейне...

Бонн, как и вся страна, ждал приезда Леонида Ильича Брежнева. Ждал и готовился к этому не как к чему-то экстраординарному, из ряда вон выходящему, сенсационному. Взаимные визиты столь высокого ранга стали практикой, обычным явлением, и это уже само по себе свидетельствует о развитости, высоком уровне отношений. О том, что эти отношения после заключения Московского договора в 1970 году сформировались, стали прочными, заняли подобающее им место в политике обоих государств.

Барометр общественных настроений и ожиданий определялся в канун визита, как я мог почувствовать из официальных бесед и неофициальных разговоров, тремя обстоятельствами. Первое: многие западные немцы благожелательно встретили мирное послание советского руководителя — именно так было расценено его интервью популярному гамбургскому еженедельнику «Шпигель» — и не без оснований рассчитывали услышать из уст представителя великой державы нечто ободряющее и обнадеживающее, что дало бы охваченной беспокойством Европе лучшую перспективу, чем превращение в театр военных действий, как это видится из вашингтонского далека. Второе: страна, где вызывают озабоченность нехватка энергоресурсов и избыток безработных, ждала заключения «сделки века» с Советским Союзом — «газ — трубы». Третье: по вечерам страна смотрела по телевизору многосерийную «Незабытую войну» (под таким названием шел здесь фильм «Великая Отечественная») и в честных сердцах оживало чувство неизгладимой вины за содеянное гитлеровским вермахтом в Советской стране.

— Я, как и многие мои соседи, не пропустил ни одной серии, — говорил давний мой друг коммунист-ветеран Тео Эккерц. — Фильм, знаю, урезали, снабдили «уточняющими» комментариями, чтобы ослабить его воздействие, пригласить то, что не по нутру вечно вчерашним — так называемым неисправимым милитаристам. И тем не менее фильм потрясает.

Мы сидели в уютном домике Тео Эккерца и его жены Лизелотты на окраине Кёльна и вспоминали о том, как трудно было переступить через прошлое, начать отношения с чистой страницы. Вспоминали, с каким удовлетворением был встречен прогрессивными немцами канцлер Вилли Брандт, вернувшийся из советской столицы с Московским договором в руках. Какие страсти кипели тогда вокруг этого документа! И как неистовствовали реакционеры, которым сначала не удалось сорвать подготовку договора, а потом провалить его ратификацию в бундестаге.

Московский договор стал поворотным пунктом в отношениях СССР — ФРГ, первой ласточкой, возвестившей весну разрядки. В 70-е годы были взломаны льды «холодной войны» на континенте. Казалось бы, в Европе начал воцаряться умеренный политический климат. Процесс европейской разрядки не проходил безоблачно. Не обошелся он без иллюзий и без разочарований из-за того, что этим иллюзиям не суждено было сбыться. А в конце десятилетия разрядки подули леденящие ветры из-за океана.

Как бы там ни было, Москва и Бонн, подписав Московский договор, вступили на новый путь. На путь партнерства.

Мне довелось встретиться с одним из тех, кто вместе с Вилли Брандтом участвовал в подготовке Московского договора, кого в Западной Германии причисляют к архитекторам новой «восточной политики» Бонна,— с Эгоном Баром, членом президиума СДПГ, депутатом бундестага, руководителем его подкомиссии по вопросам контроля над вооружением и разоружения.

— Оправдались ли ваши ожидания,— спросил я Эгона Бара,— видите ли вы подтверждение правильности курса, взятого десять с лишним лет назад? Читал, что вы испытали и некоторые разочарования...

— Я вижу подтверждение того, что было сделано, во всех фундаментальных пунктах. Мы сумели выделить приоритет сохранения и укрепления мира, а все остальное, в том числе и различия в идеологии, отодвинуть на второй план. Мы достигли на этом пути гораздо большего, чем считают иные скептики. Разочарован я лишь в одном: где-то в середине семидесятих годов разрядка потеряла темп. Мы не нашли необходимого продолжения того, что первоначально имели в виду. Или как это, знаете, бывает в шахматах: не нашли лучшего продолжения. А оно ведь было. Живо вспоминаю о том, как Вилли Брандт и я встречались в Ореанде с Леонидом Ильичом Брежневым. Мы высказали тогда общее убеждение в том, что политическая разрядка должна иметь свое продолжение в разрядке военной. Удалось нам тогда вместе найти, так сказать, и ключ к подходу к военной разрядке: примерное равенство. Но вот продвинуться дальше нам по ряду обстоятельств не удалось. Мы потеряли темп, потеряли время, и в этом мое разочарование.

Эгон Бар на секунду замолк, задумался, прежде чем сформулировать в присущей ему рассудительной манере конечный вывод:

— Мы должны идти дальше по пути, который признали и признаем правильным. Надо торопиться, постараться наверстать упущенное. Ведь у нас в запасе не столь уж много времени...

Что имел конкретно в виду Эгон Бар? Гальгенфрист (срок перед виселицей), как говорят немцы. А именно те неполных два года, которые остаются до размещения в Западной Европе, прежде всего в ФРГ, в соответствии с решением НАТО от 12 декабря 1979 года новых американских ядерных ракет. Это произойдет, если СССР и США не найдут к тому времени на переговорах в Женеве взаимоприемлемой договоренности по вопросу о ядерном оружии средней дальности.

В послевоенной Европе после признания нерушимости границ и урегулирования западноберлинской проблемы не было столь жгучего, столь спорного, столь большого вопроса, как этот. И он не может не сказываться на межгосударственных отношениях в Европе, в том числе и на советско-западногерманских. Он может в значительной степени осложнить, а в худшем случае и разрушить то, что начало многообещающе складываться в Европе,— партнерство по разрядке.

В ходе визита Л. И. Брежнева в Бонн был поднят важнейший как для развития советско-западногерманских отношений, так и вообще для отношений между государствами обеих систем вопрос: кто мы — партнеры по разрядке или же «потенциальные противники», как о том принято говорить в руководящих кругах НАТО?

В обращении к читателям вышедшей в ФРГ книги «За добрососедство и сотрудничество между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии» Леонид Ильич Брежнев сказал: «Главное, помоему, состоит в том, что мы сумели взглянуть друг на друга как на партнеров в решении многих дел в Европе. Сумели понять, что на укрепление мира и европейской безопасности не нужно жалеть труда». Как бы отвечая на это, канцлер Гельмут Шмидт заявил в приветственной речи, обращенной к высокому гостю: «Обеспечить мир се-

годня возможно, действуя лишь совместно друг с другом, но не против друг друга. В этом смысле я выступаю за широкое политическое партнерство в области безопасности».

Итак, партнеры. Обе стороны за то, чтобы быть таковыми. Если обратиться к экономическому сотрудничеству, то мы тут партнеры. И партнеры хорошие — надежные, испытанные, пользующиеся взаимным доверием.

Как раз в канун визита Л. И. Брежнева на берега Рейна было подписано соглашение об основных условиях поставок советского природного газа в ФРГ, о чем широко писали газеты. О большом интересе к экономическому сотрудничеству с Советским Союзом рассказывал мне и один из ведущих представителей западногерманского делового мира, президент Германского промышленно-торгового объединения Отто Вольф фон Америкенген. Фирма, которую он возглавляет, заключила первую сделку с нашей страной еще в 20-х годах. Об этой сделке есть упоминание в одном из писем Владимира Ильича Ленина.

...В конце 1920 года в Берлине появилось новое акционерное общество. «Дойч-руссише хандельс АГ» — значилось на фирменной вывеске. Фирма находилась в совместном владении известного промышленника из Кёльна Отто Вольфа и советского торгового представительства. Дела велись на паритетных началах, капитал фирмы составлял 350 миллионов марок. Отто Вольфу грозили: «Не торгуй с красными». Но тот был не из робкого десятка. Кёльнский фабрикант открыл вместе с советскими коллегами бюро в Ленинграде, Харькове, Ростове, Киеве, Одессе. Советским специалистам, разведывавшим запасы нефти в районе Баку, Отто Вольф предоставил оборудование на 18 миллионов золотых марок. В 1927 году он получил крупный заказ на поставку 51 тысячи бесшовных труб для нефтепровода Баку — Батуми. С 1928 по 1932 год, вплоть до прихода к власти фашистов, Отто Вольф поставил в Советский Союз различное оборудование на сумму в 200 миллионов марок.

Отто Вольф был пионером и убежденным сторонником развития экономических отношений с Советским Союзом. Его примеру следовали такие именитые предприниматели того времени, как Хуго Стиннес и Вальтер Ратенау, который был министром иностранных дел в первые годы Веймарской республики и в 1922 году погиб от руки германских националистов.

Трудно сказать, завещал ли отец сыну или тот пришел к этому, исходя из собственного опыта и убеждений, но сын Отто Вольфа — его, как и родителя, зовут Отто Вольф — делает ныне то же, что в 20-е годы его отец. Отто Вольф-младший не только сам активно развивал коммерческие связи с Советским Союзом и другими социалистическими странами, но и побуждал к этому других в самые тягостные годы «холодной войны».

Этого высокого, подтянутого, со спортивной фигурой человека можно причислить к энтузиастам торговли между Западом и Востоком. О больших возможностях делового сотрудничества между нашими странами он говорил мне еще до заключения Московского договора. Отто Вольф одним из первых среди представителей делового мира приветствовал этот договор, и в советской печати появилось первое интервью этого промышленника и коммерсанта.

— Теперь мы далеко ушли вперед, — сказал мне при новой встрече Отто Вольф. — Нам удалось создать климат доверия. У нас есть, если хотите, традиция сотрудничества и партнерства.

Традиция эта отражается в выразительных цифрах. В выполнении советских заказов участвует около двух тысяч западногерманских предприятий — крупных, средних и мелких. Советские заказы, по сведениям из профсоюзных источников, дают работу примерно полумиллиону рабочих...

Развиваются связи и в других областях жизни. Во время нашего пребывания в ФРГ в ее столице была развернута выставка портретов русских писателей работы немецких мастеров. Один из этих портретов, Льва Толстого, принадлежащий кисти крупного современного западногерманского художника Хорста Янсена, канцлер Гельмут Шмидт подарил Леониду Ильичу Брежневу в память о третьем его визите на берега Рейна.

В Баден-Бадене работала выставка «Русская живопись первой половины XIX века». Экспозиция была составлена рядом крупнейших советских музеев. Как раз в дни визита Л. И. Брежнева художественный музей в Дуйсбурге, где в 1980 году традиционный фестиваль искусств «Дуйсбургские акценты» проходил под девизом «Великие русские реалисты», подготовил для показа в Ленинграде и Москве выставку произведений немецких экспрессионистов начала века.

О большой тяге к Советскому Союзу и его культуре рассказывал нам в Дортмунде, крупнейшем центре индустриального Рура, его бургомистр Вилли Шпеенхоф. В мае 1973 года, когда Л. И. Брежнев впервые побывал в ФРГ, в Дортмунде проходили Дни Советского Союза с участием многих художественных коллективов и мастеров искусств.

Дортмунд особенно сильно пострадал в годы войны, был разрушен чуть ли не до основания. И, может быть, это было одной из причин, почему Дортмунд первым из западногерманских городов начал завязывать прямые связи с Советским Союзом. Его городом-попратимом стал Ростов-на-Дону. В этом году рурский город отметил свое 1100-летие вместе, как заметил бургомистр, с советскими друзьями, а в 1983 году собирается вновь провести Дни Советского Союза.

— Дортмундцы,— горячо говорил Вилли Шпеенхоф,— очень хотели бы видеть у себя Леонида Ильича. Люди очень довольны тем, что он наносит визит в нашу страну, приветствуют благоразумный диалог. Они помнят, что причина войны их городу. И они сказали самим себе: никогда больше! Мы стараемся делать все, чтобы добрая воля и сотрудничество побеждали. Чтобы более тесное знакомство друг с другом, с культурой наших стран сблизало нас, помогало находить общий язык, устранять недоверие, предрешенность.

Слушая бургомистра, человека увлеченного, искреннего, прямого в суждениях, я подумал вот о чем: там, где лучше знают советского человека, чаще общаются, разговаривают с ним, где эти контакты постоянны и интенсивны, к нему и лучше относятся. В Дортмунде температура добрососедства, симпатий, партнерства на несколько градусов выше, чем в иных местах...

За более тесные контакты — политические, деловые, научные, гуманитарные, культурные — высказался и заместитель председателя СДПГ Ганс-Юрген Вишнеvский.

— Я абсолютный приверженец личных контактов,— сказал Г.-Ю. Вишнеvский, принимая нас в бундестаге, в зале заседаний правления фракции СДПГ.— Очень важно иметь личные впечатления друг о друге. Непосредственное общение, когда видишь человека, его глаза, когда можешь почувствовать, искренен собеседник или нет, ничем заменить нельзя. Могу сослаться на опыт личных встреч с Леонидом Ильичом Брежневым. Из них я вынес убеждение, что он обаятельный и симпатичный человек, прямой и искренний. И беспредельно преданный идее мира. Думаю, успех советско-западногерманских встреч на высшем уровне определяется и тем, что руководители обеих стран достаточно хорошо узнали друг друга за эти десять с лишним лет. Цена пользы таких контактов, я считаю жизненно важной задачей организацию встречи Брежнева с Рональдом Рейганом. Как раз в тяжелые времена такие встречи необходимы.

Наш собеседник тепло вспоминал о посещении Москвы летом



1981 года, когда он вместе с Вилли Брандтом встречался с Л. И. Брежневым:

— Пользуясь случаем, мы с Вилли Брандтом пошли на выставку «Москва — Париж». Представьте себе мое воодушевление. И, признаюсь, зависть. Мы здесь, увы, еще не продвинулись столь далеко в организации контактов в сфере культуры. Мы неповоротливы, все еще никак не можем создать в Бонне картинную галерею, где можно было бы показывать произведения советского искусства, к которым у нас тут огромный интерес. Я ощущаю некоторую озабоченность в том, что наши люди все еще не имеют достаточной возможности знакомиться с важными явлениями в сфере советской культуры. Почему бы нам, — поделился своей идеей Г.-Ю. Вишневский, — не взяться, скажем, за создание общеевропейского онкологического центра? Как раз в СССР накоплен богатый опыт борьбы с раковыми заболеваниями. Это было бы в духе тех рекомендаций, которые были выдвинуты в Заключительном акте участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мне кажется, что практика многосторонних и двусторонних межгосударственных встреч должна принести эффективные результаты не только в сфере большой политики, но и в тех практических вопросах, которые больше всего волнуют «человека с улицы»...

Но вернемся к тому, с чего мы начали. К политике безопасности в Европе. Тут с нашим партнерством дело обстоит куда как сложнее. После заключения Московского договора наши страны внесли немалый вклад в упрочение позиций разрядки на европейской земле. Но сейчас между ними угрожает встать частокор ракет заокеанского происхождения — ядерное оружие средней дальности.

Мы сидели и пили кофе в тесной приемной у самого входа в боннском министерстве обороны. Я спросил у руководителя службы печати:

— Кто же мы — партнеры по разрядке или, быть может, потенциальные противники? Что думают на сей счет в бундесвере?

Наш собеседник чуть помедлил с ответом:

— Мы в бундесвере признаем примат политики. У нас нет образа врага...

Хорошо, коли так. Но против кого же собираются поставить американские ракеты на западногерманской земле?

Правда, представитель министерства обороны ФРГ о некоторых фактах предпочел умолчать. О том, что около полусотни казарм бундесвера носят имена «героев» обеих мировых войн. А ведь у этих «героев» было, мягко говоря, отчетливое представление об образе врага. Не упомянул наш собеседник и о том, что «белые книги» и другие издания министерства обороны самыми зловещими красками малюют «советскую военную угрозу». А летом минувшего года министерство вторглось даже в, казалось бы, неподведомственную ему сферу, обвинив СССР в том, что он-де финансирует и инструктирует участников западногерманского движения за мир...

— Я не согласен с тем, — говорил незадолго до визита Л. И. Брежнева канцлер Гельмут Шмидт, — чтобы называть Советский Союз и его союзников нашими врагами... Они не наши враги, они наши соседи. И я надеюсь, что в будущем они останутся нашими партнерами и это партнерство в перспективе будет развиваться.

Запомнились мне и слова министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, тоже сказанные незадолго до советско-западногерманской встречи на высшем уровне. Министр призывал не забывать о «необходимости учитывать особую чувствительность Советского Союза к вопросам, касающимся проблем своей безопасности, помня, какие большие жертвы он понес во время второй мировой войны». Да, забывать об этом не следует. Тем более там, откуда начался гитлеровский «дранг нах остен».

Умение считаться с интересами безопасности другой стороны, партнерство в укреплении общей безопасности — в этом, по всей видимости, и состоит суть политики разрядки. Все дело, однако, в том, каким содержанием наполнить правильный тезис, политический постулат. И если взглянуть на складывающуюся ситуацию с этой точки зрения, то какая же роль отводится американским ракетам «Першинг-2» и крылатым ракетам, которые собираются разместить на западногерманской земле? Преобладающее мнение на сей счет в Европе как социалистической, так и капиталистической таково: дислокация этого оружия не будет способствовать ни безопасности СССР, ни безопасности ФРГ. Ни безопасности какого-либо другого государства. Ни безопасности всей Европы.

«Мы считаем положение тревожным... — сказал Л. И. Брежнев, отвечая на приветственную речь канцлера Гельмута Шмидта, который до этого подтвердил, что если СССР и США до 1983 года не удастся прийти к соглашению, Западная Германия предоставит свою территорию для размещения американских ракет. — Мы глубоко убеждены, — продолжал советский руководитель, — что планы разместить в Западной Европе, и прежде всего на территории ФРГ, новое американское ракетно-ядерное оружие, нацеленное на СССР, создают для всего континента такую грозную опасность, какой еще никогда не было».

Только ли Советский Союз предупреждает об этой опасности? Западные немцы, сообщал из Бонна корреспондент английской радиостанции Би-би-си, «живут в прифронтовом государстве, которое американская концепция «ограниченной» ядерной войны ставит под непосредственный удар».

В прифронтовом государстве... Вашингтонский партнер превратил ФРГ в главную стартовую площадку для своих ракет. Или в ядерную колонию, как с горечью говорят многие западные немцы. На западногерманской земле находятся тысячи ядерных боеголовок, ракет, тысячи тонн боевых отравляющих веществ, а также бактериологическое оружие. «Территория ФРГ составляет 2,5 процента от территории Соединенных Штатов, но плотность ее населения в десять раз больше, — пишет «Шпигель». — Тем не менее в ФРГ уже сегодня складировано 50 процентов запасов ядерного оружия США».

Этот потенциал находится здесь не только для того, чтобы в случае войны подставить под удар Европу и попытаться вывести из-под него США. Есть и другой расчет. Французский адмирал Сангинетти в интервью американскому журналу «Ин зис таймс» напомнил об одном разговоре лет двадцать назад с американскими военными: «Американские офицеры изложили мне одну мысль, которая меня поразила. Они дружески сказали мне: «Видишь ли, мы думаем, что в один прекрасный день нам, американцам, придется предусмотреть разрушение Европы. Ибо вы, безусловно, наш самый главный конкурент в экономической области»...» Звучит чудовищно, цинично. Возможно, сейчас американские политики и не думают так, как говорили об этом военные лет двадцать назад. Возможно, они хотели бы добиться той же цели с помощью «торговых войн», которые Вашингтон непрерывно ведет против Западной Европы. Возможно. Но факт остается фактом: доктрина «ограниченной» ядерной войны в Европе несет в себе, как туча грозу, угрозу уничтожения континента. Несет Европе ту участь, о которой Л. И. Брежнев, выступая в Бонне, сказал с болью и горечью: «Словно это какая-то коробка с оловянными фигурками, которые не заслуживают лучшей участи, чем расплавиться в огне ядерных взрывов».

А разве не такая же горечь прозвучала в словах канцлера ФРГ, сказанных в канун визита Л. И. Брежнева в беседе с американскими журналистами? «Неужели действительно необходимо, чтобы мы подвергали себя, свои территории и свое население подобной опасности? — делился своими сомнениями Гельмут Шмидт. — Вопрос этот

становится особо болезненным... когда кто-то посторонний, претендующий на то, что он выражает позицию всего Североатлантического союза, выступает с высказываниями... которые, видимо, игнорируют риск, перекадываемый с точки зрения немецкого народа на его плечи и делающий его заложником ядерной войны».

Оловянные фигурки не властны над оружием, которое собираются разместить на их земле. Распоряжается им обладатель коробки. Он держит руку на ядерной кнопке. Он может в любой момент, когда ему только заблагорассудится, нажать на эту кнопку. По оценке американской телекомпании Эй-би-си, в Западной Германии «усиливается чувство, что ее судьба, как никогда в прошлом, находится не в немецких руках. В ФРГ больше ракет на квадратный метр территории, чем где-либо в другой стране, и ни одна из них не находится под контролем ФРГ». У западногерманских оловянных солдатиков, как и вообще у натовских, есть только одно «право» — умереть за других.

Знают ли обо всем этом в Бонне? Конечно, знают. И тем не менее то и дело повторяют, что ФРГ «целиком находится на стороне Соединенных Штатов». Но чем же отвечают в Вашингтоне на «тевтонскую верность» своего союзника? Платят ли той же монетой?

Дабы потрафить (ведь это ни к чему не обязывает и так несложно!) боннскому партнеру, весьма заинтересованному в развитии отношений с СССР, президент США накануне визита Л. И. Брежнева в ФРГ заявил в беседе с министром иностранных дел ФРГ, что приветствует визит советского руководителя и считает его полезным в рамках диалога между Востоком и Западом. И в то же самое время в печать просочились сведения о том, что американские лидеры, принимая в Вашингтоне руководителя западногерманского оппозиционного блока ХДС/ХСС Гельмута Коля, заявляли, что приветствовали бы приход этого блока к власти. В надежде, что тот лучше, чем нынешняя правящая коалиция, управится с развертыванием новых американских ядерных ракет на западногерманской земле. И больше выложит на эти цели марок налогоплательщиков...

Контраст между позициями СССР и США в главном вопросе войны и мира, конечно же, не должен был укрыться от глаз общественности ФРГ. Перед приездом в ФРГ Л. И. Брежнева боннская «Генераль-анцайгер» писала: «Визит великолепно подготовлен. Последние месяцы русские много говорят о контроле над вооружениями, о своем миролюбии, о возможности уберечь ФРГ от того, чтобы она превратилась в ядерную мишень при определенных условиях. И если СССР всячески обнадеживает наше движение в поддержку мира, то люди из новой американской администрации действуют в соответствии с иной концепцией. Один из читателей «Вашингтон пост» справедливо заметил в письме в редакцию этой газеты, что высказывания и замечания Р. Рейгана буквально толкают европейское движение сторонников мира на баррикады». И много ли найдется таких, кто не понимает, что лучше сейчас выйти на эти мирные баррикады, чем потом оказаться на передовой линии ядерной войны?

«...убережь ФРГ от того, чтобы она превратилась в ядерную мишень...» Да, Москва думает и об этом. Свою безопасность она не отделяет от безопасности других. Не в ее правилах ставить на карту судьбу тех, кого она считает партнерами по разрядке. И Советский Союз снова доказал это, когда его руководитель выдвинул 23 ноября в Бонне программу свертывания ядерных вооружений в Европе. Программу, которая в состоянии наилучшим образом обеспечить также кровные интересы и потребности безопасности ФРГ. Так понимают в СССР истинное партнерство.

---

---

# МУЖЕСТВО

★

НИКОЛАЙ ФЛЁРОВ

Севастополь

1

Кто день июльский тот забудет?!  
Приказ не выполнить нельзя.  
Ведет их горькая стезя,  
Но верят: город нашим будет!

Да, твердо верят: будет так!  
И видит, кажется, моряк  
В июльский день сорок второго —  
Сорок четвертый,  
Год атак,  
И жаркий май,  
И красный флаг,  
Что Севастополь поднял снова.

...Сапун-гора уж не видна.  
Поникших маков скрылось поле.  
За Херсонесом наша доля.  
Но мы придем, мы не в неволе.  
Встречай, волна,  
Омой, волна,  
Все слезы нашей горькой боли.

2

Мой милый город, детства колыбель!  
Тогда во мне твоя болела рана,  
Когда в ледовых вихрях океана  
Топить врага! —  
Одну мы знали цель.  
Топить врага! И штормовая опыль  
Открыла нам фашистской лодки тень.  
Мы в Заполярье —  
Шли за Севастополь,  
Мы потопили их в тот самый майский день.  
И пусть не я входил в свой город южный,  
Но это он меня обогревал,  
Когда я под метелью злой и вьюжной,  
О нем не забывая, воевал.  
И через тыщевёрстную завесу  
Плыл вскоре наш привет. как свет зари:  
На юг —

От Киркинеса к Херсонесу,  
На нора —  
От Крыма к Муста-Тунтури.

И год еще прошел.  
Вздыхались волны круто.  
Был ратный путь и славен и суров.  
Сошлись тогда походы всех флотов,  
Слились тогда победы всех фронтов  
В победный гром московского салюта...

...И если ты идешь, мой юный друг,  
Дом, город, цех и жизнь свою построив,  
Знай, это все пришло к тебе не вдруг —  
То продолжение пути героев.

### М. БОГОСЛОВСКИЙ

#### Танковый бой под Ермачками

Я был разбужен голосом соседа.  
Над бедною моею головой,  
Идя по баллистической кривой,  
Развертывалась бурная беседа —  
И в госпитальный благостный покой,  
В густой его лекарственный настой  
Врывался огнедышащий, живой,  
С кровавыми подробностями бой:

Сталь содрогалась. В речку падал мост.  
Шли «юнkersы» на брющем. Гремело  
От брустверов до самых дальних звезд —  
И доблесть в мире не имела меры...

Всей горькой обделенностью своей  
Я впитывал все краски и оттенки  
Горящих роц, задымленных полей  
И очертания немецких танков.

А я — что видел в восемнадцать лет?  
Большой войны случайные страницы?  
Труп танка? И обугленную птицу?  
И световые голоса ракет?

Великие сраженья обходили  
Мой полк и роту. Я готов был пасть.  
Но зверь войны во всей красе и силе  
Не разевал передо мною пасть.

Я спорщикам завидовал до слез,  
До остановки сердца. Но внезапно  
Настиг меня горелой стали запах,  
И тут всего меня пробрал мороз.

Я вспомнил. Переправу. И окоп.  
И гусеницы вздыбленного танка.  
И как кричал пронзительно и тонко  
«за Родину!» наш лейтенант Пеньков.

Меня как будто бы огрели плетью.  
Гордыню теща детскую свою,

Всей вздрогнувшей уразумел я плотью:  
Я был в том страшном танковом бою!

Я жил в его неповторимой гуще;  
Я полз, бежал и грунт долбил киркой —  
И запах, запах, запах, ноздри рвущий,  
Теперь до часа смертного со мной.

Вот так в горячке будней я и ты,  
Гигантских дел выхватывая крохи,  
Живем среди вседневной суеты  
До той — всегда внезапной — высоты,  
С которой крупно режутся черты  
Судьбы, отечества, эпохи.

## ВЛАДИМИР НЕЖДАНОВ

### АДЫГЕЙСКИЙ МОТИВ

*Нурбию Багову.*

Как только я песню героя	услышу —	О скалы наточит свой меч	огневой
великую битву над степью	увиджу:	и в туче его закалит	дождевой.
вон всадники-нарты промчались	вдали.	Я всадников вижу в горячем	бою
Им тучи навстречу — по краю	земли!	и тучи тяжелые в смертном	строю...
Их молния жалит. Им все	нипочем.	Но бой затихает — не слышно	имен,
Ее богатырь разрубает мечом.		глухой отголосок далеких	времен.

## ИВАН ПЕТРУХИН

\* \* \*

Буйная метелица, мети!..	Некогда согреться и поесть...
В зипуны упрятав снаряженье,	Вот она, условленная вешка,
Вышли дед и внук из окруженья.	Генерал, конечно, где-то здесь.
Пережив опасности в пути.	Видел я сердечные объятия,
Старого и малого, негодных	Радость — в их доверчивых
По призыву в армии служить,	глазах,
До КП, озябших и голодных,	Хоть неровня — как родные
Поручили мне сопроводить.	братья
Валит с ног пурга. Такая спешка,	Уравнялись мужеством в боях.

## БОРИС РЕПИН

\* \* \*

А мне опять воспоминанья	И с марша в бой
Всю ночь покоя не давали.	рванулись роты...
И будоражили сознание	И так до самого рассвета.
То снежный хруст,	А на заре меня убило...
то скрежет стали.	
И вдруг донесся голос друга	Я все боялся, чтобы это
В полночной суете пехоты.	Детей моих не разбудило.
И снова огненная вьюга,	

\* \* \*

Смерть страшна, но выше все же Для бойца авторитет. Льется кровь. Мороз по коже. Слабых нет и трусов нет.	Полтораста верных глаз. Набочок пилотку сдвину — Даже в пекло... Хоть сейчас.
Рота ценит. Только взглянет — И откуда сразу прыть! Ведь любой под пули встанет, Как тому и надо быть.	Все учтешь: и кто, и что ты, И зачем ты на войне. Под прицелом целой роты Смерть красна,
Смерть страшна, но смотрят в спину	а жизнь вдвойне.

### Бессмертное поле

Я к тебе с поклоном, поле боя, Ничего былого не забыв. Нас теперь осталось только двое. Остальных — как не было в живых.	Мы с тобой — свидетели и судьи. Ты бессмертно, полюшко, а я?.. Где-то у последнего привала, Перед расставаньем на краю, Все забуду с самого начала. Вспомню лишь, как ты меня спасало, Как тебя я прикрывал в бою.
Не судьба, родимое, а судьбы. Здесь они. И среди них моя.	

## Н. РУДОЙ

### Стихи военного врача

\* \* \*

Сколько состраданья и усердия,  
Сколько боли о чужой беде!  
В жизни он такого милосердия  
Встретить так и не сумел нигде.  
И едва она в избе окажется,  
Хоть разок меж койками мелькнет,  
Даже близко к полночи покажется,  
Что в оконце заглянул восход.  
Немец бил всю ночь из-за укрытия,  
Воздух гудом полнился тугим.  
Как ему хотелось заслонить ее  
Телом изувеченным своим.  
В беспощадном этом окружении,  
В ярости, в смятении, в крови  
Он узнал другое измерение  
Самоотверженья и любви.

### Палата номер пять

Мне не забыть палаты номер пять.  
Она одна такая в отделенье,  
Что не сулит надежды на спасенье.  
Сюда мы переводим — умирать.  
Как падающих в бездну удержать?  
Ведь на лету не нарастить им крылья!  
Я горько сознаю свое бессилье,  
Когда вхожу в палату номер пять.

Больной сумеет чутко угадать  
 В моих глазах сомнения и тревогу,  
 Я прячу их, лишь подойду к порогу,  
 Лишь подойду к палате номер пять.

На сцене мне не довелось играть,  
 Но, проходя больничным коридором,  
 Я чувствую, как становлюсь актером,  
 Лишь подойду к палате номер пять.

Усталость и неверье буду гнать,  
 Работать от рассвета до рассвета  
 Во имя удивительного света  
 Пустующей палаты номер пять.

### ИГОРЬ СЕЛЕЗНЕВ

#### Броня

Мы строим шли. Клонился день к закату.  
 У КПП знакомый часовой  
 оружием взмахнул над головой  
 и закричал: «Приехали к солдату!»  
 Я помнил, как письмо слепил солдат  
 и опустил — которое подряд, —  
 что все в порядке, приезжать не надо.  
 И мы в строю гадаем, почему  
 родители приехали к нему,  
 а он на репетиции парада.  
 Мы в часть вошли. К закату день клонился.  
 А сын щекою к танку прислонился,  
 команду слышит в лязге громовом.  
 ...Отсюда не был слышен танкодром.  
 Тогда оставят передачу сыну,  
 запомнят место, заведут машину,  
 печальась от оказии такой.  
 На Серпуховке или на Полянке  
 седьмого будут ждать с парада танки.  
 Им с башни танка сын махнет рукой!

### ИГОРЬ ТАРАСЕВИЧ

\* \* \*

За Байкал я с командою еду.  
 Путь морозом и солнцем объят.  
 По стальному, железному следу  
 доплатные конверты летят.

А солдаты поют, принимая  
 к жестким полкам своим  
 навсегда,  
 и глядят, удивляясь, какая  
 подо льдом голубая вода.

\* \* \*

Две недели командовал ротой,  
 выходного не видывал дня,  
 и тяжелая эта работа  
 наконец измотала меня.

Только рапорт писать не годится!  
 У великой беды на краю  
 пусть припомнят чужие столицы  
 безупречную службу мою.



Как и прежде, заверю по чести,  
голос мой командирски звенит.  
Я характером твердым известен  
и осанкой своей знаменит.

Так что, как говорят, не желаю  
никакому на свете врагу...  
Я порядки армейские знаю,  
да и память о них берегу.

## ФЕЛИКС ЧУЕВ

### Встреча девятого мая

Я идти стараюсь незаметно,  
слсно верю в чудо до конца,  
я иду по улице за кем-то,  
так напоминающим отца.

Столько лет, а все такая малость,  
кажется, короткий срок прошел.  
До сих пор бумага не слезалась  
та, где он писал карандашом.

А меня пилоты приглашают,  
за него приду сегодня я  
в зал, где слава честная, большая,  
где живые батины друзья.

Те голубоглазые герои,  
родина которыми права.  
Каждый орден — бывшее  
здоровье, по детским,  
«Рус-фанер», стосильные «У-два».

Падали таранами на танки,  
из лесу бросались на врагов  
и сгорали вы, как летчик Мамкин  
и как партизан Серебряков.

Благодарной памятью богаты  
легендарно-брянские леса,  
где с братвою дядьковской  
бригады  
подвиг благородства удался.

Так живите ж дольше, ветераны,  
новых юбилейных вам значков,  
пусть над вами дышит неустанно  
уваженье мирных облаков.

Молодые, солнечные деды —  
праздничность несломленной  
страны —  
пусть звенит медалями Победы  
музыка возвышенной весны,

по кудряшкам катится  
что прижались к белому виску  
в Сто двадцатом,  
Невского,  
гвардейском  
Инстенбургском  
авиаполку.

\* \* \*

Памяти М. В. Вогопьянова.

Бисерово озеро, Старая Купавна,  
проезжаю ль издали,  
прохожу ль тропой,  
было все хорошее, кажется, недавно,  
Бисерово озеро светит надо мной.

Озеро — как небо. Дышит полдень ясный,  
да уже не выйдет к шелесту воды  
Михаил Васильевич, человек прекрасный,  
с однозначным номером Золотой Звезды...

---

---

ЮРИЙ НАГИБИН



## ТЕРПЕНИЕ

Рассказ

**С**кворцовы давно собирались на остров Богояр; пути туда из Ленинграда комфортабельным трехпалубным туристским теплоходом вечер и ночь. На осмотр острова со всеми его пейзажными красотами и скромными достопримечательностями уходит от силы полдня, потом отдых, всевозможные развлечения, глубокий сон, как в детской колыбели, под легкую качку озерной волны — и ты дома. Даже странно, что, живя всю жизнь в Ленинграде, они не удосужились раньше предпринять столь приятное маленькое путешествие. Это много ближе, чем маящие Кижы, куда они собирались каждый год, так и не выбравшись, но значительно дальше Орешка — Шлиссельбурга, где они тоже не бывали, в чем признавались с наигранным стыдом.

В семье никто не отличался охотой к перемене мест, влечением к старине, отечественной истории и церковному зодчеству. Жизнь семьи была «вся в настоящем разлита». Дети учились, мать занималась наукой — микробиологией, отец весьма убедительно изображал директора Института по мирному использованию атомной энергии.

Брат с сестрой, внешне несхожие, он — высокий, тонкий, пельноволосый, она — маленькая, крепко сбитая брюнетка, полностью совпадали и в своих счастливых свойствах и в молодых пороках. Оба числились отличными студентами, английский давался им без труда, что обеспечивалось редкой механической памятью и необремененностью сознания — они стряхивали с себя обузу практически ненужных знаний, как собаки воду после купания; душевная и умственная лень подкреплялась в них страстью к развлечениям и холодной прохладой ко всем проявлениям человеческого энтузиазма, пафоса и просто серьезности.

Брат с сестрой все делали с улыбкой, родители улыбались редко: с серьезным видом уходили на работу, с серьезным видом возвращались, серьезно, хотя и не часто, встречались с друзьями, серьезно отдыхали: всегда в одной и той же Пицунде — дальние заплывы, подводная охота, теннис, шашлыки на костре, кино, долгий, за полночь, преферанс. Считалось, что все это они любят, так же как и своих детей и друг друга (у дочери, правда, было особое мнение на этот счет). Брат с сестрой не любили никого, кроме самих себя, но настолько чувствовали и понимали друг друга через собственный эгоизм, приверженность к удовольствиям и потребительское презрение к окружающим, что это создавало между ними доверительную близость. К родителям они относились настороженно, поскольку нуждались в них, но корыстное чувство к отцу смягчалось снисходительно-

стью, мать они почти уважали за стойкую отчужденность, объяснить которую не умели да и не пытались — мать им не мешала.

Скворцова трогало и умиляло, что в лицах и молодых, упругих телах детей соединялись, хоть и по-разному, материнское и отцовское начала. Удлиненное сухое сильное тело, которое он передал сыну, обрело у того мягкую материнскую пластику, а на тонких отцовых губах вдруг всплывала невесть к чему относящаяся далекая потерянная материнская улыбка; дочь, будь она повыше и поплотнее, являла бы точную копию матери в ее восемнадцать, но острый, пыливый взгляд из-под очень длинных тонких ресниц был отцов, и это единственное сходство оказалось доминантой ее внешности. Скворцов видел: дети — хищники, что обеспечивало им жизнестойкость, и это его радовало не меньше, чем «документально» утвержденная в них несомненность четвертьвекового союза — время не остудило страстной любви Скворцова к жене.

Скворцову стоило немало труда устроить эту семейную поездку, о которой он давно мечтал, — ему не хватало слишком рано эмансипировавшихся детей. И брату и сестре было безразлично, куда ехать — на север, юг, восток или запад, не волновало их и конечное место назначения: море, горы, река, озеро, остров, город, дачный поселок, — но требовалась подходящая, настроенная на их волну компания, хорошие диски или записи, много вина, понимание с первого взгляда и возможность это понимание реализовать. Они ни за что не согласились бы на семейный компот, если б им не было обещано по отдельной каюте, если б теплоходный бар с джазом уже не получил одобрения знатоков, если б родители не предоставили им полную свободу, в том числе от экскурсии по острову, где смотреть, как и повсюду, совершенно нечего. Взрослые люди просто отстраивают свой обветшалый мир — обычная борьба за существование — перед теми, кто стонит их с арены, и потому усиленно притворяются, будто до сих пор ценят скудные радости своей аскетической молодости.

Паша и Таня Скворцовы справедливо считали, что им повезло с предками — могло быть куда хуже; каждое покушение на их время щедро оплачивалось деньгами и подарками, незамедлительным исполнением самых сложных просьб. Паша являлся собственником однокомнатной кооперативной квартиры с лоджией и «Жигулей»; Таня знала, что в недалеком будущем ее ждут те же блага, но, полагаясь на собственные силы, рассчитывала достичь большего посредством раннего, тщательно продуманного брака. Она нравилась и сверстникам, и зрелым мужчинам, и старикам, что озадачивало ее брата, вовсе не ощущавшего ее притягательности — обычная смазливая девчонка, каких тринадцать на дюжину. «Неужели ты сам не понимаешь, почему ко мне все липнут?» — однажды спросила Таня, раздраженная слепотой самого близкого человека. «Честно говоря, нет». «А во мне есть ма-ми-но», — произнесла она, таинственно понизив голос. «Ну и что с того?» — искренне удивился брат. В тугом, энергичном, очень современном лице сестры промелькивало сходство с уже поплывшими чертами матери, но сходство это было зыбким, непрочным, к тому же он не чувствовал очарования матери, синего чулка, зануды, безразличной к блеску сына, а этого Паша не выносил. «В матери есть не что, — важно, свысока сказала Таня. — Поэтому отец так помешан на ней. И во мне есть не что, и не видит этого только последний дурак». Паша возмутился и дал сестре подзатыльник. Они подрались — с большим ожесточением, причем обе стороны понесли чувствительные потери. Паша не отличался великодушием и расквасил сестре нос. Помирились они перед самой поездкой на Бояр.

Уже на пароходе Паша вспомнил о недавнем разговоре, оказывается, кое-что его заинтересовало. Не слишком... Слишком не надо

ничем интересоваться, а то набьешь мозоли на мозги. Но теплоход плыл мимо низких и скучных невских берегов, бар был еще закрыт, а сестра все равно торчала у него в каюте, и Паша вернулся к прерванному побоищем разговору.

— Ты считаешь мать красивой?

— Если хочешь знать, в молодости она была даже красивей меня,— заявила Таня, и у брата опять зачесались руки.— Она зачем-то уничтожила все свои довоенные карточки, но у отца в бумажнике есть крошечное фото, вырезанное из группового снимка. Какое у нее лицо!.. Нет, я, конечно, пас перед матерью,— охваченная внезапным смирением, сказала Таня.— Зато у меня есть характер! — Смирение отступило перед новым напором самодовольства.— А маман этим не блещет.

— Во зазналась! — восхитился брат.— Ты начинаешь мне нравиться.

— А ты мне — нет. Терпеть не могу желторотых.

Паша заводился с пол-оборота, но в поклонении сестры был уверен. К тому же сейчас его занимало другое.

— По-твоему, мать бесхарактерная?

— Конечно! Она не любит отца, а живет с ним и даже не изменяет.

— А ты почему знаешь?

— Мы как-никак соседки...

— Ну ты сильна!.. А ее заграничные поездки? Думаешь, за красивые глаза?

— Болван!.. Мать — крупный ученый. Другие нахватили должностей и премий, но если требуется наука, посылают мать...— Она недоговорила.— Не знаю... Возможно, у матери есть характер... или был когда-то, но она от него отказалась. Ей так проще. Во всяком случае, дома. А на работе...— Таня пожала плечами.— Она заставила себя уважать.

— А я не верю, что мать — настоящий ученый. Погасшие люди бесплодны.

— Видать, ты сильно мучаешься, что мать на тебя плевать хотела!

— Касса-то у отца,— рассудительно заметил Паша.— Остальное меня мало волнует. Тем более что отец насюсюкался надо мной за двоих. Но ты тоже зря разыгрываешь из себя маменькину дочку.

— А я и не разыгрываю... Но тебя мать просто не видит, а меня...— Она заколебалась и вдруг сказала искренне: — То ли жалеет, то ли хочет полюбить...

— Да не может! Все это маразм. Эскимосы оставляют престарелых родителей в чумах без харчей и огня — вот правильная постановка вопроса.

— Чего ты злишься?.. Наши никому не мешают. У тебя какой-то Эдипов комплекс навыворот.

— Ладно!..— Теперь он всерьез завелся.— Ты мне надоела. И пора одеваться! — Резким движением он спустил тренировочные брюки.

— А то я тебя не видела! — презрительно уронила сестра, но все же вышла из каюты.

Они помирились в баре возле стойки, где по обыкновению изображали нежную парочку, чтобы спокойно, без помех отыскать себе что-нибудь подходящее.

Слухи о теплоходе в целом и о баре в частности не были преувеличены, все соответствовало высшим современным требованиям.

— Только не нажирайся сразу,— попросила сестра.— Мне здесь нравится и охота продержаться до конца.

— Кого-нибудь подцепишь и продержишься. А меня оставь в покое! — резко сказал Паша, наметанным глазом обводя быстро заполнившееся помещение...

...Меж тем их родители, поужинав в ресторане, вернулись в каюту-люкс и сейчас пытались решить, что делать дальше. По местному радио была объявлена обширная программа развлечений: в кинозале — новый фильм, в концертном — литературная викторина, в нижнем салоне — телепередача из Останкина, в верхнем — шахматный турнир. Все, кроме шахмат, представлялось соблазнительным, и Алексей Петрович Скворцов прикидывал вслух сравнительные достоинства каждого мероприятия, ероша волосы, которые как-то сами аккумулятно ложились седыми волнами на маленькой аристократической голове, когда заметил, что Анна выпала из общения, забыла о его существовании. Над Невой повис плотный туман, растворявший в себе редкие береговые огни и свет, исходяемый теплоходом, да она и не пыталась что-либо увидеть в желтовато-неопрятной мути. Это лишь казалось, будто взгляд ее устремлен на что-то внешнее, нет, она всматривалась в себя, в свое прошлое, несбывшееся, обладавшее над ней магической властью. Если б Скворцов знал, что это останется у нее навсегда, он бы... все равно женился на ней, сознательно принося ту муку, которую нес вот уже четверть века. Страшнее и безысходнее коржило его в юности, когда она любила его друга, единственного друга, почти брата, друга, не вернувшегося с войны и тем открывшего ему путь. Нет, не просто открывшего, а сделавшего куда больше: он получил Анну, потому что от него пахло Пашкой; они и на войне были неразлучны до той последней минуты, когда приходится сделать выбор, поставив жизнь на карту, — ему повезло, а Пашка погиб. Была в Пашке при всех его достоинствах какая-то слабина, обреченность. Скворцов рано угадал это в Пашке, казавшемся всем другим — победителем, прирожденным лидером, юным вождем Оцеолой. Наверное, потому Скворцов не отступился от Анны при всей очевидности своего поражения, ибо чувствовал Пашкину незащищенность. Пашка был уверен, что друг зачехлил оружие, так поступил бы он сам в подобных обстоятельствах, ибо это диктовалось его оскорбительной для живых, нормальных, грешных и притом неплохих людей старомодной этикой. Свою неоправданную, сумасшедшую, фанатичную надежду, что верх останется все-таки за ним, Скворцов даже в наилучшие минуты не думал подкрепить хоть малым предательством друга; нечистота (в свете допотопной Пашкиной морали) была в том, что он ожидал его отступа, сбоя, чем непременно воспользовался бы. А Пашка должен был рано или поздно споткнуться: ветряные мельницы нередко представлялись ему великанами, а носители действительной, хотя и тайной силы — карликами. Скворцов ждал и надеялся. Даже когда началась война, когда они уходили добровольцами на эту войну и Анна не могла найти для него хоть порошинки участия, все, все отдав Пашке, Скворцов не отказался от надежды. Они могли оба погибнуть, это было более чем вероятно, но если одному суждено вернуться, то им окажется Скворцов, такие, как Пашка, с войны не приходят. А Скворцов пришел-таки, вернее, притащился, хотя был в полном здравии, но плен и прочие мытарства надолго отсрочили его возвращение — весьма непарадное — в Ленинград. К этому времени Анна уже поняла, что Пашки нет в живых, хотя похоронка не приходила, и он числился пропавшим без вести. Анна искала его на фронтах — пошла санитарной дружинницей, — позже по госпиталям, инвалидным домам, давала объявления в газетах и по радио — тщетно. Пашкины родители и сестра погибли в блокаду, другой родни не было, немногие уцелевшие приятели безнадежно разводили руками. Да Анна и сама все знала...

Когда же неожиданно-негаданно вернулся Скворцов, Анна так ему обрадовалась, что он, истосковавшись, измучившись, изболев сердцем, принял эту тоску по всему, чем была для нее юность, чуть ли не за любовь. Он признавал искусственность этого чувства и все-таки обманывал себя. Анна с напором, какого он в ней не подозревал, стала втягивать его в жизнь. Сама она уже много успела: защитила кандидатскую диссертацию, которую издали книгой, готовила докторскую. Скворцов долго находился в положении догоняющего, что никак не ущемляло его самолюбия — он слишком любил Анну, чтобы вести с ней какие-то счеты. Анна согласилась стать его женой, и, пока он не окончил институт, они жили на ее зарплату. Вскоре родился сын, названный в честь погибшего друга Павлом, Пашкой. Когда же Скворцов сравнялся с женой в научных степенях, а по заработку обошел, то ощутил вместо законного удовлетворения легкую утрату: для него было что-то щемяще трогательное и волнующее в ее домашнем приоритете.

Скворцов считал себя счастливейшим человеком на свете: его пыл к жене с годами не остывал, он любил своих детей, неуклонно шел вверх по служебной лестнице. Сколько выпало ему на долю горького, мучительного, страшного, унижительного, а верх остался за ним. В юности он находился в Пашкиной тени, хотя не уступал тому ни умом, ни характером, ни даже физической силой. Когда они шутили и ожесточенно боролись, Пашка дожимал сухощавого, юркого противника только за счет большего веса. Скворцов был остроумней, находчивей Пашки, но где бы они ни появлялись, люди сразу узнавали ведущего. Хорош был Пашка особенно на коктейльском пляже: бронзовый, синеглазый, темноволосый, с мускулатурой микеланджеловского Давида и спокойно-легким дыханием доброго и бесстрашного человека. Пашка царил в любой компании, что не мешало многим считать его недалеким. А был Пашка умен и проницателен, но последним качеством редко пользовался, щадя, жалея несовершенство окружающих. Скворцов понимал это с легкой завистью, ибо такого не мог себе позволить; Анна же понимала с ликующим восторгом. Она была не просто влюблена в Пашку, он был ее богом. И она не могла забыть его, помнила беспощадно цепким женским чувством, хотя они не знали физической близости.

А что такое эта пресловутая близость? Они прощались в Коктебеле, где их застало известие о войне. В тот вечер Пашка и Анна ушли вдвоем в Сердоликовую бухту, откуда вернулись под утро. Скворцов знал, как беззаветно любила Анна его друга. И он ревновал погибшего друга к своей жене, от которой имел двоих детей, но которую так и не сумел разбудить. Однажды в злой час она сказала, что Пашка, а не он сделал ее женщиной. Он услышал в ее словах лишь наивную попытку унижить его, причинить боль. И когда эта бессмыслица вновь всплывала, он не придавал ей никакого значения, замороженный бедной реальностью физиологии. И лишь недавно ему стукнуло, что Анна не изощрялась в злых выдумках, а говорила о чем-то, действительно постигшем ее в ночной Сердоликовой бухте. Пашка проник ей в кровь, отравив ее собой, сделав нечувствительной к другим мужчинам. Скворцов знал, как поэтично и отвлеченно помнят люди о своей первой чистой юношеской любви. Анна помнила иначе — омертвением женского естества, совершенно здорового, щедро способного к деторождению: помимо двоих детей, было еще несколько аборт, сделанных ею вопреки его чуть ли не слезным уговорам — ему до безумия хотелось, чтобы она рожала от него. Лишь раз, очень давно, осмелился он заговорить о ее холодности.

— Много ты понимаешь! — почти с ненавистью обрезала она.

Это прозвучало презрительно и с такой злостью, какой он в ней не подозревал.

И тогда Скворцов понял, что не успокоится, пока не причинит ей ответной боли. Он был терпелив и долго ждал своего часа, но в конце концов подвел ее к тому вопросу, которого она почему-то ни разу не задала: как погиб Павел? Скворцов отвечал осторожно, взвешивая каждое слово. Их оставили вдвоем в покинутом немецком дзоте на развилке дорог. Приказ был: продержаться до подхода наших. Они и держались, хорошо держались... А потом настала тишина, о них словно забыли — и свои и чужие... Деятельная натура Пашки не выдержала. Он пошел искать наших, Скворцов остался. Видимо, Пашка нарвался на тех немцев, которые после забросали дзот гранатами и взяли в плен контуженного Скворцова. «Зря он не остался», — только и сказала Анна. «Он хотел как лучше, — мягко произнес Скворцов. — А может, просто не хватило терпения». «Странно! Мне казалось, это его главное качество». — «Ты не была с ним на войне». — «Но я была с ним в Сердоликовой бухте». Таинственная Сердоликовая бухта, где Пашкино терпение сделало из нее женщину. Чушь какая-то!.. Она продолжала с сухим смешком: «Конечно, куда ему до тебя! Ты, мой терпеливый герой, пересидел Пашку во всех смыслах». Скворцов пожалел, что затеял этот разговор, силы были неравны, любовь бессильна перед равнодушием. Он спасся в обиду — старый безошибочный ход. Анна умела причинять боль близким, но тут же начинала жалеть обиженного, каяться, и в эти минуты из нее можно было веревки вить. Пашкина черта — и тот сгоряча мог ляпнуть черт-те что, а потом ластился котенком. Горячие люди отходчивы. Скворцов не горячился. У него была железная выдержка, умение дожидаться своего часа, и тогда он шел до конца. И еще — он безошибочно отличал необходимость от мнимых возможностей, которыми так часто обольщаются слишком самолюбивые и обидчивые люди. Конечно, у него в жилах текла кровь, не водица, и он совершал промашки, но не упорствовал в них. В свое время он сделал несколько добросовестных и несуетливых попыток проверить, насколько может освободиться от Анны, хотя бы ослабить путы, но оказалось, что с другими женщинами он испытывает вначале скуку, потом отвращение, и смирился со своим пленом. Но коли так, надо получать от нее максимум радости, не претендуя на то, чтобы ей так же радостно было с ним. В конце концов, это ее личное дело.

Скворцов приспособился и к этому ее состоянию. Не терпел он лишь тех ее угрюмых выпадов из действительности, которые в последнее время случались все чаще; похоже, что этим отмечено и начало их путешествия, обещавшего быть столь приятным. Надо принимать срочные меры, иначе все пойдет прахом. Лучший способ: озадачить ее, заставить изворачиваться, лгать или оправдываться.

— Ты думаешь о Пашке? — спросил он с нарочитой прямотой.

— Я думала о том, — сказала она, ничуть не удивленная диковатым вопросом, — что явись сейчас Пашка, нам не о чем было бы говорить. «Ты замужем за Алешкой?.. Дети есть?.. Ты кем работаешь?.. А Скворцов?..» Ну, еще что-нибудь о квартире, зарплате. Те же вопросы задала бы ему я. А дальше что?..

Скворцов промолчал. Он не ждал такого ответа, полагая, что она сама не может определить образ смутного томления, насылаемого придвинувшейся старостью. Грубая конкретность ее мыслей сбила его с толку. Они впервые отправились в маленькое путешествие всей семьей, у них прекрасная каюта-люкс, издали доносится музыка, их не настигнет здесь ни телефонный звонок, ни внезапный наскок доброго знакомого, наконец-то можно расслабиться, перевести дух после трудной недели, сплотиться против холодного и всегда опасного мира, а у нее в мозгу этот давно истлевший мертвец.

— Любопытно, — продолжала Анна с той же неумной доверительностью, — когда расстаются, даже на короткий срок, люди, все

время общающиеся друг с другом, они переполнены новостями и соображениями. Когда проходят годы и по давню десятилетия, даже самым близким нечего сказать друг другу. Мы сцеплены чепухой, повседневностью, бытовыми мелочами, сдуло эту пену — и все, пустыня...

— Наверное, ты права... — протянул Скворцов и вдруг переиграл всю игру: — Но я имел в виду другого Пашку — нашего сына.

— А-а!.. — Не было и тени замешательства, хотя она принадлежала к людям, остро ощущающим собственные промахи, и Скворцова кольнуло: уж не разгадала ли она его уловку? — А чего о нем думать? С ним все в порядке.

— Ты так считаешь?

— Дитя своего времени. Перебесится — будет, как ты.

— Что общего? Разве я бесился?

— Нет?... А при чем тут ты? — В голосе прозвучало раздражение.

— Мы так совсем запутаемся. Речь шла о нашем сыне. Ты его не любишь.

— Я смертельно боялась за него, пока он был маленький. Потом все меньше и меньше. А сейчас успокоилась. Он меня не интересуется.

— Это жестоко!

— Твое любимое выражение. Неужели ты так нежен и уязвим? Мне кажется, что и ты и твой безумствующий сынок сделаны из весьма прочного материала.

— Я никогда не выдавал себя за рохлю. Но жизнь обошлась со мной не лучшим образом. Тебе это отлично известно. И мне хочется защитить нашего мальчика...

— Пойди и забери его из бара. Чего ты от меня хочешь? Мне не справиться со здоровенным оболтусом. И вообще он творение твоих рук.

— А дочь?

— Что дочь? — Анна хотела вывести его из себя, но он не поддавался.

— Чьих рук творение?

— Ты думаешь, моих?... Я ее совсем не знаю, эту девочку.

— Полезно менять обстановку, — заметил Скворцов. — Выясняется много нового.

— А что мы выяснили? — произнесла она устало. — Что я плохая мать нашим детям? Для этого вовсе не нужно ехать на Богояр. Я могу умереть за них, если понадобится, — я не могу жить для них. Они мне чужие. Это твои дети, а не мои. Вообще у нас все твое. Твои дети, твоя семья, твоя квартира, твои гости, а я — твоя жена.

— А я не твой муж?

Она промолчала. Скворцов не повторил вопроса. Что-то у него сегодня не срабатывало. Было несколько тем, действовавших на Анну укрощающе: его военные злоключения, его здоровье, вообще-то крепкое, но он был мнительным человеком, а муки мнительного человека не уступают мукам больного, и Анна это знала, наконец — дети. Скворцов презирал обман, если в нем не было хоть крупинцы правды: самочувствие у него было сегодня отменное, к тому же жалобы на здоровье могли сорвать завтрашнюю экскурсию, военная тема уже затрагивалась, но не пошла ему на пользу, оставались дети, которые его и впрямь тревожили. Он знал, что они сидят в баре, пьют приторные и весьма крепкие смеси, заводят сомнительные знакомства, особенно волновался он за дочь и даже ревновал ее к паршивым испорченным мальчишкам, а еще больше к тем немолодым потаскунам, которые не стесняются замешиваться в юные компании с целями отнюдь не культуртрегерскими.



— Наверное, река так на меня действует,— тихо сказала Анна, и Скворцов понял, что это начало капитуляции — самые сладостные минуты в его отношениях с женой.

Их семейной жизни не хватало тепла, доверия, притом что Анна действительно отдаст за детей и мужа всю кровь до капли. Но она скупится на простой жест доброты, участия, бездумной нежности, да просто на улыбку. Она выполняет долг — безукоризненно, не придерешься (а жаль, тогда стало бы чуть легче!), но не живет общей жизнью с семьей, а служит ей. И дети рано начали понимать это и потянулись к отцу, который не отличался столь безукоризненным вниманием к их нуждам и запросам, а просто любил их, баловал (позже выяснилось, что и ключ от кассы у него). Такой же была Анна с друзьями, нет, с гостями, ибо ни одного из посещавших их людей — сослуживцев и покровителей Скворцова — она не возвела в чин дружбы. Возможно, она дружила с кем-то из своих коллег, но в дом не приглашала, и Скворцов их не знал. Сын, которому нельзя было отказать в остром уме, первым разгадал домашнее самочувствие матери: «Бедная мама — тяжело ей на двух работах».

Очевидно, река действовала как-то странно и на Скворцова — впервые он не поспешил навстречу жене. Его обступило прошлое, будто вклубившееся в герметически закрытую катуку из заоконной желтовато-нездоровой мути. И в прошлом эта стареющая, спокойно-грустная, а порой угрюмая, запертая на все замки женщина бесилась от счастья. О это ошалелое от любви и счастья лицо!.. Конечно же, они с Пашкой были обречены. Слишком большая радость смертных раздражает богов. Ничего не дается даром, за все надо платить, и к счастью продираются, оставляя на колючках не клочья шерсти, а шмотья кровавого мяса. Вот так продирался он, Скворцов... Пашка был не из реальной жизни — витязь, былинный богатырь, дон Сезар де Базан, ему предназначалось жить в сказке, легенде или хотя бы в чьей-то памяти. Последнюю форму жизни он и обрел. А в повседневности при его открытости, вере в людей ему нечего было делать. Если б не гибель на войне (а он должен был погибнуть), его доконали бы менее романтическим способом.

Когда Скворцов вернулся, большинство людей, знавших о доверенной дружбе и соперничестве Скворцова с Пашкой, считали, что ему лучше не показываться Анне на глаза. Ей будет омерзителен самый его вид. Притащился из плена и унижения, нелюбимый и ненужный, тусклая тень, дрянная копия того, кто не вернулся. Скворцова не смутила слепая дурь окружающих: Анна была его спасением, но и он был спасением Анны, потому что лишь на нем одном лежал Пашкин отблеск. Но как ни был он вынослив и терпелив, порой казалось, что ему не выдержать. Анне необходимо было без конца ворошить прошлое, и он, зажав сердце в кулак, помогал ей в этом. Даже в пору самого острого соперничества он по-своему любил Пашку. Анна же заставила его возненавидеть мертвеца. Он поражался человеческому эгоизму: молодая, добрая, тонкая женщина, к тому же прошедшая войну со всеми ее страданиями, знающая по себе, что такое боль, и тоска, и невозможность соединиться с любимым, раздирала ему душу: Пашка... Пашка... Пашка... Она могла без усталости и передыху жгутом крутить выжатую до капли тряпку юношеских воспоминаний о Коктебеле с его каменными вершинами, скудной растительностью, сухими запахами, разноцветными камешками на заплеске, бухтами, поэтическими традициями, смешными и грустными песнями, походами в Отузы, Козы и Старый Крым, с дальними заплывами и оголтелыми теннисными баталиями, где Пашка всегда побеждал, как и во всех спортивных играх, с пашлыками на Кара-Даге и теплым вином, и нескончаемый ностальгический бред золотил

ей синие радужки больших несчастных глаз. Скворцов вытерпел это, как и все остальное, что извело лучшие годы его жизни: несчастную любовь, войну, плен, немецкий лагерь, проверку, унижительное возвращение домой. Он получил Анну. Но разве кончились его муки? Пашка по-прежнему торчал между ними, порой едва зримо, а порой так, что застил божий свет. Он невыносимо и грозно вырос, когда родился их первенец, и Анна сухими, искусанными губами — рожала она долго и трудно — просипела, что имя сыну будет Павел. Кажется, тогда Скворцов до конца понял, что ненавидит Пашку. Проклятое имя долго мешало ему полюбить сына, о котором он так мечтал. Но еще в ранние годы мальчик без малейших усилий отменил предубеждение отца. Кроме имени, у него ничего не было от Пашки, несмотря на все скрытые и явные потуги матери вырастить его похожим на своего идола. Он был умен, уклончив, скрытен и полон странного в молодом существе презрения к людям. В нем было обаяние, гниловатое обаяние ранней испорченности, но что тут общего с размашистой и доверчивой манерой доброго богатыря, готового всех принять в свои объятия? Сын был шакалом, и это нравилось Скворцову. Он рассчитывал, что быстро созревающий и жадно напитывающийся отрицательным опытом паренек возместит хотя бы частично тот долг, который числил за обществом его отец. В свою очередь и сын ощущал в нем родственную душу, он рано уловил охлаждение матери и укрылся под отцову руку. Теперь имя Павел стало звучать иронически, поскольку им называли циничного, очень себе на уме, скороспелого молодчика. У Скворцова было и другое опасение. Пашка и Анна принадлежали к одному физическому типу рослых, статных, смуглокожих, синеглазых брюнетов. Сын унаследовал узкое тело отца, его бледную кожу, светлые тонкие волосы, а мягкость движений и редкая, будто заблудившаяся улыбка — это то, что различало Анну с Пашкой. И тут Скворцову повезло. Так какого черта портит он себе путешествие, вновь буксуя мыслью в вязкой психологической грязи? Ведь нет проблем?.. Есть...

Ему надоело постоянное незримое присутствие Пашки. Сиди в своем солдатском раю, коли такой существует, и не суйся к взрослым, усталым людям, прошедшим огонь, воду и медные трубы. А ведь Скворцову не раз казалось, что Пашка получает часть положенного ему наслаждения... Бред, пакость!.. Беда в том, что, старея, он теряет упругость характера, каждая дурная мелочь, неудача, перепад Аннинного настроения, ничтожная обида уже не отскакивают от него, а налипают мокрыми осенними листьями. Это недостойно его. Разве жизнь кончилась? Нет, она лишь склоняется к закату, и надо не жадно, не торопливо, а с мудрой сосредоточенностью опытного дегустатора втягивать каждую каплю бытия, но его подталкивают под руку и вино проливается мимо рта.

Что же случилось, почему с годами, сглаживающими шероховатости, обтачивающими острые углы, ему стало не легче, а труднее с Анной, почему сильней, болезненней задевает то, мимо чего он спокойно проходил прежде? Всю жизнь он бессознательно ждал от нее маленького, совсем маленького предательства прошлого, предательства Пашки. Хоть на мгновение свела бы она его с пьедестала или разрешила бы сделать это другому. Четверть века у подножия Пашкиного памятника — да этого не выдержат и стальные нервы, а он человек, сильно битый. Неужели не могла она хоть из сострадания, из брезгливой жалости — он и на такое согласен — кинуть ему ничтожную подачку? И ведь она догадывалась, что ему это нужно, а не поддавалась, ну, хоть бы от усталости — нельзя же всю жизнь держать оборону против человека, с которым вместе засыпаешь и просыпаешься. Какой твердый, душный и неженственный характер!.. А в Пашкиных руках она плавилась воском, но тот был слишком зе-

лен, чтобы придать форму податливому материалу. Впрочем, она сама формировала себя для него...

Было томительно от старых мыслей и материальной близости душевно отсутствующего человека. Наверное, это усугублялось малым, замкнутым пространством корабельной каюты.

Что такое пространство и время не в философском, а в бытовом аспекте? Расстояния, версты, мили, пролегающие между людьми, зачастую сближают их силой тоски и страсти к соединению; время почти никогда не работает на людей. Он врал, уверяя себя только что в обратном. Сближение угадавших друг друга людей происходит всегда вначале, затем рано или поздно начинается неуклонное разъединение, отстранение, необратимое — отчуждение. Подавляющее большинство людей отвергнут эту мысль как не просто ложную, но даже кощунственную. Но вдовцы быстро женятся под предлогом, что им некому будет воды подать, а вдовы, не износив башмаков, в которых шли за гробом, или выскакивают замуж, или обзаваются сожителями, обычно моложе себя. Освобождение от близкого человека, с которым ты прожил долгие годы, при всей несомненности горестных переживаний поначалу — немалое благо. Человеку нужна свобода, а он всегда утрачивает ее целиком или частично в многолетнем сосуществовании с другим человеком. Бывают, конечно, исключения... Но вот наш случай исключения не явит. Впрочем, у Ани, если я окочурюсь первым, жизненной активности не прибавится, она будет делать все то же и так же, как делала раньше, с великой добросовестностью, не растрачивая на это ни крупицы личности, обо мне она грустить не станет и уже без всяких помех окунется в тину своих золотых воспоминаний. Когда-то я помогал ей в этом и был нужен, но потом она заметила, что я тихо, но упорно противлюсь окончательному превращению в рака, способного лишь к попятному движению. Ее это явно не устраивает, чему прямое свидетельство наше так весело начавшееся путешествие. И недовольство мной будет все возрастать и одновременно прятаться как можно глубже. Это изнурительно... А если она умрет раньше меня? Он не услышал в себе ответа. Подождал, но все в нем обезмолвилось. Он решил подойти к вопросу исподволь. Предположим, она меня бросит (что исключено), я сойду с ума, повешусь, ну если не повешусь — ради детей, — то совершу самые гибельные поступки. Какие? Запью и закурю. Мой организм не принимает ни алкоголя, ни никотина. Брошусь в объятия продажных женщин. А где они, собственно, продаются? У нас нет профессиональной любви. Но кто-то этим все же занимается. Те же сотрудницы, что окружают меня в институте, так сказать, по совместительству. Скучноватый омут греха. Забвение едва ли обретешь. Ну а если Аня умрет?.. Много тяжкого отвалится от души. Так много, что с оставшимся не прожить. Ему стало страшно, невообразимо и отчаянно страшно, что Анна возьмет да и умрет раньше него, и он громко застонал.

— Что с тобой? — испуганно спросила она, мгновенно почувствовав неподдельность переживания, родившего стон, и вырвалась из своей темной глубины не только сознанием, но и подавшимся к нему телом.

— Черт его знает... — пробормотал Скворцов, сразу поняв, что бой выигран, но почему-то не испытывая победного ликования. — Кольнуло что-то... Как спицей, — добавил он, морщась и потирая ладонью бок.

— Это не сердце?

Она уже рылась в сумочке, доставая оттуда нарядные заграничные лекарства, которыми сама не пользовалась, равно как и отечественными, но в чью чудодейственную силу для близких людей свято верила. Она никогда не предлагала болящему одну пилюлю, один порошок, всегда приготавливала целый набор взаимонейтрализующих и потому безвредных снадобий. Мнительный Скворцов это понимал

и преспокойно отправлял в рот жменю веселых разноцветных лепешечек и шариков, запивая водой. Сейчас привычный ритуал доставил ему особенное удовольствие. Только следи, друг Скворцов, чтобы она не слишком боялась за твое здоровье, иначе все рухнет. Обмануть ее бесхитростность ничего не стоило, но обостренное чувство долга делало ее бдительной. Скворцов благополучно лавировал меж сциллой и харибдой. С каждой минутой она становилась все более ручной. Теперь нужно немного безумия, чтобы вынудить ее к другим уступкам, не столь губительным для его изношенного сердца, как намерение спуститься в бар и отобрать по коктейлю у их детей-пьяниц. Ничто не казалось Анне столь опасным для сердечника (у Скворцова было сердце водолаза), чем алкоголь. Она молила мужа пощадить себя. Что угодно, только не этот страшный яд. «Вот так-то, моя строптивница», — нежно думал Скворцов, водя губами по душистым, густым, черным в синеву волосам.

У него была счастливая ночь, впрочем как и всегда...

— Детишкам повезло куда меньше. Сын Паша пить не умел. На мужественном сленге современной молодежи это называлось так: принимает по делу, но не держит выпивку. Он отдавал себе отчет в своей позорной слабости, но всякий раз надеялся, что пронесет. И на этот раз в пароходном баре Паше казалось, что все будет о'кей. Из предосторожности он решил не мешать, держаться одного самого слабенького поила. К тому же девочка ему попала высшего класса, и не было никакой нужды надираться, чтобы глупая, хотя и с претензиями парикмахерша показала Афиной Палладой.

Несмотря на весь свой жизненный опыт, Паша Скворцов никак не мог определить ее социальное и жизненное положение. Он подумал было, что она тоже путешествует с родителями, — студенточка, избалованное дитя, добившееся вроде него с Танькой полной самостоятельности. Новая знакомая решительно отвела этот вариант: вся прелесть подобных поездок — побыть одной среди чужих, совершенно незнакомых людей, освежить душу, иначе незачем ехать. Внезапно Паша обнаружил, что она куда старше, нежели ему показалось вначале. От напитков, жары, духоты, папиросного дыма будто осыпалась пыльца юности, лишив ее лицо расплывчатой прелести, черты определились и чуть поглубели. Кто же она? Некоторая загадочность наводила на мысль об «Интуристе». Танцевала она лучше и современнее всех, пила с отменной легкостью, пепел стряхивала куда угодно, кроме пепельницы, за словом в карман не лезла; его волновал чуть хрипловатый, словно ворчащий голос, каким она парировала легко и остроумно его выпады, нравился медленный, толчками, из глубины смехок, но больше всего нравилась та простота, с какой она пошла в его номер, когда джазисты принялись гасить свет, чтобы повытрясти монету из оголтелых танцоров.

В номере Пашу тут же стошнило. Новая знакомая вела себя спокойно и дружелюбно: давала воды, поддерживала ему голову прохладной ладонью за лоб, вытирала лицо мокрым полотенцем, чувствовалось, что все это ей не в новинку. Морали не читала, но все-таки уколола:

— Эх ты!.. А держался как настоящий!

Ему было стыдно, до слез стыдно и досадно, он люто ненавидел себя, но все же сделал попытку вывернуться:

— Сроду такого не бывало. Пойло на меня не действует. Отравился сардельками за обедом. Ты помнишь эту гадость? — Его передрнуло от омерзения.

— Брось трепаться, сардельки были свежие... Ну ладно, ты меня пригласил сюда как сестру милосердия, неотложную помощь?..

— А куда торопиться? — Он хотел потянуть время, чтобы прийти в себя. — Вся ночь впереди. Останешься у меня...

— Еще чего! Чтоб засыпаться? Давай не дури или...

— Или что? — перебил он злобно, поняв, на кого нарвался.

— Или заплати за испорченное платье.

— Пятерку на химчистку так и быть... Покажи только, где испачкано.

— Дешевка! — сказала она. — Сопля на заборе. Клади пятьдесят, не то тебя так оформят, что папочке с мамочкой нечего будет на каадибище везти.

Паша был начитанный молодой человек, ему сразу вспомнился сэлинджеровский «Ловец во ржи» и щелчок официанта, превративший юного героя романа в кучку дерьма. Ему этого вовсе не хотелось. Ну влип!.. Потом будет интересно вспомнить, ребята ахнут... Но сейчас надо выходить из положения.

— Ладно, — сказал он покладисто. — Люблю таких баб. Не в деньгах счастье. Но сперва покажи работу. Я ведь тоже не фраер.

Что-то похожее на уважение мелькнуло в ее холодных глазах...

Тане повезло еще меньше. Она слышала смутно о любовной истории, пережитой матерью в ранней молодости. Человек тот погиб на войне; в памяти отложились мазки: высокий, смуглый, синеглазый... Остальное дорисовала фантазия с помощью киноэкрана. И юный весельчак Пашка оказался пожилым романтическим героем, молчаливым и загадочным, с роковой печатью на челе. Прекрасная меланхолическая пара владела ее воображением. В баре оказался человек того самого типа: высокий, загорелый, голубоглазый, с проседью, с твердым и мрачным ртом, — он с усилием разжал сухие губы, чтобы пригласить ее танцевать. Площадка была пуста, это смутило Таню, и все-таки она пошла. И не пожалела об этом, он танцевал, как Фред Астор, которого часто показывают по телевизору в отрывках из старых американских фильмов. Исходящая от него сила подавляла, и отнюдь не робкая Таня была благодарна ему за молчание, боясь показаться глупой. А он был умен каждым жестом, каждым взглядом и тем, как курил, как вел ее в танце, как молчал. И не нужны были никакие слова, чтобы он очутился у нее в каюте. А затем, как и всегда, Таня захотела оборвать все на полдороге, ну, немного дальше, чем на полдороге, другие, поборовшись, смирились с этим, но не так повел себя ее загадочный избранник. Выражение значительного и неподвижного лица не изменилось, но он отверз молчание уста, и стало страшно.

— Ты брось динаму крутить, — сказал Фред Астор. — Со мной такие номера не проходят. Напилась, нажралась — и деру!..

Это было так неожиданно, так не похоже на все его прежние поведение и на все, что Таня слышала и видела в своей жизни, что она растерялась до потери памяти.

— Чего вы хотите? — спросила она шатким не от страха, от омерзения голосом.

— Возмещения расходов, — произнес он и, немного подумав, ударил ее по щеке.

Было не больно, а обидно и стыдно. Глотая слезы, она открыла сумочку и протянула ему смятую четвертную.

— Это все? — спросил он угрожающе.

Она быстро закивала. Он взял у нее из рук сумочку, порылся там, нашел брошку с камешком и сломанным замком, опустил в карман. Бросив сумочку на столик, погрозил Тане кулаком и спокойно, чуть сутулясь, вышел.

Он прошел в свою каюту, разделся, принял душ и, волосатый, смуглый, мускулистый, прилег в плавках и майке на кровать. Вскоре вернулась его спутница.

— Порядок? — спросил он.

— Нормально. А у тебя?

— Фальшак. Соплячка и без денег. Взял вот это. Стоит чего-нибудь? — Он кинул ей брошку. — Я в цацках не разбираюсь.

— Камешек настоящий. Ты дуся!

Каюта погрузилась в темноту, а окно высветилось бледным светом редеющей ночи...

Ранним утром, туманным, прохладным, но обещающим хорошо и быстро разгуляться — солнце проблескивало, — теплоход причалил к богоярской пристани. Большой, белый, чистый и нарядный, он замер у подножия холмистого, каменистого, поросшего лесом острова с полуразрушенным монастырем по другую сторону, старинными церковьками и часовенками по опушкам и в чаще, деревянными мостиками через ручьи и овраги, с туристскими тропами и звериными тропками, с широким большаком, ведущим к маленькому поселку возле монастыря, замер, пегасив могучие моторы, на грани двух прохлад — резкой озерной и мягкой лесной, — со всей своей начинкой: хорошими и плохими людьми, перепившими юнцами и грешными девчонками, жадными до впечатлений экскурсантами, растроганными любителями природы, уставшими от города тружениками, с подонками и мошенниками, с дисциплинированной, ловкой командой и хапугами-джазистами, с весельем и печалью, поэзией, грязью, робкими признаниями, развратом, любовью, ошибками, воспоминаниями, надеждами, со всем, что составляет человеческую жизнь, современный Ноев ковчег, собравший на борту, как и в правек, каждой твари по паре — чистых и нечистых, — но и в скверне людской неводержанности оставшийся безвинным. Уйдут на прогулку пассажиры, и вышколенная команда все приберет, выметет, отпылесосит, начистит, надраит, освежит — и он станет равно безупречен и внутри и снаружи, чтобы в следующую ночь опять превратиться в рай и ад, оставаясь при этом равным своей главной сути прекрасного судна, мощно и ровно рассекающего воды озер и рек.

Теплоход пришел точно по расписанию, причалил минута в минуту, и все, кто должен был его встретить, находились на своих местах: пристанские служащие, грузчики, почтари, медицинские работники, милиционеры, киоскеры, торгующие открытками, сувенирами и какими-то неправдоподобными изданиями по редким и специальным делам знаний, попавшими невесть зачем на пустынный остров. За пристанскими строениями, клумбой с розами и гвоздиками, подстриженным кустарником и громадным валуном ледникового периода уже дежурили над корявыми корешками, разложенными на газетных листах, самые несчастные минувшей войны, притаившиеся из монастыря, некогда крупнейшего инвалидного убежища. Сейчас монастырь почти опустел и последние доживающие там его обитатели подлежали переводу на новое, и лучшее, место. Корешки, гордо именуемые богоярским женьшенем, не обладали никакими целительными и омолаживающими свойствами, но подобно дальневосточному чуду природы напоминали по форме уродливых таинственных человечков и пользовались спросом у туристов.

Давно уже объявил побудку бодрый и требовательный голос судового диктора, и сейчас из репродукторов, которые нельзя выключить, лилась духовая музыка, но пассажиры раскачивались медленно. Почти никто не закрыл окошек на ночь, доверяя июльской ночи, и каюты настыли к утру, не хотелось вылезать из-под шерстяных одеял. Но пришлось, поскольку старинные вальсы все чаще прерывались строгим голосом диктора, предупреждающего, что экскурсии будут ждать не будут. Горячий душ возвращал телу жар и бодрость, музыка уже не раздражала, а звала вперед, хорошо думалось о завтраке и ароматном спелом воздухе соснового Богояра.

Быстро разделавшись с завтраком, Анна сказала мужу, что пождет его на берегу, где экскурсантов должны разделить на группы — походы были разной трудности и продолжительности.

Она прошла мимо кают своих детей, даже не подумав постучаться и не замедлив шага, выбралась на палубу и по крутым сходням сошла на пристань, а оттуда на прочную, недвижимую, надежную землю. В почти не ощутимой зыбкости судового пространства и даже в строениях, омываемых водой, она чувствовала странное и неприятное напряжение, а сейчас ее отпустило.

На берегу было довольно пустынно: первая смена еще не кончила завтракать, а вторая поджидала своей очереди. Какие-то пассажиры, не желавшие связывать себя официальной экскурсией, выспрашивали у местных жителей, как пройти к монастырю и далеко ли до него.

— Дорога тут одна, — сказал мужичонка с корзиной, наполненной сосновыми шишками, и кивнул на большак. — А идти недалеко — километров десять.

— Ошалел? — возмутилась худенькая женщина в брезентовых рукавицах, толкавшая тачку с кирпичами. — И восьми нету.

— Может, и нету, — покладисто согласился любитель самовара.

— Да не слушайте вы их! — вмешался подрезавший кусты бортовой стати садовник. — Тут ровно семь километров.

— Шесть тысяч восемьсот сорок метров, — с угрюмой усмешкой отчеканил показавшийся знакомым Анне голос.

Пассажиры подались к валуну, Анна машинально последовала за ними и увидела калек, торговавших корявыми грязными корешками. Тут только вспомнила она о грустной участи Богояра — служить последним приютом тем искалеченным войной, кто не захотел вернуться домой или кого отказались принять.

— Точно высчитал! — заметил один из туристов.

— Не высчитал, а выходил, — подхватил другой. — Сколько раз промахал своими утюжками это расстояние? — спросил он безногого в серой, с распахнутым воротом рубаше, очень прямо торчащего над газетой с корешками.

О калеке нельзя было сказать, что он стоял или сидел, он именно торчал пеньком, а по бокам его обрубленного широкогрудого тела, подшитого понизу толстой темной кожей, стояли самодельные деревянные толкачи, похожие на старые угольные утюги. Его сосед, такой же обрубок, но постарше и не столь крепко скроенный, пристроился на тележке с колесиками. Ему не по силам было отмахивать бросками тела почти семь километров от монастыря до пристани и столько же обратно.

За нарочитостью «своего» тона туриста скрывалось желание благородной прямооты, подразумевающей уважение к ратному подвигу и жестокой потере, установить добрую мужскую короткость с половинкой человека. Ничто не дрогнуло на загорелом, со сцепленными челюстями лице калеки, давшего справку. Он будто и не слышал обращенных к нему слов. Жесткий взгляд серых холодных глаз был устремлен вдаль сквозь пустые, прозрачные тела окружающих. Туристы почувствовали опасную неуютность этого человека и неловко, толкаясь, двинулись своим путем.

Анна пожалела, что не услышала больше его голоса, резкого, надменного, неприятного, но обладавшего таинственным сходством с добрым, теплым голосом Паши. Она подошла ближе к нему, но чтобы тот не догадался о ее любопытстве, занялась приведением в порядок своей внешности: закрепила заколками разлетевшиеся от ветра волосы, укоротила тонкий ремешок наплечной сумочки, озабоченно осмотрела расшатавшийся каблук, как путник, желающий сориентироваться в пространстве, обозрела местность. Затем Анна будто вобрала взгляд в себя, отсекала все лишнее, ненужное и сбоку, чуть сзади сфокусировала его на инвалиде в серой грубой рубаше.

Она не сознавала, что нежно и благодарно улыбается ему за напоминание о Паше. Мысль отделилась от действительности, стала грезой, в дурманной полуяви калека почти соединился с Пашей. Если б Паша

жил и наращивал возраст, у него так же окрепли бы и огрубели кости лица: скулы, челюсти, выпуклый лоб, полускрытый блинообразной кепчонкой; так же отвердел бы красивый большой рот, так же налился бы широкогрудой мощью по-юношески изящный торс. Когда-то она любовалась Фидиевыми обломками в Британском музее, похищенными англичанами с фронтона Парфенона, и ее обожгла мысль: как ужасны оказались бы мраморные обрубки, стань они человеческой плотью. Этот калека был похищен Богоярмом из Британского музея, но обрубленное тело было прекрасно, и Анне — пусть это звучит кощунством — не мешало, что его лишь половина. Легко было представить, что и другая половина была столь же совершенна.

Чем дольше смотрела она на калеку, тем отчетливей становилось его сходство с Пашей. Конечно, они были разные: юноша и почти старик, нет, стариком его не назовешь, не шло это слово к его литой силе, смуглому, гладкому, жестко красивому лицу, к стальным неморгающим глазам. Ему не дашь и пятидесяти. Но тогда он не участник Отечественной войны. Возможно, здесь находятся и люди, пострадавшие в мирной жизни? Нет, он фронтовик. У него военная выправка, пуговицы на его рубашке спороты с гимнастерки, в морщинах возле глаз и на шее, куда не проник загар, кожа уже не кажется молодой, конечно, ему за пятьдесят. И вдруг его сходство с Пашей будто истаяло. Если б Паша остался в живых, он старел бы иначе. Его открытое мужественное лицо наверняка смягчалось бы с годами, ведь по-настоящему добрые люди с возрастом становятся все добрее, их юная неосознанная снисходительность к окружающим превращается в сознательное всеохватное чувство приятия жизни. И никакое несчастье, даже злейшая беда, постигшая этого солдата, не могло бы так ожесточить Пашину душу и омертвить взгляд. Ее воображение, смещение теней да почудившаяся знакомой интонация наделили этого жестокого человека обманным сходством с юношей, состоявшим из сплошного сердца. И тут калека медленно повернул голову, звериным инстинктом почуяв слезку, солнечный свет ударил ему в глаза и вынес со дна свинцовых колодезь яркую, пронзительную синь.

— Паша!.. — закричала Анна, кинулась к нему и рухнула на землю. — Паша!.. Паша!.. Паша!..

Калека не шелохнулся, он глядел холодно, спокойно и отстраненно, словно все это ничуть его не касалось.

Она обхватила руками крепкое, жесткое и вроде бы незнакомое тело, уткнулась лицом в незнакомый запах стираной-перестираной рубашки, но сквозь все это чужое, враждебное, нанесенное временем, дорогами, посторонними людьми, посторонним миром, на нее хлынуло родное, которое не могло обмануть..

Она знала, что он уйдет на фронт сразу, как только они вернутся из Коктебеля, где их застала война, но до этого они должны стать мужем и женой — не по штампам в паспорте, а плотью единой. Это она повела его вечером в Сердоликовую бухту. Но Пашка оказался фанатиком порядочности, ханжа проклятый!.. У них не было ничего впереди, и рай, открывшийся ей в Сердоликовой бухте, сразу стал потерянным раем.

Она узнала, что потеря ее невосполнима. Если не вышло с Алексеем, так не выйдет ни с кем другим. Ее костер мог зажечь только Пашка. А он предал, изменил ей со смертью, и все женское умерло в ней. Но оказалось, что его измена в тысячу раз подлее и злее, не смерть его забрала, а самолюбивая дурь, нищий мужской гонор и, что еще глупей и ничтожней, неверие в ее любовь. Какой идиот, непроходимый, тупой, злой идиот!.. Загубил две судьбы. Человек — частица общей жизни мира, он не смеет бездумно распоряжаться даже самим собой, тем паче решать за двоих. Он обобрал ее до нитки, оставил без мужа, уложив ей в постель бледнокожую ящерицу, убил настоящих детей, подсунув вместо них каких-то убожков. За что он так ее обне-



счастил? Неужели мстил за свои потерянные ноги? Господи, он так ничего и не понял в ней...

Анну корежит, корчит изнутри, ее душа скрючивается от боли, становясь под стать мерзким корешкам на газете, идиотскому символу его смирения. Она кричит, захлебываясь слезами:

— Предатель! Какая же ты сволочь!.. Подлец!..

— Тише,— говорит он удивленно и беззлобно.— Что с тобой?

— Еще спрашивает!.. Где моя жизнь?

Она бьет его кулаками по любимому и ненавистному лицу, по твердой и гулкой, как панцирь, груди. Он обхватывает ее узкие пястья своей большой рукой, лапищей, рукой-ногой, ведь он ходит тоже ею, и зажимает, как тисками. Конечно, ей не вырваться, и тогда она плюет ему в лицо.

— Павел Сергеич, разреши, я вмажу дамочке,— предложил другой безногий коммерсант.

— Не волнуйся, Данилыч,— сказал Паша.— Все в порядке!..— И вдруг заорал так, что жилы натянулись канатами: — Назад, Корсар! На место! Лежать!

Анна услышала клацающий звук, ее толкнуло воздухом в спину, затем, источая горьковато-душный, не собачий, а дикий, лесной запах, мимо нее, рыча и поскуливая, прополз громадный овчар, нет, не овчар, а полуволок с булыжной мордой и грязной изжелта-серой шерстью.

— Лежать! — повторил Пашка.— Спокойно!

Корсар зевнул с подвывом, похожим на стон. Он проглядел нападение на своего хозяина, его бесшумный стремительный прыжок запоздал, стал не нужен.

— Ты хорошо защитился!..

Корсар поднял морду и зарычал, обнажая желтые клыки.

Пашка ударил рукой по земле, и пес взвыл, будто удар пришелся по нему.

— Ты не очень-то,— сказал Пашка.— Он полуволок. Я могу не успеть.

— Плевать я хотела,— сказала Анна.— Пусть разорвет.

У нее заломило голову в висках. Раз или два в жизни испытывала она эту странную, будто последнюю боль; перед глазами все плыло: пространство, валун, инвалиды, чудовищный пес, корешки; из текущего, потерявшего глубину и контуры мира недвижно-четко и объемно выступало лишь смуглое юношеское лицо. Она сообразила, что Пашка снял свою ужасную кепку-блин, его по-прежнему темные, без седины, густые волосы удлиннили лицо, приблизив Пашку к прежнему образу, и еще она заметила, что мир стал очень населенным: в нем появилось множество глаз. Плевать ей на них.

Окружающее перестало струиться. И этим вновь ясным, чистым зрением она обнаружила в глубине пейзажа, на заднем плане валящей с теплохода толпы белое, будто судорогой сведенное лицо Скворцова.

Скворцов опрометью кинулся назад к сходням и пропал. Чего он так испугался? Не надо было спрашивать себя об этом. Если они переберутся к лесу, скроются от толпы, она прижмется головой к Пашиной груди — и все пройдет.

— Перенеси меня вон к тому лесу,— попросила она.— Как раньше, помнишь?

Он недобро усмехнулся:

— А ты — ножками. Мне нечем.

— Ну почему же? — сказала она разумно и тупо.— Я хочу к тебе на руки.

Он поднял с земли два деревянных утюжка и показал, как передвигается, отталкиваясь ими от земли.

— Поняла?.. Знал бы, что пожалуешь, запряг бы Корсара в тележку.

— А ты разве не ждал меня? — спросила она удивленно.

Он метнул на нее тревожный взгляд.

— О чем ты говоришь?.. Ты же взрослая женщина... Старая женщина,— добавил он безжалостно.

— Шесть тысяч восемьсот сорок метров,— сказала она.— Вон как ты точно высчитал!.. Значит, ходил к каждому пароходу. Не корешками же торговать?

— А чем — жемчугом?

— Не ври. Ты никогда не был вруном. Ты единственный до конца правдивый человек, какого я знала. Ты ведь не стал пьяницей? — спросила она с испугом.

— И это было,— ответил он равнодушно.— Но завязал. Уже давно.

— Вот видишь... Ты меня ждал, потому и ходил сюда.

Он никогда не задумывался, для чего ковыляет на пристань. Так уж повелось: встречать туристские теплоходы. И все, кто был способен хоть к какому-то передвижению, принимали в этом участие. Тащились на костылях, на протезах, на тележках, с помощью утюжков, ползком, а одного — «самовара», Лешу,— старуха мать на спине таскала, привязывая к себе веревками, обхватить ее сыну было нечем. Иные торговали корешками, изредка грибами, но положила руку на сердце: неужели ради этого одолевали они семь километров лишь в один конец? На Богояр большинство попало по собственному выбору, а не по безвыходности: сами не захотели возвращаться в семьи, к женам и детям — из гордости, боязни быть в тягость, из неверия в душевную выносливость близких притворились покойниками и похоронили себя здесь. А все равно тянуло к живым из большого мира, и, наверное, кое в ком теплилась сумасшедшая надежда, что среди сошедших на берег с белого теплохода окажется родная душа, и кончится искус, и уедет он отсюда в ту жизнь, от которой добровольно отказался. Но даже те, кого не приняли дома, тянулись сюда за чудом, которого не ждали, за чудом раскаяния. Это все правда, но неглавная правда, которая прощя. Хотелось увидеть людей от т у д а, из той божественной жизни, которая заказана им, обитателям Богояра. Но ведь она есть, есть, и ею живут иные из тех, что были рядом на фронте и тоже пролили кровь, но им больше повезло, им не нужно было уползать в чащу. Не так уже важно, почему человек оказался здесь, по свободному выбору или по необходимости, тем более что это не всегда установишь — иной вроде бы сам все решил, да что-то толкнуло его к такому решению, какое-то подсознательное знание. Но тянуло к белому теплоходу то немудреное, всем понятное чувство, что заставляет арестанта приникать к зарешеченному окошку: хочется глотнуть воздуха с воли, воздуха, каким были овеваны веселые люди, шумно сходявшие на горькую землю Богояра...

Павел попал на остров не сразу, не из госпиталя, а пройдя долгий путь калеки-отщепенца. И, спасаясь от полной деградации, утраты личности, приполз сюда. Он ни на что не надеялся и не хотел никакого чуда, но одно затаенное желание у него все же было: ленинградцы рано или поздно совершают паломничество на Богояр, это так же неизбежно, как посещение Шлиссельбурга или Кижей, и ему хотелось увидеть, какой стала Аня. Он был уверен, что она не узнает его, просто не заметит, а он из укромья своей неузнанности спокойно разглядит ее. «Спокойно» — он именно так говорил себе, кретин несчастный! А сейчас какой-то дым застил ему зрение, он не видел ее толком, лишь в первые минуты, когда она появилась и еще не узнала его, он поразился ее сходству с той, что осталась в его памяти. Потом он понял мучающимся чувством, что она не совсем такая, вовсе не такая, эта большая, грузная, стареющая, хотя все еще привлекательная женщина. Но схожесть была, она сохранилась в чем-то второстепенном: взмахе ресниц, блеске темных волос, родинке над левой бровью,— и эти мелочи перетягивали то куда более очевидное, чем отяготили ее

годы, и все-таки он не мог сфокусировать зрение, четко охватить ее облик.

— Идем,— сказала Анна,— идем туда.

Они пересекли большак и по травяному полю, усеянному валунами, двинулись к опушке бора. Корсар плелся за ними, свесив на сторону длинный розовый грязный язык.

Опушка пустила вперед кустарниковую поросль: можжевельник, бузину, волчью ягоду. «Зачем нас понесло сюда? — думал Павел. — Зачем мы вообще длим эту бессмысленную встречу? Ну увиделись... Это моя вина, не надо было караулить ее на пристани. Конечно, она права, я таскался сюда, чтобы увидеть ее, но зачем было соваться на глаза?.. Да я и не совался, она сама узнала меня. Что за нищенские мысли?.. Как будто я выпросил или выманил обманом эту встречу... Я не попрошайничал ни у людей, ни у судьбы... Это моя единственная награда, и сколько лет полз я к ней на подбитой кожей заднице! Пусть все это бессмысленно, а что не бессмысленно в моей сволочной жизни?.. Как поманила в молодости и с чем оставила?..»

Они не ушли далеко, но пристань со всем населением скрылась за пологим неприметным взгорком, а им достался уединенный мир, вмещавший лишь природу и две их жизни.

— Я старая, но не очень взрослая, Паша,— сказала Анна добрым голосом.— Я только раз и была женщиной, с тобой, в Сердоликовой бухте, когда началась война.

— У нас же ничего не было.

— У нас было все. А больше у меня ничего не было.

— Ты что же — осталась старой девой?

— Нет, конечно. У меня муж, дети. Сын кончает институт... Я занимаюсь наукой — микробиологией, доктор наук... Боже мой! — воскликнула она, словно вспомнив о чем-то забавном.— Ты не представляешь, кто мой муж. Алешка Скворцов! Он стал такой важный, директор института...

— Погоди! — перебил Пашка.— Твой муж — Скворцов. Разве он жив?

— Жив, жив!.. Ах, Паша, он мне все рассказал. Что бы тебе остаться с ним... Ну зачем ты ушел?..

Они поменялись ролями: теперь калека долго и тупо смотрел на женщину, переставшую нести свой расслабленный бред, вернувшуюся к разумности, рассудительности, но почему-то утратившую всякую наблюдательность: ей невдомек было, какое впечатление произвели ее слова.

— Послушай,— сказал он осторожно,— о чем ты сейчас?.. Я не попеваю за твоими мыслями, все-таки не доктор наук. Снизойди к жалкому недоучке. О чем ты говоришь? Кто ушел, кто остался, где и когда все это было?

— Стоит ли, Паша?.. Я говорю о фронте... о вашем последнем дне с Алешкой. Ты не думай, он тебя не осуждает. Ты хотел как лучше... Алешке, конечно, досталось: плен и... сам знаешь...

— Погоди! — опять перебил Павел.— Что там все-таки произошло?

Ну чего он привязался? Какое это имеет значение? На что тратят они время!.. Черт дернул ее заговорить... Она ведь не знает ничего толком. Ей почудилось что-то обидное для Пашки в недомолвках Скворцова, и она прекратила разговор. Ушел, не ушел... Вообще-то остаться полагалось бы Пашке, это было более по-солдатски. Для Скворцова приказ не фетиш. Но остался он. Значит, что-то другое сработало в Пашке — мысль о ней. Ему захотелось выжить, выжить во что бы то ни стало. Отсюда его нетерпение. Скворцова никто не ждал. Теперь по-новому осветилось многое. Пашка считал себя виноватым в гибели друга, оставшегося на посту, вот почему он приговорил себя к Божьяру...

— Слушай, а ты правда жена Алешки Скворцова или это розыгрыш?

Она чуть не заплакала.

— Паша, милый очнись!..

— Ты жена Скворцова!.. Это грандиозно!.. Жена терпеливого русского солдата, который остался на посту и получил христов гостинец, По-нынешнему гран-при!.. Нет, это грандиозно!..

Его лицо разжалось, как разжимается сведенный для удара кулак, и он стал удивительно похож на прежнего Пашку, когда тот в избытке хорошего настроения, ослепительной теннисной победы начинал дурачиться на коктебельском пляже, Она едва не обрадовалась перемене, но инстинктивно почуяла, что сейчас он менее всего похож на себя прежнего. Пробудился он не в себя прежнего, не в доброго витязя, готового заключить в объятия весь мир, а в больной надрыв, издевательскую — над кем и над чем? — ярость.

Она не понимала его внезапного срыва. Что это — лермонтовское «Ты мертвецу святыней слова обручена»? Да ведь это нежизненно, так не бывает и не должно быть, живой думает по-живому. Она не собиралась оправдываться перед Пашей. Она пошла на фронт сандружинницей вовсе не в надежде его найти, такое бывает лишь в плохих фильмах, а потому что хотела быть, где убивают. Ее не убили, даже не ранили, она вернулась в свой город, чтобы жить и ждать. Она и ждала, пока не пришел Скворцов и не отнял последнюю надежду. Была работа, был любящий пострадавший человек, Пашин друг, свидетель их короткого счастья, она не могла его полюбить, но уважала его чувство, его стойкость, и еще ей казалось — у нее может быть сын, похожий на Пашу. У многих людей для того, чтобы жить, еще меньше оснований. Но что случилось с Пашей? Отчего он взорвался? Когда она сказала, что Скворцов — ее муж, Странно... Скворцов был его другом с раннего детства, они десять лет просидели за одной партией, поступили в один институт, полюбили одну девушку. Скворцов полюбил раньше, но ему на роду было написано во всем уступать Пашке. Со стороны это казалось естественно: Скворцов был интересным молодым человеком, а Пашка — явлением, праздником, божьим подарком. Так его все и воспринимали. Поначалу ее отпугнула победительность курортного баловня. Бывают такие люди — для летнего отдыха. Во все играют, плавают «за горизонт», всегда в отличном настроении и загорают быстро, дочерна, без волдырей, и все дается их рукам, костер, шампуры с жирными кусками баранины, трухлявые пробки бутылок, гитарные струны. А в городе эти люди большей частью линяют, гаснут: пляжный Аполлон оказывается непреуспевающим служащим, студентом-тупицей, просто лоботрясом. Вместо прекрасного наряда смуглой наготы — жалкий ленторговский костюмишко, и куда девались вся отвага, ловкость, покоряющая свобода слов и жестов? И все же она влюбилась в Пашку уже там, на берегу моря, когда он и внимания на нее не обращал, упоенный своими первыми взрослыми романами. А в Ленинграде она была согласна и на тупицу и лоботряса, на последнюю шпану — любила без памяти. Но Пашка и в городе остался богом. Она вполне допускала, что Скворцов не слишком страдал, может, и вообще не страдал, находясь в тени, далеко не все люди стремятся в лидеры. И Пашка не стремился, но становился им неизбежно в любой компании, в любом обществе, в институте, на стадионе, и смирился со своим избранничеством, с тем, что ему всегда оказывают предпочтение. Быть может, он заплатил за это известной эмоциональной слепотой. Так он был ошарашен, узнав от Ани, что оказался счастливым соперником своего друга. Скрытность Скворцова привела его в ярость: «Домолчался, идиот несчастный!» «А если б ты знал?» «Обходил бы тебя, как Кара-Даг», — честно сказал Пашка. «За чем же дело стало?» — хотела она обидеться. «Поздно. Люблю». Проиграв, Скворцов остался на высоте.

О Паше этого не скажешь. Что-то есть роковое в его характере: срываться в последнюю минуту. Так случилось на фронте, так случилось сейчас, перечеркнув его образ взрывом низкой, истерической злобы. Она и представить себе не могла, что такое скрывается в Паше. Ну и пусть, что господь ни делает, все к лучшему. Кончилось наваждение, она обрела свободу от этого человека хоть к старости, хоть на исходе плохо и горестно прожитой жизни. Свободна... Пуста, легка и свободна. Черта с два! Плевать ей на его низкую злобу, на зависть и ревность к Скворцову, на то, что он откуда-то там ушел, да пропади все пропадом, ей никого и ничего не надо, кроме него самого. Любимого. Единственного. Но, может, ему надо — от чего-то освободиться, выплюнуть из души какую-то дрянь?

— Паша,— сказала она тихо,— что там было?..

Он мгновенно понял, о чем она спрашивает. Его будто ледяной водой окатило — перестал дергаться, размахивать руками и твердить свое: «Грандиозно!.. Грандиозно!» Только дышал тяжело, и ей нравилось, как мощно ходит его грудь под серой застиранной рубахой. И опять она подумала: какое ей до всего этого дело?..

— Ты же сама знаешь,— как будто из страшной дали донесся до нее голос.— Все знаешь от Скворцова. Мне нечего добавить.

Ну и ладно... Надо сесть на землю, чтобы видеть его лицо. Когда солнце бьет ему в глаза, радужки становятся такими же синими, как раньше, от нагретой кожи тянет тем же «смуглым» запахом, той же здоровой, чистой жизнью. Она так быстро и бесшумно опустилась на траву возле него, что он не заметил ее движения и не смог ему помешать.

— Паша...— позвала она, дыша им, его кожей, потом, рубахой.

Он потупил голову, изгнав синеву из глаз, лицо стало окаменелым, холодным, всему посторонним, как тогда у валуна.

— Паша... О чем мы говорим?.. Кому это нужно?.. После столько лет... После твоего воскрешения...

— А я не умираю,— прервал он с подавленной яростью, он овладел собой, но внутри все клокотало.— Я умер лишь для тебя... и Скворцова.

— Бог с ним, со Скворцовым,— устало сказала Анна.— Но что я могла сделать?.. Ты же исчез. Я посылала запросы всюду. Ответ один: пропал без вести.

— Пропал — не убит.

— Но все знали, что за таким ответом. Могло мне в голову прийти, что ты скрываешься? Это чудовищно, Паша, какое право ты имел так мне не верить? Господи, я бы примчалась за тобой на край света.

— На тот край света ты бы не примчалась,— сказал он почти спокойно.

— Почему?

— Потому что это действительно край света. Не географически, конечно. Я попытался жить среди нормальных людей. После госпиталя. Когда меня наконец дорезали. В Ленинград я не поехал. Все равно ни родителей, ни сестры уже не было... Конечно, я думал о тебе,— произнес он с усилием,— зачем врать?.. Но и разжевывать нечего, так все понятно. Я решил начать сначала, доказать свое право быть среди двуногих. На равных, хоть я им по пояс. Не вышло... Помнишь, как было после войны? На всех углах поддавшие калеки торговали рассыпными папиросами. Коммерция нищих. Я этим не промышлял, учился на гранильщика. Но стоило зазеваться на улице, мне тут же кидали мелочь или рублевки. Никто не хотел обидеть, напротив, жалели, от собственной худобы отрывали. Особенно бабы, я ведь красивый был, помнишь? Но это меня доконало. Казалось, мне указывают настоящее место. Глупо?..

Она никак не отозвалась. Анна слышала каждое слово, но не пыталась вникнуть в суть, ей важно было лишь то, что скрывалось за

словами. Похоже, он давно заготовил эту исповедь, проговаривал про себя, может, обращаясь к ней, но какое отношение имели эти старые обиды к чуду их встречи? Он хотел что-то объяснить, в чем-то оправдаться — все это лишнее. Прошедших лет не вернуть. Так зачем терять и настоящее?.. А может, он подводит какое-то обвинение против нее? И это лишнее. Все лишнее. Но ему зачем-то нужно выговориться прямо сейчас, словно для этого не будет другого времени. «Паша, — хотелось ей сказать, — опомнись. Это же я, Аня». Но Паша не слышал ее молчаливой мольбы — с задавленной яростью продолжал бубнить о своем падении.

Он тоже торговал вроссыпь отсыревшим «Казбеком» и «Беломором», а выручку пропивал с алкашами в пивных, забегаловках, подъездах, на каких-то темных квартирах-хазах, с дрянными, а бывало, и просто несчастными, обездоленными бабами, с ворами, которые приспособляли инвалидов к своему ремеслу, «выяснял отношения», скандалил, дрался, научился пускаться в дело нож. И преуспел в поножовщине так, что его стали бояться. Убогих он не трогал, а здоровых пластал без пощады. Ему доставляло наслаждение всаживать нож или заточенный напильник в распаленного противника и чувствовать, что он, огрызок, полчеловека, сильнее любой все сохранившей сволочи. Он думал, что в конце концов его зарежут соединенными силами, и не возражал против такого финала. Но обошлось без крови — жалким, гадким, смехотворным позором. Раз к концу дня, по обыкновению на большом взводе, он сцепился с девкой из магазина, поставившей им краденые папиросы. Девка его надула, чего-то недодала, но не денег было жалко, взбесила ее наглость. Он преследовал ее на своей тележке по Гоголевскому бульвару от метро до схода к Сивцеву Вражку. Девка была здоровенная, все время вырывалась, да еще со смехом. А ударить бабу по-настоящему он даже тогда не мог. Так дотацились они до спуска на улицу, здесь он опять ухватил ее за карман пыльника. Она дернулась, карман остался у него в руке, а он сорвался с тележки и кубарем полетел по ступенькам. И тогда он сказал себе: все, это край. И подался на Богояр.

— Хорошая история? — спросил он злорадно.

Она кивнула...

В слившихся воедино людях звучала разная музыка. Ее восторг был любовью, его — любовью и ненавистью. Под искалеченным и мощным мужским телом билась не только любимая плоть, но вся его загубленная жизнь.

Она была почти без сознания, когда он ее отпустил. Но отпустив, он вдруг увидел ее смятое, милое, навек родное лицо, услышал слабый шорох ночных волн, набегающих на плоский берег бухты, чтобы оставить на нем розоватые прозрачные камешки, — все мстительное, темное, злое оставило его, любовь и желание затопили душу. Он сказал ее измученным глазам:

— Лежи спокойно. Усни. Я сам.

...Обхватив голову руками и чувствуя под ладонями вздувшиеся рогатые вены на висках, Скворцов силился понять, что теперь будет и как ему выйти из новой и самой страшной ловушки, которую когда-либо расставляла перед ним жизнь. А ведь их и так было немало, иные захлопывались, но он, как лиса, отгрызал прищемленную лапу и уходил. А лапа потом отрастала. Но сейчас ловушка захлопнулась наглухо, тут не отделаешься частицей тела, не уползешь в укромье, кропя землю густой горячей черной кровью. Но безвыходные положения бывают лишь с согласия человека, а он этого согласия не давал. Если он смог уйти от самого грозно-требовательного, что есть на свете, то справится с любым противником. Иначе грош ему цена. Пашке его не опрокинуть — где доказательства?.. Оговорить можно кого хочешь. На его, Скворцова, стороне десятиле-

тия устоявшейся совместной жизни, дети, дом, прочный быт с кругом обязанностей, привычек, отношений. Она повязана, опутана, привязана бесчисленными нитями, которые удержат стареющую женщину от юных авантур. Не уйдет же она к безногому обитателю инвалидного дома. Но этот безногий был Пашкой, и Скворцов допускал рассудку вопреки, что тут возможно все. Даже самое дикое, нежизненное и не постижимое трезвым дневным сознанием. Она бросит все, наплюет на дом, детей и работу, не говоря уж о нем. За ее утомленностью — громадная энергия... разрушения. Она способна на любой поступок, Скворцов ощущал это тем тонким и чутким местом под ложечкой, где помещается инстинкт защиты; отсюда шли панические сигналы, и лучше довериться им, чем логическим построениям, бесильным перед стихией.

Надо же случиться такому на последней прямой, когда, казалось, все страшное уже миновало и неоткуда ждать удара. Сам виноват — позволил расслабиться чувству самоохраны. Ведь он прекрасно знал, что на Богояре спокон веку находится инвалидное убежище. Правда, говорили, что его куда-то перевели. Следовало проверить это, прежде чем отправляться в сентиментальное путешествие. И почему он был так уверен в Пашкиной гибели? Он исходил из характера Пашки: такие не приходят с войны. Вот он и не пришел — в главном ошибки не было. Следовало учесть, что не прийти назад может и живой. Знать бы, где будешь падать, соломки бы подложил... А так и надо жить, только так — заранее подкладывать соломку. Этим и отличается умный от дурака, ответственный человек от жалкого разгильдяя. На кой черт понадобилась ему эта бессмысленная поездка? В дружную семью поиграть захотелось? Неужели на свете мало вполне безопасных мест? Можно было махнуть машиной в Таллин. Заказать номера в «Виру», там прекрасный ресторан, гриль, даже ночная программа. И никаких искалеченных войной. А если они и есть, то тихо сидят дома, а не путаются под ногами у приезжих. Ладно, мечтатель!.. Думай лучше о том, какую избрать линию поведения. Все зависит от того, что ей там Пашка на врет. Ну, это заранее известно. Доказать ничего нельзя. Все дело в том, кому захочет она поверить. Конечно, она поверит Пашке, если... если захочет поверить. Лучше не тешиться пустой надеждой, а смотреть правде в глаза... Скворцов вдруг заметил, что грызет ногти. Отвратительная привычка детства, от которой он поздно и с трудом отучился, вернулась к нему...

Младший Скворцов наконец очнулся от долгого, по-юношески глубокого и полного сна, не омраченного ни выпитым накануне, ни удивительным приключением, о котором вспомнил сразу, едва продрал глаза. Но странно, сейчас об этой вчерашней истории думалось не только без огорчения или злобы, а с некоторым удовольствием. Он столкнулся с незнакомым, омерзительным (в чем-то и притягательным), опасным миром и считал, что вышел с честью из положения. Он так и скажет ребятам, когда вернется в Ленинград.

Он прошел в ванную комнату, раскрутил кран с горячей водой, пустил бесесый от пара душ и с наслаждением ошпарился кипятком — у него была «обалденно» нечувствительная кожа, чем он очень гордился. Затем пустил ледяную воду; прямо под душем крепко почистил зубы и вышел из ванны бодрый, свежий, в отличном настроении, готовый для новых подвигов...

Его сестра не так легко расправилась со вчерашними впечатлениями. Она даже поплакала, вспомнив об украденной, да нет, нагло взятой у нее на глазах, словно конфискованной брошке. Это была дорогая вещь — подарок отца на совершеннолетие, — хотя она не удосужилась спросить, сколько стоит. Отцу хотелось, чтобы она спросила о цене, но зачем потакать слабостям взрослых? Она же не

собиралась продавать эту брошку. Видимо, уже тогда подсознательно решила подарить ее парходному гангстеру. Обидно, противно, унизительно. Таня улыбнулась. Может, когда она станет такой же старой и потухшей, как мама, она вспомнит о вчерашнем как о смешной, простительной, даже милой ошибке бесшабашной молодости. Надо скопить побольше впечатлений на черные дни старости. Интересно, осмелится ли этот страшный человек прийти вечером в бар? «Осмелится!..» Просто и спокойно придет, как на службу, чтобы обговорить очередную дуру. А может, надо заявить о нем капитану? Хорошо она будет выглядеть!

...Экскурсанты, разбитые на группы и ведомые ошалевшими от скуки гидами, ныряли в глубокие балки, карабкались навздым, делая вид друг перед другом и перед самим собой, что очарованы однообразной флорой острова и останками деревянных церквушек и часовен, поставленных отшельниками, божьими, но крайне неуживчивыми людьми, которым оказалось тесно в пустынности российских пространств. Туристы то и дело поглядывали на часы, словно могли ускорить движение почти остановившегося времени и вернуться на теплоход, где уютные каюты, музыка, телевизоры и водка...

Двое на опушке вернулись из поднебесья, впрочем, женщина, похоже, этого не сознавала, она даже не потрудилась одернуть платье, это сделала мужчина.

— Надо сделать так, чтоб мы уехали вместе,— сказала Анна.

— Не понимаю.

— На нашем теплоходе.

— Куда?

— Ко мне, разумеется.

— Что за дичь?

— А ты как думал? Я тебя не отпущу. Ты пропадаешь слишком надолго. Еще тридцать лет мне не выдержать.— В шутливости ее тона дрожала тревога.

Опустошенного, неизбежная после взрыва страсти, начала заполняться в нем чем-то горьким и недобрым. А ведь только что казалось, что внутри рассосалась старая, с колючими углами затвердевшая. Нет, она осталась, лишь повернулась, сдвинулась с места и легла хуже, неудобнее, больнее. Раньше он мог лишь догадываться, чего лишился, теперь — знал.

— А как же твоя семья? — спросил с усмешкой.

— Ты моя семья.

— Вон что!.. А жить мы будем со Скворцовым?

— Нам есть где жить, Паша. Ни о чем не беспокойся. Это моя работа.

— Видишь ли,— произнес он тягуче,— заботы не только у тебя. Тут есть парнишка; правда, парнишке этому уже за пятьдесят, но он так и не стал взрослым человеком. Почему — я тебе расскажу... Оставь мою руку в покое!.. Его взяли в армию перед самым концом войны, прямо из школы. Он был из таежной деревни с подходящим названием Медвежье. Домой не поехал, сразу на Богояр. В деревне у него оставалась старуха мать. Отец и два брата давно умерли от туберкулеза. А он, хоть и поскребыш, вырос на редкость здоровым, крепким, гладким, кровь с молоком и не хотел, чтобы мать увидела его обручком. Но старая, полуграмотная крестьянка не поверила в гибель сына и отправилась разыскивать его по всей России. Как она жила, где, чем питалась, непонятно, но через три с лишним года появилась здесь. И осталась, ехать им было некуда.

— Ты хочешь сказать, что мне...

— Нет! — отрубил он.— Лучше дослушай. Она устроилась тут



сторожихой. Каждое воскресенье привязывала сына к спине и несла на пристань. Сажала на скамейку, вставляла ему в зубы зажженную сигарету, он дымил, смотрел на людей и улыбался. Близость матери помогла ему остаться пацаном с детской улыбкой, детским взглядом, детской чистотой и незлобивостью. Когда мать умерла, я стал таскать его на пристань. Сейчас он утасует без болезни, без видимой причины. Я не могу его бросить.

— Все поняла. Я останусь тут.

— Ты?.. Здесь не нужны ученые дамы.

— Я была санитаркой на фронте. Пусть он живет как можно дольше, твой дружок. А когда его не станет, мы уедем в Ленинград.

— Как все просто!.. По первому знаку бросить землю, на которой прожил четверть века... Не перебивай! Я отдаю должное твоему великодушию. Ты готова составить мне компанию... Помолчи, говорю!.. Видишь ли, здесь тоже идет жизнь, какая ни есть, но человеческая жизнь со своими заботами, обязательствами, отношениями. Тебе даже в голову не пришло, что у меня может быть женщина.

— Еще бы!.. Я не сомневалась... Смотри, как ты богат, Паша, по сравнению со мной. Я могу бросить все, меня ничто не держит. А у тебя и друзья, и обязанности, и любимая женщина.

— Я не называл ее любимой — ни тебе, ни ей. Но она терпела меня почти десять лет. И, сама понимаешь, не за богатство и положение.

— А я терпела без тебя — тридцать. И нечего ею восторгаться. Любая баба предпочтет тебя кому угодно.

— Да, лакомый кусок! — сказал он, не поддаваясь ее интонации. — Первый парень на Богояре. Так что видишь, нас голой рукой не возьмешь. Мы тут гордые. А ты, Аня, возвращайся домой, в свою жизнь.

— Ты больше не любишь меня?

Она зашлась громким плачем и на мгновение ему почудилось, что она актерствует, притворяется. Он тут же устыдился своей низкой подозрительности. Будь добрым, в этом больше достоинства и силы.

— Я люблю тебя и всегда любил, ты сама знаешь. Нам крепко не повезло. Что поделаешь, Леше из Медвежьего не повезло еще больше, но даже и он не самый несчастный. Все-таки мы увиделись. Я дождался тебя. Круг завершен. Сегодняшнее не принадлежит действительности. Так не бывает. А тут случилось и останется в нас...

— Скоро кончится эта проповедь? — Она только сейчас поняла, что за его словами не жестокий каприз калеки, а принятое решение. — Зачем ты прячешься за словами? Ты просто боишься оторваться от этого берега, боишься перемен, большой жизни, от которой отвык.

— «Боишься» — это чтоб оскорбить? Ни черта я не боюсь. Скажи: «Не хочешь» — и ты права. Не хочу я вашей жизни, вы к ней привыкли, вработались, а я нет. Думаешь, там, на пристани, я ничего не слышал, не видел?.. Зажравшиеся и вечно ноющие мещане — вот вы кто!.. Где морда, где задница — не поймешь, а все ноете, что с продуктами плохо. И запчастей не достать. И гаражи далеко от дома. С души воротит. Нет, не хочу я твоей «большой» жизни, мне в ней тесно будет.

— Жизнь разная, Паша.

— Под этим подписываюсь. Мы свое сделали, другие продолжают работу. Но за ними мне не угнаться, а с другими — не хочу. Твое окружение наверняка из тоскующих по запчастям, шиферу, заграникам и прочей тухлой муре. Да ну вас всех к дьяволу! Мы вас не трогаем, оставьте и нас в покое. — Плотину прорвало, и, махнув рукой на все благие намерения, он заорал: — Не хотим!.. К чертовой матери!.. Зачем ты сюда притащилась, кто тебя звал?..

— Ты, Паша,— сказала она беззлобно.— Ты, родной.

— Ладно...— Он перевел дыхание.— Меня занесло. И все-таки это не такая чушь, как тебе кажется. Когда-нибудь поймешь.

— А я уже поняла. Ты не хочешь в Ленинград. Хочешь здесь остаться. И я с тобой.

— Да, много ты поняла!..

Он смотрел на ее любящее покорное лицо, на загорелые, округлые, но уже немолодые руки, на поцарапанные травой ноги, смятую юбку, и его раздражало решительно все в ней: и молоджавость, и пятна возраста, и доверчивая неприбранность, и золотая цепочка на шее, и покорность глаз, готовность повиноваться каждому его слову, только чтоб он не требовал разрыва. Он раздавил, как окурок в пепельнице, вновь нахлынувшее раздражение, голос его прозвучал сердечно:

— Прощай, Аня. Спасибо тебе за подарок. Я этого никогда не забуду.— И, отвернувшись, взмахнул утюгами и послал вперед свое тело.

Анна не пошевелилась. Она не верила, что он может уйти. И Корсар не верил, он тоже остался на месте, лишь приподнял голову и наострил одно ухо, другое, перебитое или перекушенное, висело бессильно. А Паша все кидал и кидал свои утюги, мощно бросая себя вверх и вперед — каждый бросок был куда больше человеческого шага. Анне представилось, что он вознесся над землей, к которой его так низко прибило, и летит по воздуху прочь от нее, е рук и губ, ее любви и преданности, удирает, не поняв осенившего их чуда. Неужели так непроглядна тьма в его душе?.. Корсар первый прозрел правду, он шумно выдохнул воздух и помчался за хозяином.

Анна тоже вскочила и побежала. Но ее завернуло сперва на болото, а когда выбралась из кисло-смердной топи, на вырубку, то сбросила каблук о толстый корень. Она сбросила туфли, побежала босиком. Но укололась, оступилась, зашибла пальцы, захромала и поняла, что ей не угнаться за Пашей, который далеко-далеко впереди летел над белесой дорогой темным, все уменьшающимся шариком.

И Павлу казалось, что он летит. Толкнись чуть сильнее, собери потуже тело — и ты вознесешься под облака, увидишь весь остров с пристанью и белым теплоходом, который в последний раз приплыл сюда для тебя. Он был доволен собой. Получалась великолепная мужская игра: он взял женщину, которую когда-то любил, получил со Скворцова по старому долгу и не дал себя захмутать. Он пожалел ее детей, пусть живут, не зная, что отец их трус и подлец. Он снова остался на посту, как много лет назад, верный долгу и приказу, отданному на этот раз не белобрысым мальчишкой-лейтенантом, а своей собственной совестью.

А ребята, конечно, заметили, как он удалился в лесок с приезжей, думал Паша, летя над Богояром. Небось ждут не дождутся молодецкого рассказа. Здесь не знали зависти, любая удача одного становилась удачей всех, подтверждая общую жизнеспособность. Но когда он пришел в палату и на него накинудись с жадно-насмешливыми вопросами, он сказал серьезно и укоризненно:

— Бросьте, ребята... Это сеструха.

Все сразу замочали. Не потому что поверили, но Паша был командиром, атаманом, паханом и его слово — закон...

...Анна с силой распахнула незапертую дверь каюты. Скворцову показалось, что она пьяна: почему-то босиком, кофточка выскочила из жеваной юбки, подол измаран землей, волосы растрепаны, лицо бледное, мятое и сырое, как после слез.

— Что с тобой?.. В каком ты виде?..

— Я была с Пашей,— объяснила она свой вид.

Скворцов принял откровенность за цинизм, это придало ему смелости.

— Я видел его. И не хотел мешать. Я не допускал, что моя жена может настолько потерять себя.

— А пошел ты...— устало произнесла Анна и тяжело опустилась на койку.

— Что он тебе сказал? — Скворцов понял, что случилось самое худшее, и голос его сорвался в придушенный крик.— Что он тебе сказал обо мне? Какую грязную ложь?

Она поглядела на него искоса, в мглистом взгляде он прочел свой приговор.

— Я знаю... Клевета ходит торными дорожками. Он врал тебе, подонок, что это я ушел, а он остался? В точку?

Она повернулась к нему, лицо ее стало здешним, присутствующим.

— Он мне ни слова не сказал...

— Как не сказал? — Во рту пересохло. Скворцов облизал небо, десны, губы.

— А почему, собственно?.. Господи, теперь я понимаю!.. И как могла я, дура окаянная, поверить, что Паша!.. Конечно, это ты ушел, трус, предатель. Бросил товарища, чтобы спасти свою шкуру. И Пашка стал калекой, а я несчастной на всю жизнь.

— Ты бредишь? — пробормотал Скворцов.

— Ловко придумал!.. Ничего не утверждал, а тень навел. И все ускользал от прямых слов... щадил память товарища. Я попалась и замолчала. И почему-то поверила в Пашкину смерть... Ох, ты знаешь людей, по-подлому, но знаешь. А вот столкнулся с благородством и сам себя в дерьмо усадил. Как же я тебя ненавижу!..

Скворцов молчал. Возражать бессмысленно. Он попался как последний идиот. Нет хуже иметь дело с такими, как Пашка, никогда не знаешь, что они выкинут. Могло прийти в голову, что калека будет молчать? Ведь это его единственный реванш. Преподнести женщине, что она живет с предателем, шкурой, трусом. А он вовсе не был ни трусом, ни предателем. Просто не захотел обреченно, как бык на бойне, ждать смерти. Пашка из породы рабов. Ему приказали — и все, собственная воля и мозг отключены. А в нем нет этого рабьего, он понял, что о них или забыли, или белобрысый лейтенант сыграл в ящик. Сколько могли держать два человека? У них оставалось по одному диску, на что тут рассчитывать?.. В нем была воля к жизни, а в Пашке не было. Ему не повезло, он наткнулся на немцев, не успел содрать автомат с шеи, но ведь он мог выйти к своим и спасти Пашку. Глядишь, стал бы шафером с бантом на Пашкиной свадьбе. Чудесная картина! Всю жизнь мечтал стать благодетелем. А по ночам кусал бы пальцы. Спасибо!.. «Кто падет, тому ни славы, ни почета больше нет... Доля павших — хуже доли не сыскать». Это знали даже в самую героическую эпоху липовой истории человечества. Но Пашка не пал — вот в чем загвоздка. Явился с того света, чтобы изгадить ему жизнь. Нечего на Пашку валить. Тот промолчал, скрыл правду, непонятно почему, но скрыл. Сам проболтался, истерик. Не выдержали нервишки. Как дальше будут развиваться события?.. Она на борту — это главное. Теплоход уже отчаливает. Запомнится тебе Богояр, на всю жизнь запомнится, хотя ты даже на берег не сошел.

Анна, слепо глядевшая за окно, обнаружила какое-то движение. Они покидали Богояр. Но остров не отдалялся, они шли вдоль берега. Над верхушками сосен возник деревянный, цветом в белую ночь купол с крестом — какая-то церковь. Очевидно, они оплывают остров, чтобы дать туристам более полное представление о Богояре. Она поднялась и вышла из каюты. Скворцов удержался от совета накинуть плащ.

Анну сейчас лучше не трогать. Но как ему распорядиться собой? Торчать в каюте скучно, тягостно и вредно — даром изведешь себя

кружащимися вокруг одной точки мыслями. Надо скинуть наваждение. В трудную, быть может, в самую трудную минуту жизни он должен быть со своими детьми. Никто не знает, что выкинет эта женщина, она может внести страшный хаос в их жизнь, изобразить разрыв, уход, навести великий срам на семью, они должны сплотиться — не против нее, боже упаси, а против тех разрушительных сил, что в ней пробудились. Конечно, он ничего не скажет детям, просто надо быть вместе. Самое страшное все-таки не случилось — она уехала с ними. Победило элементарное благоразумие. Это давало надежду, и весьма серьезную. Обвинения, оскорбления, унижения, угрозы — сорный смерч, взвешанный с обиженной и слабой души, — не пугали. Скворцов знал: люди охотно считают тебя тем, за кого ты себя выдаешь, при одном условии — чтобы ты сам в это верил. Даже испытывая серьезные подозрения в надувательстве, они с умильной покорностью продолжают играть в тебя такого, каким ты себя подаешь. И это распространяется даже на самых близких. Видимо, человек бессознательно экономит душевную энергию, которой у него не так уж много, — идти наперекор в чем бы то ни было изнурительно, сложно, такой расход сил оправдан лишь важной целью. Скворцов уже ощущал себя благородным страдальцем, чья единственная вина — беззаветная любовь (тут была крупица истины); он не оставил бы Пашку, если б не Анна. Там, на последнем краю, ему мелькнуло, что он должен разыграть собственную карту. Инстинкт самосохранения тут ни при чем. Он шел к Анне!.. Женщина простит любое преступление, если оно совершается во имя нее. А тут и преступления нет. Он мог погибнуть, а Пашка уцелеть. Они уцелели оба, каждый со своими потерями. Но он притаился к Анне, а Пашка не поверил ей. Конечно, надо все додумать, чтобы сходились концы с концами, но важнейшее найдено: он знает, какого себя должен навязать Анне. Сам он уже вошел в образ и чувствовал себя достаточно уверенно. А сейчас белая рубашка, галстук, твидовый пиджак — и к детям...

Моторы работали бесшумно, ход большого белого теплохода был так тих и плавен, что казалось — он стоит на месте, а медленно поворачивается остров, давая обозреть себя со всех сторон. Была в этой малой земле посреди огромной бледной воды печальная тайна, которую она привыкла укрывать от чужих глаз. Когда-то тут были скиты отшельников, пробиравшихся сюда с великими тяготами из необжитой России в поисках последнего могильного одиночества; они зарывались в чащу и тишину, стараясь не знать о существовании друг друга, но недолго был их покой — едва начавшему осознать себя молодому государству понадобился этот остров как оплот против северных ворогов (почему-то народы не могут быть просто соседями), оно прислало сюда крепких мужиков: монахов и трудников, — поставивших монастырь-крепость. Минули века, опустел монастырь и, как всякое оставленное вниманием человека становище, стал быстро разрушаться; и тут его призвали для новой службы: стать убежищем отшельников середины нынешнего века, отдавших последней опустошительной войной больше чем жизнь.

Анна думала о монастыре, но почему-то не ждала, что увидит его, да еще так близко. Ей казалось, что монастырь находится в глубине острова, в лесном окружении, а он стоял на самом берегу, на другой от пристани стороне. Его кремль спускался к воде, лижущей подножие крепостной стены, а собор, службы и жилые постройки расположились на взлобке. Анна видела колокольню с темными немymi дырами там, где прежде благовестили колокола, храм с порушенным, возглавием, длинное здание под новой железной крышей и живыми окнами, еще какие-то постройки, то ли восстановленные, то ли заново возведенные; потом открылся край двора с развешанным для просушки бельем, почему-то не снятым на ночь, с гаражом и сараями, пере-

вернутой вверх колесами тачкой, ржавым воротом и поверженным опорным столбом. Она жадно вбирала в себя скудные знаки непрочитываемой жизни и вдруг всей заолодевшей кожей ощутила, что это Пашин мир, что Паша, живой, горячий, с бьющимся сердцем, синими глазами, сухой смуглой кожей,—рядом, совсем рядом. Их разделяла лента бледной воды шириной не более двухсот метров, совсем узенькая полоска суши, ворота, которые откроются на стук, двор... Она прекрасно плавает, Паша сам ее научил. Он затаскивал ее на глубину и там бросал, преграждая путь к берегу. Приходилось шлепать по воде руками и ногами — плыть. Она оказалась способной ученицей. Какие заплывы они совершали! Чуть не до турецких берегов. Боже мой, как легко все может решиться: он не выгонит ее, если она, мокрая, замерзшая, постучится в его дверь. А все остальное как-то образуется. И Пашиной женщине придется смириться, Анна была первой, та поймет это, наверное, она хорошая женщина.

Анна сбежала на нижнюю палубу. Только бы ей не помешали. Но кругом — ни души. Пейзаж всем осточертел, а теплоход был набит удовольствиями, как мешок деда Мороза подарками, и хотелось до конца использовать часы безмятежного досуга. Она тяжело перелезла через барьер и, сильно оттолкнувшись, прыгнула в воду. Ее оглушило, ожгло холодом, но она вынырнула, глотнула воздуха и, налегая плечом на воду, поплыла к берегу, к Паше. Теплоход отдалялся медленно, он был грозно огромен, на берег же, как учил Паша, смотреть не надо — он не приближается. Руки и ноги были как чужие, плохо слушались, озеро совсем не прогрелось солнцем. Да ведь тут близко!.. Холод проник внутрь, стиснул сердце. Она хлебнула воды и хотела позвать на помощь, но остатками сознания поняла, что этого нельзя делать, потому что тогда ее не пустят к Паше. Она не знала, что на теплоходе прозвучал сигнал «человек за бортом» и уже спускали шлюпку, куда прыгнули вслед за матросами капитан и судовой врач.

В баре, где Скворцов сидел со своими детьми, ничего не знали о тревоге. Видимо, ребята «сильно поиздержались в дороге», поскольку втроежение отца в их тщательно оберегаемый мир было принято весьма милостиво. Скворцов терпеть не мог все это: приторные, крепкие напитки, оглушительную жесткую музыку, корчащихся в пляске святого Витта потных, с глупыми остервенелыми лицами молодых людей,— но источал благосклонность. А потом он обнаружил на танцевальном круге гибкую брюнетку, за которой приятно было следить. Его сын, танцевавший с художавой девицей в белых обтяжных джинсах и полосатой маечке — Париж, Рим, Копенгаген! — с усмешкой подмигнул брюнетке. Та не отозвалась, вскинула голову, но Скворцов мог бы поклясться, что Паша знает ее, и даже весьма близко. Он позавидовал простоте нынешних отношений... Удивлял избранник дочери: громадный простоватый детина с модно длинными волосами и лапищами молотобойца. К Скворцову он испытывал большое почтение и, прежде чем опрокинуть в себя очередную бурду, непременно с ним чокался. Скворцов объявил, что сегодня угощает он, это задело самолюбие молотобойца, но спорить с пожилым человеком он не посмел, а, отлучившись к стойке, принес четыре плитки шоколада «Золотой ярлык» и куль с апельсинами. Сам он шоколад не употреблял — чесался от него до крови,— а от цитрусовых, как он называл апельсины, покрывался сыпью.

— У вас аллергия,— утешил его Скворцов.— Сейчас это модно...

Судовой врач прижал пальцами веки Анны и держал некоторое время, чтобы глаза не открылись. Она не захлебнулась — остановилось изношенное сердце. Конечно, это не было самоубийство, женщина видела спасательную лодку, но упрямо плыла прочь от них, к берегу. Зачем?..

Капитан думал: почему именно в его рейс должно было произой-

ти ЧП? Ведь за все годы, что существует маршрут Ленинград—Богояр, лишь однажды пьяный свалился за борт, но был благополучно вытасчен. А это случай с летальным, как выражаются медики, исходом. И что ее дернуло?.. Приличная женщина, доктор наук, солидный муж, дети... За нее крепко спросится. Конечно, он тут ни при чем. Но ведь должен кто-то отвечать. И главное, в пароходстве начнут тадычить: «Почему именно с тобой это случилось?» А правда, почему именно с ним?.. Не потому ведь, что в молодости он дважды из лихости, из подражания легендарному черноморцу Маку, в которого были влюблены все молодые капитаны, дважды поцеловал причал?.. Конечно, его накажут. Но пройдет время. Все вернется на круги своя, и он снова будет в порядке, не вернется лишь эта женщина, которой врач наконец-то сумел закрыть синие удивленные глаза...

Павел проснулся, как всегда, первым. Привычно спертый воздух — инвазиды ненавидели открытые окна, берегли тепло. Тяжелое дыхание, храп, стоны, вскрики смертной боли. Этим озвучен сон искалеченных, самый крепкий и сладкий утренний сон. Они вновь в бесчисленный раз переживали в сновидениях, в точных или затуманенных, искаженных образах миг, на котором обломилась жизнь. В черепных коробках рвались бомбы, снаряды, мины, скрежетали стальные гусеницы, обдавала жаром раскаленная броня, оплавлялась в огне человечья плоть. Им снились госпитали, послеоперационное опаматование в кошмар: тебя прежнего нет, от тебя осталось... Днем они вели себя, как все люди: улыбались, шутили, вспоминали, радовались, тосковали, ругались, спорили, курили, ели, пили, отдавали переработанную пищу — кто сам, кто с чужой помощью, к последнему невозможно было привыкнуть, — читали, слушали радио, смотрели телевизор и болели за футболистов и хоккеистов, писали жалобы в разные инстанции, собирали корешки, грибы, кто рыбачил, кто старался по хозяйству, другие работали в небольшой артели по желанию и возможности, иные урывали у любви — ночью их души погружались в ад.

Павел привычными, отработанными движениями скинул тело с койки и угодил прямо на свою кожаную подушку. Он заспался, шел уже седьмой час, надо быстро помыться, побриться, натянуть штаны, подвернуть брючины, хорошенько привязаться к подбою из толстой кожи — и в путь. Поест он на пристани, у него от вчерашнего дня осталось два куска хлеба с баклажанной икрой.

Сквозь духоту до него долетел тонкий аромат, напомнивший о ночных фиалках, которые здесь не росли. Откуда такое? Запах усилился, окутал Павла со всех сторон, заключил в себя как в кокон. Его собственная кожа источала этот запах — память о вчерашних объятиях. Значит, Анна уже была!.. И ожил весь вчерашний день. Он ее прогнал. Теперь все. Незачем тащиться на пристань. Он свободен от многолетней вахты. Это почему же? А если она вернется? Она пришла через тридцать с лишним лет, вовсе не зная, что он находится на Богояре, так разве может не прийти теперь, когда знает его убежище? Рано или поздно, но она обязательно придет. Он должен быть на своем посту, чтобы не пропустить ее. Только сегодня это ни к чему. Сегодня она уж никак не вернется. Ее теплоход только подходит к Ленинграду, а другой теплоход отплыл на Богояр вчера вечером. Но кто знает, кто знает!.. Раз поленишься — и все потеряешь. Ходить надо так же, как ходил все эти годы, к каждому теплоходу, пока длится навигация.

Через четверть часа он уже мерил своими уютками дорогу, а сзади бежал Корсар. В положенный час Павел был на пристани на обычном месте, у валуна. Прямой, засгывший, с неподвижным лицом и серо-стальными глазами, устремленными в далекую пустоту. Он ждал,

Ждет до сих пор.

---

---

ВАДИМ РАБИНОВИЧ



ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Трижды вещего гласа сильней  
Было слышно у края обрыва:  
Как безумно молчал соловей,  
Но бездумно горланила рыба.  
Все, молчать от рожденья кому  
И кому распевать от рожденья,  
Преподав непостижность уму,  
Поменяли свои назначенья.

Солнце черным пошло в три  
каймы,  
Гул пошел, как потом отмечали.  
Но сомкнутые губы мои  
Предпочли, сберегли, умолчали.  
И последнее слово за мной  
Оставалось. И ныне томится...  
Празднословие рыбы немой.  
Немота очарованной птицы.

РУССКИЕ ТИТРЫ К ГРУЗИНСКОМУ ФИЛЬМУ  
«НЕ ГОРЮЙ»

Ах, эти праздничные лица  
Там, за калиткою резной.  
Звенит бубенчик, золотится —  
Навек прощается со мной.  
«Отмаялся», — плывет улыбка.  
«Отгоревал», — ведет баян.  
«Отмучился», — лепечет скрипка.  
«Отпал», — хохочет барабан.  
Ах, как там веселы и пьяны!  
Эстрадно-траурный оркестр —  
Бубенчик, скрипка, два баяна —  
Обуревают все окрест.  
Ах, веселитесь! Иль не рады?  
Припомнить следует потом

Красивые мои рулады,  
Высокие мои тирады  
И все мои Об Стенку Лбом:  
Бим-бам, бим-бом.  
Бим-бам... Впустую. Вхолостую.  
На вечный отнесут покой  
В тяжело-черную, сырую  
Под бело-розовой плитой.  
Не голосили, не стенили,  
Лишь астры весело взлетали,  
Как мотыльки на свет идут.  
Родился — реквием сыграли.  
А умер — песенки поют.

ПОСЛЕДНИЙ МИРАЖ

Май стоял. Весна в окно  
ломилась.  
И сирень вставала под окном.  
А старуха наша все молилась,  
Об дощатый пол стучала лбом.  
Приготовившись в иную жизнь,  
Смертное старуха собирала,  
Миткаля три метра покупала,  
Приготовившись в иную жизнь.  
А еще в зеленый сундучок,

Под замочек на три поворота,  
На косынку ситцевый клочок,  
Образок сусальной позолоты,  
Тапочки на кожаном ходу,  
Ленточку с евангельской  
строкою  
Уложила сухонькой рукою  
Начинать заgrabную судьбу.  
В дальнюю дорогу собралась,  
В мир иной, певучий и высокий.

Глянула вокруг голубооко,  
 Медленно утрачивая связь  
 С этим небом, с этою землей,  
 С этой вот под окнами сиренью...  
 Был в ее очах такой покой...  
 Слова не найду сказать какой  
 И какое умиротворенье.

И всем нам, кто оставался жить,  
 Стало жутко. А старухе быть  
 В райских кущах. Вера в том  
 подмога.  
 И, должно быть, лицезрела бога,  
 Перед тем как веки ей смежить.

\* \* \*

Темной ли ночью, в свете ли дня  
 Глаз не смыкаю.  
 Не отнимайте ее у меня! —  
 Всех умоляю.  
 Все обходите ее за версту,  
 Глянуть не смея  
 На призрачную ее красоту  
 Снега белее.  
 За угол. За полночь. В сторону. Прочь.  
 Мимо, прохожий.  
 Все, кто до счастья чужого охочь.  
 Да и вы тоже.  
 Потому что глянете — и конец —  
 Неосторожно.  
 Потому что уведете ее под венец.  
 Да и она тоже.  
 Потому что мысли ее легки, как трава.  
 В дым. В однолетье.  
 Потому что говорит она птичьи слова —  
 Одни междометья.  
 Что мне осталось? Осталось мне что?  
 Встать на колени...  
 Не отнимайте ее у меня.  
 Не отнимайте!

### ВОСПОМИНАНИЕ О ВЕНЕЦИИ

*Венеция венецианкой  
 Бросалась с набережной вплавь.*  
 Венецианку звали Бьянкой.  
 То ль сновиденье, то ли явь?  
 Была иль нет? Белела арка.  
 У славных дождей на виду  
 Плыла в обход святого Марка.  
 И я в обход за ней пойду.  
 Иль не была? Лишь промельк  
 знака  
 В мозгу впечатался тогда  
 Строкой поэта Пастернака:  
 Венецианка и вода.  
 Реальность и литература.  
 Правдоподобье и мираж...  
 Лишенная души натура,  
 Лишь взятая на карандаш?  
 Иль вымысел живей живого

И жизни жизненной живей,  
 Когда весь мир, ушедший  
 в Слово,  
 С той набережной вплавь  
 за ней?  
 Легка, но и тяжелодланна  
 Поэта верная рука.  
 Венецианочка Биана,  
 Взрезающая облака,  
 Что сбились возле волнолома,  
 Как скрученный белесый дым...  
 Прошла сквозь влагу голубого  
 Лучом легчайше золотым.  
 Из всей Венеции запомнил —  
 И даже из Италии всей —  
 Лишь только ту венецианку,  
 Что с белой набережной вплавь.



---

---

ВИТАУТАС БУБНИС

★

## ЧАС СУДЬБЫ

Роман

Глава первая

Сейчас он, пожалуй, не сказал бы, о чем думал, глядя на дрожащие горные хребты. Слепило белое солнце Пиренеев, лицо оведала терпкая духота чахлой травы и раскаленных утесов; зной обжигал глаза, отяжелевшие веки ныли, но взгляд, словно удирающий от ястреба голубь, метался над корявыми сосенками и запыленными кустами терновника, над красными крышами домишек, уютно расположившихся в долине, над поблескивающей прохладным серебром рекой. Глаза стремились охватить как можно больше, даже то, что скрывалось за каменным зубчатым горизонтом. Между далеким прошлым и этим днем была какая-то связь, но она путалась и рвалась. И тогда ударила мысль: скорей бы вернуться домой! Хочу домой...

Что же напомнило о доме? Почему тоска по нему, казалось расшата с детских лет, обожгла сейчас сердце? Хочу домой...

— Саулюс! — Голос прилетел от бетонной стоянки автомобилей, растворился в мерцающем воздухе. Чужой голос, произнесший его имя. — Саулюс, поехали!

Он сделал шаг в сторону, медленно повернулся.

Все уже сидели в автомобиле. Саулюс устроился рядом с Беатой.

— Аš noriu namo<sup>1</sup>, — сказал по-литовски.

Беата покосилась с любопытством, тронула за руку. Руку Саулюс отнял, когда заворчал двигатель, посмотрел в окно и прочитал на белой стене дома: «Bar. Ibardin. En España»<sup>2</sup>. Вспомнил, что купил сувенирную безделушку. Достал из кармана разноцветный бумажный мешочек с миниатюрной каравеллой, поставил ее на ладонь. Саулюс сжал пальцы, острые мачты и надутые ветром металлические паруса каравеллы вонзились в ладонь...

Не раз он ездил по Союзу и зарубежным странам — проводил в дороге месяц, а то и больше, — но никогда еще так остро не скучал по дому. Самое странное, что это случилось с ним в час, когда сбылась мечта — ведь уже не надеялся увидеть Пиренеи, окинуть взором эту каменистую страну, о которой знал не только из книг. Еще ребенком слышал: «Здесь люди бедствуют, но крови они горячеей, все как один за республику сражаются...» А подростком Саулюс, тайком достав из маминого сундука письмо, сам прочитал эти слова, и далекая жизнь показалась ему сказкой. Снова мелькнули эти слова, когда

Журнальный вариант.

<sup>1</sup> Я хочу домой.

<sup>2</sup> «Бар Ибардин. В Испании» (исп.).

он оказался лицом к лицу с горными хребтами и совсем близкой Испанией. Подумал, что надо бы сделать хоть несколько набросков, но не мог оторвать взгляда. И лишь поздним вечером, лежа без сна в номере «Континентала», решил, что тоска по дому не что иное, как желание побыстрее засесть за работу. Подумал и о Дагне. Чувствовал за собой вину, слишком уж часто закрывается у себя в мастерской, не находит минуты, чтобы поговорить с женой по-человечески, просто посидеть вместе. С друзьями и то больше времени проводит. Конечно, виноват, вернувшись, все начнет сначала. Почему все сначала? Испугался этой мысли. Но ведь будет же новый этап и в творчестве и в жизни. Саулюс верил в это. Да, будет! Новый этап! Должен же он начаться хоть когда-нибудь. Революции, перевороты совершаются не только в государствах, но и в людях. Саулюсу казалось, что этот час уже близок. Неизбежно дрогнет фундамент крохотного государства его «я». Перед глазами мелькнула Беата. За эти три дня она стала на удивление близкой, словно знал ее давно и сюда ехал лишь для того, чтобы встретиться с ней. Почувствовал жаркое прикосновение руки Беаты, ее озорной взгляд... И снова подумал о жене...

Да, да, Саулюс, ты мчался из этого путешествия домой сломя голову, собираясь все начать сначала. Нетерпеливо ждал такси, и когда женщина с ребенком села без очереди, принялся доказывать, что у нее нет права, потому что ребенок не грудной. Потом сам на себя рассердился: стоит ли портить себе настроение? Ведь тебя ждет праздник, торжество по случаю твоего возвращения; в комнатах прибрано, в вазах свежие цветы, в холодильнике бутылка сухого вина, торг. Ваш с женой праздник. Хорошо возвращаться, когда тебя ждут. Трехнедельная разлука сдувает пыль повседневности, стирает с лица старые, поднадоевшие морщинки и рисует новые, невиданные еще и потому дорогие. Да и сам ты становишься лучше, словно в детстве, когда возвращался из костела; и другие хорошеют, даже в привычных одеждах выглядят праздничнее.

Дагна открыла дверь сразу же — казалось, стояла в прихожей и ждала звонка. На лестничную площадку не выбежала, попятилась на несколько шагов. Саулюс, входя, задел плечом за косяк, пошатнулся, захлопнул за собой дверь. Чемодан с глухим стуком опустился на коврик.

— Вот и я...

Ждал, что Дагна бросится к нему, обнимет и, глядя влюбленными глазами, шепнет: «Родной ты мой...» Как раньше, когда он возвращался. Как всегда. Правда, случилось, что незамысловатые слова жены, полные преданности, звучали укором и Саулюс думал, что недостойн ее любви, и по-детски клялся в душе: «Чтоб я хоть раз еще!.. Господи, ведь нет на свете женщины лучше ее!»

Хлынувший из гостиной вечерний свет струился по плечам Дагны, трепетал в темных пушистых волосах. Хотя лицо жены было погружено в тень, Саулюс видел бледные щеки, их бархатистость. И четкие дуги бровей, прочерченные как бы второпях — одна выше, другая ниже. И губы, приоткрытые для бесценных слов: «Родной ты мой...» Только глаза скрадывал полумрак.

— Вот и я,— повторил и вдруг испугался: то ли своего пригасшего голоса, то ли тишины, которая показалась грозной и такой долгой.

Поднял руку к выключателю, захотелось увидеть ее глаза. Но надо было сделать шаг вперед, и Саулюс забыл про свет, схватил Дагну за плечи, привлек к себе. Дагна прохладными губами коснулась его щеки около уха, прижалась лбом к груди, и Саулюс обеими

руками, крепко держащими женщину, ощутил, как что-то содрогнулось в ее легком напрягшемся теле.

— Дагна,— сказал Саулюс, отгоняя это наваждение,— никуда я больше не поеду и тебя одну не оставляю. Последний раз, Дагна.

Это не были только красивые слова. Саулюс, конечно, мог выразиться точнее: в ближайшие годы никуда не поеду. Или еще точнее — не поеду потому, что должен работать, работать. Но разве не приятно женщине, когда будничную необходимость освещаешь легким светом любви?

Дагна мягко высвободилась из его жестких рук, повернувшись, ушла в гостиную. Она похудела — Саулюс заметил, что темный цветастый костюмчик жены стал свободнее в талии. Но почему надела этот костюмчик, словно собралась уходить? Или она только что пришла? Наверно, бегала в парикмахерскую. Дагна всегда встречала его принарядившись — та самая девчонка, что ждала его семнадцать лет назад в Каунасе, в дубовой роще, на желтой скамье.

На шоколадного цвета столике — телеграмма. Саулюс не взял ее, знал — это от него: «В пятницу около девятнадцати часов буду дома. Жди. Целую».

— Утром принесли?

— Час назад.

— Только?! Ведь я вчера из Москвы... Конечно, мог вечером сесть в поезд и утром был бы в Вильнюсе. Но ты на работе. Неприятно возвращаться в пустой дом.

Саулюс устало опустился в кресло, всем телом ощущая благодать семейной обители, которая струилась от дивана, столика с газетами, от стен, увешанных собственными и приятелей этюдами, от телевизора, освещенного закатным солнцем. Хотелось откинуть голову и зажмуриться, блаженствуя: вот ты и дома, тебе же так хотелось домой («Я хочу домой» — там, в горах, ты услышал этот голос — свой... а может, не свой голос?) — и ты наконец здесь. Вдохни поглубже, и тогда усталость пройдет, ты сможешь встать и крепко стоять на ногах. А вы все сторонитесь, сторонитесь и ты, Дагна, и ни о чем меня не спрашивай, потому что все сплошная чепуха, суета сует — я должен... я сделаю... Ведь если и сейчас себя не пересилю, то грош мне цена, брось в меня камень как в последнего грешника...

— Тяжелая была поездка?

Руки Дагны — на сомкнутых коленях, сама она подалась вперед, кажется, вот-вот вскочит с краешка дивана.

— Тяжелая? Почему тяжелая?

— У тебя такой вид...

— Когда-нибудь расскажу.

— Кофе принесу.

Саулюс стиснул поручни кресла, дерево застонало, выскочила лакированная дощечка. Поглядел на нее растерянно, хотел отшвырнуть, но тут же вставил в пазы, пристукнул кулаком — он аккуратный хозяин, и каждая вещь должна быть на своем месте.

Вернулась Дагна с серебряным подносом. Запахло кофе. По краешку чашки дзинькнул носик кофейника.

— Что с тобой?.. — Саулюс растянул губы в улыбке и тут же замолк: как он раньше не заметил скорбных глаз Дагны, страдальчески поджатых губ? И этих морщинок... нарисованных только что...

Саулюс поднял бокал белого вина, не спуская глаз с Дагны. Тревога закралась в сердце, холодила, стискивала его. Дагна не выбежала из двери навстречу ему, не обняла в прихожей, не прошептала: «Родной ты мой...» — не посмотрела преданными глазами ни в первый миг встречи, ни потом... ни сейчас... Как мог Саулюс быть таким слепым? «Ты поразительно ненаблюдателен», — поговаривала Дагна. Да он же постоянно занят, погружившись в собственный мир. Но сейчас...

Как он мог не заметить сейчас, перешагнув порог после трехнедельного отсутствия?..

Не чувствовал вкуса вина. Перед глазами мелькнули солнечные виноградники Сент-Эмильона на юге Франции и холодные винные погреба, запотевшие хрустальные бокалы и влажные губы Беаты. Но тут же все исчезло и захотелось спросить: что с тобой, Дагна, что случилось? Однако не спросил, почему-то медлил. Наполнил свой бокал и снова сказал:

— Я часто заставлял тебя ждать, но поверь, Дагна, больше не придется...

Дагна подняла руку, умоляя помолчать. Пальцы сжались, кулачок в бессилии упал на колени.

— Несколько раз я начинала писать тебе письмо.

— Ты же не знала адреса.

— Письмо ты нашел бы на этом столике.— Плечи вздрогнули, Дагна испугалась своих слов, они так дико прозвучали в этот долгожданный час.— Начинала и рвала. Лучше словами... Теперь вижу — и словами не смогу.— В серой, пригасшей голубизне глаз тихая мольба — понять.— Права была твоя мама, когда говорила: «Боюсь, как бы вы не усохли, оторвавшись от пня...»

Снежный обвал обрушился на Саулюса, смял, увлек, поволок в пропасть.

— О чем ты, Дагна? Почему вдруг вспомнила мою маму и эти наивные слова?

— Тогда нам ее слова и впрямь казались смешными. Но сейчас... Саулюс, мы с тобой не можем... ты и я... жить.

Саулюс, съжившись, оглянулся на балконную дверь, словно кто-то прятался за ней. Открыть... Однако не встал, только мотнул головой, унимая сковавшую горло судорогу.

— Подумай, Дагна...

— Я думала.

— Но почему?.. Почему, Дагна?

Глаза Дагны спрятаны под длинными ресницами; она прижала кончики пальцев к вискам, перламутровые ногти блестят, как драгоценное ожерелье. Дагна была прекрасна в этот час, женственно хрупка, и Саулюс испугался, что заставит ее сказать что-то чудовищное, от чего взорвется... взорвется все, во что он верил, ради чего жил.

— Ты не отвечай, Дагна! Ничего не говори и не объясняй. Хотя бы пока... помолчим...

Пальцы Дагны медленно соскользнули с висков и впились в бледные щеки, оставив белые ямочки. Она встала.

— Я ухожу.

— Сейчас?

Кивнула.

— Побудь. Полчаса побудь.

— Думаю, вернешься, и я все... Не могу, Саулюс, теперь не могу, когда ты так... когда я тебя вижу...

— Дагна!..

— Все узнаешь и без меня.

Оттолкнув кресло, Саулюс бросился к распахнутой двери, чтобы удержать Дагну, не выпустить. Путаница, недоразумение, нельзя же так... вверх тормашками опрокинуть всю жизнь!

— Тебе что-то наболтали про меня, и ты поверила, да?

Дагна стояла перед ним потупясь, вращая колечко на левой руке; сейчас снимет и протянет — возьми, мне оно не нужно...

— Мало ли что натреплют... Я же не говорю, что я святой... Всякое случается, но есть вещи, которых нельзя... Есть наша жизнь, Дагна, наши семнадцать лет, и я не понимаю... почему ты уходишь...

когда все так... А может, у тебя уже кто-то есть?.. Может, за углом тебя ждет машина...

Он говорил задыхаясь, сбивчиво, пока самому не стало тошно, что несет черт знает что и Дагна сейчас посмотрит на него с омерзением.

— Не думай обо мне плохо.— Ее рука коснулась отворота пиджака Саулюса.

От звука удаляющихся по цементной лестнице шагов у Саулюса подкосились ноги, он опустился на чемодан с подарками из Парижа и долго сидел в оцепенении, словно в гулком зале аэропорта в ожидании своего рейса.

Ладонь широкая, изборождена глубокими линиями, и маленькая испанская каравелла с поднятыми парусами плывет как через Атлантику. Удаляется каравелла, растворяется в теплом тумане...

Автострада тянулась по берегу океана, мимо пронеслись автомобили, мелькали высокомерные пальмы и увитые плющом террасы домов, грозно маячили торчащие из воды скалы, отражающие натиск яростных пенистых волн. Саулюс издали узнал приближающийся Биариц, в котором три часа назад они останавливались, но Беата снова напомнила, что город основал Наполеон III, у которого была жена-испанка... Саулюс молчал. Беата показала кивком головы на роскошные виллы у подножия горы.

— Здесь можно чудесно провести время. Днем пляж, купанье в бассейне с морской водой на вилле, вечером казино. Мы с Робертом любили...

— У него был толстый бумажник, верно?

— Вам, оттуда, нелегко понять. Человек нуждается в смене эмоций. Ведь Роберт был художником, кинорежиссером...

Беата не правила своим «рено», а словно играла им, кончиками пальцев едва касаясь руля. Автомобиль летел с тихим гудением; взвизгнув на повороте тормозами, кренился набок; и у Саулюса по спине пробежал холодок.

— Роберт любил скорость?

— Когда-то он был гонщиком.

— А если бы вы тогда ехали вместе?

— Вместе бы и похоронили.

— Тебе повезло, Беата.

— Конечно, я получила страховку! — Она рассмеялась и, не сбавляя скорости, выудила из сумочки пачку сигарет.

— Я не это хотел сказать,— оправдался Саулюс и зажег спичку.

— Понимаю,— ответила она спокойно, выпустив дым в открытое оконце.— Это было три года назад, но я не люблю прошлое. Мы каждый день летим сломя голову, и нам некогда оглядываться. Да и не стоит, дорогой Саулюс.

Последние слова Беата сказала наставительно, тоном человека, больше видевшего в жизни и лучше все понимающего.

— Не надо оглядываться на прошлое,— со значением повторила Беата и встряхнула головой, словно отгоняя воспоминания.

Мышцы Саулюса напряглись, ему стало тесно на сиденье.

— Почему ты предложила поехать в горы?

— Пиренеи!.. Думала, тебе понравится.

— Ты не знаешь, Беата. Ты ничего не знаешь. Но тебя ведь не интересуется прошлое, и у меня нет охоты рассказывать.

Беата не расспрашивала его. Она была умная женщина. Саулюс так подумал о ней, едва они познакомились. Между прочим, пути их могли тут же разойтись — в холле гостиницы толпились художники, съехавшиеся из разных стран, и хозяева чувствовали обязанность хоть словом перебраться с каждым гостем,— но едва Саулюс

обмолвился, что он из Вильнюса, Беата воскликнула, будто встретив старого знакомого: «Вильнюс! Вильнюс! Litwa, o jczyzna moja...<sup>3</sup>» Не она, отец Беаты родился в Вильнюсе, даже несколько лет работал там юристом, а потом с семьей перебрался в Варшаву. Часто вспоминал Вильнюс — Беата слышала ребенком. Отца, правда, нет в живых. Во время оккупации фашисты увезли в Маутхаузен... Но это было давно... страшно... лучше не вспоминать.

Ни о чем не надо вспоминать, лучше глядеть в окно на бегущую ленту дороги, на заводы, вонзившие в небо черные трубы, на старика в одной сорочке, машущего косой... Как там, далеко-далеко, над речушкой Швянтупе, в деревне Лепалотас... Лучше не думать, не вспоминать...

После ужина Саулюс отказался идти в город: устал, да и хотелось побыть одному. Комната дышала солнечным зноем. Он открыл балконную дверь и, упав на мягкую кровать, слушал гул улицы и унылый звон в ушах.

— Я хочу домой.

Приподнялся на локте, вслушался. Сердце колотилось отчаянно. Медленно повалился на спину, но видел не белый потолок, а протянувшиеся вдаль Пиренеи, залитую солнцем испанскую землю, солдата, лежащего с винтовкой в руках у пыльной дороги под Сарагосой или среди раскаленных камней Арагона... Потом встал, постоял в дверях балкона. С вечерней прохладой в номер хлынул гул города — грохот огромных жерновов, и эти скрежещущие каменные звуки сверлили мозг. Почудилось, что это катятся окованные железом колеса истории, громяхают по вымощенной черепами дороге. Саулюс зажмурился. Чувствовал, что больше не выдержит один: нужен человек, который выслушал бы его. Сию же минуту.

Поднял телефонную трубку, набрал номер. Поначалу сам не понимал, что говорит, что ему отвечают; осознав это, раздраженно и прямо сказал:

— Хочу тебя видеть, Беата. Сейчас!

И повесил трубку. В голове все еще стоял звон.

Лифт поднял на семнадцатый этаж. Постучавшись, услышал голос Беаты, приглашающей войти. Дверь была не заперта. Саулюс вошел и спохватился, что без пиджака, в расстегнутой сорочке. Хотел извиниться, но ведь и Беата встретила его в вечернем цветастом халате, в китайских, вышитых серебром шлепанцах — она причесывалась перед зеркалом. Видно, прямо из ванны: лицо казалось усталым, под глазами мешки, морщины на шее стали глубже. Женщина за сорок (в начале войны ей было семь, сама говорила, вспомнил Саулюс), но днем чудеса косметики омолаживали ее.

— Мне кажется, что мы старые знакомые, Беата.

— Уже несколько дней, да.

— Нет, нет, нашему знакомству лет пять, а то и десять — не знаю. Иначе ты не повезла бы меня в горы.

— О! — Беата кокетливо откинула голову и пригласила сесть, но Саулюс смотрел затуманенным взглядом... Пожалуй, не на Беату даже, просто на женщину, которая выслушает, поймет и поможет, когда он так нуждается в добром слове...

— Нет, нет, Беата, мы с тобой старые знакомые.

— Ты всегда так начинаешь? — с веселым хохотком оборвала его Беата.

— Я хотел тебе, Беата, рассказать...<sup>1</sup> — Саулюс помолчал. — Для меня Пиренеи не просто горы, не экзотика. Они мне напомнили... Когда передо мной открылись испанские поля и домики над рекой, во мне словно что-то пробудилось, проснулось, разрывая грудь... Я

<sup>3</sup> «Литва, моя родина...» (польск.) — начало поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш».

не говорил тебе — там мой брат Людвикас сражался за республику. Там, за Пиренеями, в Испании...

— Выпьешь чего-нибудь? — спросила Беата.

Она открыла холодильник, вынула бутылку розового вина, поставила на столик два высоких бокала.

— Если бы они тогда победили, если бы задушили фашизм... Ты понимаешь, Беата, твой отец сейчас был бы жив!

— Я не разбираюсь в политике.

Беата уселась на валик дивана, закинула ногу на ногу. Распахнувшиеся полы халата обнажили по-девичьи стройные ноги.

— Сколько их погибло там, за Пиренеями, Беата... И вот сегодня в горах я вдруг услышал: «Я хочу домой...» Чей это был голос? Мой? Или моего брата?

— Похвально, что ты хочешь стать новым Христом, готовым умереть за грехи всего мира на кресте. Но это ведь неоригинально.

Саулюс растерянно посмотрел на женщину: она ли это? это с ней он провел весь день?

— О да! — Сквозь его сжатые губы прорвался смех. — Куда оригинальнее было уничтожить в Маутхаузене тридцать тысяч поляков. Которым в этом строю был твой отец?

Беата ответила спокойно:

— Будь добр, Саулюс, наполни бокалы. И сядь.

— Ты никогда, Беата, не была на могиле отца?

— Пусть спит спокойно...

— Нет спокойствия, Беата! — Ноги Саулюса подгибались в коленях, по лбу градом катил пот. — Прости, Беата, я забыл, зачем к тебе пришел. Вдруг забыл.

...Утром перед открытием симпозиума все пошли на выставку современного искусства. Увидев Беату, Саулюс кивнул ей издали, она ответила кивком и продолжала разговаривать с художником в потертом овчинном жилете, из-под которого выглядывала голая грудь.

Перед толпой стояли двое: мужчина с крупным костистым лицом говорил медленно, силно, а молодой парень ростом не менее двух метров тонким женским голосом переводил его слова. Было тихо, все слушали, вытягивая шеи, стараясь увидеть говорящих.

— На картинах я изображал трагедию своего народа. Они арестовали меня, заключили в тюрьму и пытали. Требовали, чтобы я изменил революции. Я сделал из своих волос кисть и кровью рисовал на стенах одиночки.

Слова на двух языках гудели под сводами высоких залов.

— Тогда они... — Говоривший замолчал, перевел дух. — Тогда они отрубили пальцы моей правой руки.

Человек поднял руку, взмахнул обрубком, Саулюсу показалось, что это сгусток крови.

— Я, художник Мигель Габес из несчастного Чили, сейчас пишу левой рукой. Левая рука ближе к сердцу, а сердце никто не заставит замолчать.

Мигель Габес левой рукой повернул к людям обрамленный холст; мать, упавшая на колени перед мертвым сыном; темно-красный фон и черная скорбь матери. Приподнял другую картину: колючая проволока, бараки концлагеря и глаза ребенка, спрашивающие и ищущие правды детские глаза.

— Жестоко, — поежилась элегантная дама, вцепившаяся в локоть бородача.

— Примитивно, — сказал кто-то вполголоса.

Посетители выставки, художники медленно расходились.

Мигель Габес откинул голову: повернутое в профиль его лицо напомнило Саулюсу «Победителя» Микеланджело, гордого, дышащего силой и упорством.

— Я хочу, чтоб мои работы приняли на эту выставку,— говорил он.— Дирекция не согласна. Прошу поддержать меня.

Перед Мигелем Габесом остались лишь несколько человек. Саулюс узнал старичка-венгра, высокую блондинку — немку из Гамбурга, широкоплечего румына с огромной копной волос...

— Беата, почему ты молчишь? — Саулюс стиснул руку Беаты.— Он не милостыни просит. Ты хозяйка.

Глаза, которыми Саулюс еще вчера восхищался, теплый взгляд которых ловил, резко похолодели. Беата отвернулась и зацокала на каблучках в глубь зала.

— Мое желание законно...— говорил Мигель Габес.

Саулюс стиснул зубы: сверкающий взгляд черных глаз Габеса резанул словно бритвой...

Девушка прикасается к плечу парня, что-то шепчет на ухо. Он берет ее руку, подносит к своему лицу, к губам. Девушка свободной рукой показывает на подъезд дома, озирается с опаской.

Саулюс отворачивается от окна, прижимает кулаки к вискам. Во что вы верите, молодые люди? — хочет закричать он; он и кричит, стиснув зубы и намертво сомкнув губы. Вы верите в любовь?! Не будьте смешными. Неужто измены взрослых, ваших отцов и матерей, вам ни о чем не говорят? Ах, вы еще не обожгли пальцев. Чтобы убедиться, что огонь жжет, надо до него дотронуться... И влюбиться надо, чтобы сказать — нет любви! Какая чушь! Верность, семейный очаг, уютное гнездышко... Ты моя, дорогая, ты мой, дорогой. Истосковалась, ждала... Чушь какая-то...

«Наверно, уже ушли»,— успокоившись, думает и снова подходит к окну.

Девушка пятится медленно, боясь отвернуться. Парень, прислонившись спиной к фонарю, заломив руку за спину, держится за него; вот-вот бросится за ней. Девушка исчезает в подъезде. Парень все еще смотрит, ждет...

Все — чушь, определяет бесстрастно, забыв уже, о чем думал несколько секунд назад, забыв про парня, девушку и про их любовь. Чушь, отзывается усталость, густой туман заволакивает глаза. Ищет, где бы присесть, озираясь в гостиной, как в чужой комнате, в которую неведомо как угодил: может, приятели выкинули шутку — принесли спящего и оставили, а сами спрятались; на ковре валяется газета, у стены распахнутый чемодан; виден угол платка в крупных красных розах, с длинной бахромой; зеленые туфельки стоят у двери, памятный пиджак брошен на кресло, змеей изогнулся под столом галстук... Где же он? Неужели это он всю ночь не сомкнул глаз? Ждал телефонного звонка, ждал щелчка дверного замка, ждал, что, запыхавшись, влетит Дагна и скажет: «У портнихи задержалась, троллейбусы так редко вечером ходят...» И Саулюс посмеется над собой: это была шутка, как он мог поверить... то есть не верить Дагне... Вслушивался в ночную тишину, лежа на кровати да глядя в потолок, освещенный дворовым фонарем, успокаивал себя, убаюкивал. Услышал шаги, приближающиеся вдоль дома, вскочил, кинулся к открытому окну, притаился за портьерой, чтобы не заметила, чтобы не знала, что не спит,— вгляделся в приближающуюся женщину. Сердце колотилось, казалось, выскочит из груди в окно и разобьется, будто хрустальная ваза. Бросило в озноб — не Дагна. Не ее шаги — он ведь хорошо знает ее дробное цоканье каблучков, напоминающее кастаньеты. И походка не ее, Дагна ходит легко, кажется, едва касаясь земли. Прямая, гордая. Нет, нет; эта завернула во второй подъезд. Неужели Дагна не вернется? А завтра, послезавтра? Саулюс долго сидит на краешке кровати. Кажется, равнодушно, а в голове — мучительный звон. Через полчаса снова зашелестели шаги, и он снова спрятался за портьерой. И снова это была не Дагна.



Когда под утро посерело небо и на улице загудели первые машины, Саулюс подумал: может, всю эту ночь она — в объятиях другого? Все увидел явственно, до мельчайших бесстыдных подробностей... Застонал, уткнувшись лицом в подушку: нет, нет, нет... Чужой голос шепотом ответил: да, да, да...

Постоял на балконе, вдохнул утреннюю свежесть и почувствовал, что может рассуждать спокойнее. Кем она была для него, Дагна? Домохозяйкой, уютно обставившей квартиру, вкусно готовившей и следившей за тем, чтобы твоё бельё было чистым и носки постираны? Покладистой и доброй в постели? Казалось, так положено, такие у Дагны обязанности. А какие были у тебя обязанности перед Дагной? Вспомни, даже в свадебную ночь ты сразу же заснул; когда Дагна сказала, что не сомкнула глаз, рассмеялся: «Привыкнешь». А теперь сам привыкай, Саулюс Йотаута.

— Привыкнешь,— говорит Саулюс, устало положив руки на колени и привалившись к спинке дивана.— Человек ко всему привыкает — и к теплоте и к холодному.— Молчит, думает о чём-то.— Нет, нет... Не ко всему можно привыкнуть...

Трезвон телефона — как автоматная очередь. В первый миг Саулюс не осознаёт, что случилось, он ведь забыл, что сидит один в комнате, что нет Дагны, что вообще... вообще-то ничего не случилось или случилось где-то, где-то... слышал, об этом рассказывали, но сейчас толком не помнит, да это и не важно... Но второй звонок возвращает Саулюса в его квартиру и в его одиночество. Пробуждается надежда, и Саулюс радостно озирается, как бы ищет взглядом скептиков, которым мог бы с торжеством сказать: «Вот! Не говорил я? Вот она! А вы не верили. Вы уже собирались всему миру растрезвонить... Ха-ха» Хватает телефонную трубку, снимает с рычага.

Ухмыляется приоткрытый чемодан, пляшут зелёные туфельки, купленные в Париже за девяносто франков.

Да, да — успокаивает надежда.

Нет, нет — мучительно пронзает сомнение.

Прижимает трубку к уху.

— Товарищ Йотаута? Вот повезло — застал. Это директор.

Саулюс прислонился к стене. Хочет слотнуть слюну, но она липкая, вязнет во рту словно клей.

— Как поездка?

— Вернулся.

— В самое время, товарищ Йотаута. В самое время вернулся. Такое дело, сразу говорю. Хотя уже конец учебного года, но вышестоящие не отдыхают. После воскресенья нагрянет комиссия... В понедельник в девять утра жду в моем кабинете...

— Вы меня отпустили на летние каникулы.

— Поэтому я лично и звоню, товарищ Йотаута. Отменяю приказ. Страда, нельзя ударить в грязь лицом. Документация у тебя ведь запущена?

— Наверно. Для меня всегда эти бумажки...

— Вот видишь, видишь! Значит, в понедельник в девять ноль-ноль. Обмозгуем, что кому делать, как принять и тому подобное. Ты, товарищ Йотаута, поделишься впечатлениями, и нам и гостям расскажешь...

— Не знаю.

— Чего не знаешь, товарищ Йотаута?

— Не знаю, смогу ли.

— Расскажешь об этом их прогнившем мире, о вырождении искусства и тому подобное. Будь здоров!

Саулюс садится. В голове не умолкает пронзительный, властный голос директора художественной школы, который ворвался так неожиданно.

Когда через полчаса снова звонит телефон, Саулюс не поднимает трубку. Директор еще о чем-то вспомнил, скажет... прикажет. И тому подобное и тому подобное... Но телефон трезвонит без умолку. А вдруг?.. Вскочив, бросается к трубке.

— С приездом, Саулюс!

«Чего я жду?..» Не надо ждать, Саулюс. Не дождешься этого звонка, нет, нет...

— Кручу, кручу — никто не отвечает.

Не дождешься... не жди...

— Черт возьми! Или это не ты, Саулюс? Чего язык проглотил? Салют!

Не узнать Альбертаса Бакиса просто невозможно. Его трескучий выговор, потоком льющияся фразы завязли в памяти еще с института. Саулюс повесил бы трубку, но приятель черт-те что подумает.

— Алло! Язык проглотил, или французы лягушками перекормили?

— Разбудил, не соображу,— неловко оправдывается Саулюс. — А ты что-то веселый...

— Есть повод. Знаешь, надевай фрак и жми сюда.

— По какому случаю, Альбертас? И куда?

— Придешь — узнаешь. Это и тебя касается. Жду в «Неринге».

— Послушай, Альбертас...— Саулюс не знает, что ответить; нет, лучше из дому не выходить; сиди и жди... Чего ждать-то?

— Сейчас ровно час. Через полчаса. Уговор?

— Альбертас...

— Все. Вешаю трубку.

И Саулюсу уже кажется, что Альбертас позвонил в самое время. Надо же поесть, он со вчерашнего обеда крошки во рту не держал. Конечно, холодильник не пустует. Перед уходом Дагна наверняка накупила всячины. Она всегда была заботливой хозяйкой. И в квартире навела лоск, пыль с мебели вытерла, цветы в воду поставила. Как будто ушла на рынок или к соседке полистать новый журнал мод...

Господи, он опять начинает, сейчас увязнет в воспоминаниях — и конца тому не будет. Хватит! Подними голову, выйди на чистый воздух, на солнце, побудь среди людей...

Ты надеешься, что не будешь один? Разве в толпе не бываешь один?

Утонувшая в молодой зелени лип улица Чюрлёниса тиха и спокойна. Прохладные тени, словно ковер, поглощают стук шагов. Проходит стайка студентов, наперебой рассказывают, как зажали, как срезали,— сессия в самом разгаре. То время настолько далеко, что Саулюсу мудрено вспомнить. А его ведь тоже когда-то донимали лишь студенческие заботы. Только этих лип тогда не было. Он сажал тоненькие деревца на воскресниках и не думал: пройдет двадцать лет... нет, двадцать пять (точно двадцать пять!) — и не вспомнит он про эти воскресники, даже будет ходить мимо этих самых лип, взрослых уже, раскидистых, и не подумает: это я их посадил. Бегут годы, все дальше отодвигая прошлое, и заботы дня насущного кажутся важнее, не сравнить со вчерашними. Глаза человека чаще обращены в будущее — каждый ждет от него чего-то, а к прошлому (и к четверти века и к столетию) человек поворачивается спиной, словно не из вчера, не из этой страны он явился, словно все, что имеет сегодня, он принес не оттуда... «Мы каждый день летим сломя голову...» — сказала Беата в автомобиле, ей некогда было вспомнить об отце, жившем в Вильнюсе, может даже на этой улице, в этом доме, на фронтоне которого изогнулись крупные цифры «1729». Как мало мы знаем о том, что было, думает Саулюс Йотаута и через несколько шагов добавляет: иногда упорно не желаем ни видеть, ни слышать, потому что так нам легче мчаться в будущее.

Ноги сами сворачивают мимо вековых тополей, по тропинке через холм Таурас, желтеющий воском поздних одуванчиков. Как будто солнце рассыпалось на маленькие желтые осколки. Заберись туда, как в детстве, срывай цветы, пробуй на вкус сочащееся из них горькое вино, сплети из полых стебельков цепочку и надень на шею девочке. И удирай, пока она ничего не сказала. Но ты же не тот шальной мальчонка. Лучше остановись и осмотришься вокруг. Вот здесь остановись. Где бы ты ни был, из каких стран ни возвращался, всегда останавливаешься здесь, на холме Таурас, и окидываешь взглядом свой город — все такой же и новый. И башню замка Гедиминаса в густом венке деревьев, и величественное барокко собора Петра и Павла, и легкие, словно крылья чаек, мосты через Нерис... И белое творение крепостного мужика Стуоки<sup>4</sup> — кафедральный собор с древними колоколами... Художественный институт, прильнувший к костелу святой Анны... Глядишь, словно впервые вышел на улицу. Разве не так несколько дней назад глядел, затаив дыхание, с Монмартра, ища взглядом тех знакомых незнакомцев, которые в ранней юности явились из учебников и книг вместе с именами Гюго, Бальзака, Дюма, Родена, Пикассо. С дрожащим сердцем, пока гид не успел раскрыть рта, отыскал волшебный Нотр Дам, из необозримой путаницы улиц выделил просторные Елисейские поля и Триумфальную арку, украшенные гирляндами платанов набережные Сены и величайшую драгоценность мира — Лувр. И удивление неожиданной догадки — смотришь на Булонский лес, а перед глазами всплывает крохотный скверик в старом городе Вильнюсе с корявой яблоней, усеянной розовыми цветами. Недавно цвели сады, и Саулюс случайно — хотя как знать, как знать... — повернул через стот скверик, остановился рядом с парнем, пишущим эту яблоню, но не посмотрел на его работу, не посмел, побоявшись, что исчезнет истинная и неповторимая красота этого тихого уголка. Уловить ее не раз пытался и Саулюс — в институтские годы и позднее. Тогда он был молод, убежден, что своими работами удивит мир. А что свершил за двадцать лет, что сотворил? Молодые уже теснят его к старикам — ты для них не товарищ; с молодых имен начнется возрождение искусства, а ты опоздал, уступи дорогу. Так кто же ты? Стареющий неудачник, жалкий самозванец? Иди по пустому городу, бреди по пустынным улицам, зная, что в каком-то доме, в какой-то квартире есть твоя Дагна. А может, встретишь ее случайно, столкнешься на проспекте? Заметит ли она, остановится ли? И что скажет, если остановится? Нырнет в узкий переулок или в дверь какого-нибудь магазина...

Половина второго. Альбертас ждет. Пускай подождет. Саулюс пройдет по проспекту из конца в конец. Просто так пройдет, ни на что не надеясь. Прогуляется перед обедом да и только...

Останавливается перед зеркальной стеной, смотрит на себя равнодушно и устало, как на чужого, хочет пригласить расческой вихры, но только втягивает голову в плечи и отворачивается.

— Добрый день, товарищ Йотаута.

Бросает взгляд на проходящего мимо парня, буркнув что-то в ответ. Кто это с ним поздоровался? Не все ли равно...

Дверь мужского туалета приоткрыта, тянет мочой и табачным дымом («Кафе начинается с сортира!» — уныло сказал как-то кафешный поэт Стасис Балтуоне).

Взгляд, скользнув по фонтанчику перед стойкой, устремляется в меньший из залов, пробегает по лицам да спинам посетителей и на минутку застывает: в углу, у окна Стасис Балтуоне. Сидит с кем-то — по затылку не узнаешь; бокал вина крепко зажат в кулаке, чтоб не

<sup>4</sup> Стуока-Гуцявичюс Лауринас (1753—1798) — литовский архитектор, работавший в стиле классицизма.

отобрали. Заметив Саулюса, Стасис сладко ухмыляется, но в этот миг с другой стороны доносится громогласное:

— Бонжур!

С диванчика у декоративной стенки вскакивает Альбертас Бакис — маленький, щуплого мальчишеского телосложения, в расстегнутой яркой полосатой сорочке, с черной бархоткой на шее; серые глаза пуговками, губки бантиком яркие, будто подкрашенные, щеки пухлые, пынут здоровым румянцем. Моложав, никто не скажет, что Альбертас с Саулюсом одногодки. Не потому ли даже критики черяются и фамилию Бакиса частенько упоминают вкупе с молодыми? Альбертас распахивает руки, словно собираясь обнять Саулюса.

— Салют! — обеими руками хватает правую Саулюса, трясет, даже подскакивая, а потом показывает на столик: — Присаживайся, дружище. Мы с Вацловасом тебя ждем не дождемся.

Саулюс здоровается с Вацловасом Йонелюнасом, который, однако, не проявляет никакого энтузиазма. Но Вацловас всегда такой — угрюмый молчун. На художника не похож: ни бороды, ни падающей на плечи гривы, всегда в аккуратном костюме, в белой сорочке с галстуком или бабочкой.

— Что нового в мире, говори. Что слышно? Какие новости? — Альбертас, засыпая Саулюса вопросами, наполняет бокалы.

Так уж заведено — рассказывай, одной или двумя фразами, но утоли любопытство. Огромные города и пестрые поселки у дорог, горы и мутные реки, старинная архитектура и светлые залы музеев, улыбающиеся лица и запутанные речи — бог ты мой! — какой-то хаос, и пройдет, наверно, немало времени, пока все займет свое место. Рассказывай... С чего же начать? Альбертас сплел пальцы, положил руки на стол и ждет, глядя на него так, словно у Саулюса над головой светится венчик...

— Тебе привет от Жискара д'Эстена.

— Что? Мне? — живо вскакивает Альбертас, его щеки вспыхивают еще ярче, глазки загораются, но он тут же спохватывается: — Вот черт... А я-то и правда подумал, что какой-то... Вот поймал с первого же слова, за мной бутылка вина!

— Не слишком ли много задолжал? — напоминает Йонелюнас, высовывая длинные ноги из-под столика и воздвигая из огромных башмаков баррикаду.

— Кому? Саулюсу?

— Нам.

— А, в широком смысле! Согласен. Пардон. — Альбертас, прищелкнув пальцами, подзывает официантку. — Вот так, друзья мои, праздновать так праздновать. Повторите, пожалуйста, — показывает на опустевшую бутылку. — И три кофе. Только двойного. А может, ты, Саулюс, еще чего-нибудь?

Саулюса поташнивает. Может, оттого, что давно не ел? Хотя голода не чувствует. Надо что-то заказать, ведь еще один бокал вина — и голова пойдет кругом. Саулюс заказывает селедку с отварным картофелем и карбонад; если не слишком жирный. И рюмочку водки.

— Видать, неважно французы кормили, раз вернулся голодный, — замечает Альбертас Бакис, взяв двумя пальцами свою бархотку на шее, тербит ее. — Но мы же ушли от темы, пардон.

Саулюс усмехается: вернись он сейчас из Англии, Альбертас сказал бы: «Ам сори». Если из Италии: «Скузо». Из Германии: «Ферцайен зи». Еще в институте Альбертас как-то заявил: «Друзья мои, через месяц я буду говорить на пятнадцати языках». Почему не на четырнадцать или на шестнадцать — никто не спросил, да вряд ли он бы и ответил. Все посмеялся, но через месяц он перед лекциями и в перерывах действительно чисал на пятнадцати языках: «пожалуйста», «извините», «здравствуйте», «спасибо», «я тебя люблю». И торжествующе хох-

тал. Приятели прозвали его полиглотом, а вот Альбертас не только эти несколько слов вытвердил назубок, но и подцепил привычку — к слову и не к слову вставлял свои «пардон» и «мерси», не стеснялся даже иностранцев. При первой встрече все считали его душой общества, после второй и третьей многие говорили — балаболка. А для старых институтских приятелей Альбертас остался своим парнем.

— Все-таки мог бы и поделиться,— не выдержал даже Вацловас Йонелюнас.

Саулюс рассказывает о Версале, о барочном зеркальном зале, о позолоченной военной гостиной, о редчайших картинах и гобеленах, о казарме мушкетеров и часовне, в которой венчалась Мария Антуанетта... Вдруг замолкает, подумав, что рассказ не занимает даже его самого, что не находит слов, которыми мог бы передать то, что чувствовал и видел. Помолчав, отхлебнув вина, начинает о Лувре с его множеством залов и дивной Моной Лизой, но перед глазами всплывает Мигель Габес, поднявший правую руку — сгусток крови.

— Нет, нет,— он заслоняет рукой глаза, встряхивает головой,— больше не буду рассказывать, вы не сердитесь, ребята.

— Но это же интересно! — вскрикивает Альбертас; в его глазах неподдельная радость.

— Слышал. В учебниках читал.— Безжалостное замечание Йонелюнаса почему-то не обижает Саулюса.

Все трое молчат, погрузившись в свои мысли; Саулюс закинул ногу на ногу и глядит на сплетенные ладони; Вацловас облокотился на край столика, подпирая большим пальцем подбородок, морщит лоб, поднимает брови; Альбертас клетчатый платком вытирает испарину с залога лба, щиплет пальцем клинышек бородки, поглядывая то на одного, то на другого, шевелит губами и берется за бокал.

— Везет тебе, Саулюс,— наконец говорит без тени насмешки, глядя открытым добрым взглядом.

Йотаута горько усмехается.

— Везет, я серьезно,— добавляет Альбертас.— Не просто так предложили поездку. Оценили, обратили внимание.

Горькая усмешка не исчезает — пробегает по лицу Саулюса, мелькает в глазах. Когда ему позвонили и предложили эту поездку («Не желаете ли проветриться, товарищ Йотаута?»), Саулюс не только обрадовался: ему не верилось, что вот и о нем вспомнили, ему предлагают. На миг вознесся на пьедестал. Даже стал скромничать («Спасибо, так неожиданно, когда столько знаменитостей...») без всякого притворства, только желая услышать — наверняка желая! — что и он сам, дескать, уже... Но бюрократический голос объяснил по-деловому: да, да, товарищ Йотаута, я уже говорил с товарищем А.— оказывается, бывал во Франции, желает куда-нибудь подальше; говорил с товарищем Б.— у того жена вздумала рожать; говорил с товарищем В.— в больнице... («Хотя, разумеется, если вы отказываетесь...») «Нет, нет, я согласен, конечно...»). Как милостыню принял это предложение. Даже поторопился принять, чтобы товарищ благодетель не дай бог не передумал: Поначалу, по правде говоря, чувствовал только мучительное нытье, толком не понимая, что это с ним, и лишь потом обожгло унижение, но не достало сил заупрямиться, сказать «нет!». А когда все перегорело и угольки затянул серый пепел, Саулюс ополчился на самого себя: а почему, собственно, о тебе должны вспоминать в первую очередь, за что? Сколько лет пробежало с того далекого апрельского дня, когда тебе вручили билет члена Союза художников и твой профессор, седой как лунь старичок, которого все величали Маэстро и кости которого уже глеют на кладбище Расу, сказал: «Не гордись этой книжицей, а работай, работай. Я в тебя верю».

— Все выше карабкаешься, Саулюс! — Альбертас вспоминает то, о чем должен был давно сказать.— Тебе нужны факты, дружище? Самые свежие? Только не свались со стула!

Йотаута прислушивается — новостей он не знает, мало ли что могло стрястись здесь за эти три недели.

— Прозит! Но почему ты сам об этом не спрашиваешь?

— О чем ты?

— Или уже знаешь? Чего доброго, я опоздал. Или тебе все равно, раз по Европам покатался...

— Альбертас, будь человеком, останови свои жернова, — не выдерживает Вацловас Йонелюнас.

— Так вот, Саулюс, коротко и ясно: все четыре твои эстампа попали на выставку! Мои поздравления. Салют! — Он поднимает бокал вина.

— Это точно? — сомневается Саулюс.

— Вчера комиссия отобрала. Ругянис просто зверствовал, и это и это ему не нравится, дескать, зритель не поймет, ведь выставка не дома, а в Риге, прибалтийская, ответственная и те де и те пе. Он-то всегда готов зарубить любого. К тебе не прицепился. Просто не заметил твоих работ.

Как в тумане старается вспомнить офорты, которые отдал перед отъездом, но перед глазами всплывают совсем не те листы. Два уже вспомнил, а еще два? «Утро»? Нет, нет... Бегущая вдоль поля девушка с колосьями ржи в руке... Да, этот. Какой же четвертый?

— Ты не рад?

Какой четвертый? Голова старика? Улочка? Нет...

— Вацловас, полюбуйся на него. Видал такого?

— Ну а ваши? — любопытствует Саулюс, но тоже как-то вяло. — Твои-то попали, Альбертас?

— Одна. Из трех. Но это ничего, я доволен. С живописью не так просто. И отобрали знаешь какую? Сам не поверил. «Строительство моста».

— А у тебя, Вацловас?

Йонелюнас машет рукой, отводит глаза.

— Работа Ругяниса, — лихорадочно шепчет Альбертас. — Разве не знаешь, как он относится к Вацловасу? Мог бы — сожрал бы. Потворствует молодым, заигрывает с ними, думает — авось поддержат когда-нибудь, а нас, среднее поколение... Злость берет, друзья мои, как подумаешь.

— Плевал я! — бросает Йонелюнас; его нижняя губа вздрагивает. — Не для выставок пишу. И не на десерт после сытного обеда для Ругяниса или кого другого. Плевать мне и растереть!.. — Оглядевшись, подзывает официантку: — Красавица! Коньяку по одной. И кофе. Все. — И снова нервно шипит: — Плевать!..

Нелегко ему, понятно; через год стукнет пятьдесят. Когда Саулюс кончал институт, Вацловас работал художественным редактором журнала. Тогда и завязалось их знакомство, перешедшее потом в дружбу. «Это редакторская работа меня засушила», — жаловался не раз, хотя и не любил распространяться о себе и своей работе. Пьет вечер, другой, а потом исчезает, запирается — не дозвонишься, а если придешь, тоже частенько не достучишься. Писал терпеливо, медленно и много. Разочаровавшись в себе и в жизни, торчал в четырех стенах, утопал в сигаретном дыму или целыми днями валялся на кушетке, глядя в потолок. Однажды Саулюсу позвонила жена Вацловаса — тишайшая, смиреннейшая, преданная мужу женщина, не выдержала: приди, мол, поговори с ним. Саулюс поймал такси и вскоре оказался на улице Ужупио. Вацловас лежал на кушетке — зарос щетиной, глаза запали, остекленели. В углу на мольберте — подрамник с изрезанным ножом холстом. На полу — картонки и огромные листы, засохшие кисти, кучки пепла и окурков. Вацловас отмалчивался, а когда Саулюс позвал его пройтись, только головой мотнул. Наконец вполголоса спросил глухо: «Зачем пожаловал? Полюбоваться?» И еще через минуту: «Она же была рядом... Совсем уже рядом, думал, схвачу, а ты вот...» Кто

была эта она, Вацловас не объяснил. Порожденная одиночеством мысль, воспоминание, мелькнувшее в голове видение? Из огромного множества картин, прислоненных к стене, Саулюс выбрал одну, потом другую. Некоторые композиции видел на персональной выставке. Пейзаж старой деревни, веющий грустью и спокойствием, сюжет с мелиораторами, наверное написанный недавно. Искры таланта Вацловаса то вспыхнут на портрете, то выльются неожиданными красками, засияют сердечной добротой. «Тебе не кажется, Вацловас, что ты, взявшись за работу, тут же робеешь? Тебя охватывают страх и неуверенность». «Разве это заметно?» — повернул голову Вацловас. «Да, Вацловас, заметно. Словно у тебя чугунные гири на ногах, не дают оторваться от земли,— говорил Саулюс то, что давно думал про себя.— Но вот взять твою «Доброту». Уже сколько лет прошло, а я и сейчас вижу, чувствую... Там ты — творец мира!..» Позднее Саулюс с горечью думал, что легко наставлять другого, утешать, но тогда он говорил искренне. Вацловас Йонелюнас опустил ноги с кушетки, с трудом встал. «Если бы я мог себя понять, Саулюс,— пожаловался, как ребенок, виновато глядя на друга.— Кто звалил на меня этот крест? Природа? Бог? Или я сам взвалил его себе на плечи? Но если сам, то мог бы освободиться, сжечь этот крест. Давит он на меня немилосердно, а сбросить не могу. Почему? Почему, Саулюс? Ты-то ведь тоже тащишь свой крест — или не чувствуешь этого?» И, не дожидаясь ответа, поднял руки, потянулся, точно пытаясь сбросить тяжелую ношу, попросил посидеть, подождать. Четверть часа спустя вошел совсем другой — умытый, побритый, лишь в глубоко запавших глазах таилась усталость.

Саулюс не сомневался: если картины Вацловаса отвергли, а Альбертаса приняли на выставку, это еще ничего не означает. Ровным счетом ничего. «Строительство моста» Альбертаса — свалка железобетонных конструкций. Ни души, ни жизни. «Актуальная тема», — наверняка сказал Ругянис и доказал, что значит его слово (не раз уже он слабую работу вознес, а сильную раздраконил, и все поддакивали). Альбертас иногда хватался за злобу дня и острял: «Куда лучше, когда твои работы гниют не в углу мастерской, а в запаснике музея». Он-то слишком не переживал из-за неудач. «Мы еще покажем!» — оптимистически провозглашал чуть ли не от имени всего поколения.

— Вы не на похоронах, коллеги? — с пустым бокалом в руке шлепается на диванчик Стасис Балтуоне. — Какие проблемы грызут? Взрывать их надо! Все трудности надо взрывать изнутри.

— Ты уже порядком навзрывался. — Йонелюнас не скрывает своей неприязни к новому соседу, но Балтуоне никогда не замечает и не слышит, чего ему не нужно.

— Читали сегодняшнюю «Литературку»? Нет? Коллеги, вы что, из деревни? Последнюю страницу посмотрите — мои эпиграммы. Эх и всыпал же я бюрократическим порядкам! Сегодня один тут сказал: молоток ты, говорит, Стасис, ухватил суть.

Стасис Балтуоне, прищурясь, словно кукарекающий петух, тарбанит свою колючую поэтическую премудрость о взяточниках. «Пристал — не отвяжется», — думает Саулюс. Когда бы сюда ни зашел, непременно найдешь его уже тепленького, порхающего от столика к столику — все знакомые, все друзья. А если сидит незнакомый, Стасис протягивает изящную женскую руку, представляется: поэт Станисловас Балтуоне. Имя и фамилию произносит веско, подчеркивая каждый слог. Насколько помнит Саулюс (о, уже лет пятнадцать, наверно), Балтуоне готовит первую книжку стихов и обещает вспахать заросшую бурьяном целину литовской поэзии. Межелайтис, Марцинкявичюс, Дегутите?! Коллеги... Вы не понимаете, что нужно. Нужен взрыв! Чтобы весь мир дрогнул. Вот какой должна быть поэзия...

— Ну как? — наконец открывает глаза Балтуоне. Взгляд неспокойно бегаёт по лицам мужчин. — Потрясающе?

Йонелюнас наклоняется к уху Стасиса и шепчет:

— Чепуха на постном масле.

Но Балтуоне и теперь не слышит, чего ему не нужно.

— Саулюс, ты ведь прирожденный поэт, скажи свое слово.

— Хорошо. Пиши дальше,— спокойно говорит Саулюс.

— А ты, Альбертас, почему молчишь?

— Скажу прямо: самостоятельность! Когда-то ты был только ты.

А теперь — кто угодно.

— Но кому я нужен был такой? Думаешь, я сам не чувствую? Ах, коллеги, Стасис Балтуоне еще вдарит! Взял бы чего покрепче, но... когда получу гонорар.— Он жалобно смотрит на опустевшую бутылку вина, глубоко вздыхает — устал от чтения своих стихов, а может, от тяжкого бремени славы.— Правда, чего вы такие кислые? — Вдруг, вспомнив о чем-то, широко разевает рот, распахивает потертый вельветовый пиджачок.— Думаете, не знаю, о чем вы тут шушукались? От меня можете не скрывать. Не скрывай, Саулюс. Я-то знаю, что это такое, на своей шкуре испытал. Всякое в жизни бывает.

Саулюс ищет взглядом официантку — рассчитаться бы да уйти поскорее: желания пить никакого, просто сидеть тоже не с руки. Привязался Балтуоне; подсядет еще кто-нибудь, потом полезет целоваться...

— Друг я тебе, Саулюс, или не друг? Так чего молчишь? Знаю, краем уха слышал. Тяжело тебе, чертовски тяжело.

Саулюса Йотауту пронзает недоброе предчувствие.

— Что ты мелешь?

— Читал где-то, или мой жизненный опыт диктует: муж последним узнает о неверности жены. Ты не обижайся, Саулюс...

Пот прошибает все тело, щеки краснеют, но Саулюс отчаянно старается сохранить спокойствие. Не выдавай себя, не показывай, что это тебя касается!

— Брось трепаться,— говорит, боясь, чтоб не дрогнул голос.— С пьяных глаз... Пошли, ребята, я у стойки расплачусь.

— Это я-то пьян? — Балтуоне обиженно качает головой, потом снисходительно усмехается.— Что твоя супруга из дому ушла — это мой вымысел? Пьяная трепотня, да?

Держись, Саулюс, стисни кулаки и держи себя в руках. Ты должен выдержать, обязан.

— Да, дорогой Стасис, трепотня,— старается говорить спокойно, глядя прямо в глаза Балтуоне.— Трепотня. Кто-то выдумал, а ты как попугай...

Балтуоне растерянно смотрит на Вацловаса Йонелюнаса, на Альбертаса Бакиса, ищет поддержки.

— Знаешь, за такие разговоры, пардон, я тебя как цыпленка!.. — вскрикивает Альбертас, подтягивая рукава рубашки.

— В рыло! — Кулачище Йонелюнаса скользит по столику.— Таково надо проучить.

Весь хмель сразу испаряется из головы Стасиса Балтуоне.

— Виноват, коллеги. Саулюс, ей-богу, извиняюсь. Мне же только что сказали... Дурак, поверил. Саулюс, дай лапу... Не сердись.

— Убирайся. Не сердись.

— Правда не сердишься?

— Говорю, нет. Только оставь в покое.

Балтуоне, еще раз извинившись, пятясь, исчезает за столиками. В глухом гуле звенит девичий смех; кто-то громко зовет официантку; кто-то предлагает послушать анекдот...

Саулюс Йотаута достал бы платок, вытер лицо, потные ладони, но не поднимает рук, сидит без движения, опустив глаза; ему кажется, что любым движением он выдаст себя... Как хорошо, что вы не спрашиваете, ребята. Ты же не поверил, Альбертас, этому трепачу. Не



поверил и ты, Вацловас. Но лучше бы вы болтали о чем-нибудь. У тебя, Альбертас, всегда тем хватает, так почему ты сейчас дергаешь свою бархотку, почему ерошишь бородавку?

— А если еще по одной? — весело потирает руки Альбертас.

— Это можно, — соглашается Вацловас.

Саулюс молча кивает.

Не стоило оборачиваться на столик в углу, под окном: некого ведь было искать, Стасис Балтуоне ушел и не вернулся. Но рядом с ним кто-то сидел, вспомнил Саулюс. Вспомнил широкую спину, багровую бычью шею... Сейчас столик был свободен, но когда Саулюс вошел в кафе, там сидел...

— С кем там пил Балтуоне? — машинально спросил Альбертаса, у которого перед глазами был весь зал.

— Не заметил? С Ругянисом. Тот чем-то доволен, как на седьмом небе. Всем ставит. Может, своего «Хозяина» протолкнул. Ругянис всех считает дураками, раз предлагает это гранитное чудовище установить в городском парке.

Не стоило оборачиваться, не пришлось бы спрашивать. И сразу подниматься не стоило из-за столика. Не выдержал, не смог больше, хотел остаться один. Но почему рядом идет Альбертас? Ему же не по пути; и говорит он какую-то чепуху, словно Саулюсу интересно слушать о малярах, которые начали ремонт квартиры; правда, у них в бригаде работает художник: «Пока в искусстве заправляют снобы, остается лишь стены малевать». Плетет и о Доме творчества в Паланге, в который летом невозможно попасть — живет там бог весть кто, только не художники. И о сыне-студенте, влюбившемся в певицу лет на десять его старше, разведенную по второму мужу, — умеет дурить голову молодым, опытный бабец; хотя такой хватает ровесников и мужиков постарше, зачем надо брать в постель сопляка?.. Неужели это любовь? Саулюс изредка вяло соглашается или возражает, удивляется или возмущается, но слушает только вполуха, голос приятеля иногда вообще пропадает, как в испорченной телефонной трубке. Вацловас распрощался около кафе, пожелал обоим хорошего лета; наверно, не скоро придется встретиться — в понедельник уезжает на озеро Жувинтас, там снял пол-избы, собирается поработать... Потоптался, сделал несколько шагов в сторону, махнул рукой. Мог и Альбертас пойти с ним. Но тот даже не сказал, куда теперь шагает. Может, дело какое?..

Поднимаются по лестнице в гору медленно. Альбертас сложной «Вечеркой», будто линейкой, хлопает себя по протянутой левой ладони, поглядывает снизу на Саулюса Йотауту, который на голову его выше, здоровается с юной парочкой, проходящей мимо, кивает мужчине. Кивает второму, третьему. Все время кивает, улыбается, перебрасывается словом. У Альбертаса тьма знакомых, он хорошо помнит каждого, с кем хоть раз разговаривал. Саулюс, увы, не может похвастать такой памятью; переживает, когда кто-нибудь укоряет его: зазнался, дескать, не хочешь узнавать на улице. Нередко сам спохватывается: вроде бы слушает собеседника, но в мыслях уже витает какая-то картина, вызванная случайной фразой или словом; или смотрит на человека, а видит не его, совсем другого, чем-то похожего или даже непохожего. Он теряет, ведь спроси его в этот миг, с кем он разговаривает да о чем, ни за что не скажет. Как в тумане видит теперь Вацловаса Йонелюнаса (какого цвета был на нем костюм?); словно встреченный неделю назад, мелькает Стасис Балтуоне. Нет, это не Стасис, это потное лицо, насыщенные зеленоватые глаза, язвительные слова: «Муж последним узнает о неверности жены...» Мелькнула широкая спина, покатаая, будто каравай крестьянского хлеба. Ругянис. Аугустас Ругянис сидел там. В углу за столиком. Они с Саулюсом сидели спиной друг к другу. Толь-

ко Саулюс не подозревал об этом, а Балтуоне, без сомнения, шепнул Ругянису: «Йотаута!» Наверное, еще ниже согнулись его плечи, лопатки зашевелились, как заступы могильщиков...

— Давай постоим.— Альбертас глубоко дышит.— А помнишь, когда-то не на такую горку бегом залетали. Ах, Саулюс, куда мы движемся, иногда подумаю. Особенно когда вот тут, в груди, теснит. Давай присядем.

Неподалеку от Дворца профсоюзов, холодной бетонной громадной придавленного холм Таурас, по всему краю площади расставлены скамьи. Они присаживаются, молчат, глядя на вечереющий город. Солнце уже низко, оно поблескивает в окнах домов и витражах костелов, притягивает темные тени от лип и домов. Веет прохладой, покоем, ветерок приносит пьянящий запах цветов. Йотаута откидывает голову, зажмуривается. Может, и впрямь надо рассказать все. Зачем играть в прятки, ведь Альбертас все видит и понимает. Полегчало бы, как от лопнувшего нарыва. Альбертас смеяться не стал бы. Старый и добрый друг. Не просто так провожает — хочет помочь. И сам не знает как. Предложил присесть, пожаловавшись на сердце. Хочет побыть вместе. Конечно, ничего он не посоветует. И все-таки... «Меня бросили, Альбертас... Дагна бросила, ушла... Вчера, как только вернулся, бросила...»

— Альбертас,— говорит он тихо и, открыв глаза, озирается, словно проснувшись.

— Это правда, Саулюс? — приходит ему на помощь Альбертас; его рука легонько опускается на плечо друга, скользит по нему и испуганно отшатывается.— Она... с другим? У другого?..

Саулюс встает, отбросив полы пиджака, засовывает руки в карманы брюк, наклоняется всем телом вперед.

— Ты хочешь услышать, что я скажу? Правды хочешь? Так вот: ничтожества мы с тобой, Альбертас. Тряпки, неудачники. Импотенты! Оба! Мне уже близко — будь здоров.

Успевает еще увидеть приоткрывшиеся губы Альбертаса, побледневшее лицо. Но не может остановиться и обернуться. Даже если Альбертас позовет. Но тот не зовет. Слышен лишь перестук шагов. Его собственных шагов. Торопливых.

Отпирая дверь квартиры, думает: Дагна дома. Это ведь была шутка. Глупая шутка. И сразу же отгоняет эту мысль — нет, она не вернулась. Сбросив пиджак, валится на диван, протягивает ноги, раскидывает руки и сидит так в изнеможении, словно утопленник, которого только что откачали. А может, она в спальне? Ведь могла вернуться. Лежит, уткнувшись в подушку, и плачет... Нет, не выдумывай чепухи, это сцена из сентиментального романа. Саулюс все-таки бредет, шатаясь, в спальню. Ну-ка посмотри, убедись. Открывает дверь. Нагретая за день солнцем и непроветренная комната душна, его постель разворочена. Так оставил ее утром. Ну что? — ухмыляется со злорадством. А на кухне? А в твоей рабочей комнате? Ах, все еще не веришь? Иди и убедись — ты один, один... Открывает кухонную дверь, стоит, привалившись плечом к косяку, входит в свою комнату. Ну что? Ну что?

— Ты не такая, Дагна! Нет, нет! — вдруг говорит вслух себе, пустой комнате, стенам, увешанным картинами.

Голос вязнет среди мягкой мебели и предметов, воцаряется тишина, набухшая тревогой и неуверенностью не вчерашними и не сегодняшними — пришедшими из прежних лет, из целого десятилетия. Ведь бывали минуты, когда Саулюс, молча глядя на жену или сидя в одиночестве в мастерской, вдруг задумывался: а если Дагна влюбится в другого? Как он об этом узнает? Другие скажут? Она сама? А может, почувствует, что она удаляется от тебя, остывает, не желает видеть, начинает тяготиться тобой... И ему начинало казаться, что в последнее время Дагна и впрямь... вернулась поздно, дескать, у подруги засиделась. И какая-то раздраженная была, и перед зеркалом утром вроде бы

дольше стояла... Потом трезвел, смеялся над собой, даже думал чуть снисходительно: велика печаль, что улыбнется другому или даже кем-то увлечется. Нет, за себя Саулюс всегда спокоен, он не теряет головы. А все прочее — чепуха. Не тот возраст (он думал, конечно, о своем возрасте!), чтобы все начинать сызнова. Да и вообще идиотской кажется такая мысль, когда Дагна рядом и любит его, а он любит ее. Но проходило какое-то время, и его снова пронзало предчувствие: вряд ли Дагна сумела бы замаскировать свою тайную любовь. Она же вся нараспашку, глаза всегда ее выдают. Конечно, у Саулюса не было ни малейших оснований подозревать жену. Но однажды, когда он сказал, что Аугустас приглашает заглянуть к нему в мастерскую, в поднятых руках Дагны сломалась расческа. Она так и застыла перед зеркалом. «Сходи, вы же товарищи», — сказала Дагна. «Аугустас обоих зовет». — «Лучше ты один». — «Почему, Дагна?» Словно упрямая девчонка, Дагна пожалала плечами и ничего не ответила.

В тот раз ты один пошел к Ругянису (Дагна сказалась больной). Шел из простого любопытства. Аугустас про Дагну не вспомнил, и ты подурaccia, провоцируя, брякнул: «Дагна посылает тебе привет». «Спасибо», — буркнул Аугустас. Вот и все. Вернувшись, ты даже не рассказал об этом визите.

Стоит ли думать о том, что было?.. Чего не было?..

Когда прошлым летом ехал в Палангу по тенистой дороге, петляющей по берегу Немана, у высокого городища невольно нажал на газ, прибавив скорость, и, покосившись, увидел, как Дагна повернула голову вправо и в окно внимательно посмотрела на «Древнего литовца». Неподалеку, на площади, стоял автобус, а перед памятником снимались экскурсанты. Когда ты пролетел мимо, Дагна устремила взгляд на дорогу. Она молчала. Ты подумал, не умышленно ли она предложила тебе ехать по этой дороге («Там такие чудесные берега Немана...»). Нет, она не просила — обмолвилась как бы между прочим и добавила: «Как тебе удобнее, где хочешь...» Саулюс тогда даже не вспомнил про «Древнего литовца» Ругяниса, стоящего на вершине Жемайтийского городища с тяжелой палицей в руках и сурово глядящего на зеленые дали родной земли, которые из века в век опустошали непрошеные гости. А когда позднее догадался, неудобно было менять маршрут. Наконец, и самому хотелось хоть издали взглянуть на монумент, который так широко прославил его автора. Автор может нравиться или не нравиться, но его работе надо отдать должное.

Вскоре Дагна нарушила молчание: «Могли остановиться и посмотреть». Проглотив горечь, ответил: «Почему ты раньше не сказала?..» Дагна криво усмехнулась. Помолчав, ты добавил: «На обратном пути остановимся».

Возвращаясь в Вильнюс, ты повернул по другой дороге. Не хотел напоминать Дагне? Или была другая причина, поважнее? Подумай. Когда ты смотришь на истинное произведение искусства, разве не чувствуешь ничтожности своих работ? Невольно сопоставляешь, сравниваешь — и тебя бросает в озноб.

Боже мой! Но кто виноват, что ты не тот, фамилию которого в отчетах и всевозможных статьях всегда вспоминают и перечисляют. «Как всегда, напряженно работали и порадовали новыми произведениями...» Три, четыре, иногда пять фамилий. А дальше: «и другие...» И ты там, с «другими». Природа таланту пожалела? Нет сомнения, раздала его не поровну. Но кто мог раньше подумать, что у Аугустаса Ругяниса его больше, чем у тех «и других»? Саулюс был студентом, когда Ругянис уже выставился. В газетных обзорах и тогда можно было встретить его фамилию, но она упоминалась, лишь когда надо было показать, что не все в этой «сокровищнице огромных достижений» прекрасно — есть работы и похуже... И в разговорах коллег не раз слышал, как Ругяниса списывали со счета: не только мышцы скульптору

нужны — и талант... Откуда же взялся этот талант? И что это такое? Чем его измеряют? И что нужно, чтобы тебя выделили из этого огромного списка «и другие»? Не в статьях и не в отчетах, конечно.

Когда фашисты сжигали деревню, закричал глухонемой, которого толкали в огонь, хотя за всю жизнь не сказал ни слова.

Что необходимо, чтобы во весь голос закричал талант?

Топор хунты отрубил Мигелю Габесу пальцы правой руки, чтобы убить талант. Мигель Габес пишет картины левой рукой. «Левая рука ближе к сердцу...»

У тебя же есть руки, обе здоровые и крепкие, есть и талант — никто в этом не сомневается, да и сам ты в это веришь, и все-таки... все-таки... Тебя хвалят Альбертас и Вацловас, ты хвалишь Альбертаса и Вацловаса... Эту цепочку можно тянуть дальше, добавить еще лестные слова, которыми пестрят книги отзывов на выставках. Потешить самолюбие — штука несложная. «Как мы растем в кружке своем», — сложил ты когда-то двустиишие, пожалуй, не хуже самого Стасиса Балтуоне, и эти строчки, бывает, так привяжутся, что, бросив все, выходишь на улицу, заглядываешь в кафе, ищешь свой кружок...

«La boheme du fertre» — белые буквы по красному полотнищу. За маленькими столиками, накрытыми красными скатертями, не только скачущие туристы — сидят под полосатыми тентами усталые и равнодушные ко всему художники. Один из них встает, волоча тяжелые ноги, подходит к своей «мастерской» на краю площади: над двухколесной тележкой большой выцветший зонт с красной бахромой. Садится под ним на опрокинутый ящик, вяло берет палитру, подержав в руках, откладывает в сторонку. Отодвигает жестянку, тюбики, кисти. И сидит. Долго сидит так. А к шести зонта прижались написанные на картоне и холсте пейзажи, виды улочек и соборов, несколько портретов мальчугана с огромными голубыми печальными глазами — Гавроша. Рядом мольберт, на подрамнике новый белый холст, еще не тронутый кистью. Кто-то останавливается, бросает взгляд и уходит.

Разве скажешь, что художники Монмартра не талантливы? На глазах скачущих снобов и туристов они разрывают себя на маленькие кусочки и распродают по несколько сантимов. Как Пикассо когда-то, как Ренуар, Сезанн...

Саулюс долго терся в этой пестрой толпе, долго стоял то перед одним, то перед другим художником; с одним из них заговорил, тот обрадовался, спросил, чего изволит месье, но узнав, что месье ничего покупать не собирается, угрюмо отвернулся и, словно находясь в одиночестве мастерской, никого не замечая, механическими движениями продолжал наносить мазки на холст. Саулюсу вдруг почудилось, что он стоит на кладбище, где хоронят кого-то дорогого и близкого. Это на строение не рассеялось и когда он гулял по узким старинным улочкам. Было душно, как перед грозой, даже в тени тело покрывалось испариной. Из баров и быстро доносились запахи сосисок, булочек, кофе. На тротуаре в ящиках зеленели, атели, желтели сочные плоды, пахло спелой клубникой. Вспомнилась безмятежность садовых теней в Вильнюсе. Саулюс поднял голову и перед собой, совсем близко, увидел старичка. Он шел медленно, сторбившись, маленькими шажками, правой рукой опираясь на тросточку, а левой цепляясь за каменную стену. На сутулых плечах мешком висел просторный черный пиджак, под ним был толстый джемпер и сорочка с глухо застегнутым узким воротничком. Серая фуражка с козырьком прикрывала поднятую голову, поблескивали зятянутые белым глаза. Продолговатое лицо, изборожденное глубокими морщинами, щеки запали, под носом — щеточка седых усов. Саулюс все это ухватил как-то сразу, с первого же взгляда, словно знал этого человека с детства. Ведь и впрямь... Саулюс прислонился рукой к холодной штукатурке, потрескавшейся, исчирканной до самых опущенных жалюзи первого этажа; старичок остановился перед

ним, не опуская затянутых бельмом глаз, тяжело дыша. Острая боль пронзила и медленно отпустила — Саулюс уже спокойно подумал, как он похож на отца. Смотрел на старика и думал: в жизни не встречал человека, похожего на отца; и почему именно здесь, так далеко от дома? И тогда Саулюс Йотаута еще раз — уже который! — подумал: «Я хочу домой». Здесь, на Монмартре, как и там, в Пиренеях. Кто его тянул домой: брат, отец? Ни того, ни другого уже нет. Четвертый десяток лет покоится отец на холме рядом со Швянтупе. Отцу тогда было шестьдесят пять, значит. Да, да, значит, скоро отцу сто лет — вспомнил он там, на Монмартре, на кривой улочке, глядя на отдыхающего старика, который, наверное, влачил не меньшую ношу лет. Может, это сын коммунара, хорошо помнящий рассказы о кровавых днях в Париже, здесь, на Монмартре, на этой горе страданий?

Старичок, то и дело переводя дух, уже спускался с горки. Саулюс в растерянности глядел на нелегкие шаги старости и думал об отце, которому 2 июля исполнилось бы сто лет...

— Сегодня семнадцатое июня,— говорит Саулюс Йотаута и подходит к окну; крыши домов, балконы, раскидистая липа и кусты сирени под забором вдруг растворяются и убегают в необозримое поле.— Сегодня семнадцатое июня,— повторяет.

Так он стоит долго, а потом медленно вспоминает:

отец Йотаута Казимерас, сын Габрелюса, родился 2 июля 1875 года. Умер 24 июня 1941 года...

...мать Йотаутене Матильда, дочь Пранцишкуса, родилась 9 марта 1890 года. Проживает в деревне Лепалотас...

...брат Йотаута Каролис, сын Казимераса, родился в 1910 году...

...брат Йотаута Людвикас...

...и я, Йотаута Саулюс-Витаутас-Юргис, сын Казимераса, родился 12 ноября 1930 года... проживаю в Вильнюсе...

...И все. Все, все, все...

Но это не голос Саулюса. Он омертвелыми губами произносит слова, читает хорошо известные даты, словно из своей анкеты, а перед его взором мелькают кусочки огромной, столетней, запутанной жизни, вспыхивая всеми цветами радуги наподобие рассыпавшейся мозаики — как же собрать их, составить, склеить эти мельчайшие детали в одну огромную картину? И неужели в ней не останется места для сына? Он забыл про сына Наглиса, родившегося в 1967 году в мае... Умер... Саулюс так редко вспоминает сына Наглиса. Вот и сейчас про него не вспомнил.

Долго стоит у окна.

Не зажигая света, раздевается и ложится.

Вторая кровать — рядом, справа, аккуратно застелена, торчит пирамидкой зеленая думка.

Он не заснет. Знает, что не заснет, и страшится подумать — какая длинная ночь ждет его!

Под утро, видно, все-таки заснул.

Встает в полумраке, не торопясь одевается, задев в гостиной за чемодан, без злости отодвигает ногой в сторону, потом кладет во вместительный портфель несколько блокнотов (на всякий случай), берет карандаш, краски, кисти (на всякий случай). Бросает все как попало. Берет этюдник (на всякий случай), из ящика стола — большой ключ от гаража и ключики автомашины (это необходимо).

Все. Да, теперь все.

Закрой окна и балконную дверь, закрути краны в ванной и на кухне (привычка, которую вдолбила Дагна).

Тишина и прохлада раннего утра, когда чистильщики улиц еще спят и машины ходят редко, не снимают ночного напряжения. Ноги Саулюса подгибаются, ему хочется присесть — хотя бы на кромку тротуара. Перед глазами — зеленые и красные круги. Хоть бы добраться до автомобиля, там он посидит за рулем.

Немеющими руками будет править машиной. Не все ли равно? Да, все равно. Все.

Присесть бы на тротуар. Нет, на скамейку там, на детской площадке.

Саулюс, ты же не спал и эту ночь. Что значат эти полчаса?.. Если ты в автомобиле?.. Чуть. Лезет в голову всякая чужь... И все-таки, Саулюс. Гараж уже недалеко. Вернуться? Опять сидеть... Лучше уж в тюрьме... А может, в больнице? Сперва в больнице... Саулюс!..

### *Глава вторая*

Ослепнув от хлынувшего света, Матильда застывает на минутку между почерневшими от времени косяками, потом осторожно перешагивает стертый порог. Оставив дверь открытой, крепко хватается за потрескавшуюся подпорку — новое, еще не утратившее желтизны еловое бревнышко, надежно поддерживающее угол осевшей крыши, — и умиротворенно озирается. На срубе колодца поблескивает в утреннем солнце влажное ведро, огромные прозрачные капли изредка капают на гравий. Перед неуклюже высоким и куцым гумном (осевшие в землю громоздкие бутовые камни, заросшие крапивой и лопухами, — говорят, что когда-то здесь было длинное строение) стоит одноконная тележка с грядками из струганых досочек и удобным сиденьем. Со двора взгляд убегает на залитые буйной зеленью поля в пойме Швянгупе.

Мать крепко прижимает руку к лицу. Пальцы, пробежав по бороздам морщин, сжимаются, кулак приникает к груди.

— Спасибо тебе, — говорит вполголоса.

Вдалеке, за холмистыми полями, маячит лес, а у его подножья, как вдоль высокого забора, пылит, пролетая, автомобиль; гула не слышно, лишь поблескивают стекла и белый лак.

— Спасибо...

Заливаются соловьи, взапуски поют, сотрясая хрустальный утренний воздух.

— И вам спасибо...

Мать благодарит утро, благодарит солнце и липы, которые вот-вот расцветут, благодарит поля и пение соловьев. Она благодарна, что может все это видеть и слышать. Как десять, как пятьдесят, как много-много лет назад — она не хочет считать годы, зная, что это ничего не изменит и лучше от этого не станет. Но почему она уже какое-то время ловит себя на том, что уходит мыслью в чащобу былых дней? Бредет по своей долгой жизни как по зыбкому болоту, цепляется за ветки чахлах березок, ступает с одной кочки воспоминаний на другую.

Идет на самый конец веранды, поворачивается к востоку. Лицо заливают лучи поднявшегося солнца, и мать прикладывает ко лбу ладонь. На обрыве холма, опоясанного петлей речки, между двумя разлапыми елями, помнящими росший здесь когда-то лесок, маячит что-то одинокое и смутное, как бы человек, расставивший руки и зовущий на помощь, а может, захотевший взлететь. Мать глядит в ту сторону, долго всматривается из-под насупленных бровей и видит то, чего никто другой не разглядел бы, потому что глаза ее каждый раз неумолимо пробегают по годам и людям и, вернувшись, тут же устремляются на голую тропинку, убегаящую из двора. «Видать, так надо было, Казимерас», — прикидывает в мыслях, потом взмахивает рукой, резко перерубая длинную и тяжелую цепь мыслей; не первый раз ее обрывает,

но почему звенья смыкаются опять? Делает ли шаг, стоит ли, ложится ли отдохнуть на кровать — они звенят да звенят.

Она не видит его — лишь слышит шаги по лужайке двора: ласковый шелест росистой травы, приглушенное глубокое дыхание.

— Ты каждое утро уходишь ни свет ни заря. Что тебя гонит из дому, сынок?

Мать на высокой веранде поворачивается к Саулюсу, и в первое мгновение ей чудится, что сын вернулся с луга; но где же коса, неужто успел повесить на развилку ивы? Штаны по колено промокли от росы, руки заняты; в правой — свернувшийся змеей корень дерева, в левой — куртка, что волочится по траве. Простоволос, голова опущена. Ее вопрос или усталость валит сына с ног?

— Ты каждое утро так.

— Я вслушаться хочу,— говорит Саулюс, как маленький, и виновато поднимает глаза на мать, все видящую и понимающую.

— Вслушаться хочешь? — Слова Саулюса не загадка для матери, знающей жизнь сына, знающей даже то, чего он сам не знает, наверное ведь не знает.— Ты-то ведь и приехал потому... Бросил дом и приехал сюда, чтобы мог...

Саулюс закидывает куртку на плечо, встряхнув головой, отбрасывает со лба непокорную прядь.

— Ни когда я приехал, ни потом ты меня ни о чем не спрашивала. Почему теперь тебе показалось, что я бросил свой дом?

— Думала, сам расскажешь.

— Нечего мне рассказывать.

— Все Йотауты, помнится, глубоко в себе держали тяжесть: вери-ли, что пройдет. Это-то правда. Но однажды нарыв лопается.

— Ты хочешь сказать, мама...

— Ничего я тебе не говорю. И сама ничего не объясняю. Сегодня не стоит. Побудем так.

По шатким ступеням Матильда спускается с веранды — высокая, статная и, кажется, по-прежнему крепкая, с загорелым лицом и глубоко запавшими темными сверкающими глазами.

— Гляжу на тебя, сынок, и вспоминаю папашу Габрелюса. То же дерево, та же ветка. Даже боль у вас одна. Каролиса не видел?

— На ферме. Не пришел еще.

— Набери воды.

Она садится возле хлева на колоду, наклоняясь, собирает с земли хворост. Берет по хворостинке и кладет в подол.

— Почему тебе вспомнился Габрелюс, мама?

Она ждала этого вопроса, пожалуй, но не знает, что ответить,— нелегко иногда понять, что творится у тебя в голове и в сердце; а ведь всю ее долгую жизнь так было, когда приходилось из множества слов выбрать одно или самой думать за всех. Может, у всех жизнь такая, ведь и папаша Габрелюс жаловался на сумятицу в душе, а Казимерас во всем уповал на твое бабье разумение — у бабы голова яснее, поговаривал. И частенько сетовал: «Не унес с собой папаша проклятья. Всем нам покоя не видать»...

— Почему тебе вспомнился Габрелюс?

— Он всегда со мной.

— Когда-то рассказывала, помню, но сейчас все как в тумане.

— Ты любил короткие сказки, а эта...

В подоле короткие хворостинки... разрубленные острым топором у дровяного сарая... ее Казимерас рубил сорок лет назад... а может, папаша Габрелюс целых сто тому...

— Это было в детстве...

— Не помню уже, когда ты последний раз был дома.

— Да, все это так, мама... Может, говорю, надо было добраться до Пиренеев, чтобы услышать голос, который позвал бы вернуться. Вернуться домой... Вернуться, быть может, к самим истокам. Ведь не зна-

ешь ни дня, ни часа, не знаешь, почему да откуда все берется, только вдруг чувствуешь — надо. Надо, мама! Сейчас надо куда больше, чем в детстве. Помню, тогда ты начинала так: на берегу реки Вардува присела ветхая избушка... Как легенду начинала.

Так прежде рассказывал Габрелюс. Да и теперь Матильда слышит его, папашу, а видит еще лучше и яснее. Ей-богу, слышит. Страшно даже, как все встает перед глазами и плывет куда-то...

— Каролис придет... завтрак...

Но Саулюс берет мать за руку и ведет по стародавнему пути папаша Габрелюса:

— Когда река по весне набухла и выходила из берегов...

Двое мужчин пробирались по топкому лугу, прыгая с кочки на кочку, хватаясь за ивняк да опираясь на деревянные вилы. Добравшись до челна, уселись в него и отчалили. По правде, отталкивался шестом старший из них, отец, а сына-то и мужчиной еще не назовешь — щуплый, бледный, как опустился на корточки в конце челна, посиневшими руками уцепившись за края, так и застыл, будто напуганный чибисенок, с опаской глядя на необъятный в вечерних сумерках разлив реки. Оба молчали, только отец с каждым толчком все вздыхал: «Э... э... э...» Он и когда дрова колот, экал, и когда навоз вилами на телегу кидал — «э... э...». Сын хотел сказать, что за день вода заметно спала и если ночью подморозит, то завтра, чего доброго, можно будет, сделав круг по пашням, посуху до поместья добраться. Хотя стоит ли говорить, отец сам видит.

«Э... э...» А вот и плетень и пригорок с теплой избой.

Как далеко родимый дом,  
Как близко горе наше...

Мать замолчала, прикрикнула на малышей, усевшихся на развороченной постели.

От сермяг повеяло ветром, дождем и потом. Промокшие коженцы воняли навозом. Сняв их, швырнули в сени, онучи развесили у очага. Сидели, давая передых рукам и спине, глядели на потрескивающий огонь.

— Завтра опять оба пойдете? — после долгой тишины спросила мать.

Сын покосился на отца.

— Габрелюс дома останется.

— Я могу, отец...

— Поместье — змей девятиглавый, сожри нас целиком, и то не насытитесь, — устало ответил отец, перевел дух, мотнул головой и сказал, видно, давно уже решенное: — Надо в воскресенье в монастырь наведаться. Столько маялись, пока Габрелюса зимой учиться пускали. Обещать-то обещали...

Мать тоже вздохнула:

— Так вот, господи, может, ксендзом...

— Где это слыхано: мужицкий сын — ксендз!

Габрелюс сидел на лавке у стены, тер босые онемевшие ступни. Друг о дружку — авось отойдут, отогреются. Слова отца и манили и пугали его, больше, пожалуй, пугали: ведь подумать страшно, что на всю жизнь облачат тебя в рясу доминиканца, и с тех пор твой мир будет — келья монастыря да работа в полях монастыря; такая же работа, как в поместье; вечный крепостной мужик. Но ведь там, прошептал другой голос, ты научишься раскрашивать костелы и алтари; чего ни коснется твоя кисть, все оживет, засверкает золотом, засияют статуи святых. Ты же видел, как это делал в калварийском костеле старенький монах. Ты все бегал в костел, но не молитва тебя влекла — смотрел, выпучив глаза, на монаха, пьянея от запаха красок («Кто это сделал,



мама?» — в детстве спросил ты, стоя на коленях. «Что ты говоришь, сынок?» «Кто его сделал таким?» — показал ты пальцем на Иоанна Крестителя, вошедшего в реку Иордан. «Это святой образ, сынок, не оглядывайся». «Я знаю, мама,— прошептал ты на ухо матери.— Но как же он так... Кто-то ведь должен был его намалевать. Кто, мама? И как, мама?» «Господи, помилуй! Грех говорить такое. Молись, о госпoде боге думай, он-то все видит, в его власти все...» — «Мама...» — «Молись... Кайся, чтоб нечистая сила тебя не искушала...»). Однажды старенький монах подозвал тебя, дал в руки кисть и велел провести по потускневшим одеждам святого Иакова. Дрожащей рукой ты водил кистью, краски лились с нее живительной, пьянящей свежестью, и мастер говорил: «Хорошо. Можешь еще...» Да, конечно, он сумел бы научиться этому ремеслу в монахах, но все-таки сомневается... и верит и не верит... Хочет обмолвиться о том, что задумал, но не смеет. Может, не сегодня, может, в другой раз, надо все хорошенько самому обмозговать, хотя, если по правде, он уже целый год думает, с той весны, когда окончил школу, когда все его хвалили и тут же забыли.

Мать подала ужин, и за стол сели Йотауты — отец и его сын Габрелюс, двое мужчин, целый день чистивших помещицьи конюшни.

Хлестал проливной дождь, и отец в воскресенье не сходил-таки в Калварию. Габрелюс как-то, улучив минуту, когда отец был в духе, попросил пустить его в Тельшяй. Город-то, говорят, большой, вдруг место писаря нашлось бы, надо только разведать. Вот Тамудисов Юргис, что на два года раньше школу окончил, устроился в Тельшяй у еврея на чесальне. Отец гнул свое — потолкует, мол, в монастыре; тут и дом недалеко, а главное — на всю жизнь обеспечен. Габрелюс решил было еще один свой потайной ларец открыть, но опять не посмел. Раз даже в Тельшяй не пускают, то стоит ли об этом? Ладно, Габрелюс, повремени, потерпи. Габрелюс временил, но из головы все не выходил разговор, который подслушал еще год назад, когда учился в Калварии.

Утился он у своего родного дяди Лауринаса, который служил у настоятеля кучером. Человек это был пожилой, бездетный, вдоль и поперек изъездивший не только свой, но и соседние приходы, много повидавший, еще больше слышавший. Но разговор его был один и тот же каждый вечер, когда, вернувшись домой, заставал Габрелюса за книгой: «Не пойму я твоего отца. Вздумал из дерьма свечку лепить. Что с того, спрашиваю, что ты умеешь буквы складывать, а я не умею? Кто из нас умнее, а?» А в тот памятный вечер ждал дядю Лауринаса человек, сказавшийся его добрым знакомым. И правда, поздоровались они тепло, обнялись, человек штофик достал да на стол поставил. Лауринас поглядел на Габрелюса, дернул себя за ус. «Марш на кухню». Эка печаль, что за дерюжкой, висящей вместо двери, ничего не видать, если слышно каждое словечко. Конечно, поначалу-то и слушать было нечего. Но слово за слово — и дядя Лауринас затянул новую песенку: «Ты задумываешься, спрашиваю, что такое человек? Творение самого господа бога, его подобие, однако вроде бы и нет. Если бы меня сизмальства к этому не приставляли, разве я возникал бы сейчас? То-то. Или вот был тут один такой из наших краев. С дырявой котомкой на спине ушел. Через всю Жемайтию, всю Литву пешком протопал. В самом Вильнюсе все науки постиг, говорят, даже до Петербурга добрался. Симонас Даукантас<sup>5</sup> его зовут, отца его знал. «Был я в Вильнюсе, Лауринас, я-то был! — радостно подхватил гость.— Когда в войско забрали, целых три дня стояли в Вильнюсе. Просили мы, чтоб к деве Марии Островоротной помолиться пустили,— не позволили. А город-то, боже мой, какой! Ну и даль же, ноги в кровь сбили, пока дотопали...» «Так вот, говорю, какие люди бывают. Крепостные... а вот — мешочек на спине, и через всю Жемайтию да Литву...»

<sup>5</sup> Даукантас Симонас (1793—1864) — литовский историк, просветитель.

Габрелюс слушал, разинув рот и выпучив глаза. Сидел будто в столбняке, надеялся еще что-то услышать, но мужчины заговорили о другом. От учеников постарше он уже слышал о Симонасе Даукантасе, написавшем книжонки про древность. Шляхтичи, услышав об этом, потешались: «Литовец-мужик — писатель? И по-литовски пишет? Слыханное ли дело?!» «Дядя Лауринас,— не вытерпел Габрелюс,— этот Симонас Даукантас...» Лауринас поморщился, вспомнил вчерашний разговор и наставил: «Не мудри. А если хочешь знать, да, учился тут такой человек на моей памяти. Вот если бы в ксендзы пошел... Не каждому господь дает столько ума, чтоб мог пойти по стопам нашего епископа Волончевского. Тот-то ведь тоже здешний. А Даукантас-то?.. Прошлым летом едет на телеге, пыльный, худой, хворый, от простоя людина не отличишь, смотреть на человека жалко. Заговорил я с ним, тот сказался, что к сестре едет. Еще табачку попросил. У меня попросил! Вот оно как, ни угла своего, ни уважения наука сама не дает, если господь не помогает...»

На пасху отец договорился-таки в монастыре — с осени. Был счастлив, благодарил бога и велел Габрелюсу утром-вечером молиться да готовить свою душу к священному служению. Габрелюс-то не радовался. Бродил вокруг дома, делал все, что было нужно, просил, чтоб пустили отбывать барщину, думал, за тяжелой работой полегчает, но тут его тихую скорбь усугубляло чужое горе — кровавыми слезами плакал, когда хоронили засеченного батрака. Боялся слово сказать против барина — это же грех. Но разве не грех барину простого человека губить? Почему господь не удержит руку барина, поднявшую кнут? До поздней ночи сиживал на берегу Вардувы, вслушиваясь в стремительный и радостный говор воды, но река тоже не успокаивала. Чем дальше сидел и слушал свою землю, свои поля, свою реку, тем трудней и мучительней бывало выносить непонятное, тяжелое бремя. Тихонько беседовал в мыслях с отцом; уважал его и любил за то, что не обижал, что был справедлив с ним и пускал учиться; но почему надо сына в монастырь отдавать?.. А что же ты собираешься здесь делать? Почему только здесь? Что на это отец скажет? Что мать? Какое у него право не повиноваться им? Смертный грех идти против родительской воли.

Когда этот день был совсем близок, Габрелюс сказал:

— В Тельшыяе престольный праздник, усенья. Мне тоже бы хотелось...

— Такая даль? — удивился отец.

— Ведь не маленький уже,— заступилась мать.— Не он один, многие собираются из нашей деревни.

Габрелюс еще не носил рясу, но мать уже смотрела на него как на клирика.

Отец уступил — ладно, раз уж так хочется. Габрелюс бродил в тот вечер по двору, ласково трогал жердь журавля, стену хлевка, погладил рукой тяжелую ветку яблони, окидывал взглядом поля и кочковатые луга, которые по весне снова зальет река.

Как далеко родимый дом,  
Как близко горе наше,—

плыла негромкая старая жалоба матери.

Габрелюс прислонился спиной к ольхе, взгляделся в Вардуву, вслушался в ее разговор. Потом поднял голову к небу, большому-пребольшому, усыпанному серебристыми звездочками. Стоял так, глядел на эти небесные дали. Одна звездочка замерцала и упала в черную тьму. Кто-то умер, вспомнил Габрелюс слова покойной бабушки. И еще вспомнил: «Выше, моя звезда, выше... Не упади, ради бога, не упади». И повторил сам: «Выше, моя звезда...»

Чуть свет, поцеловав руку отцу, матери, взяв котомку с краюхой хлеба и кислыми яблоками, отправился в путь, прошептал: «Не поминайте лихом...»

— Господи, ты хотел покарать меня и покарал, но я иначе не мог, пойми меня и помилуй,— три года спустя молился Габрелюс словами, родившимися в суровой дороге возвращения; но дорога эта не вела к родным местам, сворачивала в сторону, к Пруссии, все дальше от Вильнюса и родного дома, где его подстерегала петля виселицы.

Их поредевший отряд казаки окружили возле Кайшядориса, в лесу Жасла, и Габрелюс с приятелем Йокубасом Либанским чудом вырвались из железного кольца. Скрыли их крутые обрывы речки, густой ельник и смеркавшийся вечер. Хлопали выстрелы, ржали лошади, а они все бежали и бежали. Упав под кустом можжевельника, лежали, вслушиваясь во тьму, и вставали опять. Следующей ночью, уже под утро, добрались до Немана. Грязные, в рваной одежде, с исцарапанными в чащобе лицами.

— Вот тебе и свобода, вот тебе равенство и братство, все, о чем я говорил,— жалобно вздохнул Либанскис, свалившись под сосной. Крупное его тело как-то обмякло.

Тихо шумел лес, бормотал Неман, спокойный и грозный, скрывая в темноте противоположный берег. Их бросило в озноб.

— Габрелюс, ты не жалеешь, что все так?

— Отдышаться не могу. Мне страшно, Йокубас.

— Я теперь думаю — не имели мы права бежать. Ведь давали присягу...

— Вот ягоды, попробуй, Йокубас.

Шарили в потемках по мху да стебелькам, собирая мелкую бруснику.

— Габрелюс, а ведь не все еще кончено,— через добрый час изменившимся голосом сказал Йокубас Либанскис, сын переплетчика из Вильнюса.— Казаки нас могут саблями зарубить, известное дело, но ведь свобода... Будто солнце единое, всем оно светит, и ломается лед и тает. Прежде всего по краям теплеет вода, пробуждается жизнь. Вот засияет солнце — и мы опять...

Фыркнула лошадь. Габрелюс стиснул руку Либанскиса, вскочил, прислушался. Задевая за корни деревьев, стучали копыта.

— Бежим! — просипел Габрелюс.— За Неман.

Они скатились с обрыва к воде, сбросили одежду, сняли башмаки, и Габрелюс первым бросился в воду. Течение подхватило его. Ледяная вода сковала суставы. С берега хлопнул выстрел. Будто брошенный камешек булькнул в воду возле самого плеча. Еще один выстрел. И еще. Где же Йокубас? Подняв голову, огляделся. Кругом бурлила вода. Может, уплыл по течению?

Выбравшись на берег, Габрелюс бежал, спотыкаясь об острые камни, искал взглядом Йокубаса. Окликнул вполголоса. Ответа не было. Потом увидел стожок сена. Подбежав, стащил с себя исподнее, выжал и горстью колючей осоки принялся растирать тело. Тер долго, безжалостно, пока не прилила кровь и не загорелась кожа. Надев влажное исподнее, снова подбежал к Неману, глядел, негромко звал. А потом, глядя на бурлящую воду, перекрестился.

Женщина, пришедшая спозаранку доить корову, нашла его в хлеву. Как он оказался там, не мог вспомнить даже позднее, когда все обошлось. А пролежал пластом целый месяц, до дня поминовения усопших. Вдова будто сына выхаживала его, а соседкам поведала: сын сестры (у нее была сестра, жившая где-то далеко). Габрелюс даже вполрта не обмолвился, что с ним стряслось, но вдова и не тормошила его, сама знала — от властей убегал парень, от войска спа-

сался. «Мой сынок уже семнадцатый год в рекрутах. Хоть бы весточку прислал, господи...» — охала женщина.

После рождества Габрелюс ошивался на базаре в Пренае среди саней, груженных мешками с зерном, увядшими яблоками и копченым салом. Остановился перед стариком, который, по-видимому, все уже распродал и неизвестно почему торчал, попыхивая люлькой и тупо глядя перед собой гноящимися глазами.

— Как базар, хозяин?

— Чего-чего? — сдвинул с уха женский платок, которым обвязал голову под заячьим треухом.

— Хорошо ли удалось продать?

— Продать? А чего это я продал?

Габрелюс растерялся — нарвался на бедняка, оказывается. Да вроде не похож.

— Мешки пустые, видать, зерно продали.

— Мешки? Зерно? Ну и что, если продал?

— Много выручили.

— Ты считал?

— Хозяин... Я только хотел...

— Чего хотел? — блеснули глаза старика, добродушно открылся рот. — Говори, чего хотел!

— Да вы меня за бродягу считаете.

— Мало ли в Пренае бродяг! Говори, раз прицепился.

Габрелюс попросил взять в батраки. Недорого возьмёт. Сколько хозяин даст — хватит.

— Сам-то откуда?

— Валуцкене из Алькснякемиса знаете?

— Такой не знаю, но про Алькснякемис слышал. Значит, Валуцкас будешь?

— Нет, я сын сестры Валуцкене Габрелюс Йотаута.

— Так чего ты хочешь?

— Служить хочу.

— А почему у меня?

— Не знаю. Вы добрый человек.

Старик опять осклабился, крикнул, зажал между колен кнутовище. Или сам он мешком трахнутый, подумал Габрелюс, или любитель над другими посмеяться.

— Хомут у лошади сполз, надень, — сказал старик.

Габрелюс не первый раз видел сбрую этих краев, так что ловко привел ее в порядок. Старик хмыкнул, устави́лся на свои руки в толстых варежках. Габрелюс не стал отходить от саней.

— Бабу свою жду, — буркнул наконец старик, и Габрелюс понял. — все будет хорошо.

Когда появилась женщина с горящими от мороза щеками, прямая и тоненькая в полушубке, Габрелюс подумал: дочка старика. Но старик так яростно накинулся на нее, что не осталось сомнения — жена. И стал допрашивать: где была, что делала, кого встретила, с кем говорила, что сказала?..

— Я батрака нанял, — наконец-то вспомнил.

— Это хорошо, — сказала женщина, бросив взгляд на Габрелюса.

— Что хорошо?

— Самому будет легче.

— Поживем — увидим. Поехали!

На исходе следующего года, взяв жалованье деньгами и сунув под мышку узелок с рождественской свежениной, Габрелюс пешком проведаль мать царского солдата Валуцкене и вручил ей все эти сокровища, хотя женщина и возражала, не хотела брать. Через неделю ушел обратно к своему хозяину Балнаносису в Лепалотас, но серд-

це не чуяло, что угодит на похороны — нашел старика на доске, обставленного со всех сторон восковыми свечами, под черным распятием.

Душа Габрелюса стремилась к Вардуве, в родной дом («Как далеко родимый дом...» — звучала в ушах песня). Ничего не знал ни об отце, ни о матери, ни о брате, ни о сестре. Еще из Вильнюса, правда, написал письмо: просил прощения, обещал родителям золотые горы. Прошел год, и до него долетели суровые слова отца: «Навлек ты позор на весь дом. Не сын ты мне, слышать о тебе не хочу...» Это были страшные слова. Тем страшнее, что все, о чем мечтал, ради чего пошел на этот шаг, оказалось недостижимым: двери школ были закрыты, старый художник, к которому отвел его приятель, отказал ему; остался дровяной склад, работа грузчика и сырой подвал на ночь. А сейчас — хорошо знал — не на один год была отрезана дорога и к родным местам и к Вильнюсу. Что же осталось-то? Доля батрака в этом чужом краю? Вечная служба? Чего ждать, на что надеяться? Оглядысь вокруг, присмотришься к людям, которые идут да идут, не поднимая головы,— пашут поле, сеют овес, косят луга, убирают рожь, опять пашут... детей рожают, растят их... Идут да идут так. За своей судьбиной идут, до гробовой доски идут. А ты, значит, сотворен для другой жизни? Очухайся, Габрелюс, червь земной! Да и не все ли равно, где ты поддеваешь вилами навоз — над Вардувой или над Швянтупе. Обе речки похожи, обе широко разливаются весной. Ну да, конечно, там твое детство, каждый камень и дерево, каждая канавка и куст имеют свои имена, а мед диких пчел — свой неповторимый вкус. Но ведь и здесь, в Лепалотасе, ты не чужак; быстро прижился, к месту пришелся, все поверили в твою историю: сирота, росший сызмалства у чужих; женщины жалели тебя, а девушки на вечеринках заглядывались, потому что ты умел складно поговорить и неслыханную в этих краях песню спеть. В прошлом году перед пасхой, когда белили избу, на почерневшей стене ты шуточки ради махнул кистью так-сяк да еще иначе и, отступив на шаг, сам рассмеялся.

— Иисусе, это же дьявол! — воскликнула молодая хозяйка. Вед-ро упало на пол, и она стояла теперь посреди лужи, поглядывая то на Габрелюса, то на рогатого на стене. — Вот ты как! Иисусе, как на картинке! — дивилась женщина и тут же забеспокоилась: — Чтоб старик не увидел, замажь поскорее, Габрис...

Радостным смехом Габрелюса наполнилась изба.

За окном мелькнула голова Балнаносиса, хозяйка сама подскочила к стене и принялась мокрой тряпкой стирать черта. Габрелюс все смеялся.

Старик зыркнул сердито, как бы скукожился весь и спросил:

— Резвитесь от безделья? Неделя страстей господних, а он... же-ребец нехолощенный...

Хозяйка не промолчала, и деревня вскоре заговорила о «картинках» Габрелюса. Многие парни теперь приставали: «Намалюй что-нибудь, Габрис», но он отнекивался, а когда однажды утром на дощатой стене гумна Юозаса Крувялиса нашли нарисованную девушку с коромыслом, все шли смотреть и говорили: «Затя батрака Балнаносиса, Габриса...» А Крувялис предупредил дочку: «Никак этот батрак в тебя вторился, раз возле избы ошивается. Смотри у меня!»

Теперь, после смерти Балнаносиса, Габрелюс наслушался разговоров. Одни толковали: мигом выскочит замуж хозяйка, ведь хоть плачь — нужна мужская рука; другие твердили: раз дочка большая, зятя возьмет; третьи пророчили: дождетесь еще такого, чего деревня наша не видала. Всякое болтали, а Габрелюс однажды обмолвился хозяйке:

— Может, мне другое место поискать?

Хозяйка глянула на Габрелюса, словно увидев впервые.

— Я тебя выгоняю?

— Не время будет, когда прогонишь.

— А если не прогоню...

Хозяйство было немалое, трубить приходилось не разгибаясь. Двум женщинам и ему одному работ невпроворот. Правда, из этих двух женщин хозяйкиной Аделе было всего шестнадцать, но девочка росла бойкая, работы не боялась, только молчунья была, будто немая. Иной раз слова из нее клещами не вытащишь, стоит и улыбается, а думает бог весть о чем. Да и мать больше со скотиной разговаривала, с птицами или сама с собой, когда хлопотала по дому.

Вот так шли дни за днями, занялась весна, и Габрелюс с лошадьми вышел в поле. Утро было раннее. На лугах в пойме Швянтупе гогосили чибисы, возле ольшаника цвела черемуха. Сосед Крувьялис еще только поил лошадей возле колодца, а другой сосед, Бальчюнас, застегивал ширинку за хлевом и глядел на Габрелюса, который уже ехал по вчерашней бороньбе. Габрелюс, первым начавший сеять, по-детски радовался — уродятся яровые, крупное будет зерно. Сыпал ячмень щедрой рукой, шагал враскачку, подставив лицо теплomu весеннему ветерку, и, кажется, всем своим видом говорил: как славно чувствовать под ногами землю, которую сам вспахал; как славно сеять зерно и ждать, пока оно взойдет да заколосится; как славно все, хоть и не на себя пашешь да сеешь, не на свое гумно хлеба сви-зишь, но ведь иначе нельзя: руки отсохнут, если работать не на со-весть.

Забороновав посевы, бросил на волокушу пустые мешки и вер-нулся завтракать уже перед полуднем. Солнце грело вовсю, в ветках клена насвистывали и щелкали скворцы, корова, высунув голову из открытой двери хлева, мычала и просилась на пастбище, по двору носились овцы с жалобно блеющими ягнятами. Все было будничным, но и каким-то праздничным. Весна виновата, конечно, подумал Габ-релюс, распрягая лошадей. И вздрогнул всем телом: на плечи и голо-ву посыпались крупные холодные капли. Неподдалеку стояла хозяйка с пустой кружкой в руке.

— Чтоб яровым дождя хватило,— смеялась женщина, большими и добрыми глазами глядя на батрака.

Габрелюс не рассердился, тылом ладони смахнул со лба капли, сам радостно усмехнулся и, снимая хомут, обнял голову лошади, словно к близкому другу прижался, выливая скопившуюся в сердце доброту.

Ел не спеша, черпал полной ложкой, хлеб отправлял в рот ог-ромными кусищами. Хозяйка положила еще мяса, придвинула к не-му каравай.

— Кушай,— сказала, не спуская глаз с крепких рук батрака, со спокойной лица, с влажных губ.

Поймав этот взгляд, Габрелюс растерялся, покосился на мол-чунью Аделе в конце стола, на подпaska, который делал катыши из хлеба. Снова глянул на хозяйку: ее глаза обожгли его, и он, не зная, наелся или еще нет, поднялся из-за стола, вышел во двор и уставил-ся на нежно-зеленую березу в конце поля.

Говорят, когда бог хочет мужика разума лишить, бабу подсовы-вает. Так оно и есть, точно.

Габрелюс думал: подождет годик-другой, пока времена не ути-хомируются, пока травой забвения все стежки-дорожки не зарастут, а тогда — будь здоров, Лепалогас, и ты, вдовушка Балнаосене, и ты, бойкая молчунья Аделе; его дорога ведет к родным местам, и он уже не боится сказать, что бунтовал против царя, что помещичью землю хотел простым людям раздать. Ведь выпустит же царь наконец такой

указ: милует... И тогда жизнь Габрелюса переменится. Как там отец? Наверно, получил землю из поместья, барщину отбывать не надо — дома хлопочет, может, даже новую избу срубил. Братья уже взрослые, помощники. А вдруг отец на порог не пустит? «Опозорил ты мой дом...» Ни за что не простит, упрямый и жестокий старик. А если даже примет, что тебе там делать? Духом святым жив не будешь. Придется работать. Но где? Кому ты там будешь нужен?

В воскресенье под вечер лежал Габрелюс на траве, уставясь в небо, но не черные тучи, ползущие с востока, видел — свои тяжелые, мрачные мысли читал, как бы написанные в толстой книге. Мог бы — тут же вскочил бы да пошел куда глаза глядят. Но кто его ждет? Ведь не вернуться дни ученья, не вернуться мечты, когда он, прибившись к толпе богомольцев, посещавших святые места, целых три недели шагал по стонущей от горя Литве — в Вильнюс, в город, оплетенный легендами. Как далеко сейчас голодные улочки Вильнюса, красные кирпичные стены и стужа подворотен. И это блуждание по костелам и эти расписанные стены и высокие своды. О господи! Он опускался на колени, падал ниц, как великий грешник, но перед глазами видел не божий лик — захватывали дух свежие, весенние, благоухающие краски. Пошел к отцам доминиканцам у Острых ворот — не найдется ли работы для его рук, он все может делать. Палкой на него замахнулись — убирайся, бродяга, пока к позорному столбу тебя не привязали. Отовсюду гнали, никто куска хлеба не протянул, пока не сжалился старый дворник, позвавший его, едва живого, колоть дрова. Так и присох к нему, а однажды, блуждая по городу, встретил Йокубаса Либанскиса. Тот не стал задирать нос, узнав, что Габрелюс из далекой деревни, спросил, какая там жизнь, а поскольку Габрелюс рассказывать умел, то понравился Йокубасу, тот стал даже называть его товарищем и доверил собственные тайны...

Ах, все так далеко и ничто уже не вернется...

По щеке скатилась слеза. Смахнул ее потрескавшейся ладонью, мотнул головой, уселся, обняв колени, и горько усмехнулся, успокаивая себя: «А может... Вдруг займется однажды утро, не похожее на другие, и я пойму: настал мой день...»

В кустах у Швянтупе голосила кукушка, рядышком в усеянной цветами траве трещали кузнечики, по голой руке ползла божья коровка. Было душно, наверно перед дождем. Пускай льет как из ведра, в самый раз для яровых и огородов. Потом нагрянет сенокос... И невольно захватили его повседневные заботы. Завтра, если несильно будет лить, придется подчистить канаву через лужок. Хорошо бы еще подпaska взять, и хотя лопата не для Аделе, не девчоночье это дело, но!..

И, лежа в амбарчике, Габрелюс долго не мог заснуть. От дум легче не становилось, ясно было одно: надо ждать, терпеть. А если говорить по правде, слава богу, что все так вышло. Давно ведь мог в земле гнить. Сколько товарищей не стало. И Йокубаса Либанскиса. Пуля его задела, когда плыл через Неман, или в водоворот угодил. Нет его. А ты вот лежишь звонкой майской ночью и не хочешь радоваться жизни. Спасибо тебе, господи... За что? За что благодаришь-то?..

Тихие шаги во дворе... Может, корова выбралась из хлева? Но ведь дверь проверил, засов задвинул. Показалось, видать... Нет, опять. Босые ноги зашлепали по крыльцу амбара, у самой двери застонала доска. Слышно даже дыхание. Скрипнула дверь, приоткрылась, замаячило что-то белое.

— Ты спишь, Габрис?

Ему только послышался, наверняка послышался этот женский голос, очень уж похожий на голос хозяйки.

— Не бойся.

Ведь правда! Габрелюс привстал.

— Случилось чего, хозяйка? С Аделюке?

Женщина в одной сорочке присела на край кровати.

— Почему с Аделюке?

Габрелюс прижался спиной к стене.

— Не знаю. Просто так спросил.

— Ты ничего не знаешь, Габрис. Ничего не знаешь. — Женщи- на говорила жалобно, казалось, вот-вот заплачет.

— Ты захворала, хозяйка?

— Тяжко хвораю, Габрис. И пришла потому...

— Сейчас запрягу лошадей.

— Ах бог ты мой! Неужто ты слепой, Габрис?.. — Хозяйка жар- кой рукой коснулась плеча батрака, ласково провела по сорочке, пальцы заплясали на голой шее.

— Хозяйка! — Габрелюса обжег стыд, он задохнулся.

— Не называй меня хозяйкой, Габрис. Моникой называй. И чего ты на стену лезешь? Ложись, разве я тебе худого желаю? Такая ночь, все ночи такие, что не смогла я больше. Неужто не видишь, что дав- но на тебя гляжу? Думала, сам догадаешься...

Габрелюс все еще вжимался в стену, но бревна были срублены хорошо, даже не затрещали. Наслушался он мужских разговоров, в жизни тоже всякого повидал, но сейчас не мог связать концы, не мог постичь, что творится этой ночью.

— Балнаносиса недавно похоронила, еще перевернется в моги- ле.

Женщина дернулась, но тут же выпрямилась.

— Не напоминай мне про эту гнилушку.

— Он же твой муж... вечный ему упокой.

— Сколько ждала, чтоб он...

— Чтоб помер? Хозяйка!

— Говоришь, как ребенок. Думаешь, счастье, когда цапают хо- лодной, будто у покойника, рукой, когда за каждым шагом следят...

— Так почему шла за него?

— А если бы за такого, как ты, вышла, за голытьбу?

Оба молча сидели во тьме. В хлеву застучала по кормушке ло- шадь. На дворе зарычал пес, потом тьякнул и жутко завыл. За сте- ной в большом амбаре запищали мыши, подчищая опустевшие закро- ма. И снова тишина, только сердце Габрелюса стучало так отчаянно, что, казалось, звенели бревна, к которым он прижимался спиной.

— Я вот что говорю, Габрис, — другим, жалобным голосом нача- ла хозяйка. — Если с тобой, мне ничего больше не надо. Только тебя.

— Не говори, — попросил Габрелюс; он пожалел женщину, ведь не думал раньше, что она несчастна, что у нее своя боль; но с какой стати она его, Габрелюса, в это дело путает? — Не говори так, хо- зяйка.

— Моника. — Дыхание бархатом коснулось лица Габрелюса. — Не называй хозяйкой. Не хочу я быть хозяйкой. Хочу быть Мони- кой. Только Моникой.

Ладони женщины скользнули по плечам, по груди Габрелюса, по- гладили шероховатое лицо, и он не посмел защищаться. В растерян- ности растянулся на краю кровати; силась оттолкнуть надвигающее- ся на него тело, коснулся рукой пышной груди и струхнул. Никогда ведь не терялся с девушками, визжала каждая, попавшая к нему в ру- ки на стogu соломы или в потемках корчмы. Но сейчас... Ведь на- столько старше, дочка большая... Хозяйка ведь, вдова Балнаносене...

— Только скажи, Габрис, и все будет твое. Мое и твое... — шеп- тала женщина, улегшись рядышком, а руки ее гладили плечи и ли- цо, губы отыскивали его губы, запекшиеся от жара.



Габрелюс горел как в огне и обливался холодным потом, казалось, река подхватила его, несла, затягивала на дно, а он тонул, даже не пытаясь сопротивляться. Нет, нет, его просто сковал страх — он испугался бесстыдно проворных рук женщины, пытающихся выволочь его тело из исподнего белья, сдирающих сорочку с себя самой; и испуг этот охлаждал Габрелюса, лишал мужества, и он, обмякнув, не чувствовал самого себя, только дрожал как в лихорадке и отбивал дробь зубами.

Когда хозяйка, умаявшись, бесшумно выскользнула из амбарчика, Габрелюс остался лежать на развороченной постели — мокрый от пота, злясь на хозяйку, на себя, на весь страшный мир. Не зная, на чем сорвать злость, бухнул кулаками по стене. Звонко отозвались здоровые бревна. Боже, какая силища в руках! Мышцы всего тела — будто тугие березовые наросты. Грузенный снопами воз может опрокинуть, подставив плечо. Годовалого бычка на спине через весь двор перенесет. Боже ты мой!.. Снова поднял кулаки, вскочил в неожиданном наплыве сил, натянул штаны и бросился на двор. Дико озирался, словно искал кого-то во тьме, хотел зачерпнуть воды, но только остановился у колодца, даже не прикоснувшись к ведру, облизал губы пересошим языком и бросился к избе. Дверь была на засове. Подошел к окну, стукнул.

— Моника,— впервые произнес имя хозяйки, замолчал, словно захлебнувшись горячим борщом, подождал. — Открой дверь.

В избе тишина. Габрелюс ждал. Его тело дрожало: силища обжигала его и раздирала изнутри.

— Моника!

Задребезжало окно. Молчание еще пуще разъярило его.

— Пусти! — просипел и ударил кулаком по оконной раме.

Звякнули стекла, посыпались наземь.

Он бросился к другому окну.

В комнате закричала Аделе, стала звать мать.

Габрелюс отпрянул, медленно остывая, вышел из двора в сад, уселся под яблоней. По правой ладони катились теплые капли. Кровь... От штанины исподнего отодрал лоскут, обмотал запястье и растянулся на росистой траве. Куда-то подевались беспокойство и ярость, даже мысли пропали. Окутала прохладная пустота, она казалась доброй и нужной.

Хотя Габрелюс приладил на двери амбарчика засов и на ночь задвигал его, Моника больше не скреблась у двери, не просилась к нему. Он даже сам себе не мог сказать — ждал хозяйку или не ждал. Днем знал яснее ясного — не впустит, хоть бы что, однако ночью, мечась в постели, слушал, не раздадутся ли шаги... Что будет тогда, не знал, ей-богу не знал.

Под осень воскресным вечером во двор заехал возок и остановился возле гумна; с облучка скатились двое мужчин, бросили лошади охалку клевера — видать, собирались посидеть, — стряхнули пыль с одежды и не спеша под злобный лай пса направились в избу.

Было уже после ужина, и Адельюке мыла посуду. Хозяйка велела ей поживее поворачиваться, но сама от окна не отошла. И вдруг присела, развела руками, покраснела.

— Так это же свояк! Но кого он сюда ведет? — Засмеялась, покосившись на Габрелюса, бойко повернулась, поправила волосы под платком, смахнула передником с лавки хлебные крошки.

— Пойду лошадей посмотрю. — Габрелюс встал.

— Посиди, Габрис, посиди,— удержала его хозяйка и, услышав топот в сенях, сама отворила дверь.

Первым перешагнул порог старик, стянул с головы шапку, и,

привстав на цыпочки, будто петух, восславил Христа. Не дожидаясь ответа, протянул руку хозяйке, а сам затараторил:

— Давно уже собирался тебя проведать, а когда собрался, то не один. Ребенок соседа моего Пачесы,— кивнул на другого, высокого мужчину, которому смело можно было дать пятьдесят лет.— Так вот Пачеса проходу мне не дает: найди, мол, да найди для его ребенка справную женщину. Думаешь, это дело простое?..

— Дядя,— дернул старика за локоть «ребенок Пачесы».

Хозяйка пригласила гостей сесть, а сама накрыла стол белой скатертью, поставила тарелки с булкой, подсушенным сыром. Вертелась вьюном, еще пуще раскрасневшись, предложила сделать глазунью, но мужчины отнекивались, а молодой Пачеса, достав из кармана штанов бутылку, поставил на стол. Старик потер ладони.

— Сейчас за тобой слово, Моника,— сказал.

— Хозяйство хоть небольшое, но справное, как успел разглядеть, да и дядя рассказывал,— медленно заговорил «ребенок Пачесы». — Я бы тоже не с пустыми руками пришел.

— Ты не сказал, свояк, которой жениха сватаешь. — Хозяйка покосилась на сидящего поодаль Габрелюса, потом на Аделе.

— Да что ты говоришь, Моника? Тебя сватаю, тебя хочу выдать...

— А я-то зятя ищу, Аделе мне выдать надо! — выпалила хозяйка и радостно рассмеялась, увидев, как опешили гости.

Габрелюс тоже не ждал такого завершения сватовства. А когда возок, громыхая, выехал на дорогу, хозяйка так яростно захлопнула дверь избы, что этот стук пронесся по всей деревне Лепалотас. Проснулись дремавшие соседские собаки, затыкали, провожая незваных гостей.

Однако гостей в эту зиму хватало. Даже из-за Преная один прикатил. Дескать, он крестник Балнаносиса, ему позарез нужны жена и хорошее место; и совсем его не страшит, что у Моники дочка большая: выдадут ее, а сами своих ребят заведут, в его роду все мужики могучие, сыновья да сыновья у них. Этому хозяйка ни скатерть на стол не стлала, ни сыром его не угощала — послушала его залихватские речи, посмеялась в лицо, и тот укатил обратно. Был еще другой, и третий был. Их тоже прогнала. Не прогоняла только Анупраса Мотузу, который приходил пешком, засунув руки в карманы да посвистывая. Ему-то недалеко было, лишь деревню пройти. Застав Габрелюса во дворе или хлопочущим в хлеву, подходил, заговаривал и про работу и про девок в деревне — толковал как с равным. Но ведь и нос задирать слишком не мог: два брата на шестнадцать моргах — не бог весть что. Несколько лет сплавяла по Неману плоты, говорят, немало денег зашиб. Пойдет ли этим летом, еще не знает, до лета еще далеко. Анупрас был одних лет с хозяйкой, может, года на два моложе, и когда он заходил в избу или засиживался там допоздна, Габрелюс не ревновал к нему, нет, но почему-то тревожился, все падало из рук, а улегшись в своем амбарчике, долго не засыпал, ждал, пока скрипнет калитка и он сможет сказать себе: ушел. Не лучше ли Габрелюсу с Юрьева дня поискать себе другое место? По правде, его звал Банислаускас с другого конца деревни. И жалованье обещал прибавить. Габрелюс прикидывал и так и сяк. Его не страшило, что хозяйство у Банислаускаса куда больше, что работы прибавится. Просто трудно было уйти, и все тут. Привык к дому, к скотине, к каждой вещи. Не первый год здесь, а шататься не хочется. «Еще годик протяну — авось и соберусь...» Но в голове иногда мелькала мысль — пожалуй, не мысль даже, просто тень какая-то пролетала, — он хотел поймать ее и не мог; так и не мог понять, что же держит его здесь, что привязывает к этому дому. Чего он ждет да на что надеется? Наверное, ни на что. Но и уходить не спешит и не засыпает ночью, слушает, напрягшись, что творится во дворе да что в избе.

Вернувшись из лесу с еловым лапником, пустил распаренных лошадей в хлев, а сам пошел за сеном. С соломенной кровли капали тяжелые капли, с пашен сходили грязные лоскуты снега, лениво каркали вороны в ветвях клена. Перешагнув через жердь боковушки, взял длинную дергалку, яростно вонзил в выемку в стене сенной клади, повернув, дернул на себя. Слежавшееся сено гучками летело под ноги, пахло луговой полынью, чабрецом с пригорков. Лишь решив, что надергал уже целую охапку, присел на корточки, провел руками по лбу, покосился на половню.

Скрипнула дверь, с пустым мешком в руке вошла хозяйка.

— Мякина кончается, чем свиней кормить будем?

Габрелюс доволен, когда хозяйка с ним советуется.

— Вечер уже, завтра подумаем,— ответил.— Правда, завтра в лес надо бы съездить. Санний путь на исходе, пригорки уже голые.

— Езжай, на этот раз еще наскребу. А если сенной трухи?

— Тут можно набрать. Только сперва сено сверху сниму.

Хозяйка присела на жердь, ловко перебросила обе ноги, и Габрелюс совсем близко увидел ее вдруг заблестевшие глаза. Испугавшись, не почудилось ли ему, схватил дергалку и снова принялся тягать из кладей сено, хотя знал, что его уже достаточно. За спиной громко дышала хозяйка, он все дергал и дергал огромные клочья, пока наконец, засунув дергалку до конца в кладь, забыл про свое занятие. Обернулся. Хозяйка стояла, не спуская с него глаз, приоткрыв губы; они вроде бы зашевелились, но Габрелюс ничего не услышал, прислонился спиной к сену.

— Ты мне посоветуй, Габрис...

Какой ей нужен совет, когда глаза этак смотрят? Они пронзают насквозь, эти глаза, будто дергалка.

— Как ты скажешь, так... Сама уж не знаю, а пристал, проходу не дает.

Что это она так чудно говорит? И не голосом хозяйки, а усталым, растерянным. Как тогда в амбарчике. Как тогда?..

— Посоветуй, а то, говорит, если до весны не... В первое воскресенье после пасхи, говорит, лучше всего бы сыграть...

— Что я должен посоветовать, хозяйка? — Он стряхнул с плеч сено, подбоченился, нашарил ногами твердый пол гумна.

— Брать ли Анупраса в дом?

Габрелюс пошатнулся, осклабил рот.

— Анупраса?

— Анупраса. Брать или не брать?

Габрелюс хохотнул, странно промывчал:

— Почему меня спрашиваешь?

— Как ты скажешь, Габрис...

Пальцы Моника коснулись его плеча и отпрянули.

— Ну вот еще. — Габрелюс пожал плечами; глаза женщины обжигали, и он знал: достаточно протянуть руки... Тут же на гумне, на ворохе надерганного сена... Но в жилах батрака не кровь текла — свинец. — Раз нравится... Бери Анупраса...

Хозяйка попятилась на шаг, взялась рукой за гладкую жердь.

— Ты советуешь?..

Свинец в жилах вдруг вскипел, обжигая Габрелюса.

— Раз нравится, говорю...

Не он сам — Габрелюс-то торчал будто горящий столб — его руки схватили женщину, и ее напрягшееся тело тут же обмякло, повернувшись боком, удобно растянулось на сене. Беспokoйные руки заблудились в юбках, задирая их, наконец нашарили голые бедра. Моника задышалась, намертво прижав к себе батрака, стонала, как под

пыткой, только ее лицо, прищуренные глаза светились долгожданной и пришедшей совсем нечаянно радостью.

— Господи, Габрис... О господи боже...

В свидетели своего счастья она звала самого бога; могла бы — кликнула всю деревню и бесстыдно сказала: глядите, он мой!..

Не Габрелюс — Габрелюс-то все еще стоял обуглившийся где-то возле сена — кто-то другой, вынырнув из его одежды, яростно терзал женщину, безжалостно истязал ее за то, что она хозяйка Бална-носене, что у него такая жизнь, такие дни... — дни батрака. За все-все на свете он мстил ей, этой женщине, а когда утихомирился, в изнеможении повалился рядом, чувствуя, как его тело ласкают пальцы хозяйки, со злостью скрипнул зубами:

— Хватит! Свины не кормлены! — Вскочил.

— Габрис... — Руки женщины потянулись к нему, но Габрелюс не видел их, он не хотел их видеть.

Моника встала, оправила одежду, стряхнула сено, потуже затянула платок и повернулась к двери. Там в серых вечерних сумерках маячила Аделе. Хозяйка рывком сиганула через жердь.

— Уже пришла с реки? Уже постирала? — сурово спросила сквозь стиснутые зубы.

— Я... я валеk забыла, — пролепетала Аделе, поглядывая то на мать, то на Габрелюса.

— Валеk на гумне лежит?

— Я не знаю... — Аделе повернулась к двери.

— Не знаешь!

Не удержавшись, хозяйка подскочила, обоими кулаками трахнула дочку по спине, и та, зацепившись ногами за порог, бухнулась лицом в мокрый снег. Покосившись на Габрелюса, хозяйка ушла по двору.

Аделе вытерла ладонями лицо и, мелькая заснеженной юбкой, побежала за гумно, где были ворота, ведущие к Швянтупе.

Габрелюс каждый день видел Аделе. Видеть-то видел, правда, но лишь краем глаза, как предмет. И вот пришлось — прости, господи! — улечься с ее матерью на сене, пришлось матери поднять руку на дочь, чтоб он повернулся-таки к девчонке не только лицом и спохватился, что все чаще о ней думает. Аделе не уродилась красавицей. В самом же Лепалотасе можно было найти девок пригожее. И голосистее, и разговорчивее, и ласковее. Но Аделе была спокойная, не трещотка, по деревне, забросив работу, не носилась. Можно было глядеть и не наглядеться, как она сгребает сено, теревит лен или даже пол подметает. Казалось, на ее хрупких плечах держится все бабье хозяйство, хотя и хозяйка не сидела сложа руки. Заглядевшись однажды вот так на Аделе, которая рубила свекольную ботву для свиней, Габрелюс даже забыл, что у нее самой есть глаза.

— Не видел, как ботву мельчат? — спросила она и фыркнула, отвернувшись.

— Ты не так, как другие.

— Много ты видел других.

— Не видел, это правда.

— Так чего говоришь?..

Вот и все. Габрелюс отошел, уселся на крыльцо амбара отбивать косу. Стук-постук и поднимет голову, глянет на Аделе — та набирает ботву в корзину. Стук-постук — та идет по двору, мелькая бельми икрами. Стук-постук — черпает воду из колодца и через плечо зыркает на Габрелюса. Габрелюс ловит ее взгляд, растерявшись, постукивает опять и видит, что отбил неровно, лезвие брюхатое — как будет завтра сено косить? А когда косил уже, она прибежала на край луга и позвала:

— Завтракать иди, Габрис!

Габрелюс не спешит, знай машет косой.

— Завтракать!

Роса уже опала, и коса берет неровно, но Габрелюс не распрямляет спины — пускай зовет, пускай кличет.

Аделе подбежала поближе, взяла горсть скошенной травы и швырнула в Габрелюса.

— Завтракать!

Простоволосая голова Габрелюса вся в травинках, спина сорочки взмокла от пота. Он смотрит на нее лучистым взглядом, бросает на землю косу.

— Меду хочешь? — неожиданно спрашивает. — Подожди-ка.

Бежит к ольшанику, опустившись на корточки, раздвигает осоку, хватая что-то и опрометью несется назад, чудно отмахиваясь свободной рукой.

— Вот шмелиные соты, — радостно говорит. — Пососи!

Аделе высасывает пузырчатые соты, запрокинув голову, вытягивает скудные капельки меда.

— Тебя не изжалили? — облизываясь, спрашивает.

— Только одна в руку, — смеется Габрелюс. — Соси. Вот соломинка. Через соломинку потяни.

— Мне хватит. Теперь ты.

— Нет, Аделюке, это для тебя...

Габрелюс как бы нечаянно оглянулся на дом и увидел, что на тропинке стоит Моника и наблюдает за ними.

— Хозяйка!

Аделе съежилась, бросила шмелиные соты.

— Я завтракать звала...

И убежала — босоногая и легкая.

Габрелюс положил на плечо косу и зашагал вслед за ней не спеша, чувствуя во всем теле радостную усталость.

Вот так оно и было: мать ловила дочку, дочка — мать. Даже выбравшись на базар, хозяйка не оставляла Аделе дома: одеваясь, мол, за лошадами последишь. И в костел они вместе ходили и возвращались вместе. Усевшись за стол, ели молча, не поднимая глаз друг на дружку. Все чаще визжали некормленные свиньи, у недоеных коров перегорело вымя, огороды заросли мокрицей. Но один дом, один двор — это тебе не пустыня. И у колодца встречаются: Аделе прибегает за водой, а Габрелюс поит лошадей; достает ведро, цедит Аделе будто по капельке; велика печаль, что хозяйка глядит из окна кухни. И в дверях дровяного сарая сталкиваются: Аделе за хвостом пришла, а Габрелюс за топором — в хлеву надо загородку для свиней починить; коснется рукой, глазами обожжет, а из дверей избы голос хозяйки: «Аделе, поживее!..» Вечером хозяйка уходит поить коров; там и Габрелюс, выравнивает граблями кротовины.

— Какое красивое лето, — говорит хозяйка, послушав долетевшую из деревни песню.

— Хорошее лето, — соглашается Габрелюс. — У ржи-то колосья какие, еще неделя — и придется косить.

— Может, удастся нанять кого.

— Хорошо бы, а то один не справлюсь.

— Так вот, Габрис...

Но и Аделе тут как тут.

— Я овец приведу, — говорит она и ждет чего-то, стоит рядом.

Рожь Габрелюс и впрямь косил не один. Когда управился, надо было увозить с поля скошенное за первый день. Он подавал снопы, хозяйка грузила на телегу, а Аделе, которой было велено на пригорке окучивать картошку, поглядывала то на проселок, то на ржаное поле, но весь его угол скрывал ольшаник и нельзя было ничего толком разглядеть. Не столько солнце обжигало ее на терпко пахнущем картофельном поле, сколько незнание того, о чем толкуют там, за

ольшаником, что там делают. Аделе давно уже решила — не отдавать матери Габрелюса; как не стыдно ей, старухе, кружить парню голову?.. Аделе еще не признавалась Габрелюсу, что никого не видит, кроме него... Вот сейчас из картошки вьюнки выдергивает, а перед глазами — Габрелюс. Но почему они так долго воз грузят?.. Раньше полозину борозды окучить не успевала — и едут, а тут...

Аделе бегом припустилась к речке. Знала, что зря тревожится, что сраму не оберется... и вообще грех думать про мать такое, но все равно не остановилась, бежала как сумасшедшая и лишь у мостика замедлила шаг, сжала кулаками колотящееся сердце. «Вот, господи, какая я дуреха», — подумала.

За ольхами по выбоистому проселку тарахтели колеса, скрипели грядки, придавленные тяжелыми снопами. Мать в белом платке на голове возникла, Габрелюс с вилами в руке шел за возом. Мать увидела Аделе, сквозь зубы нукнула на лошадей, дернула вожжи. Кладка моста разошлась, в широких щелях между бревнами поблескивала бурлящая вода, и лошади застригли ушами, остановились. Хозяйка сердито стегнула их вожжами, но лошади топтались на месте, прядали ушами.

— Не гони их, я переведу, — сказал Габрелюс, взял под уздцы вороного, нукнул, но лошади только фыркали да пятились.

— Чего стоишь там, будто привидение! — крикнула мать на Аделе, застывшую за мостиком, словно это ее испугались лошади. — Отойди в сторонку, тебе говорят!

Габрелюс, выпустив из рук уздечку, зашел на мостик, попробовал сдвинуть бревнышки. Подошла и Аделе, нагнулась.

— Лошади воду через щели видят, потому пугаются, — сказала тихо, словно одному Габрелюсу, потом подбежала к ольхе, отломала несколько крупных веток, притащила их. — Надо в щели засунуть. — И опять нагнулась, а рядом — Габрелюс... Его руки и ее руки...

Вдруг кто-то цапнул ее за косы, дернул.

— Тебе тут чего надо? — просипела мать и смазала ладонью по лицу. — Ты-то чего путаешься? — Двинула еще.

Габрелюс вскочил, словно эти пощечины пришлось по его лицу, схватил Аделе, оторвал от матери, оттолкнул в сторону, а сам встал перед разъяренной женщиной.

— Будь ты проклят!

Моника подняла обе руки, сжала кулаки, откинулась, замахнулась; Габрелюс повернулся, прикрывая лицо, двинул локтем близко, почти у самого лица женщины — нет, он не толкнул хозяйку, не тронул, не коснулся ее — и вдруг увидел, как она пошатнулась и полетела навзничь на острые камни ручья.

Жандарму Габрелюс сказал правду. Видит бог, он не виноват, пальцем не прикоснулся к хозяйке. Не мог же рассудок настолько помрачиться в тот миг, чтобы он не вспомнил. Правда, видел все как в тумане, все было так неожиданно — и пощечина хозяйки и нахлынувшая ярость, ее ярость и его ярость, — но был уверен: не он, не он... Но мог ли Габрелюс рассказывать жандарму все до мельчайших подробностей — разве поймет посторонний, когда у самого голова раскалывается? Рассказывал проще, чтоб тот поскорее отвязался:

— Лошади понесли через мостик, вот она и упала с воза...

Хозяйка даже не вскрикнула. Падая, она повернулась боком, и Габрелюс услышал только глухой стук. Стоял оцепенев, все еще выставив локоть, глядел на вспенившуюся воду, а потом подскочил к лошадям, огрел их вилами по хребтам, и телега с грохотом перелетела мостик — чудом не опрокинулась, но верхние снопы все-таки соскользнули в воду. Никем не управляемые лошади вихрем полетели

домой, а Габрелюс прыгнул в речку и подхватил женщину на руки. На берегу стояла, съезжившись, Аделе, в страхе глядела на мать.

— Я ее не тронул,— сказал Габрелюс, укладывая женщину на траву.— Я не тронул, Аделе, ты видела. Пальцем не тронул!

Аделе кивнула; ее губы тряслись, она не могла сказать ни слова. Потом упала рядом с матерью, завывала дурным голосом.

Сбежавшимся соседям Габрелюс сказал то же самое, что потом жандарму: лошади понесли и хозяйка соскользнула в речку прямо на камни. Жандарм допрашивал и Аделе. Она подтвердила. Точь-в-точь то же самое сказала, словно подучили ее, хотя Габрелюс и словом не обмолвился, что говорить. Когда допрашивали соседей, те отвечали, что ничего не видели, но уверены, что могло случиться такое. Прошлый год везли яровые, лошади понесли... сынок Бальчюнаса горбатый растет — тоже с воза свалился. Или вот Мачюта поясницу сломал... И уехал жандарм, неизвестно за что содрал с Габрелюса полтину штрафа.

Была самая страда, но на похороны люди стекались толпами. И все знай поглядывали то на Аделе, то на Габрелюса да о чем-то шушукались. В доме хозяйничали родственники покойной — и со стороны Балнаносиса и от родителей Моники. Габрелюс не вмешивался, но видел, как мужики бродили по амбару и хлеву, слышал, как ссорились возле гумна. Зарезали теленка, закололи поросенка; потрошили, жарили, варили, ездили на мельницу в Пренай. Сосед Крувьялис предупредил Габрелюса:

— Разорят дом, гляди в оба.

— Не мой,— ответил Габрелюс.

Самым пронырливым оказался свояк Балнаносене, еще не так давно сватавший Монику «ребенка Пачесы». Бродил по двору, что-то волок в свою телегу, сунув под полу, а в сумерках укатил; под утро объявился опять. Говорил с Аделе, утешал, обещал не забывать, может, даже поживет тут недельку-другую...

— Только не пускай сюда родню своей матери — они тебя завтра голышом из ворот выпроводят,— наставлял он Аделе.

— Ах ты старый лапоть! — услышал эти наставления младший брат Моники Напалис Густас и схватил из угла лопату.— Это земля моей сестры! Мое тут все!

Напалис Густас, ровесник Габрелюсу, а может чуть моложе, посинев от злости, медленно и угрожающе надвигался на свояка покойницы. Но тот все равно размахивал руками:

— Тут тебе ничего не причитается. Все тут Аделюке, дочки Моники. Как она скажет.

— Не соплячке решать. А чтобы ты, старый лапоть, на это добро сед, не позволю. Во, понюхай, чем пахнет.— Густас подставил увесистый кулак.

— Аделюке — моя племянница, и я... — петушился старик.

Аделе в ужасе запричитала, схватилась руками за голову; мужики поостыли, уселись петь священные псалмы, с неприязнью косясь друг на друга. Ночью, когда все повалились спать где пришлось, а у гроба остались лишь несколько старух, Аделе подседа в кухне к Габрелюсу, забившемуся в самый угол.

— Спишь?

— Нет. Думаю.

— И я думаю, Габрис. Что теперь будет-то?

— Не знаю. Как ты скажешь.

— Я?

— Ты сейчас хозяйка.

— Я... хозяйка?

— Ты, Аделе. И не забывай об этом.

Назавтра, вернувшись с кладбища, Аделе сказала родне: «Я здесь

хозяйка! И чтоб ни соринки со двора!» — и велела батраку запереть амбар да хлев. Боже милосердный, какой поднялся гвалт, но Аделе не сдвинулась с порога кладовой.

Хромой Балнаносис сплелся среди двора, топнул здоровой ногой и сказал:

— Чтоб мне сквозь землю провалиться — батрак на хозяйстве сядет!

— На-кась выкуси! — погрозил Густас в сторону Габрелюса.

Те, кто не поверил этому, спустя год в одно воскресенье услышали, как пренайский настоятель прелат Швилпа огласил с амвона помолвку Габрелюса Йотауты и Аделе Балнаносайте.

В то же воскресенье у церковных ворот, облокотившись о каменную ограду, стоял дюжий парень с давно не бритым лицом. Когда из костела вышли Габрелюс и Аделе, он шагнул им навстречу.

— Густас... — прошептала Аделе.

Напалис Густас засунул руки в карманы пиджака, будто пудовые гири опустил.

— Вот кто мою сестру в могилу... — приоткрылись онемевшие губы. — Моей сестры земля там! Не порадуешься!

Габрелюс глаз не мог оторвать от завораживающего взгляда Густаса, рта не мог раскрыть, а когда тот, круто повернувшись, ушел, долго не мог двинуться с места.

Сидя рядом с Аделе, под громыханье колес по булыжнику городка думал: «Я ведь правда пальцем не тронул Балнаносене... вечный ей упокой... Так господь определил...»

Улетела вдаль захолустная жемайтийская деревушка над речкой Вардувой, все глубже погружались в небытие родители и братья, прекрасные мечты паутиной повисли на колючем жнивье осени. Он любил Аделе и сам был любим — разве этого мало?

Так пробежал год, другой, и прелат Швилпа в метрической книге костела вписал: «Йотаута Миколас, родившийся восемнадцатого июня тысяча восемьсот семьдесят первого года от рождества Христова...» Случилось это в воскресенье, в полдень, во время обедни, и повивальная бабка, перекрестив младенца да перекрестившись сама, сказала:

— Ксендзом будет.

Габрелюс внес в избу тайком сделанную колыбель, повесил под балкой возле кровати роженицы.

— Сойдет? — лукаво улыбнулся.

Аккуратно сплетенная из лыка, разрисованная лесными птичками, с мельничкой в одном конце и трещоткой в другом, колыбель казалась живой, поющей и летящей. Деревенские бабы приходили взглянуть не столько на младенца, сколько на дело рук Габрелюса, на это чудо из чудес.

Аделе была счастлива. А Габрелюс не забыл слов повитухи: ксендзом будет. Оглядеться не успел, как пробежали еще четыре года, и рука того же самого прелата вывела в церковных книгах новую запись: «Йотаута Казимерас...» Габрелюс решил по-хозяйски: «Этому землю пахать, а тому науки постигать; из меня ничего не вышло, то хоть старшего сына в люди пуцую».

Габрелюс жил детьми. Едва старший подрос, осенью, еще до морозов, взял его от стада и увез в Пренай. «Учись, сынок, ксендзом будешь», — сказала, провожая его, мать. Ребенок верил — будет ксендзом; он хотел быть ксендзом и разгуливать в длинной черной одежде, но заплакал, что приходится покидать дом. И совсем позорно заревел через год, пожаловался, что боится учителя, который сечет розгами, не дает слова сказать по-литовски. Лишь отцовский ремень усадил его на телегу. Но Габрелюс не только от сына слышал эту жалобу. Многие считают: пускай лучше дети сидят дома да учатся грамоте по



молитвеннику, мать сама буквы покажет. Сосед Крувялис, с которым они поближе сходились, однажды не вытерпел и посмеялся:

— Кого хочешь из ребенка сделать?

— Думаешь, не понимаю? — покачал головой Габрелюс. — А куда егопустишь? Кто учить-то будет?

Крувялис огляделся и прошептал:

— К Бальчюнасам учитель прибудился. Десяток детей собирает, по-литовски их учить будет...

Габрелюс покачал головой:

— Не то, сосед...

— Как знаешь. Я сказал, ты не слышал, Габрис...

Субботним вечером пришел этот учитель. Оказался человеком пожилым, осунувшимся — ноги до самых колен обмотаны белыми холщовыми онучами, кожанцы, рваная сермяга с обвисшим капюшоном будто мешком на спине. Потоптался у двери, смахнул с буйной бороды тающие снежинки. Говорил о глубокой зиме, о заметенных сугробами дорогах, о волчьих следах возле клефов и отелившейся прошлой ночью корове Бальчюнаса.

Габрелюс сидел у окна, слушал рассказы гостя, вставлял слово-другое, потом подумал, что пора кормить скотину, уже смеркается. Когда Аделе с ребенком вышла в дверь, гость придвинулся к нему поближе. Габрелюс поймал его внимательный взгляд, и руки сразу же повисли будто подрубленные.

— Йотаута? Габрелюс? — тихонько спросил человек.

— Он самый. Но я... почему я не...

— Не узнаешь? — Человек еще ближе придвинулся к свету, глаза живо блеснули, заросшее бородой лицо помолодело — двух десятилетий как не бывало.

— Йокубас? Йокубас Либанскис?!

Йотаута огляделся; эта фамилия вызвала страх, неуверенность: не ошибся ли он, не проговорился ли зря?..

— Две недели назад слышу — рядом сосед Йотаута. На другой день опять слышу — Габрелюс. В окно увидел, когда заходил к ним по делу. Он самый. Точно.

— Почему же медлил, Йокубас?

— Ах, Габрелюс. Уже хотел бросить Лепалотас и податься в другие края. Но потом думаю: от человека убежать?

— Не верил, что ты жив, Йокубас.

Либанскис покачал головой.

— Собаке и то не пожелал бы такой доли. Поймали, сунули в кутузку, а потом по этапу в Сибирь. Не спрашивай, Габрелюс, ох не спрашивай, сколько горя там хлебнул. Счастье еще, что через десять лет вырвался. В Вильнюсе не застал родителей в живых и подался в люди. Я им нужен, знаю. У тебя иначе все сложилось, Габрелюс.

Йотаута не понял, искренне ли сказал так Йокубас или со скрытым укором.

— Не говори, и я всего хлебнул, — торопливо ответил.

Оба помолчали, словно вдруг не хватило разговора.

— Надеюсь, ты хоть не забыл, за что мы тогда шли? — Глаза Йокубаса снова уставились на него. — Люди землю получили, но все ли? Поместья как были, так и остались. Люди разве свободны, спрашиваю? Еще тяжелее цепи теперь на них.

— Раздразнили зверя, еще больше зубы оскалил, кусается.

— Со страху это. И не так страшен этот зверь. Помянешь мое слово — теперешний порядок сам себе могилу роет.

За дверью громыхнула чем-то Аделе. Йокубас шепнул:

— Останемся незнакомыми, Габрелюс. Еще сболтнет кто.

Снова отодвинувшись на конец лавки, Йокубас Либанскис рассказывал, что ни жены, ни детей у него нет, вот и бродит он так из

деревни в деревню. Показать литовскую букву, научить слово сложить да прочитывать его, поводить руку с грифелем — разве это не нужно? Нужно, признал Габрелюс, очень даже нужно. Так вот если ребенку не скажешь, что здесь литовская земля и на ней исстари жили отцы и деды, защищали эту землю своей кровью, откуда он все это узнает? И каким вырастет, не зная об этом?

Великий поэт хорошо сказал:

Холмы да горки, а на пригорках  
Зеленые дубравы.  
Литва, отчизна, ты нам дороже  
Здоровья, жизни, славы.  
Леса шумели, и песни пели  
Литовцы, не тужили.  
Деревья в бурю от ветра гнулись  
Там, где праотцы жили<sup>6</sup>.

Габрелюс соглашался с этими речами, плывущими спокойно, подобно далекому журчанью ручья; даже умилился, вспомнив свое детство, мечты юных дней, которым не суждено было сбыться. Потом Йокубас позвал Казюкаса, погладил голову — мал еще для науки, но пускай придет и послушает, авось букву-другую запомнит. Габрелюс сказал Аделе: набери-ка яиц. Учитель посидел еще, напомнил о несправедливом устройстве мира да всяких смутах и встал — вечер уже; может, книжонку когда-нибудь принесет, спасибо за тепло и за яйца...

Когда Йокубас Либанскис ушел, Габрелюс долго сидел у окна, глядя в туманную даль, которая таяла перед глазами, тускнела, и вставали картины, приплывшие будто из детских снов.

— Скотина не поена, не кормлена, — бросив охапку дров к очагу, напомнила Аделе.

Габрелюс встал на гнувшихся ногах, повернулся к младшему сыну: — Завтра отведу тебя к Бальчюнасу...

До рождества к Бальчюнасу, после крещения к Крувялису ребенок сам добирался до сугробам, а прибежав домой, взахлеб рассказывал, что говорил учитель, о чем читал им из книги, какую букву учил; в мамином «Золотом алтаре» сам тыкал пальчиком в буквы: вот это «ма», а вот это «ба». Но однажды влетела в избу старая Крувялене, задыхаясь, размахивая руками, и что-то пролепетала учителю. Человек, сидевший за столом, сторбился, поднял сухощавые руки и кривыми пальцами схватился за седую голову.

— Бегите домой, дети, — сказал наконец, пряча книгу за пазуху. — По дворам бегите да по полям.

Дети постарше, словно ждавшие этого, схватили шапки и мигом улетучились, а Казюкаса удержала старуха: еще утонешь в сугробах, сядь на кровать к нашим.

— Иисусе, что теперь будет-то? — шептала женщина.

Хлопнула дверь, и вошли два высоких человека с длинными винтовками в руках. Казюкас не понял, о чем они говорили, но перепугался насмерть, когда один во всю глотку заорал на учителя и ударил его кулаком в грудь. Старуха Крувялене молилась, металась по избе, а Казюкас с детьми Крувялисов заплакал.

Потом все услышали печальный голос учителя:

— Будьте здоровы.

Дети терли пальцами замерзшее стекло оконца, глядели на дорогу, по которой жандармы гнали старого сутулого человека с котомкой на спине.

Жандармов видел и Габрелюс Йотаута. Налег грудью на плетень, забор изогнулся, затрещали хворостины, зажатые крепкими руками, — пробудилось сердце бунтаря шестьдесят третьего года, всего

<sup>6</sup> Из «Путешествия в Петербург» Антанаса Баранускаса (1835—1902).

захлестнула ненависть, и он столько лет спустя снова подумал: не одобровать вам! Хотел что-то делать, за что-то ухватиться. Но что он мог? Не закричишь ведь, выйдя на дорогу... Возвращаясь с базара, у перекрестка увидел на столбе доску с названием своей деревни, написанным только русскими буквами. Не первый раз ее видел, но теперь его так и обожгло. И однажды вечером, сказав жене, что идет к соседу, не скоро вернулся домой. Притащился по сугробам, засунул под крыльцо амбара кисть и черепок горшка с извештой, вытер о снег руки и с дрожащим сердцем вошел в избу. Лег и долго не мог заснуть. Перед глазами все еще стояли крупные буквы на дорожном указателе у перекрестка: «Liepalotas». Буквы, выделенные его рукой. Рука почему-то все еще дрожала. Но хорошо было от мысли: утром люди останутся да станут пожимать плечами — литовские буквы «Liepalotas». Кто ни проедет мимо, увидит. Вот взбесятся жандармы, когда узнают! Вахмистр лопнет от злости. И пускай!.. И вдруг эта радость улетучилась — кто же прочитает в их деревне? Кто умеет читать-то? Разве что ребенок найдется, которого успел научить Йокубас. Господи, ведь никто читать не умеет, застонал Габрелюс; жена спросила, не захворал ли.

— Темнота... Ночь, — прошептал.

— Самые длинные ночи сейчас, — согласилась Аделе; прижалась жарким телом, обняла.

Казюкаса отец учил сам. Рассказывал о том, что еще помнил из прочитанных когда-то книг, кое-что от себя добавлял. Не усадив за стол, объяснял, а на гумне, сметая обмолоченное цепами зерно или провеивая его в хлеву, кормя скотину или у сарая, коля дрова. Ребенок ходил за ним, по силам помогал, слушал и запоминал. А то опустится отец на корточки на тропе и выводит на снегу буквы.

— Что я написал?

— М и а — ма, м и а — ма... Ма-ма... Мама! — радостно восклицал Казюкаса.

— Не дурак, — похвалил отец, видя, что ребенок если и запоминал что, то надолго. И подумал: «При хозяйстве много ли ему нужно будет; Миколас — другой разговор, для того ничего не пожалею, последние штаны сниму да торговцу продам, но учиться будет...»

Летом, правда, и Миколас учил братишку, давал читать свои книги. Отец слушал, счастливо улыбался. Потом взял книгу, полистал, посмотрел на обертку, долго глядел и наконец насупил брови.

— Кто это написал? — спросил.

— Учитель. Своей рукой.

— «Михаил Ятовтов», — громко и медленно прочитал, стиснул зубы и швырнул книгу на стол. — Так вот, сын, что я тебе скажу. Никогда нельзя забывать, что ты Миколас Йотаута! Повтори!

— Миколас Йотаута.

Миколас Йотаута, одолев шесть классов, в одно воскресенье неожиданно сказал:

— Папенька, и вы, маменька, не заставляйте меня поступать в духовную семинарию, ни за что не пойду.

Черный это был день для матери. А отец Габрелюс сгорбился, сник, но, точно ржаное поле после бури, опять помаленьку выпрямился, посмотрел на солнце.

— Да простит меня господь — не буду я таким, как мой отец когда-то. Но запомни — помочь почти не смогу.

В конце августа, когда большинство хлебов уже было под крышей, темной ночью загорелось гумно. Зарево пожара озарило все небо над Лепалотасом. Трещали, гудели, метались языки пламени, Габрелюс Йотаута носился по двору, и страшно было, как бы он сам не бросился в огонь. Ничем не могли помочь и сбежавшиеся соседи. Только поговаривали: неспроста загорелось, подпалил кто-то, дурная

рука человека сделала, как пить дать. Габрелюса пронзила мысль: Густас! это его месть!

В большой нужде прошел и тот и следующий год. А когда сын Миколас собрался ехать в Москву, Габрелюс Йотаута наскреб всего два рубля и не в руку сыну дал, а положил на край стола.

— Сколько могу, столько. Мать, собери ребенку в дорогу припасов.

Аделе принесла что было, потом подняла крышку своего сундука, достала полотенце: сама его выткала с длиннющей бахромой на концах, сама в разгар цветения садов отбелила, и пахло оно льном, солнцем да полевым ветром.

— Возьми, сынок.

Остались дома они, уже начинающие стареть, и вытянувшийся за последний год Казюкас. Из далекой Москвы изредка приходили письма; зимними вечерами отец тоже находил время, чтобы отписать. Продав воз пшеницы, уступил уговорам матери и послал десять рублей. Не жалко родному сыну, сказал. А когда однажды летом Миколас приехал на родину, Габрелюс Йотаута стал высоко держать голову, правда порядком полысевшую,— шутка ли, первый человек в деревне, пустивший сына в науку. Дождавшись воскресенья, застелил облучок возка новой попоной, посадил рядом с собой Миколаса и поехал. Хотел и мать с собой взять, но, как на грех, корова стала пухнуть, нельзя было оставлять ее без присмотра. Уже который день сердце Аделе таяло от слов сына: «Твое полотенце, мама, я на стену повесил. Кто ни придет, наглядеться не может. Чем оно так вкусно пахнет, спрашивают. Это запах Литвы, говорю...» Аделе провожала взглядом мужчин, сама, казалось, летела за ними, обратившись серой вороной. Возок весело громыхал, Габрелюс поглядывал по сторонам, не жалея хлестал лошадей прутом, обгонял всех, степенно улыбаясь в усы, будто вез самого епископа. Лишь в городке эта улыбка исчезла. Сын сказал, что в костел не пойдет. «Вы идите, папенька,— сказал,— а я подожду». Тогда и отец остался. Что ж, можно и перед костелом молиться, дверь-то нараспашку, голос ксендза и позванивание колокольчиков слышны. Йотаута перекрестился, сотворил молитву, опустившись на колени на траву. А сын стоял... Даже в само вознесение даров стоял будто вкопанный, печально глядя в землю. Хоть бы знакомые не увидели, думал отец, путая слова молитвы. После обедни процедил сквозь зубы:

— Какой ты веры, хочу спросить?

— Не верующий. Ни в бога, ни в царя.

Йотаута оперся на грядку возка, сплел пальцы как для молитвы и уставился на свои натруженные руки. На улице галдел народ, у соседних телег о чем-то толковали, только он был слеп и глух ко всему — опять, как много лет назад, плыл через Неман, подгоняемый выстрелами казаков, опять бежал по берегу, клича пропавшего где-то Йокубаса Либанскиса, который не раз твердил ему: «Мы вызволим человека от царя, а от бога он уж сам себя вызволит...» Похоже говорит сейчас Миколас.

Домой ехал молча, съездившись на облучке. На полпути спросил:

— Там много таких... которые ни в бога, ни в царя?..

Миколас сухо кашлянул, поглядел запавшими глазами на отца.

— Много, папенька. Поверьте мне, много.

— За то и нас они так душат.

— Не те... не тех, папенька, надо лихом поминать. Не путайте их со всякими... Вся империя стонет под царем. И кулаки сжимает против его сановников. Могу ли я иначе? Стану доктором, но в Литве мне работать не позволят. Вы слышите, папенька: литовцам нельзя

зя работать в Литве, служить родному краю! Только ксендзы могут вернуться. Конечно, они здесь нужны. Как и жандармы.

Эти страшные слова опять напомнили былые годы и полузабытые речи, они страшили, холодили душу и тело. Но как возразить, как не согласиться? И все-таки, как отец, он должен был сказать сыну:

— Не богохульствуй, чтобы мать не услышала. И брата на дурное не толкни.

Миколас приехал ненадолго, но и дома почти не сидел. Говорил, что у него много приятелей, и пропадал иногда на несколько дней. Принес отцу засаленную книжонку о Парижской коммуне, велел прочитать тайком и передать только верному человеку, а еще лучше подбросить так, чтобы тот сам нашел.

Прошло еще десять лет, и Габрелюс Йотаута, сняв шапку, положил ее на колени, почесал затылок да пригладил ладонью венчик волос.

— Так давно писем не было. Что же он пишет-то?

— Может, домой едет,— гадал староста, принесший письмо.— Говорят, теперь литовская грамота дозволена. И в школе, говорят, по-литовски говорить начинают.

— Мать, позови Казимераса и сядь,— приказал жене.

Та выбежала во двор, вернувшись, вытерла руки о передник и уселась на край лавки, смахнула слезу умиления.

— Так вот,— вздохнул Габрелюс и, дрожащими пальцами надорвав конверт, выудил из него маленький желтый листок.

— Ждем,— напомнил наконец староста.

Габрелюс Йотаута глядел на листок с очень четко написанными словами. Их было так немного, этих слов, и каждое ударом колокола отдавалось в ушах.

«Его кровь обагрила камни мостовой»,— не видя ни слов, ни букв, прочитал Йотаута, и омертвевшие руки с желтым листочком со стуком упали на стол, будто комья земли на крышку гроба.

По Миколасу отслужили молебен, и в Лепалотасе заговорили: сына Йотауты, цицилиста, жандармы убили.. Отец слушал эти речи, поначалу они казались оскорбительными, но потом он стал объяснять: «За волю сын шел, против тиранов...— И подумав, гордо добавлял: — Как во французской коммунии!» Может, потому и самого Габрелюса в деревне стали величать цицилистом. А уж навсегда приклеилась к нему эта кличка осенью.

Перед престольным праздником святого Мартина базарный день выдался погожий, с солнышком. По всем дорогам гроыхали тяжелые телеги, жалобно блеяли связанные овцы, мычали откормленные за лето телята, визжали поросята, трепыхались куры. Осенью каждый богат да сыт, но близился час, когда придется развязать кошельки: выложить властям налоги, выплатить жалованье батракам да девкам; нужны керосин, соль да мыло, нужны подметки для сапог и катушки проволоки для деревянных башмаков... Все нужно, ей-богу. Отец и сын Йотауты, продав барана и трех уток, тоже собирались возвращаться не порожняком: отцу хотелось заглянуть в скобяную лавку, а сын говорил, что хочет подыскать для себя фуражку покрасивее. Почему ему вдруг понадобилась фуражка, не говорил. Ладно, раз хочет, пускай; ведь работает ребенок, все хозяйство на нем держится.

— Зайдем к Мойшке,— вспомнил Габрелюс Йотаута и причмокнул.— Страсть как селедочки хочется.

— За бараний хвост и кружку пива пропустить не грех,— подхватил Казимерас.

— Дело говоришь. Только бы продать.

Покупатели помнут бока барана, потормошат уток и двигаются дальше, даже не спросив о цене. Всего навезли на базар, целые горы высятся, а в кармане у покупателей, видать, копейки десять раз считаны да пересчитаны. По базару ходили и два чванливых жандарма, но те глядели не на телеги — ястребиными глазами сверлили людей.

— Тьфу! — сплюнул Габрелюс Йотаута, когда мимо него прошел жандарм, и в это время услышал голос, перекрывавший гомон базара:

— Мужики! Хочу спросить вас...

Габрелюс повернулся и увидел неподалёку вставшего на телегу человека с кепкой в кулаке.

— Долго ли будем влачить кровавое ярмо царя? Долго ли будем позволять, чтоб нас топтали жандармы? Мужики, волнуется вся Россия и окраины империи. Почему мы молчим? Чего ждем?

Люди загомонили. Жандарм не понял сказанного, но одно ему было ясно — против царя! Он побагровел, засвистел, аж приседая, и бросился в ту сторону, где говорил человек, одетый не в сермягу, а в городское пальто. Но тут — телега к телеге, проходы лошади да люди загородили. Говоривший мужчина исчез, смешался с толпой, а в другом конце площади раздался новый голос:

— Долой кровопийц! Скинем их прогнившую власть!

Шум, свист. Какой-то мужчина, подскочив к жандарму сзади, ударил его по голове и сорвал с плеча ружье.

Народ хохотал, кричал что-то, суетился... Хлопнул выстрел.

— Пошли! — Габрелюс Йотаута позвал сына, побежал было на выстрел, но вернулся, вытащил из телеги шкворень. — Я им покажу! Попомнят Миколаса!..

Ржали лошади, мужчины кричали и рвались от телег, женщины хватали их за сермяги, плача, не отпускали.

Пока Йотауты пробились сквозь толпу к дому, в котором засели жандармы, они увидели, что из двери выходит мужчина — тот самый, который первым говорил с телеги.

— Разбежались, ни одного не осталось! — радостно сказал мужчина. — Вот какая у них сила! Они против нас ничто, говорю я вам. А теперь в управу! — скомандовал.

Габрелюс сожалел, что без него справились с жандармами, однако, подбежав к дому, ударил шкворнем по окну. И окна волостной управы не пожалел. Даже усмехнулся со злорадством и крепче сжал в руке шкворень.

Мужчина в городском пальто говорил людям, что отныне будут править рабочие и крестьяне. Йотаута послушал-послушал и, решив, что ему тут больше делать нечего, вернулся к телеге, вставил на место шкворень.

— А где же баран? — огляделся Габрелюс и опять схватился за шкворень. — И уток нету! Ах, революция!

Это было в пятницу. А в понедельник утром их обоих увели жандармы. Со связанными руками шли они по деревне, а жандармы охаживали нагайками. Аделе бежала за ними, кричала, упав, ползла на коленях.

Старая Крувялене возле своей избы говорила внукам:

— Кто от бога отойдет, того черт приберет.

Всю вину принял на себя отец, и Казимерас уже в четверг вечером вернулся домой с ноющими рубцами на спине и с головой, очумевшей от побоев. Габрелюс Йотаута, которого отправили в Мариамполе, до масленицы кормил вшей в сыром подвале.

У старого раны не заживают долго, у молодого живо затягиваются, хотя бы поверху. Кровь у молодых такая. Казимерас купил новую фуражку, сдвинул ее набекрень, над ухом выпустил чуб —

и хоть бы хны. Стал пропадать куда-то воскресными вечерами. Господи, господи, чтоб опять во что-нибудь не влез...

Когда отец малость очухался и уже посеяли яровые, Казимерас возьми да скажи:

— Я бы жениться хотел.

Габрелюс подскочил за столом, отшвырнул деревянную ложку так, что та полетела под лавку.

— Ты мне глупостей не говори! Не ребенок уже.

— Потому и говорю: хочу жениться.

Отец грохнул кулаком по столу:

— Успеешь! Еще не пришло время.

Пыхтел, морщился, зыркал исподлобья на сына. Наконец мать встала:

— Если б справную жену нашел...

— Успеет! — отрубил Габрелюс, хотя сам толком не знал, почему так встает на дыбы. Ведь, сидя в кутузке, не раз думал — стукнуло ребенку тридцать лет, пускай сам управляет, по своему разумению... Но теперь, когда Казимерас сам об этом заговорил... Кончатся твои денечки, наконец-то понял он, в чем загвоздка, в Лепалотасе дни твои усохли, вода Швянтупе их унесла...

— Выбрал уже? — смилостивился.

— Матильда Гаршвайте. Из Паесиса.

— И пронюхал же ты... Так далеко.

— Совсем недалеко, папенька. Хочу жениться.

— Это мы еще посмотрим, — опять посуровел отец и посмотрел на новую фуражку сына, висящую на крюке возле двери.

«Словно вчера все было, а если по правде — седьмой десяток кончается, — качает головой мать. — Седьмой десяток как я, Матильда Йотаутене, цепляюсь за жизнь, точно вьюнок за ветки шиповника. Невелика важность, что колючки острые, что в крови руки и сердце. Нельзя было спотыкаться. Чтоб другие не споткнулись. Идти надо было. Ведь каждому отмерен кусок дороги. Только одному дорога прямая, но — до первого обрыва, а другому длинная, извилистая, через всю огромную землю и еще дальше».

Сияясь заглянуть в необозримые дали, она откидывает голову, поворачивается лицом к маячащему вдали лесу, а может, к ясному небосводу, подпертому верхушками елей. Щурит глаза — не от сна и не от усталости лишнут веки — так она видит яснее и дальше.

«Я вслушаться хочу...»

Это сказал Саулус. А мог ведь давно уже вслушаться. Но если тебя слушать заставляют, разве услышишь что?

— Почему это вдруг?

Наверно, не она спросила.

И не она рассказывала все божье утро. Она только сидела вот так, зажмурившись, и не мешала и м сойтись здесь да разговаривать. Сидела тихо, спокойно, ей-богу, даже не шелохнувшись, но ведь эти люди упомянули ее имя.

Слышал ли Саулус эту длинную речь?

Совсем не длинную, так только показалось. Пробежавшие годы никогда не бывают длинными, даже если ты не ступил ногой за ворота.

— Почему это вдруг?

Мать все еще смотрит на лес или на небосвод над двумя елями, откинув голову, медленно наклоняется то в одну, то в другую сторону, а лицо ее бесстрастно, оно изрезано морщинами и складками. Только дереву каждый год прибавляет по одному кольцу, а человеку следы оставляет каждый горестный день, боль и печаль, разговоры с самим собой. Кто сосчитает морщины, кто разгадает и прочтает их смысл?

— Я не знаю,— говорит Саулюс и пожимает плечами, удивляясь собственному незнанию.— Только чувствую — надо...

— Я ждала этого...

— Чего ты ждала, мама? — торопится спросить Саулюс.

— Что тебе это понадобится. И ради этого, думаю, стоило потерпеть. Одного не могу понять — где ты был раньше?

Мать поворачивается к Саулюсу, смотрит пристально и глубоко — не в глаза, а в душу заглядывает; откроется ли она, распахнется ли?

Саулюс сидит на лужайке, прислонясь спиной к клену. Косые лучи солнца, просочившись сквозь густую листву, пляшут на сплетенных руках и босых ногах, которые еще чувствуют прохладу утренней росы. Каждое утро он просыпается ни свет ни заря, едва забрезжит рассвет за окном чулана, вслушивается в гомон птиц в саду и думает, что давно не слышал птиц родного хутора. Бесшумно крадется на двор и уходит в поле, на пойму Швянтупе. Уходит далеко, смотрит перед собой, не оглядывается. Вскачь уноситя вспугнутый заяц — пускай. На копне сена стучит клювом аист — пускай. На зяби уже стрекочет трактор, по проселку грохочет грузовик с галдящими доярками и звякающими флягами — пускай. Он идет, будто его кто-то ведет за руку и даже напоминает: тут камень — обойди, тут канава — перепрыгни... Что гонит его ранним утром, когда мир только просыпается? Вспоминает далекие и близкие поездки, ослепительное солнце Пиренеев или поднятую правую руку Мигеля Габеса, этот кровавый обрубок? Приятелей, сидящих в «Неринге» или в душных мастерских, непонятный уход Дагны или открытый чемодан с подарками, брошенный посреди комнаты? А может, ищет следы своего детства?

«Почему так смотришь, мама? Я не блудный сын, вернувшийся под отчий кров умолять о прощении».

— Ты не думай, что я не вспоминал тебя, мама. Легко спросить — где ты был раньше?.. Работал. Вот этими руками работал, этой головой. Думал горы своротить. И злился на себя и на весь белый свет.

— Устал? — сочувственно спрашивает мать.

— Это не усталость. Желание что-то сделать... За что-то ухватиться, что-то начать.

— Себя не переломишь.

— А я хочу себя переломить. Когда в Пиренениях стал на дороге Людвикаса, мне почудилось, кто-то меня зовет домой.

— Однажды ты ушел из дому и даже не оглянулся. Надолго тогда ушел.

— Мы перепрыгиваем Швянтупе и думаем, что открыли Америку. И отец когда-то ушел и Людвикас... Все мы, мужчины, уходили, только не все вернулись.

— Я уже сказала — ты ушел не оборачиваясь, может, потому и теперь получил, чего бы я и врагу не пожелала.

— Мама!

— Да, сын. Ты говоришь обиняками, а я начистоту.

Мать властно произносит эти слова, в ее глазах вспыхивает хорошо знакомое пламя тех дней — не пригласило оно, не остыло. Разве не прямой взгляд матери и ее голос, не допускающий возражений, выгнали тогда из дому Саулюса? А может, проклятье, брошенное на мостике через Швянтупе, по сей день ложится на них черной тенью?

Мать встает, придерживаясь рукой за стену, поправляет платок, отряхивает передник и медленно, понимая, что главные дела уже в прошлом, идет к избе. Одна ступенька, другая — и вот она уже на веранде. Здесь в тени и заветрии любит она посидеть погожими дня-



ми. Все перед глазами: двор и поле, кто едет или идет по дороге. Виден и пригорок с двумя елями над речкой. Вся жизнь матери здесь, рукой подать.

— Правду говоришь — одни ушли и вернулись, а другие...

Мать садится в старое кресло, которое еще папаша Габрелюс когда-то смастерил, огромное, с высокой резной кленовой спинкой. Кресло это стояло в горнице в конце стола, величественное, точно королевский трон, и в него лишь раз в год садился посещавший их с рождественским объездом настоятель попить чаю с сахаром вприкуску; для прочих гостей вдоль стен стояли лавки. Древооточец изгрыз кресло. По ее просьбе Каролис вынес кресло на веранду, скрепил гвоздями, ножки перетянул проволокой. Матильда устраивается поудобнее, откидывается на спинку. Сидя вот так и вслушиваясь в жужжание пчел, хмелея от запаха пионов, она иногда засыпает, и снятся ей далекие дни.. семь десятков... пять десятков лет назад... Кто ушел из этого двора на своих ногах, кого угнали, а кого унесли на плечах....

Глаза зажмуриваются. Но не для сна.

Она все видит. Но увидит ли Саулюс?

В Лепалотасе это имя было в диковинку. Бабенки носили его с хутора на хутор, иная даже теряла по дороге и бегала к соседке переспросить. Ага, Матильда... Наверно, не святое. Языческое, стало быть. Всех ведь заботило, с кем будут жить по соседству, разговаривать, встретившись в поле, кого будут звать на помощь в беде.

Отец тряхнул мошной и созвал на свадьбу всю огромную деревню, не забыв ни бобылей, ни арендаторов. Может, потому, что своей родни у него нету. Вот, господи, горько живет человеку без близких; но и со стороны Аделе народу маловато, родного дяди Густаса нет, со дня смерти сестры Моники он сюда ногой не ступает, один господь ведает, как там было, на мостике через Швянтупе... Бабенки вздыхают и сверлят глазами молодуху — высокую, вровень с самим Казимерасом, тонкую, будто тростинка, с белым, пожалуй, чуть крупноватым лицом. И робкую. Ладно, поначалу все они такие: глаз не поднимают, слова не говорят, зато потом — затычкой уши, свекровь!

Матильда сжимала под столом руки, стараясь унять дрожь. Был поздний вечер, и ее охватил страх. Не силой выдали ее за Казимераса, сама хотела, нравился, ночи напролет о нем мечтала, но сегодня не могла себя понять. Страшно было да и только. И еще боялась, что ее страх заметят. Хотела вырваться, убежать, но знала — ворота закрыты. Еще больше захотела удрать, когда увидела в чулане широкую кровать с белым покрывалом и высокой горкой подушек. Сейчас она должна постелить постель — для себя и мужа («Господи! Для мужа!»), должна раздеться и лечь. Матильда смотрела на кровать, как на могильную яму, которая вот-вот поглотит ее. Казимерас обнял ее дрожащие плечи, поцеловал. Он ждал. Он показал рукой на кровать, и она заплакала; заслонила руками лицо, мотала головой, тряслась всем телом. «Нет, нет», — повторяла без конца. А когда чуть-чуть успокоилась и подняла голову, кровать уже была постелена. Казимерас мягко улыбнулся и задул лампу...

Семнадцати с половиной лет Матильда родила ребенка. «Сын!» — обрадовался отец. «Внучок!» — ликовала старуха.

И только теперь, когда появился маленький Каролис, Матильда почувствовала, что она уже другая, не та, которая пришла в Лепалотас. Что-то переменялось в ней, ей самой трудно себя узнать, и она глядела на эту другую женщину со стороны, с любопытством и спрашивала ее: откуда это пламя, что обжигает тебя, откуда эта неутолимая жажда и ненасытная алчность — слышать плач и смех ре-

бенка, видеть поля и парящую в небе птицу, слушать журчание Швянтупе и насвистывание скворцов, сидеть за столом рядом с Казимерасом, папашей Габрелюсом и маменькой?.. «Боже, ведь это и есть жизнь, которую ты дал мне в руки. Мне дал, нам всем дал. Я живу и я счастлива». Она еще не знала, что однажды в небе загорятся огненные столбы.

Эти два огненных столба загорелись после рождения второго, Зигмантаса, ранним утром 23 января, посреди зимы, когда все небо было тяжелым и черным, а стужа просто обжигала. Вышел Габрелюс к забору и забыл, зачем вышел, — над заиндеветыми ольшаниками Лепалотаса, далеко-далеко, где поднимается солнце, пылали два зловещих столба. Но это не солнце всходило. Было еще рано, и совсем не так занимается заря. Габрелюс повидал ее на своем веку. Но чтобы так кроваво полыхали «небесные столбы» (позднее он так и говорил, смеясь над собой, что невольно поверил, будто небо подперто столбами наподобие сарая), вряд ли видел кто-нибудь в деревне. Замычали коровы в хлеву, завyli деревенские собаки. Габрелюс опустился на колени прямо в сугроб, поднял руку для крестного знамения, но тут же вскочил, вбежал в избу и крикнул: «Конец света!» Выбежали полураздетые, стояли, трясясь от страха, глядя на кровавое небо, пока эти два столба медленно потускнели и съезжились, уступая место белому краешку солнца. Вся деревня видела эти огненные столбы и гадала, что бы это могло значить. Одни говорили — грозный перст божий, другие — пасть антихристовой печки, третьи — огненная грива небесных коней. Одни гадали — будет голод и мор, другие — судный день настанет, третьи — земля кровью обогрится. Поговорили, погадали и забыли. Ведь скоро забываются все пророчества, когда день-деньской пашешь в поле, сеешь яровые, а вечером после работы обнимаешь в кровати свою жену.

— Я опять, Казимерас, — жарко прошептала Матильда.

— Уже? — Казимерас поднял голову, облокотился.

— Хорошо бы девчонка.

— Нет, все будут мужики. Я знаю, что делаю.

И только на уборке ржи деревня вспомнила кровавое знамение 23 января, и все в один голос запричитали: разве я не говорил! Взвали двоих мужчин, призывных; думали, уже заткнули глотку богу войны. Не тут-то было... Уже стал слышен грохот орудий, когда староста вручил повестку.

— Не может быть, — покачнулся Казимерас.

— Так написано, — сказал староста, не слезая с возка. — И я это говорю.

— Ведь годы не те. Дети под стол пешком ходят, жена на сносях. Не может быть.

— Когда война — всякое бывает.

Казимерас Йотаута вернулся к вонзенному в борозду плугу, отцепил вальки и пригнал лошадей домой. Уселся возле колодца на конце водопойного корыта, ухватился руками за голову и стал раскачиваться.

— Случилось чего, Казимерас? — окликнула Матильда издали, но слова ее как горох об стенку. — Казимерелис!..

Блеснул белками глаз — поглядел не как на жену, как на чужую. У Матильды подкосились ноги.

— Случилось что, спрашиваю?

— Случилось, — все еще не видя жены, ответил он. — Папаша где?

Надо было ехать в тот же день, так стояло в повестке. Папаша Габрелюс бухнул кулаком по столу.

— Иуды! Почему моего ребенка?

Матильда, молодая и глупая, горя не хлебавшая, прильнула к плечу Казимераса, коснулась кончиками пальцев его прохладной руки.

— Может, ненадолго. На рождество и вернешься.

Габрелюс бухнул по столу второй раз.

— Стало быть, сдержал слово вахмистр. Не забуду про вас, цидилистов, пригрозил, когда отпускал из тюрьмы. И вспомнил-таки, хотя столько лет прошло.— Огляделся, встал, опершись о край стола.— Что ж, сын, одевайся, пойдешь царя защищать.

— Мне воевать не за что, сам знаешь,— обиделся Казимерас и сжал кулаки, словно собираясь кинуться в драку.

— Только праотцы наши, когда с крестоносцами бились, знали, за что идут.— Габрелюс положил руки сыну на плечи, посмотрел прямо в глаза.— Да хранит тебя господь.

Мать благословляла, осеняла крестным знамением, смахивала слезы и все повторяла: «Не найдешь меня в живых, вернувшись, чует мое сердце». Казимерас усадил на колени сына Каролиса, уперся подбородком в голову ребенка и молчал, только губы у него тряслись, а остекленевшие глаза смотрели вдаль. Вскочив, оттолкнул сына, обвел всех обезумевшим взглядом и крикнул:

— Не пойду! Никуда я отсюда не пойду! Пускай берут в кандалах, раз так надо. Пускай сами... а я — нет... Нет!

Габрелюс запряг лошадей в телегу, подогнал ее к воротам. Мать уложила в мешочек пару исподнего белья, теплые носки, отец отрезал полкаравая хлеба.

— Поехали, сын,— негромко сказал Габрелюс.

Казимерас послушно встал, надел сермягу. Рядом с отцом не сел; махнул рукой — ты езжай, я пешком. И вслед за тархтящей телегой зашагал по осенним полям.

Матильда одной рукой вела Каролиса, другой прижимала к груди малыша, а под грудью тревожно бился третий.

— Твой отец на войну уходит, запомни, Каролюкас,— говорила старшему.— Ты еще глупенький, Зигмутис, но посмотри — отец на войну уходит,— говорила младшему, а подумав о третьем, который не видел этого и не слышал, остановилась посреди поля и застыла, только смотрела, смотрела на Казимераса, страстно желая, чтобы тот обернулся, подбежал, обнял (может, в последний раз!), но он шел ссутулясь, словно боялся оглянуться на свое поле, на излучину Швянтупе, на избу под тополями и опустевшее аистово гнездо на коньке хлева.

По этому же самому проселку ровно через два года (тоже осенью) старый Габрелюс подгонял едва волочившую ноги лошадь. Держась за грядку, подталкивал скрипящую телегу. А на телеге светился белыми досками гроб. Он сам выстругал доски и сбил его. Сам накрыл крышкой и заколотил четырьмя гвоздями. Отдыхай, раз устала. Нет больше старой Аделе. А когда она постарела, Габрелюс даже не заметил. Была молчунья дочка Баланосене, стояла на мостике, когда везли рожь, даже не защищалась, когда мать ударила ее по лицу. Но лучше не вспоминать ее мать, Монику-го. Почему она встала перед глазами в такой час? Падая навзничь, Моника сказала одно только слово: «Проклят». Не пало ли это проклятье на их дом?! Нельзя сегодня об этом думать, когда совсем нет сил, когда ноги подгибаются и не ты толкаешь телегу, а телега тебя тащит. Как и всю свою жизнь не ты толкал, а тащился вслед за телегой и тебя обдавало грязью из-под колес. Отдыхай, Аделе, отмучилась, могла еще пожить, если бы не это наказание божье. Мало того что война забрала столько народу (где Казимерас-то? ни восточки все эти годы), мало горя горького, которое принес фронт, что туда шел, да

опять обратно перекатился. Нет дома в Лепалотасе, чтоб не плакал народ; похоронные свечи сожгли, нечего умирающему в руку вложить. Давно ли Габрелюс тоже вот так ехал по деревне, только гробик на телеге был маленький. Второго малыша снохи похоронили, Зигмутиса, вечный ему упокой. Режет костлявая каждым взмахом косы. Некому даже на поминках петь да на кладбище покойников провожать. Поредела деревня, а кто еще ноги волочит, тот других хоронит.

Габрелюс вернулся, похоронив Аделе, и слег. «Слышу, зовет она меня»,— сказал смутно, и понимай как хочешь, Матильда: смерть его зовет, стоя в головах, или жена из свежей могилы? Все хлопоты легли теперь на плечи одной Матильды. В жару метались оба ребенка, бредили, плакали ночами. Она отпаивала их травяным настоем, чистым зеленоватым кипятком, потому что сахара не оставалось ни крупички. Этот кипяток носила и Габрелюсу, который лежал навзничь, потел и тяжело дышал, словно умаявшись от работ. «За детьми смотри»,— напоминал.

Матильда не знала, здорова ли она сама или хворает, некогда было об этом думать, только видела временами, что все летит куда-то, а под ногами вдруг разверзается пол или тропа на дворе. Однажды рухнула на холодный пол, шмякнулась головой, закрыла глаза, но жалобный писк маленького Людвикаса поднял на ноги — почудилось ей, что ребенок втянул последний глоток воздуха. Опять шла, хватаясь руками за стены, и больше всего боялась, что умрет первой. Нет, нет, пока дышат эти малыши, живая память о Казимерасе, у нее нет права уставать, она обязана выходить их, ведь не может явиться человек на свет божий для того, чтобы сразу же умереть. Должно свершиться чудо.

Чудо свершилось, ей-богу. Дети проспали всю ночь, а утром Каролокас, увидев мать, улыбнулся и попросил кушать. У Матильды прояснилось в глазах, силы неведомо откуда хлынули в руки и ноги.

— Сейчас я картошку поставлю...

Неделю спустя поднялся и Габрелюс; заросшее щетиной лицо осунулось, ноги тряслись — еле-еле добрался до двери и опустился на лавку.

Деревня ожила, а к весне и совсем приободрилась. Мужчины заговорили: будет Литва независимая. Без царя, без кайзера будет Литва. Габрелюс иногда приносил вести, но они были такие неясные, что Матильда никак не могла уразуметь что к чему.

Уже сажали огороды. Она подняла голову, собираясь смахнуть ладонью волосы с глаз, и с досадой сказала:

— Опять нищий. А что подашь, коли мы сами такие...

Наклонилась, сунула два пальца в борозду, вставила было росток, но вдруг выпрямилась, притяделась к человеку. Ветер развевал полы шинели, человек опирался на палку и припадал на правую ногу. Такой... какой-то... Остановился, снял шапку.

— Господи,— прошептала Матильда, из горсти выпала рассада сахарной свеклы, и она сделала шаг, другой прямо по посадкам, ничего не видя, только этого человека, который приближался к ней так чудно и медленно.

— Господи, Казимерас! — Зазвенели поля, давно не слышавшие такого громкого голоса Матильды. — Ведь Казимерас же!

Она побежала по дружно взошедшему овсу и, поняв, что топчет яровые, испугалась, не обручает ли ее Казимерас, даже остановилась; но, пожалуй, не потому она растерялась посреди поля — увидела, что нога ее мужа опирается на деревяшку. Но ведь это был он, долгожданный... Живой!

Раскинула руки, собираясь обнять за плечи, но пальцы скользнули по шероховатой шинели — она старалась не сделать ему больно, словно Казимерас был сплошная рана. Руки опустились, и Матильда упала на колени, как перед святым. Казимерас поправил мешок на спине, вздохнул так глубоко, что, кажется, дрогнула земля.

Матильда шла рядышком, поглядывая искоса на Казимераса, и рассказывала, как они ждали его возвращения, сколько горя хлебнули. Германцы обеих лошадей отобрали, корову тут же у хлева зарезали, шкуру содрали, а тушу увезли. Шкура-то осталась, на чердаке лежит, если крысы не сожрали, теперь их столько расплодилось, даже ребенка ночью за палец цапнули. А Зитмутиса нет, тиф... И маменьки нет, прошлой осенью...

— Дети, отец вернулся! — крикнула возле избы.

Но дети убежали куда-то, и Матильда тут же забыла о них, стала рассказывать папаше Габрелюсу, как увидела Казимераса, как не узнала сразу...

— Но ты же ни слова еще не сказал, Казимерас,— спохватилась Матильда, со страхом посмотрев на мужа.

— Война,— горько протянул Габрелюс, со слезами на глазах глядя на сына.— Война...

— Казимерас, скажи что-нибудь... Сними этот мешок-то.

Казимерас опустил наземь грязный, почти пустой мешок, бережно поставил рядом с целой ногой.

— Дай-ка мне, поставлю где-нибудь.

— Это моя... Я принес...— Голос жутковато сипел; тот самый голос, которого не слышала три с половиной года.

— В избу пойдём,— позвала Матильда.— Папаша, зови Казимераса в избу.

— Я принес,— прохрипел Казимерас, погрузив руку до плеча в мешок.— Вот.

Рядом с деревянной правой ногой он поставил солдатский башмак — старый, стоптанный, с драным верхом.

— Зачем он тебе, Казимерас? Такой только под забор кинуть,— пошутила было Матильда, но тут же замолкла, потому что Казимерас гневно покосился на нее.

— Это моя нога.

Ясно светило солнце, в ветках тополя насвистывали скворцы. Сияняя муха села на башмак.

— Это башмак,— не согласилась Матильда.

— Это моя нога,— твердо сказал Казимерас и смахнул муху, но она оказалась настырной, опять уселась; прилетели еще две, стали ползать по башмаку.

— Война.— Папаша Габрелюс знал только это слово.

Казимерас отяжелевшей рукой изредка отгонял мух, чтобы те не истязали его ногу, уставшую шагать через всю Европу.

— Хотели скрыть, жулики. Думают, простой солдат, так дурак. Отдай, говорю, высокоблагородие, мою ногу. Отдал. Вот я и пришел.

В воротах торчали откуда-то прибежавшие дети — замурзанные, босые. Маленький Людвикас что-то жевал недавно прорезавшимися зубками, а Каролис, ростом уже с плетень, прижимал к груди горсть камешков. Оба, выпучив глазенки, смотрели на незнакомого дядю.

— Может, в избу зайдём,— опять напомнила Матильда не в силах оторвать глаз от башмака, вокруг которого назойливо летали мухи, садясь на засохшие черные пятна.

Первым наконец пришел в себя папаша Габрелюс.

— Главное, что ты пришел, сын. Мы-то не знали, что и думать— ни весточки. И вот ты дома, на своей земле.

— С дороги сбился,— пожаловался Казимерас.

— Сам знаешь, какал вода у нас в колодце и хлеб какой... Очу-хаешься, сын, будешь на земле работать. Время теперь другое, все переменялось, может, ты и не слышал. Я сегодня уже не боюсь сказать, что в молодости шел за землю и волю, что рубился с царскими казаками. Сегодня все по-другому, сын, и твоим детям никто не запретит учить литовскую грамоту.

Говорил папаша Габрелюс не спеша, но каждое слово произносил, как бы приподнимая на ладони и пуская в полет.

Трудно было понять, слышит ли Казимерас эти слова. За эти годы он отвык от покоя, ласки и негромкой речи. Тысячу раз похоронил надежду вернуться домой. Даже теперь, хотя родная деревня рядом, хотя сидит на камне, который когда-то собственными руками прикатил с поля, он все еще в дороге, все идет, переступает усталыми ногами.

— Дети, отец вернулся! — Тишину, полную гудения пчел и жужжания мух, разрезал голос Матильды. — Казимерас, вот твой дети!

Казимерас приподнял руку, словно желая смахнуть мух со своего башмака, но пошатнулся и во весь рост рухнул на лужайку, прямо на цветущие одуванчики.

— Иисусе... Дева Мария... — У Матильды не было сил для крика.

Из темного небытия разбудил его запах. Не мог понять, чем пахло, но этим запахом наполнилась изба. Затрепетали ноздри, приоткрылись спекшиеся губы, и онпил этот густой воздух, втягивал всеми легкими, вздохнул. Пахло не почерневшим потолком и потрескавшимися балками, не стенами с осыпавшейся штукатуркой, не картошкой, ссыпанной под кровать, не подметенным полом возле очага — это жарко растопленная печь пахнет ольховыми дровами и глиной... Он боится открыть глаза, чтобы не пропал этот пронзивший его всего запах. Господи! Это же хлеб! В его избе пекут хлеб. Только из-за этого хлебного духа стоило вернуться, даже если бы ты застал дом пустым. Дом... пустым? Разве не руки твоей жены пекут хлеб? Так вкусен может быть лишь запах хлеба, испеченного руками твоей жены.

— Матильда...

В открытую дверь, залитую весенним солнцем, вошла она с полотенцем через плечо. Увидела живые глаза мужа, присела рядышком на кровать, прикрыла лицо концом полотенца и мелко задрожала. Казимерас не знал, почему она вдруг заплакала.

— Хлеб, — негромко сказал он.

— Ждала, припрятала горсточку ржи, все надеялась. Вчера смолола. — Замолчала, не добавила, что подмешала и корней пырея и лебеды. — Такой год, и если получится невкусный...

— Наш хлеб, Матильда.

Воскресным утром Казимерас сказал, что ему уже хорошо, с помощью Матильды помылся в бадье, надел чистую сорочку.

— Может, в костел поедем, Казимерас? — спросила Матильда. — Исповедуешься, с богом помиришься.

Казимерас проводил расческой по поредевшим волосам, проверяя, есть ли живность. Побритое лицо посвежело, появился даже румянец.

— Папаша телегу запряжет. И детей возьмем.

Казимерас встал, оперся на палку и, стоя посреди избы, огляделся.

— Где моя нога?

Оторопь взяла Матильду.

— Где моя нога, Матильда?

Она принесла мешок из сеней и подала. Казимерас взвесил его в руке и вышел в дверь.

В ольшанике кукушка считала горести, на коньке гумна стучал клювом аист — было погожее утро конца мая, первое такое теплое и ясное в ту весну. Но Казимерас не глядел на поля. Поскрипывала деревяшка, привязанная ремешком к бедру, жутковато покачивалась культя голени. Мешок он не стал закидывать за спину, нес в руке. Потом понял, что забыл что-то, вернулся во двор, взял из-под забора лопату и зашагал опять.

Матильда ни живая ни мертвая последовала за ним, не спуская глаз с освещенной солнцем спины мужа, с жалобно ковыляющего хозяина этих полей. Не услышала, просто почувствовала, что не одна вышла из двора. За гумном стоял папаша Габрелюс, а дети повисли на плетне.

Длинным было это путешествие Казимераса Йотауты на конец поля, к Швянтуге, где на сером бугре, напоминающем солдатский шлем, росли чахлые елочки. Там он постоял, потыкал палкой в землю и опустил на колено здоровой ноги, отбросив в сторону правую. Вонзил лопату в заросшую пыреем землю, наклонившись копал, а потом вынул из мешка солдатский башмак — свою ногу, три года топавшую по военной грязи, — и бережно, обеими руками опустил в яму. Снова вспыхнула в лучах солнца лопата.

Управившись с этим главным своим делом, уселся между елочками, вроде бы глядел на дом, но вряд ли видел своего отца Габрелюса, свою жену Матильду и своих детей — Каролиса и Людвикаса. А если и видел, то уж точно не догадывался, что двадцать два года спустя эта же лопата будет рыть яму для гроба на сером бугре, напоминавшем солдатский шлем.

Настал день, которого давно ждал Габрелюс Йотаута. Всю свою долгую жизнь, можно сказать. Раньше не мог решиться на этот шаг. А сейчас настало время.

Жизнь вроде бы повернулась к лучшему. Сын Казимерас с годами ожил, пришел в себя. Матильда его приободрила, своими бабьими чарами к жизни вернула. Ах эта сила бабья, перед которой мужики вроде малого дитяти! Казимерас не только хлопотал, как раньше, по хозяйству, но все чаще радостно хохотал, насвистывал, пел, даже деревянная нога перестала ему мешать. Он так привык к своей деревяшке, что однажды даже вытащил Матильду танцевать польку. И плясал, подскакивал, откинув голову, хохотал, не стесняясь детей. Все это буйство не прошло даром. Два года спустя Матильда родила сына. Но после крестин через месяц похороны. А на другой год опять округлилась.

— Рожай сыновей, мать, — счастливо говорил Казимерас. — Литве мужчины нужны. Вильнюс надо от чужаков<sup>7</sup> освободить...

Он читал газету, его заботило все, что творится в мире; теперь он уже мог иным голосом, спокойнее рассказывать о военных дорогах, о сражениях с австрияками и о морозном Петрограде, восставшем против царя и требующем хлеба и мира. Все удалось, ушло в прошлое, и он сам уже говорил: «Вот я когда-то...» Важнее стали другие заботы — надо перестроить избу, нужен новый плуг, железо, чтоб оковать колеса телеги. И кружка молока редко бывала полной, и ломоть хлеба взвешен и разделен на всех. На базар отвозили что только можно было, не тратили даже на конфету для детей. А ведь сын будет учиться, Людвикас-то. Гимназию построил пренайский настоятель, не раз собирал для этого пожертвования и говорил на проповеди: «Для ваших детей строю светлый дворец, не для себя...»

Еще перед сенокосом Матильда слегла. Родила мертвого. Затих смех Казимераса, шаг стал тяжелее, взмах руки медленнее. Его молчание растравляло душу папаша Габрелюса сильнее злых слов. И он

<sup>7</sup> В 1919 году Вильнюс оккупировала буржуазно-помещичья Польша.

все чаще и чаще глядел куда-то на запад. Особенно когда солнце застревало в верхушках деревьев, когда небо окрашивалось в радужные цвета, не спускал глаз с той стороны, которая была отгорожена шестью десятками лет.

— Что ты там видишь, папаша Габрелюс? — спросит, бывало, Людвикас; только его это занимало. Может, потому, что самый маленький, не так занят работой. Ведь некогда замечать это ни Казимерасу, ни Каролису — они косят луг на пойме, — ни Матильде, которая сбилась с ног, хлопоча со скотиной и огородом.

— Папаша, я там ничего не вижу, — жалуется Людвикас.

— Ты и не можешь видеть, мал еще.

— Я хорошо вижу до леса.

— До леса каждый видит. А дальше...

— Почему я не вижу, папаша?

— Я смотрю не только глазами.

Чудно говорит папаша Габрелюс. Наморщив лобик, Людвикас зажмуривается и снова смотрит на лес. Задубелые пальцы трогают голову ребенка, ерошат волосы, гладят костлявые плечи. Так хорошо чувствовать тяжелую, надежную руку.

— Мне было столько, как твоему брату Каролису сейчас... Там и речка петляет вроде этой, называется Вардува. И поля такие же, кусты, ольшаники. Вроде этих... И небо вот такое, когда садится солнце. Все так. И все не так... Того запаха нету.

Краски заката заливают лицо старика, пляшут в морщинах, теплыми лучами струятся вокруг блестящих, помолодевших глаз.

— Думал я, костелы разукрашу, алтари золотом-серебром распишу... Хотелось мне вот такое небо... хотя бы жалкий клочок неба вставить в раму и повесить на стену. Глядите, это мое небо, мое солнце, мое дерево, они меня пережили.

Как знать, внуку Габрелюс рассказывает или самому себе. Он все глядит на свою далекую страну за семью лесами да семью горами, будто в сказке.

— Там, далеко... — говорит Габрелюс. — Там, далеко-далеко...

Как далеко родимый дом,  
Как близко горе наше...

Приплывает песня матери издалека, из страны детства, тихая, спокойная, манящая.

Как далеко родимый дом...

Папаша Габрелюс, потормошив Людвикаса за костлявые плечи, уходит в избу, закрывает дверь, садится на кровать. Лицо сумрачное, морщины углубились, почернели, глаза спрятаны за пальцами, сжимающими виски.

Людвикас — верный друг папаши Габрелюса, и хоть ему страшновато, он не отходит от него ни на шаг.

— Я здесь уже не нужен, только бремя для всех. Захотят отвязаться и не смогут. Может, в лицо когда-нибудь упрекнут, когда слягу. Но тогда уже будет поздно. А сейчас...

Когда сноха родила мертвого, папаша Габрелюс окончательно решился и однажды вечером, едва уселись все за стол, заговорил:

— Вот что я вам скажу: уйду я завтра утром. Уйду туда, откуда пришел.

— Папаша Габрелюс, какую ерунду ты говоришь! — подивилась Матильда.

Сын Казимерас усталой рукой отломил хлеб.

— Говорю вам последнее свое слово: уйду. Там два моих брата должны быть, сестра. Помоложе были. Может, и могила родителей еще видна, проведу.



— Такая дорога, отец,— напомнил Казимерас.

— Там все не так,— объяснил Людвикас, но его никто не услышал.

Габрелюс понял, как трудно будет растолковать, почему он уходит, и сказал то, чего никогда не говорил:

— Послушайте, дети мои: тогда на мостике через Швянтупе я ударил локтем Монику, сам того не желая. Повернулся и локтем в подбородок... своей хозяйке Балнаносене. По сей день слышу, как лязгнули ее зубы. Раньше не слышал, а сейчас вот слышу. И ее слово: «Проклят». Потому и говорю: этот дом помечен проклятьем. Из-за этого у нас столько бед да горя. Если уйду от вас, то унесу с собой проклятье.

— Папаша, говоришь страшное,— испугалась Матильда.

— Ты в детство впал, отец, ей-богу,— отмахнулся Казимерас.

Всех придавила тишина.

— Это последняя моя вечеря в доме,— сказал Габрелюс и потянулся за хлебом.

Угасал вечер, мимо окна над самой землей пролетела огромная черная птица.

— Папаша,— прошептал Людвикас,— возьми и меня с собой, ладно?

— Тебе надо вырасти.

— Я быстрый и могу далеко-далеко...

— Ты еще пройдешь свою дорогу.

— Не кроши хлеб! — одернул Казимерас ребенка.

Поужинав, Габрелюс перекрестил сына, перекрестил сноху, обоих внуков, перекрестил дом, отмеченный проклятьем, и встал.

Рано утром Матильда, оставив чугуна на плите, побежала в амбарчик, куда летом переселялся папаша Габрелюс. Открыла дверь— чулан пуст, кровать аккуратно застелена. И деревянные башмаки, в которых папаша Габрелюс шагал по хутору, задвинуты под кровать. Матильда, пятясь, вышла на двор, выбежала за ворота.

— Папаша! — позвала, глядя на пустую дорогу, и замолчала, подавившись этим единственным словом.

— Ни стыда, ни совести,— сказал Каролис, когда мать так располнела, что не оставалось ни малейшего сомнения.

Каролису весной стукнуло двадцать, был он работяга, знал, что на его плечи ляжет все хозяйство, поэтому имел полное право сказать что думает.

— Ни стыда, ни совести,— повторил так, чтобы и отец услышал.

Выскреб свои сбережения, вырученные за хвост поросенка да копыта теленка, отправился в корчму и спустил с деревенскими парнями все до последнего цента.

В новой избе, еще пахнувшей еловой живицей, поздней осенью заверещал младенец. Это был год юбилея Витаутаса Великого, когда ксендзы с амвонов в один голос кричали да и газеты писали, что сила Литвы в единстве, а в Вильнюсе все еще хозяйничали польские паны, в Клайпедском крае вили гнездо немцы, только не было такого богатыря, который прискакал бы на белом коне, взмахнул мечом да разгромил врагов, как под Грюнвальдом когда-то. Так что нужен Витаутас, новый Витаутас! И когда кумовья понесли ребенка крестить, ксендз хотел наречь младенца Витаутасом, но Казимерас строго-настрого приказал — Саулюс.

— Это не святое имя,— не согласился ксендз.

Кум был не лыком шит:

— Витаутас, святой отец, тоже имя не святое.

— Прибавим и святое...

Так в метрические книги пренайского костела была внесена еще одна поросль семьи Йотаутов — Саулюс-Витаутас-Юргис Йотаута. Но родители называли только Саулюсом, Саулюкасом. И когда ребенок стал ходить, Каролис так привязался к нему, что, оторвавшись от работы, бегал домой проведать или водил братишку с собой в поле.

Мать была счастлива. Но вряд ли бывает счастье, которое не заслоняет черная тень. Ее преследовал страх, что малыш ушибется, захворает, перед глазами то и дело маячили маленькие гробики, в которые она укладывала одного за другим своих детей. Да и слова папаши Габрелюса не давали покоя; вряд ли он унес проклятье; вдруг они, отпустив старого человека в неизвестность, навлекли на себя проклятье пострашнее?

### Глава третья

В первый же день, когда Саулюс приехал домой, Каролис спросил:

— Где Дагна?

Разве Саулюс обещал взять с собой жену? А может, по его лицу, по глазам брат обо всем догадался?

— Почему без Дагны? — не отставал Каролис.

Саулюс не был готов к такому вопросу; ведь все еще наверняка образуются и будет по-старому.

— Путевку получила в санаторий, нездоровится ей, — сказал.

Саулюс ждал, что об этом спросит и мать. Но та даже не обмолвилась о Дагне. Ни в день приезда, ни позднее. Почему она молчит, почему глаза смотрят в сторону?

— Лучше бы привез Дагну, — опять начинает Каролис, усевшись рядышком на аккуратно сложенных кирпичках. — И мне как-то предлагали санаторий, дескать, за хорошую работу. Чепуха, говорю, чем тут не санаторий?

Саулюс поднимает голову, но глаза его по-прежнему устремлены на лист бумаги, на котором сейчас пляшет серое пятно, и он ничего не видит; а ведь казалось, что-то получается.

— Давно ее здесь не было, Дагны-то.

Сплетенные руки покоятся на коленях, черная шляпа с обстриженными полями горшком сидит на голове. Коричневые усы молодецки закручены, чисто выбритый подбородок разделен глубокой ложбинкой. Воротник сорочки застегнут, манжеты болтаются, на левой руке тикает «Победа». Саулюс не поднимает глаз на брата, но отчетливо себе представляет, какой он сидит сейчас, какой сидел вчера. И видит Каролиса не на выгнившем пеньке вишни, а на листе бумаги: взгляд уже стер свежий набросок пруда с дикой яблоней на берегу — раскидистой, искореженной ветрами.

— Покажешь когда-нибудь свои картины?

— Нечего показывать.

— Не думай, что мы и газет не читаем.

— Ах, брат, если издалеку посмотреть, все кажется красивым и удачливым...

— Пожил бы все лето, говорю...

От старого пруда доносится прохлада и густой запах аира, на спокойной воде сочной зеленью зыбится мягкий ковер ряски. Сколько раз бродил босиком по этим берегам, срывал стебли аира и ломал камыш, швырял камешки в квакающих лягушек...

— Может, и поживу немного, Каролис, — негромко, возвращаясь из детства, говорит Саулюс.

— Дагну привези, какая жизнь одному. Плохо, когда один. Мне вот тоже нехорошо. Может, объявится как-нибудь дочка, младшень-

кая, Дануте, внуков привезет. Все жду, гляжу на дорогу... Не помешал тебе? Пойду, надо косу отбить.— Поднимает голову к густой листве липы, ласково проводит рукой по стволу.— Это мы с тобой липы сажали, помнишь?

— Послушай, Каролис, мне кажется, мама что-то скрывает от меня.

Каролис все поглядывает на деревья, высокой стеной обступившие двор и сад.

Неужели и он что-то скрывает от Саулюса? Чудная речь у крестьянина — не поймешь, когда всерьез говорит, когда дурачком прикидывается, а на самом деле другого дурачит.

Иди, Каролис, отбивай косу, прокладывай прокосы. Мало ли ты их прокладываешь каждым летом. Пахнувший мятой и зверобоем прокос протянулся бы от Лепалотаса до самых Пиренеев. От Лепалотаса до Пиренеев... Бог ты мой, опять отзывается колокол воспоминаний. Он так раскачался за эти дни, что от его звона скоро лопнут виски. От Лепалотаса до Пиренеев... Чьи это слова? Чужие, свои... Да, верно, Саулюс вычитал их в журнале. Потом пробежал глазами и всю страницу. Лет восемь назад, пожалуй... О пути Людвикаса Йотауты. Швырнул журнал на кипу старых газет в углу комнаты и забыл.

От Лепалотаса до Пиренеев... Конечно, и Каролис читал и мать. В горнице на полочке, в старом альбоме с фотографиями найдется и эта страничка, наверное... Но ведь столько лет Саулюса, можно сказать, не было в родном доме. Появлялся на часок и опять уезжал. Некогда, работы ждут... вот ехал мимо... как-нибудь в другой раз подалее... Брат Каролис молча провожал его и долго стоял в воротах. Не упрекала и мать — гордо поджимала сухие губы, прощалась, не сходя с веранды. «С каждым годом все дальше и дальше», — сказала однажды. Может, потому и теперь не спросила, надолго ли. И почему пешком пришел через поле — не спросила. «Машина испорчена, отдал в починку», — оправдывался; невольно сунув руку в карман брюк, нащупал ключи. Все-таки не посмел сесть за руль.

Саулюс захлопывает папку. Сегодня первый день как он присел под липами на краю сада, смутно ощутив какой-то толчок в груди, увидев перед глазами незнакомые лица, оживленные колоколом воспоминаний. Долгое повествование матери о далеких днях, поначалу казавшееся старушечьими сказками, заставило Саулюса взять в руки карандаш. А когда карандаш оказался в руках, а перед глазами белый лист, рука сама стала поспешно выводить линии, бегущие без устали. Он торопливо делал наброски, словно сиюсь догнать этот бег мысли... от Лепалотаса до Пиренеев. Но ведь на этой длинной стезе есть и маленькая точка — Вильнюс. Вильнюс — Дагна. Может, она уже дома? Вернулась и ждет Саулюса?..

Папка слетает с колен на траву, Саулюс бежит мимо кустов смородины и молодых вишенки, озирается во дворе, не зная, за что хвататься, открывает дверь амбарчика. На старой, источенной жучком деревянной кровати (не на ней ли спал папаша Габрелюс?) валяется ненужная утварь — мотовило, веретено, корыто, рваное сито, — к ней прислонен женский велосипед. Выводит мамин велосипед, садится. С детских лет не ездил на велосипеде, руль не слушается, приходится упираться ногой.

Саулюс нажимает на педали; хорошо бы приподнять седло, думает, потому что колени задевают за руль, но разве можно терять время из-за такой чепухи; быстрее, быстрее. Надо было вчера еще... или утром сегодня...

Видит серую обочину дороги, а что за канавой — ему и невдомек. Вместе с тенью ивы мелькает пригорок, где был хутор Рукнисов; с Рукнисовой Милдой он ходил в школу, вместе добирались до Преная, а

когда она погибла, Рукмене все приходила и спрашивала: «Почему Милду убили? Почему твой ребенок жив, Йотаутене, а мой в могиле?» Саулюс налегает на руль велосипеда; как он мог забыть, лучше бы пешком сделал крюк... Не хочет он об этом думать, всю жизнь ведь старался не вспоминать, убегал от этих дней... Проехал, пролетел. Теперь опять можно оглядеться. Словно зеркало блестит пруд у дороги — надломился лед, и Мозурас вытащил его едва живого. «Куда полез, лягушонок, жить надоело?..» Металлическая коробка с акварельными красками, которую Каролис привез ему из Каунаса, ушла на дно. Весной на поверхности воды плавали цветные круги вроде радуги. Сейчас только березовая рощица там, где жили Мозурасы; бездетными они были, умерли, и в мире — пустое место. Вот две высокие липы, между которыми когда-то болтались качели, такие высокие, что можно было взлететь до самых облаков (Пятрас Гинтаутас упал с них и остался горбатым на всю жизнь; где он теперь?). И здание старого коровника, первое в их колхозе...

Прислонил велосипед к забору, но колесо перекошилось, велосипед упал. Саулюс не стал поднимать, вошел в открытую дверь, справа от которой висел голубой почтовый ящик, а слева болталась железная штанга.

— Дайте Вильнюс. Срочно.

Была дремотный полуденный час; за перегородкой пышнотелая женщина подняла голову, потеряла заспанные глаза.

— Как на пожар. Кто ни появится, все срочно да срочно. Какой телефон в Вильнюсе?

— 74-59... Нет, нет... 64-39-51...

Саулюс садится за квадратный стол, накрытый листом прозрачной пластмассы. «Когда она ответит, — думает Саулюс, — я буду молчать. «Алло! Алло! — будет повторять она. — Алло!» Повешу трубку и буду знать — она дома, ждет. Поймет ли она, что я звонил?.. Что сказать Дагне? Почему она ушла?»

«Нет тайны», — вывела когда-то округлые буквы тонкая девичья рука. Женский приговор. Саулюс прошел было мимо — он не хотел выдавать себя: он ведь просто посетитель выставочного салона, как и эти трое парней, неспешным шагом проходящих мимо его работ, мимо его бессонных ночей. «Нет тайны, — снова прочитал он поверх плеча девушки. — Все буднично и ясно».

Девушка захлопнула книгу отзывов, оттолкнула в сторону и встала.

— Вы жестокая, — сказал Саулюс.

Легким взмахом головы она отбросила прядь волос, упавшую на лицо, подняла удивленные теплые глаза, усмехнулась, словно извиняясь и не зная, за что должна извиняться, и растерянно уставилась на Саулюса; где же она его видела?

— Вы, наверное, прокурор? — спросил Саулюс и неожиданно растерялся перед открытым и добрым взглядом девушки.

— Почему? Я совсем не...

— А ведь вы вынесли здесь смертный приговор.

— Вы прочитали? — Девушка рассердилась. — Нехорошо подглядывать.

— Я все равно бы прочитал. Если не сегодня, так завтра.

Девушка подняла руки и прижала кончики пальцев к зардевшимся щекам.

— Это вы?.. Это ваши работы?..

Саулюс пожалел девушку. Она опять показалась ему беззащитной.

— Ничего. Вы ведь написали то, что думали.

— Да, конечно... Мне так показалось, и я хотела быть откровенной, я не думала, что вы здесь...

— А если бы знали, написали бы: «Прелестно, талантливо!»?

— Не знаю. Ничего бы не написала.

Саулюс хотел взять книгу отзывов. Девушка удержала его руку.

— Не надо. И не сердитесь.

— За отзывы я говорю спасибо.

— Даже если они?..

Он раскрыл книгу: «Дагна из Каунаса»...

— Знаете что, Дагна,— Саулюс испытующе смотрел на девушку,— я и впрямь рассержусь на вас, если вы не выполните моей просьбы. Я уже сейчас вижу ваш портрет и хочу, чтобы вы позировали. Полчаса, час. Конечно, не сегодня, в другой раз, когда будете в Вильнюсе.

Дагна едва заметно кивнула. Саулюс подал ей визитную карточку и первым отвернулся, исчез за высокой перегородкой.

Когда-нибудь эту историю он рассказал бы на вечере воспоминаний (позднее он так и подумал — по случаю пятидесятилетнего или шестидесятилетнего юбилея), но полгода спустя, ваяясь на диване, услышал телефонный звонок. Наверное, кто-нибудь из приятелей. «Нет, нет! — потряс головой Саулюс, после ночного кутежа самочувствие было хуже некуда. Вылил остатки сухого вина в бокал, выпил и снова повалился на диван.— Безумие! Самоубийство! Банда подонков!» — цедил сквозь зубы, кляня себя, приятелей и весь мир. Несколько минут спустя телефон снова затрещал, и Саулюс решил обрушить ярость на голову звонившего. Но это была Дагна.

— Какая еще Дагна? — грубо спросил, думая о вчерашних подружках.

— Дагна из Каунаса.

Замаячил овал лица, замелькали четкие буквы: «Нет тайны...» «Пусть катится к черту! Этого еще не хватало, чтоб я...»

— Знаешь что, Дагна...

— Вы, наверное, забыли...

Дагна была, быть может, на краю города, но Саулюс видел ее отчетливо, не мог оторвать глаз, даже протянул к ней руку.

— Найдешь, где живу? — спросил Саулюс.— Давай живо сюда.

Разбросанные на полу пустые бутылки ногой закатил под диван, швырнул в угол скомканные бумаги, высыпал в мусорное ведро окурки из пепельниц и рассердился на себя: какого черта старается, наводит чистоту? «Нет тайны...» Нахальная девчонка, грубиянка, изборажающая умницу. Дагна из Каунаса. Как из старого альбома. Дагна из старого альбома... Ей-богу, интересно — Дагна из Каунаса. А почему нельзя сделать триптих, а то и целый цикл? «Из старого альбома». Степенный старик с трубочкой в руке, женщина, улыбающаяся кому-то, сыновья, снохи... И лицо Дагны — это может быть последний лист цикла, олицетворение юности и красоты.

Ожив, Саулюс торопливо заходил по мастерской, ему уже не терпелось тут же усесться и сделать несколько набросков.

Осенней прохладой повеяло от пальто Дагны, облегающего стройный стан, от ее темных волос и лица. Сложенный зонтик она поставила у двери. Сняла серые перчатки.

— Моросит,— сказала мягко, оглядываясь в этом странном, захламленном мире и удивляясь, что в нем оказалась.

День был сумрачный. Надо бы свет включить, подумал Саулюс.

— Я по делу приехала, отчеты в министерство привезла. Хочу еще раз извиниться перед вами.

— Передо мной? Почему? — Он смотрел на девушку как на экспонат, видел не ее, а ее изображение.

— Я тогда так по-детски и развязно написала...

— Садитесь. Садитесь вот сюда, на стул. В пальто. Пожалуй, расстегните. У окна сядьте.

Саулюс спешил. Хотел догнать улетающую мысль, остановить пляшущие картины; казалось, настал долгожданный час: все, что было до той поры, растаяло без следа и угрызений совести.

— Вы говорите, вы можете говорить,— через минуту сказал Саулюс, чуть-чуть набросав овал лица, контуры глаз и щек.

Дагна глядела в сторону, как велел ей Саулюс, но украдкой следила за каждым движением его руки, поворотом головы.

— Почему вы молчите? Мы можем разговаривать,— снова напомнил Саулюс.

— Я забежала только на минутку, только извиниться. В четыре уходит поезд.

— Вам обязательно этим поездом?

— Меня будут встречать. Я так обещала.

— Хорошо, что вас встречают. Кто же вас встречает?

— Мама.

— Вы довольны своей работой?

— Нет. Но работать надо.

— Значит, ошиблись, когда выбирали профессию. А может, мама вам так посоветовала?

— Это длинная история.

— И вы не успеете рассказать мне до четырех?

Их разговор напоминал игру. Связь и смысл сказанных вполголоса слов не всегда доходили до сознания Саулюса, да и он сам не всегда понимал то, что говорил. От напряжения гудела голова, и словно сквозь порывы ветра доносился до него голос девушки: родилась она в Каунасе перед самой войной, родители ребенком увезли ее во Францию, росла и училась она в Западной Германии, а восемь лет назад с матерью вернулась в Литву.

— Вот и вся автобиография.

— Чепуха! — буркнул Саулюс.

Дагна съежилась, посмотрела с опаской.

— Сначала, все начнем сначала.

Саулюс разложил на толстом картоне новый лист, прикрепил кнопками и легкой рукой уверенно водил карандашом. Мелькнула мысль: на фоне он набросает небоскребы, накренившиеся небоскребы с обеих сторон портрета, как бы придавившие молодость...

— Вы не устали? — спросил он, когда ему показалось, что уже «уловил тайну».

— Нет. Я просто вспомнила уличных художников. Там за пять марок каждый, кому не лень посидеть десять минут, может получить свой портрет.

Рука Саулюса дрогнула. Во взгляде Дагны он не разглядел иронии. Вся она была на диво естественна, может, чуть простодушна не по годам.

— Вы сравнили меня с уличным художником?

— Я не хотела...

— Вы увидите... Еще чуточку терпения — и увидите...

На лбу Саулюса заблестела холодная испарина.

Десять минут спустя он оттолкнул от себя лист картона, взгляделся.

— Уже кончили? — спросила Дагна. — Мне пора на вокзал.

Саулюс сидел по-прежнему, положив левую руку на картон...

— Можно посмотреть? — Дагна встала.

Встал и Саулюс, отодрал кнопки, поставил у стены картон, а квадрат белой бумаги, крепко сжав губы, разорвал пополам. Сложил оба куска, рванул еще раз и швырнул на пол.

— Все,— сказал глухо и устало.

Дагна стояла, потеряв дар речи; Саулюс отвернулся к стене.

— Все! — крикнул.

Когда обернулся, Дагны в комнате уже не было.

Лежал на диване, заложив руки за голову и зажмурившись, казалось, плыл сквозь черную мглу или густой дым. Это была катастрофа, первая такая ужасная на его пути, и Дагна, ее целомудренная бли-

зость были здесь действительно ни при чем. Ведь сколько девушек перебывало в его мастерской, сколько позировало, и Саулюс всегда оставался высокомерным победителем. Почему сегодня, едва в мастерскую вошла Дагна, с ним что-то случилось? А может, еще тогда, в художественном салоне?..

Саулюс вскочил, набросил пальто. Когда, остановив такси, примчался на вокзал, поезд уже успел уйти. Посмотрев на уходящие вдаль рельсы, решил на новый шаг.

Таксист оправдывался, что дорога мокрая и он не может ехать быстро, а главное — не желает иметь дело с гаишниками, но когда Саулюс сунул ему в ладонь крупную купюру и сказал, что это только аванс, стрелка спидометра сразу легла набок.

На перрон каунасского вокзала Саулюс вбежал в ту минуту, когда из громкоговорителя раздался простуженный женский голос: «Пассажирский поезд Вильнюс — Каунас прибыл...» Посыпались люди, в толчее мелькали лица. Саулюс озирался, привстав на цыпочки, бросался из стороны в сторону. И лишь когда толпа поредела, он увидел знакомую фигуру.

— Дагна!

Она, словно ждала, что он будет ее здесь встречать, подняла на него прозрачные и открытые глаза.

— Дагна,— повторил Саулюс.

...Невидимая рука срывает с глаз повязку, и Саулюс осматривается, взгляд утыкается в почтовый индекс, крупно написанный на стене.

— Почему не соединяете? — Облокачивается на дощатую перегородку. — Я же просил срочно.

Женщина дописывает на голубом графленом листе какие-то цифры, аккуратно откладывает в сторону папку, сдувает со стекла крошки резинки.

— Сейчас наведем справки.— Она набирает номер, ждет минуту, дзинькает аппаратом, опять набирает.— Соединяют, ждите.

Наверно, в этот миг звонит телефон в гостиной, Дагна подбегает и снимает трубку. Она давно ждала этого звонка, думала о нем. Может, даже приятелей обзвонила, искала. «С вами говорит Пренай...» — слышит она в трубке, придвигает кресло и садится на ручку, потому что трудно ждать стоя. Она кричит: «Алло! Алло!» Саулюсу чудится, что он уже слышит ее далекий голос. Он ответит. Это я, скажет, я сейчас вернусь, Дагна... Автобус уходит... Когда же уходит автобус? Он проезжает по дороге под вечер... Сегодня вечером я буду дома, скажет. И все. Хоть бы пешком пришлось идти, в этот вечер он будет в Вильнюсе, возьмет Дагнины руки в свои и скажет негромко: «Я-то знал...»

— Абонент не отвечает.

Саулюс озирается, словно эти слова предназначаются не ему.

— Вы мне?

— Да, не отвечает.

— Не может быть!

— Я вам говорю: не от-ве-ча-ет!

По цементным стертým ступенькам он спускается на пыльную тропу, по обеим сторонам которой цветут желтые цветы, на непослушных ногах выходит на дорогу, вспоминает оставленный под забором велосипед, возвращается. «Нет,— произносит мысленно,— ее нет».

— Мама, я твой велосипед брал,— говорит, проезжая мимо веранды, на которой в кресле сидит мать.

Вернувшись от амбарчика, останавливается под кленом, засунув руки в карманы брюк, смотрит на мать. Она раскачивается нестерпимо медленно, как уставший за долгий век маятник часов.

— Лучше бы пешком прошелся — ноги теперь ноют.

— От всего отвыкают,— говорит мать, повернув лицо к солнцу, светящему сквозь густую листву клена.

Саулюс ждет, чтобы мать спросила, где он был, по каким делам носился. Конечно, он не скажет правды, но ему хотелось бы, чтоб она спросила. Мать молчит. Неужто она равнодушна к Саулюсу, неужто по сей день не забывает давнишние обиды?

— Отцу скоро сто лет исполнится, мама.

— Я об этом думаю.

— Новый памятник нужен.

— Глыба цемента? Навидалась я их на своем веку.

— Будь я скульптором, мама... Иногда кажется, что не то выбрал.

— Ты своей дорогой шел.

В голосе матери Саулюс слышит укор. Ведь он не советовался с родными, какую профессию выбирать, да что могли деревенские ему посоветовать? Это ведь тебе не поле пахать, не рожь сеять. И не кур кормить. Саулюс хочет закричать об этом во все горло, чтоб лопнул нарыв в груди, но берет себя в руки — при чем здесь мать? Ведь не раз ты уже брался за скульптуру. Мял, засучив рукава, глину, одно время даже поверил — вот где твое будущее! Эту мысль тебе настойчиво подсказывал твой добрый друг... скульптор Аугустас Ругянис.

— Я приглашу своего друга-скульптора, мама. Он такой памятник отгрохает, что экскурсии сюда будут приезжать.

— Почему так ехидно, сын?

— Ты же хотела, чтобы о твоём сыне знал весь мир!

— Все вы мои дети. И я всем — мать.

Серое небо придавило верхушки лип у забора, и Саулюс волочит отяжелевшие ноги по лужайке двора, хочет бежать, но ползет, как избитый пес, боясь споткнуться; раскачивается земля, колышется будто узенькая кладка через реку. Всей тяжестью навалились на него неторопливые слова матери, ее старческое спокойствие и мудрость, скрывающая что-то. «Хочу вспомнить и никак не могу»,— тревожными были слова матери в тот день, когда он впервые привез Дагну на родной хутор. Приехал на каких-то полдня, и хотя Дагна просила остаться, ей все здесь понравилось, Саулюс был непреклонен. «Никак не вспомню»,— снова сказала мать, пристально вглядываясь в сноху. Саулюс не был суеверен, слова матери пропустил мимо ушей. Хотел только показать свою жену — через два года после свадьбы — и как бы бросить в лицо: вот она, полюбуйте, не думайте, что я такой неудачник, каким меня считали, когда вытурили из дому. Полюбуйте и оставайтесь в своей деревне!

...Говорят, перебесившийся мужчина, даже самый отъявленный бабник, женившись, меняет образ жизни. Саулюс не любил крайностей. Не собирал коллекции девиц, не кичился перед приятелями своими победами, не хвастал, что спал с дочкой министра или восходящей кинозвездой. Не давал себе обетов и женившись на Дагне, хотя и был счастлив и расхаживал задрав нос, носил свое счастье как на блюдечке и всем демонстрировал. По-прежнему не чурался друзей, и сама Дагна в компании чувствовала себя непринужденно, всем с ней было легко, с каждым она находила общий язык. Не один говорил со смехом: «Завидую тебе, Саулюс. Поберегись». А Саулюс острил в ответ: «Кого бог талантом обидел, того красивой женщиной вознаградил». За бокалом вина трепотни хватает. Хватало и приглашений: в один субботний вечер у Вацловаса Йонелюнаса по случаю открытия персональной выставки, в другой — у Альбертаса Бакиса за бочонком деревенского пива, в третий пригласил Аугустас Ругянис — не в квартиру, а в мастерскую, чтобы обмыть макет памятника Мартинасу Мажвидасу<sup>8</sup>, только что принятый комиссией. Вот так шли годы. Преподавание

<sup>8</sup> Мажвидас Мартинас (ум. в 1563 г.) — автор первой печатной литовской книги.



в художественном училище, долгие часы в мастерской на укромной улочке старого города, вечера с Дагной.

— С тобой что-то неладно, Саулюс,— заметила Дагна.

— В училище устал. Точнее, от этой ежедневной пляски с завязанными глазами.

— Будь я твоей ученицей... Хотя я в Западной Германии брала уроки живописи. Целый год.

— Вовремя догадалась бросить. Так мать хотела?

— Я сама. Мама сердилась.— Дагна мягкой душистой ладонью провела по шероховатой щеке Саулюса.— Не лучше ли бросить это училище?

— А дальше что?

— Творчество.

— Ущипни себя за ногу и проснись.

— Я серьезно.

Саулюс обнял жену за плечи, сквозь легкий цветастый халат дохнуло будоражающим теплом.

— Моя фантазерка.

— Я в институте неплохо зарабатываю.

— Хочешь меня содержать?

— Да нет. Устроишь выставку своей графики, выпустят альбом твоих работ...

— О, как чудесно! Как на слащавых немецких открытках.

Пальцы Дагны крепко сжали руку Саулюса и, словно испугавшись чего-то, отпрянули.

— Когда-то я радовался каждой своей вещичке, попавшей на выставку, каждой иллюстрации, напечатанной в журнале. Сердце таяло. Настал час — и это перестало меня волновать... А если по правде, это теперь раздражает до тошноты. Мутит от мысли, что была целая цепочка нисхождения ко мне, даже жалости. Сколько раз при отборе моих работ для выставок я слышал слова: «Ну ничего, можно оставить, молодой художник, чего от него требовать...» Тогда меня это не унижало, а теперь я начинаю дрожать, когда близится новая выставка.

— Для каждого художника его творчество — открытая рана,— наконец осторожно сказала Дагна.

— Но почему каждый вправе лезть в эту рану грязными пальцами?

Саулюс сплел руки над головой, как бы отрешившись от Дагны, ее близости и сосредоточенного взгляда.

— Мой триптих «Города грез» приняли в альманах «Искусство»...

— А что я говорила! — Дагна живо наклонилась над Саулюсом, прижалась щекой к щеке.— Изящная работа, ничего не скажешь.

— Нашлись и такие, которые разглядели формализм. Руганис защитил, он там член редколлегии. Сегодня его встретил.

— Правда побеждает! — ликовала Дагна. Выбежала и тут же вернулась с двумя маленькими рюмками коньяка.— За «Города грез», Саулюс.

Саулюса захлестнула такая волна доброты, что он смотрел на Дагну не в силах произнести ни слова, вдруг ощутив себя и могущественным и по-детски бессильным — захотелось уткнуться лицом в подушку и заплакать, как в далекие ребячьи годы.

— Спасибо тебе, Дагна.— Он держал ее руку с рюмкой, не зная, что еще добавить. Неужели признаться, с каким трепетом показывает ей каждую работу? И ждет, что скажет Дагна? Похвалит — и Саулюс поверит. Равнодушно посмотрит или скажет прямо: чушь! — и Саулюс рассердится. Долго не забудет ее слов, выражения глаз, лица. Попробует отмахнуться: да что она смыслит, стоит ли из-за этого... А какое-то время спустя, сидя за новой работой, опять невольно думает: что скажет Дагна?

Саулюс, помолчав, сказал:

— Иногда я завидую Аугустасу Ругянису: он скульптор, у него другие возможности. Сделает Мажвидаса — будет стоять веками, прославляя Литву, напоминая всем о начале литовской грамоты.

— Аугустас хороший друг, искренний,— подхватила Дагна, положив голову на грудь Саулюса.— Он к тебе внимателен.

— Ты же знаешь — мы друзья. Он один из тех китов, на которых держится наш мир искусства.

— Но Аугустас, без сомнения, видит, что один из сводов этого мира скоро будут подпирать твои плечи.

— Ты всегда хорошего мнения о своем неудачнике муже.

— Не всегда. В одиночку живо пропадешь. Если некому будет тебя поддержать. Помнишь, как говорил однажды Аугустас?

— Хоть и горд, хоть ему на все наплевать, он такой же, как все, равнодушен к тем, кто рядом.

— Толпой ломать лед легче.

— А когда продолжим прорубь, он нас — под лед, а сам на берег. Герой!

Дагна подняла голову, внимательно посмотрела на Саулюса.

— Чушь несешь,— сказала спокойно, решив, что Саулюс пошутил, и опять положила голову ему на грудь.— Ты не забыл, что через две недели мой день рождения?

— Как я могу, Дагна? Давай уедем куда-нибудь? К морю!

— И правда, надо подумать,— ответила Дагна таким голосом, словно ей предложили сходить в кино.

Но Саулюс не заметил этого, его мысли уже витали над белыми дюнами и пенящимся прибоем; сделаю, думал он, не один эскиз: сентябрьское море... последние сполохи лета... холодное солнце... сказка ветра... Так явственно всплыли перед глазами эти картины, которые объединил образ Дагны с развевающимися волосами, что Саулюс, торопливо поцеловав жену, выкатился из кровати, набросил пижамную куртку и нырнул в свой кабинет. Значительно позже, в порывах ветра и гуле прибоя, родится осенний цикл — «Женщина и море». Но уже сейчас он видит серебристые брызги и невесомую, словно щепка, ладью; видит Дагну, собирающую янтарики, выброшенные на берег волной... видит согбенные, бредущие по дюнам сосны...

Откладывает лист, садится, но тут же отодвигает стул, шагает из угла в угол. Рывком распахивает балконную дверь, вдыхает ночную прохладу, снова бросается к столу. Поймать мгновение, перенести его на бумагу живым... живее живого... Но ведь ему будет позировать Дагна! Это будет Дагнин день, и свой цикл он назовет «Дагна и море».

Две недели спустя день рождения Дагны отмечали в зеленом зале ресторана «Вильнюс». Так решили, потому что зарядили дожди.

— Знаешь, я довольна,— говорила Дагна перед зеркалом.— Соберутся твои приятели, проведем вечер в компании. Ведь нельзя сторониться друзей, иначе они от нас отвернутся.

Саулюс понял, что она хотела сказать: «Они и от тебя отвернутся...»

— Чтоб только тебе было хорошо,— сказал он.

— Застегни,— попросила Дагна, держа в поднятых руках тоненькую золотую цепочку.

Саулюс коснулся кончиков пальцев Дагны и получил от них не только цепочку, но и волну женской доброты. Стоя у нее за спиной, поймал в зеркале теплый взгляд. Он любил смотреть, как Дагна прихорашивается, и всегда волновался, видя линии ее стройного тела, изящные ноги и тонкие руки, причесывающие коротко остриженные пушистые волосы.

— Это будет твой вечер,— добавил Саулюс.

Небольшой зал гудел от разговоров, смеха, звона бокалов. Никто не забывал наградить комплиментом именинницу, отдавали дань вежливости и Саулюсу. И когда в двенадцать ночи спели «Многие лета»,

захмелевшие мужчины устремились к Дагне, предлагая выпить на брудершафт. Дагна сияла, шутила, каждому гостю уделяла одинаковое внимание, не забывая и Саулюса, который изредка заводил разговор об искусстве с соседями. Но лампы под потолком замигали, напоминая, что пора по домам. Еще по одной за Дагну, за ее красоту и молодость и за Саулюса, чтоб стерег женушку, а то в наше время всеобщей конкуренции никогда не знаешь, откуда крадется опасность. И так, ура! вперед! спасибо! и до следующей встречи!

На проспекте Саулюс поднял голову и сквозь поредевшую листву лип увидел золотистую полную луну, вспомнил море... Лунная дорожка по волнам, по ней идет Дагна... «Дагна и море». Но это была лишь вспышка мысли, вроде блуждающего огонька во мраке. Прощаясь, мужчины пожимали ему руку, Дагна звала всех к ним домой продолжить праздник, но толпа редела. В остановившееся такси уселись только Саулюс с Дагной и Аугустас Ругянис с Альбертасом Бакисом — в этот вечер они были без жен, некому было тащить их домой, и они наслаждались свободой.

— Люблю тебя, Йотаута,— басил Ругянис; ко всем приятелям он обращался только по фамилии, поскольку, как он говорил, вся суть — в фамилии.— Хороший мазилка и Бакис... Ты не обижайся, Бакис, но ты, Йотаута, еще дашь всем прикурить. В тебе столько пороху... Нет, ты сам этого не знаешь. Чуешь порох, Дагна?

И Аугустас через плечо водителя потянулся за рукой Дагны. Дагна повернулась к мужчинам, занявшим заднее сиденье.

— Пардон, жена единственная может оценить запасы пороха мужа.— Альбертас Бакис попробовал обратить в шутку серьезные рассуждения Аугустаса.

Ругянис почувствовал это и, как всегда, стал беспощаден:

— Вряд ли годится, Бакис, в приличной компании совать руку под женскую юбку.

Альбертас разинул рот, чтоб ответить, но так и не нашелся. Саулюс тоже растерялся, хотя для него не в новинку была мужиковатость Ругяниса. Только Дагна, не теряя радостного настроения, разразилась смехом.

Когда они оказались в гостинной и Дагна принесла кофе, Ругянис, сразу обо всем забыв, продолжал:

— Люблю тебя, Йотаута, черт знает за что, но люблю. А может, и знаю за что. Люблю всамделишных людей. Знаешь, что такое всамделишный человек? Не только справедливый, откровенный. Это человек — золотой самородок. И твердый, как гранит. Искру таким можно высечь. Ты такой, Йотаута. Не зазнавайся, но я говорю от души. Ты, Бакис, не сердись, тебя я мало знаю. Йотаута — другое дело, мы с ним давнишние друзья.— И затянул высоким голосом:

Почему голова летит с плеч,  
Почему реки крови текут...

Дагна взяла со столика «Вечерние новости», открыла и подала Бакису. Альбертас уткнулся в газету, потом откинулся, по-детски просиявшими глазами посмотрел на приятелей.

— Ну и ну! Сегодняшняя? — спросил у Дагны.

— Вчерашняя.

— Выйдем за Альбертаса и его выставку,— предложил Саулюс.— Ура, Альбертас!

— Полюбуйся, Аугустас,— сказала Дагна.— Твои друзья набирают силу.

— Не интересуюсь.— Аугустас покосился издали на газету.

— Фотография Альбертаса!

— Думал, американского президента.

Бакис опустил глаза, посидел еще немного, потом вспомнил, что обещал позвонить домой, и удалился в прихожую. Минуту спустя, просунув голову в гостиную, сказал:

— Экскьюз! Спокойной ночи.

— Альбертас! — Дагна выбежала в прихожую, но Бакис не поддавался на уговоры.

— Кто идет, пускай уходит, у каждого своя дорога, — философски сказал Аугустас, погрузив пальцы в буйную, сильно поседевшую гриву, падающую на высокий лоб. — Я тоже скоро пойду, хотя меня и никто не ждет.

— Жена.

— Думаешь, Йотаута, у меня есть жена? Ошибаешься.

— Аугустас любит пошутить, — вставила Дагна.

— Я слов на ветер не швыряю, Дагна, — Ругянис вонзил угрюмый, мутный взгляд в женщину, уставился, словно увидев ее впервые и не понимая, как сюда попала. — У тебя нету сестры, Дагна?

— Ты опять, Аугустас... Лучше выпьем.

— Правда, Аугустас, выпьем, — подхватил Саулюс; он уже ясно видел, что на этот раз не удастся поговорить начистоту с Ругянисом. Весь вечер готовился к этому разговору, но все откладывал — может, чувствовал себя неуверенно или боялся, что первое же насмешливое слово Аугустаса может все разрушить.

— Отвечай, раз спрашиваю: сестра есть?

— Нет, Аугустас, — добродушно рассмеялась Дагна.

— Если встретишь такую, как ты, скажи мне. Я уйду, Йотаута.

Ни Саулюс, ни Дагна не просили его остаться посидеть еще. Но Дагна все-таки спросила:

— Может, такси заказать? Как это ты в такой час... Саулюс, позвони. Аугустас!

Аугустас, оставив дверь открытой, грузным шагом уже спускался по лестнице.

В гостиной они уселись за залитый кофе столик. Звенела тишина, город за окном замолк.

— Все похоже на спектакль, — сказала Дагна. — Плохие мы актеры.

Застывшая на усталом лице Дагны улыбка потускнела, глаза пригасли, налились слезами. Она уткнулась лицом в диванную подушку, ее плечи задрожали.

— Что с тобой, Дагна?

— Ничего. Ничего...

Саулюс тронул Дагну за плечо, потом отвел руку.

— Ну скажи, что случилось?

— Ничего.

Дагна старалась взять себя в руки, но всхлипывала все сильнее. Саулюс вскочил, бросился к двери, обернулся, посмотрел еще раз и услышал сквозь всхлипывания Дагны:

— Наглис... Наш маленький Наглис... Этот вечер...

Саулюс едва сдержался, чтоб не закричать: «Замолчи!»

Через три года я вернулся не только к этому вечеру именин Дагны, я рылся в прошлом, как последний нищий в лохмотьях, искал лоскут, чтобы прикрыть свою наготу и позор. Но это было гораздо позже.

Однажды поднял трубку и узнал голос Аугустаса Ругяниса:

— Сильно занят, Йотаута?

— Ковыряюсь, — ответил неопределенно и посмотрел на множество фигурок из пластилина и гипса, расставленных на стеллаже.

— Приезжай, по живому человеку соскучился.

— Но, Аугустас...

— Не хочешь, как хочешь.

Это была пора, когда я надеялся победить себя, уповая на волю, упорство и труд, когда каждый день, запершись в мастерской, допоздна упражнял пальцы и воображение, лепил крохотные фигурки и бюсты, надеясь, что хоть одна моя вещичка заговорит своим голосом. Но

этого голоса я так и не услышал, а в мыслях витали проекты памятников, я уже видел торжественное открытие моего монумента.

Когда я потянул за толстую узловатую веревку и за тяжелой дверью звякнул колокольчик, раздался повелительный голос:

— Входи, входи!

Аугустас стоял посреди просторной мастерской лицом к двери, скрестив руки на груди. Длинный толстый халат распахнут, воротник полосатой фланелевой рубашки расстегнут.

— Хорошо, что пришел,— протянул ручищу, не трогаясь с места.— Ничего не скажу, ничего не покажу — этого не жди, просто так посидим. Можем мы без всякого дела посидеть или не можем, Йотаута?

Ругянис говорил как старший, более опытный и мудрый, этот его тон, в сущности, раздражал меня, но разве можно осуждать человека, который под жесткой скорлупой прячет большое сердце?

Хотя Аугустас и клялся ничего не рассказывать, но вскоре изложил свои беды — сегодня, дескать, разбил в щепы модель памятника Мажвидасу. Уже вторую. Вот груды гипса в углу. Не то, не то! Кому будет интересно, что стоящий или сидящий человек держит открытую книгу? Можно еще перо в руку вложить. Кто это? Родоначальник литовской письменности, летописец или просто писарь? Конечно, все решат фигура, драпировка, выражение лица и движение. Но это не то, не то, Йотаута.

Я не мог ничего посоветовать. Не смел даже утешать его, поскольку он тут же набросится на меня зверем — в этом я не сомневался: и в тяжкий и в радостный час нелегко было найти подходящее для Аугустаса слово. Сейчас он казался таким одиноким и осунувшимся, что я невольно посмотрел на стену. Стена была большая и голая, а в самом центре ее — потрескавшийся, почерневший деревянный Христос, вырезанный каким-то мастером еще в прошлом веке и долгие десятилетия кричавший с придорожного креста о скорби и одиночестве человека. «Это мой портрет», — когда-то буркнул Аугустас Ругянис.

— Для меня очень важно, Аугустас, как ты к этому относишься. Когда-то в институте я посещал и скульптуру, сейчас опять пробую. Хочу всерьез испытать силы,— проговорил я торопливо, опасаясь, что Аугустас меня прервет, но он выслушал до конца, насупив лоб.

— Не силы испытывай, а всего себя скульптуре отдай.

— Ты серьезно, Аугустас? — по-детски обрадовался я.

— Для художника главное — посметь! Посметь сказать свое слово! Голову расшиби, но не бойся ударить лбом по всему, что привычно и всем ясно. Думаешь, я сказал что-то новое? Это же старая истина, старая, как и вся история искусства. Нам удобнее бывает подложить подушку. Не только лоб, но и задницу бережем, Йотаута, вот оно как.

Мы толковали долго, опорожнили и одну и другую бутылку вина, захотели есть, и я предложил пойти ко мне — Дагна угостит.

— Люблю тебя, Йотаута.— Аугустас обнял меня за плечи, по-медвежьи стиснул ручищами.— Твоя Дагна... — И замолчал.

В ту ночь мы допоздна засиделись у меня и до того наугощались, что до самого утра друг друга провожали домой.

А три года спустя... Конечно, долгими были эти годы, я упорно работал в скульптуре. Дагна не одобряла меня, ей казалось, что не за свое дело взялся. Уже вылепил довольно выразительную, на мой взгляд, голову старика, бюст юноши. Аугустас отозвался одобрительно. Я обрадовался и наконец поделился с ним своей мечтой.

— У меня идея, Аугустас.

— Валяй.

— О выставке думаю.

— Если будешь чесать такими темпами, через год-другой, спору нет, будет что показать.

— Думаешь?

— Только брось это все рисование. Не мелочись. Это не для тебя.

Бывало, я ночи напролет просиживал в мастерской. До одури лепил, будто горшки, все новые фигуры — и отдельные и группы. Аугустас вообще-то скуп был на доброе слово, я это знал, но уже по тому, как он хлопал меня ручищей по плечу, чувствовал: одобряет. Шесть своих работ я предложил на республиканскую выставку. Ни одна не прошла. Эту весть принес мне Альбертас Бакис. Я не поверил.

— Глухие шутки! Когда комиссия смотрела?

— Дня три... нет, четыре дня назад, точно.

Я рассмеялся:

— Ругянис бы давно позвонил. Знаешь, что он мне говорил?

— Что он тебе говорит?! Ах, Саулюс, не пора ли открыть глаза.

— А что он говорил на комиссии?

— Любительские поделки. Пускай месит глину, раз так хочет...

Едва не схватил Альбертаса за отвороты пиджака да не вытолкал в дверь. Опять сплетни! Может, уже всему городу растрепал.

Бакис уверял, что это чистая правда, просил не принимать близко к сердцу, жалел, что я забросил графику.

— Графика — это слишком мелко, — повторил я слова Аугустаса Ругяниса.

— Мелко то, что создано без таланта.

— Теоретик! Пришел меня поучать?

Альбертас вытащил из внутреннего кармана пальто бутылку коньяка, поставил на стол.

— К чертовой матери! — крикнул я.

— Выпьем коньячок и оба туда отправимся. — Альбертас спокойно уселся, взял стаканчик, выдул из него пыль.

Через добрый час, проведенный в молчании, я достал бутылку венгерского вина. Осушили и ее. И тогда я сказал:

— Альбертас, пошли к Ругянису.

— Что ты ему скажешь?

— Как же он мог вот так? В лицо одно, а за глаза... Пошли.

— Нет, Саулюс. Нет, нет.

— Не хочешь портить отношений! Воля твоя. А я поговорю. Да еще как поговорю!..

Ругянис открыл дверь не скоро. Не обрадовался и не растерялся. Не заметил он и моего яростного лица. Схватил за руку, стиснул будто клещами.

— Погляди, Йотаута. Никому не показывал, тебе первому.

Зацепил ногой табурет, опрокинул, пнул рулон картона и остановился в углу перед помостом, закрытым черным холстом. Глаза Аугустаса лихорадочно блестели в ярком электрическом свете...

— Посмотри! — сказал опять. Его глаза впились в меня, и в этом взгляде я прочитал сомнение: стоит ли показывать? — Если хочешь знать, десять лет живу этой идеей и ищу ключ... Вроде бы нащупал. Так мне сейчас кажется.

Хотя фигура была еще не завершена, от нее повеяло такой мощью, что у меня застыла кровь в жилах; чем дольше я глядел на нее, тем больше верил, что вот таким и был герой нашей истории, поднявшийся против западных завоевателей.

— Что скажешь, Йотаута?

Аугустас Ругянис не отрывал от меня глаз, словно в моих руках была его жизнь.

— Что скажешь, Йотаута? Будет жить этот древний литовец?

— Будет, Аугустас, — ответил я, не узнавая собственного голоса.

Стиснув зубы, я провел целый год: устроил выставку эстампа, оформил несколько книг, а за иллюстрации к сборнику сказок на международной выставке меня удостоили серебряной медали. Однажды я

получил приглашение на семидесятипятiletний юбилей своего профессора, нашего Маэстро. Приглашение равнодушно показал Дагне, а она тут же принялась подсчитывать, сколько дней осталось до этого вечера:

— Успеет ли портниха?

Я сердито оборвал:

— Но ты еще не спросила, пойду ли я сам!

Дагна от души удивилась:

— Думаешь не ходить?

— Не знаю еще.

Через несколько дней, держась кончиками пальцев за мою руку, она вплыла в зал, как черная лебедь на чужие воды. Юбка из черного плотного шелка крупными складками опускалась до самого пола, шифоновая блузка прозрачной паутиной обхватывала покатые плечи и подчеркивала грудь, широкий пояс с серебряной пряжкой перетягивал стан, и Дагна казалась легкой, изящной, созданной лишь для того, чтобы все ею восхищались. Глаза устремились на нее — исследуя, оценивая, даже раздевая. Дагна незаметно кивнула, мягкая улыбка еще больше украсила ее лицо, и дородные дамы в бархатных платьях и дорогих норковых пелеринах, закованные в хрустящие корсеты, не могли оторвать от нее глаз. Просторный нарядный зал гудел от голосов, звона бокалов. Около углового окна стояли Альбертас Бакис, его жена Ядвига, еще несколько мужчин, и мы подошли к ним.

— Дагна! Брависсимо! — восхищенно воскликнул Альбертас, поклонился, поцеловал Дагне руку.

Тут же приложились к ее руке и другие мужчины. Дагна была счастлива — у нее, по-видимому, закружилась голова, она взяла под руку Ядвигу, что-то прошептала ей на ухо, и они рассмеялись.

Подошел официант, я подал Дагне бокал вина, себе взял коньяк.

— За здоровье Маэстро, — предложил. — Молодец наш старик.

— Салют!

Мы толковали о сегодняшних юбилейных приветствиях, вспомнили молодые годы и девиз на стене мастерской Маэстро: «Пока молод, брат, сей, да семян не жалея».

У меня за спиной загремел знакомый бас. Ругянис, обхватив за плечи низенького толстого художественного критика, что-то рассказывая ему, радостно хохотал. Он не мог нас не заметить. Я отвернулся.

— Вот безмозглый старикан! — гремел Ругянис. — Всех своих студентиков пригласил. Как на похороны.

Критик подхихикивал.

Я покосился на Дагну. Она стояла лицом к Ругянису, но смотрела в свой бокал. Вино в бокале подрагивало.

Альбертас принес со стола тарелку с бутербродами. В соседнем зале раздавалась веселая танцевальная музыка.

Когда я через минуту посмотрел на Дагну, Аугустас Ругянис приглашал ее на танец. Дагна покосилась на меня, как бы спрашивая согласия. Ругянис притворялся, что меня не замечает. Он взял Дагну под руку, и они ушли. Опять не помню, что я тогда говорил. Не спускал глаз с широкого дверного проема, за которым мелькали пары. Увидел и Дагну. Аугустас топтался неуклюже, по-деревенски, я подумал: «Как трудно Дагне танцевать...» Они снова пропали за белой стеной.

Дагна вернулась одна. Лицо ее побледнело. Избегая моего взгляда, она тихонько прошептала:

— Проводи меня.

Мы молча спускались по лестнице в фойе.

— Пойдем домой, Саулюс.

Я ухватился за перила, остановился.

— Что случилось. Дагна? — спросил, но не услышал своего голоса.

— Пойдем домой.

Я испугался, что Дагна споткнется на мраморной лестнице, и схватил ее прохладную руку.

Прокладывая прокос, Каролис, шире замахнись косой, до самых кустов Швянтупе, и вздохни поглубже... На шаг вперед, еще на шаг. Посмотри в зеленые дали, измерь взглядом поля, широкий мир своих забот.

Прокладывай прокос, Каролис, прокладывай...

Саулюс ступает за ним. Коса легкая, звонкая. «Это мамина коса», — сказал Каролис, когда Саулюс, обнаружив ее возле амбара, явился на луг. Здесь все как в старину — у каждой вещи свое место и свой хозяин. И своя память, убегающая в десятилетия, а может и в века. И теплоту ладоней сберегла эта коса и запах пота, жжение натертых волдырей и липкость крови. Отдраенное задубелыми пальцами косовище, стянутая конопляной веревочкой липовая рукоять, стертая, точно серп луны, лезвие, пережившее тьму ударов молотка и взмахов точилом, — все это памятники истории начиная со времен дедушки Габрелюса и кончая спокойствием твоих дней, Каролис. «Но почему я говорю — спокойствием? Разве спокойствием веет от твоего шага и взмахов рук, от лица и от света твоих глаз? Лишь со стороны так кажется, но внешность обманчива».

Длинные у тебя прокосы, Каролис, трижды приходится останавливаться, прочищать прохладной травой и править лезвие косы. И тогда слышно, как ты вдыхаешь всеми легкими запахи лугов, как падает с зеленым шорохом трава.

Солнце высоко, но жара не обжигает: июньские дни полны свежести и росной прохлады.

Мимо движется бочком, вороша косовищем гладко уложенный прокос, Каролис. Не повернет головы, не посмотрит, вроде бы не замечает. Так и положено: косишь — и коси, у обоих одно занятие. Саулюс замечает это равнодушие Каролиса, но не обижается; ведь и для него не существует ничего в этот час — только луг и он сам, Саулюс. Руки не знают устали, они машут, нажимая на косу, и не надо думать о том, что делаешь, как делаешь и что из этого получится. И даже не хочется думать, что есть где-то Дагна, Аугустас Ругянис... Есть пахнущий травой луг, есть бурлящий подобно весеннему ручью прокос, стекающий к Швянтупе. И аист, ищущий неподалеку лягушек. И жужжащие шмели, и скачущие кузнечики, и капли пота на груди...

Вороша свой прокос, Саулюс разминулся с Каролисом. Ни слова. Губы запеклись, небо пересохло. Надо бы напиться; бросает взгляд на спрятанные в тенечке среди травы бутылки лимонада, но снова поднимает косу и замахивается.

За Швянтупе тарыхтит трактор, с грохотом тащит пустой прицеп. Где-то в стороне поселка звенит металл, взрывает машина и удаляется. Снова тишина, полуденный покой, снова слышно дыхание Каролиса... А может, это косы шуршат по траве?

Саулюс докашивает прокос, последний взмах молодецки закручивает, переводит дух. На бережку у самой воды сидит Каролис. Медной змеей поблескивает рядом коса, спрятавшая лезвие в траве. Черная шляпа лежит на земле. На затылке лбу слиплись от пота волосы.

Саулюс втыкает косовище в землю, кладет ладони на прохладный обшук косы и смотрит на брата, который забыл, а может, не в силах достать из кармана сигареты и закурить.

— Как давным-давно, — наконец говорит Каролис. Эти слова вырываются словно вздох. — Бывало, выйдем вдвоем... Присаживайся. — Каролис подвигается, словно на коротенькой скамеечке. — Устал?

Саулюс опускает косу на вянущую траву; не только косу, что-то тяжелое снимает с себя и садится.



— Лет двадцать как твои руки косы не грогали.

— Точно.

— Годы кубарем летят, кубарем. Была такая деревня, Даржининкай называлась, сам помнишь. Сейчас слышу — нету Даржининкай. Слышишь, Саулюс? Сколько люди надежд там вложили, сколько пота пролили да крови. И нету больше деревни. Безо всякой войны, кто в поселок перебрался, кто в город... Одно чистое поле.

— Лепалотасу это не грозит.

— Как знать, что будет лет через десять, двадцать? Может, только в паспортах детей останется название деревни. А дети эти, как и мы, будут о чем-то беспокоиться, чего-то искать, спотыкаться... Я иногда хочу понять, спрашиваю себя: почему? почему? почему?..

Саулюсу кажется смешной речь Каролиса, он улыбается. Брат облакачивается на траву, вытягивает ноги в промокших сандалиях, смотрит на свой дом на пригорке.

— Не понял ты меня,— говорит он и замолкает.— Ты-то не помнишь папашу Габрелюса. Уходя от нас, он знал, куда идет и зачем идет. Он иначе не мог. И наш брат Людвикас знал, куда идет. Это была его дорога. Думаешь, наша мать не знает? Она тверда по сей день, как пятьдесят лет назад. Тверда своим знанием, хочу сказать. И ты знаешь, к чему стремишься. Ведь знаешь...

— Знаю, Каролис. Но от этого не всегда легче.

— А ты хочешь, чтоб было легко?

— Говоришь как с ребенком.— Саулюс ложится на спину.

— Не лежи распарившись, рубашку подстели,— поучает Каролис, и Саулюс послушно приподнимается.— В нашей семье никто легкой жизни не знал, потому и говорю.

— Одно дело работа, беды, а совсем другое, когда у тебя есть цель, ты к ней стремишься, но тебе не везет, недостает силенок... Ты понимаешь, Каролис, что я хочу сказать?

Каролис молчит, вслушиваясь в журчанье ручья, потом бросает взгляд на Саулюса.

— Наш отец говорил — не помнишь? — живи в ладах с собой да со своим соседом. Поссорившись, мирись и всегда будь справедлив. И первым сей ячмень да рожь коси.

— Красивые наставления,— горько усмехается Саулюс.

— Справедливые. Когда я, случается, теряюсь, то думаю об отце, папаше Габрелюсе, обо всех нас. А ты, Саулюс?

Почему он спрашивает? Неужели и он хочет бросить обвинение, что отсох от отцовского гнезда? Отвернулся от родного крова? Оба с матерью будто сговорились.

— Я плохо помню отца,— отвечает и тут же начинает злиться на себя, потому что эти слова звучат оправданием.

Каролис садится, устремляя взгляд на липы родного хутора, на открытые ворота возле гумна. Смотрит, словно вернувшись из странствий,— любящим, тоскующим взглядом.

— Я хочу все знать,— говорит Саулюс.— Но разве моя вина, что поздно родился? Не я выбирал время, чтоб родиться.

Каролис все смотрит на открытые ворота.

— Мать,— немного погодя говорит он.

Саулюс поворачивает голову к дому. В воротах стоит мать.

*Перевел с литовского ВИРГИЛИЮС ЧЕПАЙТИС.*

*(Окончание следует)*

---

---

НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ

★

## ГОНКОНГ\*

Роман

Глава 13

### КУЗНЕЦЫ И МОЛОТОБОЙЦЫ

**Н**а прошлой неделе, когда речь зашла о посылке первой партии пленных матросов на работу в доки, Пушкин велел Алексею Николаевичу съездить к Куперу и договориться обо всем.

На вопрос об условиях и оплате Купер ответил, что еще рано решать, надо посмотреть, что сумеют делать и как работают. Тогда известно станет, кого и куда определить и сколько кому платить.

Ничего не скажешь! Люди дела! Нельзя и заикаться, мол, извольте сначала накормить.

Не будешь же на доках жаловаться хозяевам или мастеру, что их же адмирал морит наших людей голодом. И что с утра они щелкают зубами, как волки. Ведь все согласно закону. Тяжелы колеса казенной бюрократической машины. Горе тому, кто под них попадет, да еще на чужбине, где сердца еще черствей наших и никого не разжалобишь. Да, он прав! Покажи, как работаешь!

...Придя под навес, где протянулась череда горнов и наковален, матросы начали снимать верхние рубашки, аккуратно укладывая их в отделения на полке. Надевали на себя старье: обноски и опорки. Мастер за столом в конторке передал унтер-офицерам чертежи и размеры поковок. Алексей Николаевич переводил и пояснял. На тачке китаец подвозил чушки железа. Горны запылали, задышали. Другой китаец крутил поддувальное колесо. Струи воздуха ударили, раздувая пламя. Понемногу краснели железные слитки.

Кузнецы и молотобойцы надели фартуки и встали к наковальням. Васильев захватил горячий слиток огромными щипцами и кинул на круглый стальной стан... Ударили молоты. Васильеву сегодня надо отковать части руля. На соседнем горне Мартыныш кует скобы для крепки деревянного судна. Ему же ковать звенья паровой цепи. Еще заказана обшивка для форштевня деревянного судна, клепки разных размеров для железного парохода, гвозди, штыри; работы много. И нельзя сказать, что работа скучная. Сегодня у входа на доки поели китайских пельменей. Сибирцев накануне получил свои десять фунтов и расплатился. На сытый желудок Васильеву начинает тут нравиться. Под соседним навесом китайцы формуют землю. Сибирцев сказал, будет отливать вал для парохода. Будто он слышал, что валы для винтовых железных судов получают из Англии, но и тут их при нужде отливают и обрабатывают. В литейной металл уже варился в печи вроде нашей пудлинговой. Мастер в черных очках подходил

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

к заслонке и заглядывал. Дальше молотами и кувалдами бьют здоровенные полуголые китайцы, «глухари»<sup>1</sup>. Оттуда идет сплошной гул и грохот, так что глохнешь.

Помощник хозяина — высокий инженер в усах — постоял у горна недолго, доброжелательно заметил Сибирцеву:

— Good work!<sup>2</sup> Китайцы за немногим исключением слабы для кузнечной работы, но делают все аккуратно, хотя и медленно.

Матросы сильно, удаю били вперевой малыыми и большими молотами. Мехи дышали и свистели, уголь разгорался все сильней, тела обливались потом, рубахи затекали и чернели. В промежутки между поковками рабочие отходили, старались отдышаться, пили воду из кадушек. Знали, что вода здесь дорогая, ее не хватает. Китайцы на плечах принесли хорошую ключевую или колодезную в кадке на двух шестах.

— Работаем, а не для себя, Алексей Николаевич,— сказал Васильев вечером, когда Сибирцев пришел довольный.

— Отец меня учил: на кого бы ты ни работал, должен работать хорошо,— сказал Мартыныш.

На кораблях собрали пленных и зачитали списки тех, кто переводится на берег в распоряжение властей колонии и кто остается на эскадре. Всего на берег шло двести человек. Объявлено, что жить будут в старом блокшиве. Матросы становились в очередь, получали по спискам деньги у клерка...

— Господин Купер, мне неприлично было говорить с вами о нуждах моих людей, пока, по вашему обычаю, вы не увидели их работы. Хотя у нас любой купец сначала накормил бы. Вы, господин Купер,— с дружеской улыбкой продолжал Алеша, делая вид, что сбивается, не может подобрать нужного слова,— порядочная скотина (beast), по нашим понятиям.

Сибирцев осмелел.

Хозяин — зверь, ругается и бьет китайцев, одному из них вчера ткнул при пленных палкой в лицо — что, мол, с ним церемониться. Дядю Купера в Шанхае, говорит Сайлес, китайцы убили, а его дом сожгли. Его сын там все снова начинает.

Из карманов куртки у Купера торчит по пистолету. Разговор, видно, у него бывает короток. Морда красная, мужицкая: нос картошкой, жесткие усы нависли над ртом, лицо смуглое от загара, небольшие серые глаза.

— Они получили деньги на кораблях,— ответил Купер.

— Они износились, ни у одного нет целых сапог. Нет белья. На это пойдут деньги Стирлинга. Примите во внимание, что адмирал Стирлинг очень скуп на казенное добро. Как вы думаете?

— Я не думаю об этом.

Матросы опять ели сегодня на китайском базаре. Но за два дня сытой еды силы не вернуть.

Алексей не стал говорить, что его личных денег хватит ненадолго. Нечего унижаться!

— В таких случаях, господин Купер, еды не просят. Порядочный хозяин дает вперед. Получить аванс — законное право работающего.

Хозяин грубо хлопнул Алексея по плечу и заметил, что у него мускулы как из железа. Купер открыл несгораемый шкаф.

— Пишите расписку. Сколько надо на двадцать человек?

— Сто долларов.

— Можете написать на двести долларов. Сто — матросам, а сто я заплачу вам, возьмите себе.

<sup>1</sup> Так называли клепальщиков железных судов.

<sup>2</sup> Хорошая работа!

«Вот как он меня понял! Под меня ключи подобрал! «Из их заработка?» «Да»,— ответил бы, наверно, Купер. Или: «А вам какое дело?»...»

Алексей написал, что для матросов, работающих на доках, получил лично от хозяина доков господина Купера аванс в сто долларов под оплату, причитающуюся в конце недели.

— Сколько же вы хотите? — зло спросил Купер, принимая расписку.

Алексей молчал, словно не слышал.

— Можете прислать мне еще людей? Садитесь. Какие есть у вас еще мастера?..

— Как бы они ни вывертывались, Алексей Николаевич,— сказал Васильев, принимая аванс,— а матрос свое возьмет. Матроса только накорми.

Матросы побывали на блокшиве. Там двое — старик матрос и китаец — следят за водой в трюме и за якорями. Больше никого нет.

— Наверно, поставят одного-двух солдат для охраны.

— А Янка опаздывает,— сказал Мартыньш.

— Он каждый день поздно приходит,— ответил Лиэпа.

— Янку опять поставили на легкую работу,— подхватил недовольно Мартыньш.— Он умеет устроиться. Это такой человек!

— Лучше про Янку не говорить,— перебил Маслов.— Он хороший кузнец. А раз послан на ферму, то исполняет.

— А-а, вот он сам! — не сразу переменялся Мартыньш.— А мы за тебя беспокоились.

— Что за меня беспокоиться! — ответил Берзинь.

За прошлую неделю пленным совсем не платили. Зато в субботу при расчете Васильев получил фунт, шиллинг и мелочь. Он держал монеты на ладони и раздумывал. Деньги не так радовали, как пробуждали зло. Значит, труд стоит денег? И всегда стоил? А он получал? Полушки и грошики. Такая плата разжигала обиду не только за свою жизнь в плену. Разве молотобойцы или кузнецы не знают цены своего труда? Значит, мы стоим, но не знаем... А что же мы видели в жизни до сих пор? Зло появлялось и к своим офицерам, казалось заботившимся прежде всего о самих себе, и к здешним хозяевам, так долго державшим всех на голодном пайке. А теперь больше фунта за неделю! Поедим мяса и мы. Пусть они поставят на горн своего Смита. Они все хвалятся: Смит, Смит!

На вечерней жаре, почти выбившиеся из сил за неделю, матросы шли на свой блокшив пешком, вразброд, без строя. Покупали еду по дороге, ели фрукты и пили легкое вино.

— Я хочу купить шляпу и пиджак,— сказал Васильев.— На фунт можно одеться. Куда тебе! И башмаки возьму у китайца... Маслов велел собрать деньги артельщику. Мы ругали, что плохо кормят, а теперь придется варить самим.

Идущих с работы матросов остановил какой-то человек, сказал, что знает, как пленные работают, предлагает им наняться в Южную Америку на плантации надсмотрщиками. Не идет? Подумайте... Там обучают негров кузнечному делу. Еще можно на золотые прииски в Австралию. Но там мало вакансий... Но очень выгодно.

— Англичанин идет важный,— продолжали свои разговоры матросы, двинувшись дальше,— а впереди собака, тоже важная, и несет трость... А навстречу дог еще важней и за ним хозяйка. Эти собаки выхолены, как скаковые лошади.

— Да, лошадей здесь берегут,— подтвердил Собакин.

— Зря не гоняют. Ездят на китайцах,— согласился Иван Пухов.

Антонов и Строд с позволения Маслова наняли паланкины и поехали на пристань.

— Целым поездом, как на свадьбе! — крикнул вслед им Грамотеев.

Остальные пошли пешком, вразбивку. Остановились у лавки. Спросили, почем шелка.

— Это очень дорого для вас, — на ломаном английском ответил торгош.

— А сольти ё? <sup>3</sup> — насмешливо спросил Грамотеев.

Китаец разозлился и взвизгнул. Сибирцеву непонятно, почему китайцы обижаются на такой вопрос.

Матросы расхохотались и ушли.

Маслов предупредил всех, что начистит зубы каждому, кто напьется. Но разве за этой кобылкой теперь уследишь! На блокшиве Васильев спросил вечером перед поверкой на палубе у Сибирцева, можно ли сделать покупки для дома.

— Конечно.

— А дозvoлят увезти?

— Им-то что!

Латыши, а их было десять человек у Алексея, обратились с просьбой, чтобы разрешил завтра, в воскресенье, сходить в церковь...

— Пожалуйста... Напиши, Берзинь, мне рапорт и веди товарищей.

В гостинице Пушкин строго заметил Сибирцеву, что у него есть некоторые сведения, что матросы команды были пьяны.

— Как вы смели разрешить матросам получать такие деньги? Что за буржуазность овладевает вами в Гонконге? Извольте сами получать деньги на своих людей, выдавать их нижним чинам частями под расписку. Все расписки представите мне с рапортом. Вы понимаете, какую несете ответственность? Если команда распустится, то по возвращении в Россию вам придется предстать перед военным судом!

## Глава 14

### ЛАТЫШИ И ТАТАРИН

На другой день десять матросов к обеду вернулись невеселые.

— Помолитесь? — спросил их старший унтер-офицер Маслов.

— Да-а, — угрюмо ответил Берзинь.

— Не пон-ра-ви-лось! — отчеканил Мартыныш, снял ремень и бросил. Стал снимать и новую рубаху.

— Ребята очень печальные, — рассказывал за обедом товарищам Ванька Пухов. — Они пришли в церковь, а там поп — китаец.

— Слова не может как следует выговорить, — подтвердил услышавший этот разговор Лиепа.

— А ты бы его спросил: «Сольти ё?», — посоветовал из глубины палубы кто-то из матросов.

Все захохотали.

— Служба походит на вашу? — серьезно спросил Маслов.

— Нет, совсем не так. Служат не так и молятся не так. Да что об этом говорить! — недовольно молвил Берзинь.

Латыши были явно разочарованы. После обеда разговорились по-своему и немного повеселели.

В церкви матросы заметили высокую и тонкую девушку в опрятном платочке, белокурую и голубоглазую, со скорбным бледным лицом, острым и нежным, напоминавшим такие же родные лица сестер и их подруг. Походила она на печальную девушку-крестьянку с хутора. Стыдно сказать, но как на обманутую бароном... У многих матросов при виде ее дрогнуло сердце. Откуда здесь такой ангел, в этом гнезде воров и разбойников?

Когда выходили из церкви, Янка с ней поздоровался вежливо.

<sup>3</sup> А соли надо? (Англо-китайский жаргон.)

Она ответила поклоном, но не переменялась. Что-то горькое, трагическое таило ее милое бледное лицо. «Ты откуда ее знаешь?» — спросили Янку товарищи. Но он умолчал. «Вот, очень ловкий и нечестный!» — подумал Мартыныш.

Мотыгин понял, о чем спрашивают Янку. Все знали, что из-за молока и сакэ Берзинь жил в Японии с экономкой самурая. Матрос рассказал, что на ферме губернатора, куда они с Берзиным ходят работать, эта девушка — дойщица коров. Они с Янкой видятся каждый день. Она недавно приехала из Англии, выписал ее сам Боуринг. Казалось, все успокоилось. Только Мартыныш подумал, что Янка не остановится на этом, не смирится.

— Это уж такой человек! — сказал он Мотыгину. — Знаешь, какой это человек? Слова о нем плохого не скажу. Но это просто страшно, что за человек!

— Хорошая девушка, — со вздохом сказал по-латышски Лиэпа. — Очень хорошая, — подтвердил Мартыныш. — Не такая, конечно, как у нас...

«Где же теперь помолиться?» — думал Янка.

На «Сибилл» и «Барракуте» служили английские военные пасторы. Не такие, как дома, но пасторы.

Военный пастор строгий, читает молитву, а потом ка-ак глянет на матросов, и все дружно произнесут: «Амен!»

— Ну а как ты помолился? — спросил Маслов у матроса-татарина.

Махмутов — здоровенный детина, блондин, все лицо в рыжих веснушках.

— Сегодня не молился. Позавчера был наш праздник. Тогда молился. Пушкин отпуская.

— В мечети был?

— Был. Мечеть большая. Народу много.

— Что за люди?

— Как что за люди? Магометане!

— Магометане разные бывают.

— Есть арабы, торгуют тут бриллиантами. Яванцы, бенгальцы, есть китайцы-магометане. — Махмутов засмеялся. — Я вошел в мечеть, и сразу все распрямились, они думали на меня, что хозяин острова. Я помолился. Задумался. Они удивлялись. Потом служба закончилась, подходили, знакомились. Удивлялись, сказали: первый раз видят, что белый человек — магометанин.

— А они сами?

— Они сами разного цвета. Есть бронзовый, есть коричневый, как крынка. Есть черный, как чугун.

— Как же ты с ними говорил?

— По-арабски.

— А ты разве знаешь?

— Учился, хотел быть муллой. Отец отдавал в медресе в Уфу. Самые богатые здесь — арабы. Я арабский язык могу говорить. Сказали магометане, что пришлют вяленой баранины.

— Может, верблюдины? Или конины?

— Молодой конины хорошо бы! Англичане не велят молодых коней убивать. Не верили мне, что я из России.

— Э-эй! Вон арбы едут... Стой! Смотри... Эй! Давай сюда... Вон и сам араб верхом...

На осле подъезжал к трапу еще не старый человек в чалме, в бороде, выкрашенной хной. Несколько арб, запряженных быками и подпрягшимися к ним китайцами, везли огромные бочки с шаньдунской бараниной.

— Хватит на весь экипаж! — обрадовался Махмутов и пошел встречать гостя.

Араб слез с осла и низко поклонился белому человеку-единоверцу, видно признавая его теперь настоящим магометанином. Ведь и Магомет, говорят, был белокожий и со светлыми кудрями.

## Глава 15

### РОЗАЛИНДА

На собственной ферме сэра Джона не было рабочих-европейцев. Китайцы на своих полях работают на коровах как на быках. Молока не пьют. Молочных продуктов не производят. Коров в своем хозяйстве не раздаивают. Корова для них лишь рабочий скот. Как говорят в Гонконге, китайцы считают варварами и дикарями те народы, которые пьют молоко и едят баранину, как монголы.

Китайцы на ферме, случилось, били палками прекрасных породистых молочных коров, как лошадей, за что шотландец-приказчик бил их самих.

Единственно кто любил и холил коров, это юная девица Розалинда, привезенная из Англии, где у ее матери была молочная ферма под маленьким городком неподалеку от Стаффорда-на-Эйвоне.

Мать Розалинды, прозванная Вирейгоу, что означает бой-баба, арендовала землю у хозяина, который в свою очередь был зависим вдвойне от богатого землевладельца. Ферма процветала, и, несмотря на сложность взаимных обязательств, отношения владельцев были ясны и устойчивы. Разорение пришло не по их вине. Тогда в судьбе дочери приняла участие семья Боуринга, и сэр Джон предложил Розалинде путешествие в Гонконг вместе со своей семьей и работу в новой колонии на ферме.

Не женское дело исполнять тяжелые работы, а китайцы приучались медленно. Главный их недостаток — нет скотолобия англичан. Ударить или пнуть собаку, лошадь, корову им ничего не стоит.

Энн, принимавшая участие в судьбе Розалинды, подала полезный совет отцу:

— Почему бы, папа, вам не взять на ферму русских матросов? В своих деревнях они имеют скот и содержат его совершенно так же, как наши фермеры. Во время жизни в Японии они обучили японцев доить коров и открыли молочные фермы. Япония теперь обогнала Китай. Русским матросам, вероятно, поставят за это памятник в Японии на берегу моря.

Боуринг попросил Пушкина прислать двух опытных скотников из числа тех, кто принес зерна европейской цивилизации в Японию.

Английские матросы понять не могли, почему вдруг пленные на корабле подняли невероятный хохот. Вообще пленные еще до ухода на берег стали повеселей, выглядели здоровей. На вопросы, что такое произошло, пленные как один отвечали, что объяснить невозможно. И при этом покатывались со смеху.

В команде узнали, что Берзиня, или, как его называли, Березина, посылают работать на молочную ферму.

— Ну Янка, опять с молоком! — покачивая головой, усмехался Ян Мартыныш.

Хотели до упаду, вспоминая историю с самурайской экономкой.

Но еще сильнее хохот начался на блокшиве через несколько дней после того, как латыши неудачно сходили в церковь. Янка вернулся поздно. Под глазом у него большой синяк.

— Ну, брат, тебе, видно, тут не фартит!

— Ты, братец, опять хотел взять абордажем?

Шуткам и насмешкам не было конца. Хором спели:

Эх, хорошо тому живется,  
Кто с молочницей живет...

Янка был печален.

Впервые явившись на молочную ферму Боуринга чуть свет, двое матросов, Ян Берзинь и Захар Мотыгин, увидели, что в коровнике, окрашенном в красный цвет, коров доит высокая красивая девица. Янка обмер. Настоящая барышня!

Девушка вышла с подойником, закрытым белоснежным полотенцем, сама в крахмальном переднике, с белой наколкой на льняных волосах.

Оба матроса поздоровались почтительно. Она ответила коротко и любезно и сразу прошла. Пожилой шотландец в юбке, с голыми коленями и с красным пером на белом берете, как у курляндского барона, спросил, понимают ли матросы по-английски. Оба ответили, что понимают, но не всё, знают слова корабельные, морские, хозяйство сельское известно с детства, но что и как называется у вас — еще не выучили. Показали на сено, на корма, на кормушку, на коровьи рога и на навоз. Джентльмен в юбке все назвал. Захар не стал запоминать, решил, что Янка запомнит, зачем делать двойную работу. Мотыгин показался шотландцу поздравей, и он назначил ему на сегодня чистить назмы: из давно слежавшихся груд лопатой перекидать на телегу и перевезти на лошади к садовнику-китайцу. А еще в деревне каждому известно, что лопатить коровье дерьмо — самая тяжелая работа из всех в сельском хозяйстве.

Янку определили в помощь барышне. Джентльмен сказал, что надо исполнять все, что велит мисс Розалинда.

Матросы охотно согласились. Мотыгин взял лопату и ушел за усатым управляющим в юбке.

Янка искося полюбывался на англичанку. У нее тонкая шея покраснела. Может, начала оживать? А сначала была такая грустная.

Янка по ее указанию чистил коровники, вывозил навоз на тачке, потом вымел помещение. Сам взял скребок, чистил коров. Подавал сено в кормушки. Потом грузил навоз вместе с Захаром, и всякая работа казалась легкой, словно пускал в воздух пушинки одуванчиков, а не набрасывал на телегу мокрые, широкие и тяжелые пласты слежавшегося навоза.

«Вот я действительно тут могу работать! Как у отца! Не знаю, сдал барон отцу еще на срок хутор или ушли родители на другое место». С японкой была императорская служба! Молоко шло для адмирала и просвещения буддистов. С японкой жил, да! Она немолодая. А он — матрос. А может, и здесь не надо зевать? Почем знать, кто еще тут вертится возле нее. Разве она девка? Вон какие бедра, какая походка!

Девушка присматривала за работой.

...Она может понять, какой Янка старательный и аккуратный, неутомимый, изобретательный работник. Зачем ему морская служба! Мартыныш, Строда, Лиэпа — все работали до службы на реке и на море, ходили на лодках-лайвах, на лиеллайвах — речных парусниках, на рыбацких баркасах. А Янка — пахарь и во флот попал по своей глупости. Ездил с дядей в город на базар. Дядя любил посидеть в пивных. В Риге, как всегда, полно матросни, и все врут что только могут. Янка наслушался, и ему захотелось в море. И так получилось, что вызвали по рекрутской очереди и он соврал, сказал, что плавал в море с рыбаками. Теперь вот из-за этого в Гонконге. А сегодня почувствовал себя как дома, на хуторе.

Розалинда заметила, что появились настоящие труженики. Они превосходили всех работников, каких ей приходилось видеть, не говоря уж о гонконгских. Старый китаец, подметавший дорожку и таскавший воду, и тот удивлялся, как умело Янка все делает. Старик качал головой, ревнуя, кажется.

В полдень девушка угостила Янку молоком, хлебом и сосисками.



Розалинда что-то громко и вдохновенно говорила, как оратор на митинге перед суфражистками, которых Янка видел в Лондоне. Она уверена была, что он понимает. Знал же он по-английски и говорил довольно хорошо. Но сейчас, огорошенный ее вдохновением, не все улавливал и, когда она умолкала, готов был поспешно вымолвить «амен» в знак согласия.

— Как ваше христианское имя? — скромно спросила девушка перед обедом, накрывая стол скатертью и подкладывая дощечки с картинками под тарелки.

— Янка, — ответил он смело.

— Эу! — насторожилась юная дойщица. — Yankee! — Она изменилась в лице. Взор ее стал резким и подозрительным. — Yankee? — с презрением спросила она. Взглянула в его глаза пристально и вздохнула разочарованно, словно поняла, что нечего и говорить.

— Ноу, ноу американ! — испуганно залепетал матрос, сообразив, в чем дело. — Я не янки... ноу янки... Я — Янка!

— Разве у русских есть имя Ян?

— Янка то же самое, что Джон, а по-русски Иван... Ноу янки!

Входить раньше времени в подробности и объяснять, кто он и откуда, Берзинь не желал, чтоб еще сильнее ее не напугать. Все же он убедил, кажется, что не американец. Да ни один янки не стал бы так работать на черной ферме, она должна сама понять!

Обед был сытный и вкусный. Конечно, треска. Но особенно — горячая колбаса, какой Янка в жизни не ел. Молока вдоволь. Хлеб из лучшей крупчатки. Кусок пирога. И еще другой пирог. И капуста...

Пришел Захар и тоже подовольствовался властью.

На другой день Розалинда украдкой поглядывала на Берзиня. Рыжеватые волосы. Лицо со вздернутым носом очень красиво. На родине всегда говорили, что эта легкая рыжеватость белокурых волос признак наивысшего аристократизма. Такой чудесный золотистый отлив! Ведь так выглядят принцы королевской крови! Об этом еще мама и бабушка рассказывали... Это идеал!

На другой день опять завтракали дважды. Обедали наедине.

Красавчик сержант, погляди и подумай! Не воображай, что ты неотразим! Красавчик из морской пехоты! Сердцеед! Угодник! И все! Ах, как он ей нравился и его волна волос от пробора к уху! Красивый мундир с золотыми пуговицами. Головные уборы солдаты и сержанты морской пехоты носят очень гордо. Его усы. А когда узнал, из-за чего она уехала из Англии, то сразу поблек. На родине ее, кроткую, скромную девицу, оклеветали и назвали колдуньей!

Розалинда ненавидит Шекспира и короля Иакова. Это все от них! Доверилась, поделилась, как с сердечным другом. А он? Поверил, что колдунья, и струсил, струсил. Но ведь на самом деле она не колдунья. Ведь это была клевета! Военные все трусы, они только со страха перед офицерами идут в бой, храбры по приказу. Все хвастуны! Он отступился! А как часто приходил и врал, что женится... Она осталась еще более одинокой, чем была. А что произошло на самом деле? Откуда сплетни про колдунью? В ее сельских местах все верят в нечистую силу, в ведьм, в колдовство. Это виноват Шекспир. Все ссылаются на него. Так у великого драматурга! Бабушка говорила, что король Иаков издал законы, в которых определяется, как надо узнавать ведьм и какое значение имеет в государстве нечистая сила. А в Англии за всю историю ни один закон не отменяли... Как учил пастор. Розалинда не верила во все эти бредни и не сомневалась в своей правоте.

На маленькой ферме у нее были любимые коровы, и они давали много молока. С этого все началось. Ферма матери приносила приличные доходы, и, конечно, соседи завидовали. В самом деле Розалинда очень заботилась о своей скотине и любила ее. Руки у нее

были нежные и ласковые. Она знала от матери, а мать знала от своих бабушек, как ухаживать за скотом, пучок какой травы и в какое время надо добавить в корм корове, чтобы не болела, и когда выгонять ее на луг. Корова, которая много лежит, дает нездоровое молоко. Корова не перегонный куб, не фабрика, не машина. Она дает молоко детям. Это не самодельное устройство, в котором приготавливают по ночам домашний алкоголь — moonshine, то есть сияние луны, или лунный свет, самогонку. Только кулаки-скупердяи думают, как бы побольше отвезти молока на продажу, и они поят ленивых коров, лишь раскармливая их. О самой корове не думают! Дайте корове подышать воздухом, погулять, попрыгать на лугу. Она очень смешно прыгает, но как она при этом нежно радуется! Розалинда умела ласково потрогать коровью морду, угостить вкусным куском. Ферма процветала, и арендная плата вносилась вовремя. Древний городок — центр графства — совсем недалеко, скупщики молока и всего молочного приезжали ежедневно.

Однажды Розалинда отправилась на несколько дней на свадьбу двоюродной сестры в другое графство. Она там танцевала и играла с парнями и девушками. Что же оказалось? Без нее на ферме коровы стали плохо доиться. Они отворачивали морды от соседки, нанятой матерью в помощь. И молоко оказывалось не таким вкусным, как прежде. Соседка обиделась. Слух о странном поведении коров быстро разнесся по окрестности. Решили, что дело нечисто, что молоденькая дочь хозяйки фермы — колдунья. Почему бы иначе без всякой причины коровы не давали без нее молока? Подобные случаи в графстве бывали когда-то, о них помнили.

Янка тоже ласково обращается с коровами, как и она сама. С коровами он меняется. А с людьми скуп на разговоры, застенчив, очень скромн. У нее и здесь, в Гонконге, коровы дают больше молока, чем на фермах Джордина и Купера.

Да, скандал произошел, когда она поехала порадовать родню и повеселиться, а коровы без нее стали скучать и выть. Против дьявола, казалось, поднялся весь народ графства. Почувствовалось, что их предки были когда-то католиками. Им всегда покоя не было оттого, что ферма ее матери торгует лучшим молоком, чем их фермы. Но они все пьяницы. Темный, дикий, грубый народ, хуже китайцев! Они пришли с вилами, лопатами, топорами, может быть, хотели ее убить и тут же закопать. Или сжечь живьем? Пастор за нее заступился: говорил о Кранмере и Ридлее, которые приняли мученическую смерть за проповедь веротерпимости и демократии и за отрицание предрассудков католицизма. Тут куда угодно согласишься уехать, не только в Гонконг!

А вот Янка, он не тычет коров палкой, как это делают китайцы.

Но когда Янка однажды наедине залюбезничался с ней и, ободренный ее приветливостью, ухватил девушку за талию и пытался прижать к себе, Розалинда с большой силой ударила его несколько раз прямо по лицу так, что он даже обиделся. Зачем же так, дралась боксом... Рассердилась, схватила и тут же кинула в него подойник с молоком и ушла.

...А народ не успокаивался. На соседних фермах собирались люди и являлись толпами. Мать ее отчаянно защищала. «Очень страшно, если в Новой Зеландии дикари едят людей! — басом кричала Вирейгоу.— Но так же страшно, когда люди, которые ездят в Лондон по железной дороге и ходят в церковь в накрахмаленных рубашках и сюртуках, объявляют ведьмой доброго и бесхитростного ребенка!»

Ее дочь могли посадить в тюрьму, убить, женщины грозили сжечь ферму вместе со скотом.

Из города приехал старый почтенный адвокат с большой бородой, на хорошей лошади и в скромном стареньком экипаже. Подал матери

несколько сердечных советов и рекомендательное письмо от городско-го торговца молоком. Сказал, что Розалинде лучше скорей уезжать куда-нибудь подальше. В Америке всегда нужны рабочие руки. Наняться туда за хорошую плату можно уже здесь, на острове. Уехать хотя бы на несколько лет за океан. Сказал, что постарается найти вербовщиков, хотя до сих пор не видел их сам.

После его отъезда мать была в отчаянии. Запрягли быка и поехали в город, где есть телеграф, не пожалели средств и вызвали телеграммой дядю, брата покойного отца. Он уже давно служил машинистом на локомотиве Стефенсона. Зная про законы короля Иакова, обязывающие представителей власти ловить ведьм, в полицию не обращалась.

Дядя приехал, все выслушал и сказал возмущенно, что по описаниям узнает приезжавшего человека. Это и есть вербовщик! Его часто видят на вокзалах и в поезде. Существует целая корпорация дельцов. Они часто переправляют девушек по железной дороге в порты. Уверяют, что на работу на американские фермы Большой Равнины, на самом деле — в Калифорнию, в публичные дома. Туда для золотокопателей — белых, негров и мексиканцев — требуют женщин светлых, молодых, с крепким здоровьем. Едут многие с островов и из других стран: чешки, польки, шведки.

Страх охватил мать и дочь с двойной силой. Боялись шантажа адвоката и вербовщиков и гнева соседей. Но тут заявило о себе общественное мнение. История дошла до членов филантропического общества и корреспондентов провинциальной газеты, а от них — в Лондон к знаменитому гуманисту сэру Джону Боурингу...

В тот вечер, когда Розалинда была Янку по лицу, она ушла слегка покрасневшая, но вполне удовлетворенная, словно этого и ждала, как будто так и надо было.

На другой день увидела, какой поставила ему синяк под глазом: Янка все же очень приятный и красивый. Но как смутился! Теперь ясно видно, что она ему нравится...

Ах, какие ласковые руки у Янки, как это понимают коровы! И какой рыжеватый аристократический отлив его волос! Но только и пленный не должен забываться!

— А в России есть хорошие коровы? — заговорила Розалинда за обедом.

— Только у летонов! — ответил Янка гордо. Он тут выложил, кто такие летоны, при этом сказал про себя, объяснил, где живут летоны, и рассказал, какой у них скот.

— А у русских?

— У русского тоже есть корова, но рябая и маленькая, как коза, и дает совсем немного молока. У них и вороны черные, мелкие, живут в Москве на крестах и на царских дворцах и летают тучами над городом. Это я сам слышал... Но кричат не по-вороньи, а как воробьи.

— Все, что вы рассказываете, очень интересно. И я бы хотела видеть купола святых церквей Руси, — мечтательно сказала Розалинда.

## Глава 16

### ЗАСЕДАНИЕ В КИТАЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Во всех практических делах — а война есть дело сугубо практическое — китайцы намного превосходят все другие восточные народы, и нет сомнения, что в военном деле англичане найдут в них способных учеников.

Ф. Энгельс, «Новая экспедиция англичан в Китай».

Японец Точибан Коосай, зачисленный в русский отряд под именем матроса Прибылова, читал доклад перед китайской аудиторией, не произнося ни слова. Тесная и горячая аудитория его отлично пони-

мала. С блеском и быстротой заполнял он черную доску на стене столбцами иероглифов, выделял некоторые, особенно важные, элегантными росчерками, что изобличало в нем художника. Не зря богатые компрадоры — его покровители — украшали свои бумаги виньетками и рисунками Коосая.

Точибан выказывал свое хорошее воспитание, тонкий вкус, принадлежность к высшему классу. А китайцы видели в его докладе свое историческое и культурное первородство.

Если докладчику приходилось упомянуть что-то не подходящее по стилю к изложению серьезной темы, то Прибылов обращался к Гошкевичу по-японски, по-русски или по-английски, и тот передавал устно по-китайски.

Все видели, что высокий рыжий господин говорит довольно правильно, и слушали китайскую речь Осипа Антоновича внимательно. Хотя можно сомневаться в основательности его познаний. Нет западных иностранцев, которые во всей глубине могли бы постигнуть знания и культуру, созданные китайцами. Возможно, как все они, ловко нахватавшийся! Объяснял толково и немного шутил. Это приятно, возбуждает пылкую симпатию публики.

Тема доклада занимала всех. Название ее опять изменилось, накануне она была объявлена как «Значение России для азиатских народов. Почему они тянутся навстречу русским, как муравьи на сахар». Сегодня читается под заголовком «Япония и ее открытие для торговли с Китаем как с самым большим государством мира». Название доклада менялось несколько раз. Реклама была другая, но суть, как казалось Гошкевичу, не менялась.

Точибан в глубине души сам не убежден в том, что сегодня докладывал. Но старался выказать веру в свои доводы. Как ему известно, самые горячие сторонники не те, кто верит в дело и готов за него умереть, а те, кто ищет в новой вере надежные выгоды. Или хочет обрести устойчивое положение. Точибану приходилось и об этом думать. Прибылов желал твердо дать понять, чей он сторонник. Китайцы, как всегда, считая себя более опытными, полагали, что японцы народ очень легкомысленный. Но доводы и понятия человека из Японии хотели знать.

На доклад собралось много богачей и ученых, есть гости из Кантона.

Иногда общество степенно шумело, раздавались вскрики восторга за столиками и на скамейках под полированными деревянными балками в обширном помещении.

Осип Антонович догадывался, что тут не только общественное собрание. В другое время, по-видимому, даются представления, что-то вроде театра или кабаре, где очень приличные артистки под собственный аккомпанемент на барабанах целыми вечерами поют и рассказывают о подвигах исторических героев Китая.

Слуга носит ведро с кипятком и полотенце, опускает его в воду, выжимает, выкручивает и тут же дает освежиться. Мистер Вунг вытирает лицо и лысину, возвращает полотенце, оно снова опускается в кипяток и предлагается другому джентльмену.

Коосай, прибыв на доклад, снял черную шляпу и бросил в нее перчатки совершенно как европеец. Все заметили такое легкомыслие. Разве в этом суть? Типичное японское легкомыслие! Но сейчас гость выказывал себя ученым, познавшим премудрости китайской науки.

Вдруг Прибылов заговорил по-китайски. Он сразу разочаровал аудиторию. Так коверкал слова, что слушатели совершенно не понимали, словно говорил на другом языке. Но, конечно, это их речь. Все были вежливы и воспитанны.

— Хо! Хо! — раздался всеобщий крик одобрения.

Вдруг все встали. Аудиторию охватил необычайный энтузиазм. В помещение вошли два высоких джентльмена в черном. Сам сэр Джон Боуринг, губернатор Гонконга. С ним белокурый, довольно молодой, или, может быть, моложавый, господин, стройный и, судя по осанке, очень опасный и крепкий. Конечно, переодетый новый морской генерал. Черная повязка на бледном лице закрывает левый глаз. Другим глазом смотрит строго и зорко, как все кривые. Морское войско Англии значительно усиливается.

Джолли Джек в униженном поклоне засеменил навстречу. Не разгибаясь, с сияющей улыбкой пошел ровень с гостями, иногда чуть отступая и открыв ладони гостеприимно распростертых рук.

Множество тучных спин гнулось, и бритые головы с косами низко и почтительно кланялись.

Губернатор Джон Боуринг и адмирал Майкл Сеймур, недавно прибывший в Гонконг, явились к китайским тузам. Оба знатных англичанина в сопровождении адъютантов в штатском. Большая честь! Гостей провели к немедленно поставленным для них бархатным креслам.

Точибан Коосай поклонился и оставался так некоторое время. У ног сэра Джона сели переводчики с японского и китайского. В их числе тот самый мистер Джон, который был рыбаком на родине, попал в шторм с судном, а явился в Японию через несколько лет в цилиндре, ходил по Нагасаки, объявляя себя иностранцем. «Нью бриташи», — так заявлял он о своей национальности!

Губернатор дал знак продолжать.

Коосай почувствовал особенную ответственность. Собрались высшие лица, учителя жизни. Также знатные коммерсанты, как у нас в Осаке. Ханьские люди! И самые сильные западные — хозяева жизни и смерти.

Новый командующий! Которого все ждали с замиранием сердца. Его еще никто не видел! Весь флот в страхе! Все распоряжения и приказы исполняются мгновенно. Тысячи пиратских джонок будут уничтожены. Одноглазый морской генерал воевал в северных морях! Это видно по его незагоревшему, болезненному лицу. Кривые всегда очень злы.

Едва смолк докладчик, как Точибану предложили вопросы. Были доброжелательные, очень простые, даже бытовые вопросы самого обычного низкого житейского свойства. Это ничего. Ведь спросил же шогун Японии одного из допущенных к нему европейцев: правда ли, что западные люди за обедом не снимают обувь?

Прибылов не смотрел на Боуринга, но чувствовал, что всемогущий и гирису внимательно слушает. И читает иероглифы. Сэр Джон не только разрешил выступление, но и сам приехал!

Китайцы спрашивали докладчика очень искренне и действительно всем интересовались, как добрые соседи. Они же очень вежливо умеют задать оскорбительные вопросы. В этом не уступают японцам — потомкам богини Аматерасу. Но нельзя и виду подать, что неприятно слушать.

Точибан и прежде знал, что китайская философия — огромное здание, построенное за тысячи лет неустанной работы мысли. Все, что он учил когда-то как нечто отвлеченное, тут жило; тут все было определено, все обдуманно. Законы нравственного развития семьи и общества крепко установлены и, видимо, неуклонно соблюдались. При этом Точибан помнил про необычайную ловкость дельцов, про торговые обороты, про опиум — жизнь тут кипит. Голова кружится у скромного японца. Философия сама по себе, а компрадоры сами по себе, но все это одно и то же, все это единая великая жизнь, основанная на высших идеях. Идеи и игральные кости! Как говорит О-сэ-фу-сан: «Ханьские люди, мой свет!» Банковка! Хунди-хайди — азартные игры, растление! Опиокурилки! Все изучают нравственные законы и тут же

дают курить. И всюду восстания против богатых. Однако что-то было страшное для японца в этом обществе.

Духота, у всех веера, все потные и нет потолка... Отлично отделанные балки держат крышу над головами. Так же крепко стоят на конфуцианских устоях учреждения и общества. Кажется, они решили показать островитянину свои большие континентальные мысли? Точибан показывает, что японские мозги не тупеют. Он не спешил с ответами и отвечал с достоинством, так он познавал здешнюю жизнь в новом свете. Она заманчива хотя бы сочетанием высокого развития и изобилием дешевых пороков. Это Китай на английский лад. Оживленней, чем у самих англичан! У тех, судя по Стирлингу и его эскадре, сухая скаредность и очень устойчивое высокомерие...

Не зря Кавадзи, всесильный чиновник Кавадзи учил: познавать! Каждый познающий принесет пользу. Предложил посылать молодых людей в чужие страны! Для полного изучения эбису. Но законы это запрещают. Точибана пришлось посылать по способу «горелое мясо».

И вот Точибан, японец, ставший русским, в плену у англичан скитается по китайским приемам и опиокурильням.

Еще вопрос: «Имеют ли острова, на которых расселился ваш народ, какие-нибудь собственные названия?» Подразумевается, что основные и коренные названия китайские...

А он сам — «горелое мясо»! Притворяется бежавшим от пыток из своей страны. Это расплата. Его не казнили, а приговорили: быть «горелым мясом» от имени государства. Приходится терпеть и учиться. Такова расплата за грехи, за стремление к власти, за неудачи в политических интригах! Другие оказались ловчее, хотя совершили преступления. А Точибану стать опиокурильщиком по-китайски? Алкоголиком по-английски?

— Ваше превосходительство губернатор и пэр королевы Великобритании и колоний сэра Джон Боуринг! — с восторженной горячностью заговорил Джолли Вунг, когда доклад закончился. — Ваше высочайшее превосходительство командующий флотом и славный адмирал и пэр нашей королевы Майкл Сеймур! Китайский банкет! Общество приглашает вас!

В соседний зал открылись входы, широкие, как ворота. Одной стены не стало, и там луна сияла над черным тропическим садом. Вспыхнуло множество свечей на столах и в фонариках. Помещение проветривалось ночной морской прохладой через открытую стену.

Множество слуг в голубых кофтах. Необычайное новшество: юные китаянки с цветами в прическах скромно подносят гостям букеты и делают европейские реверансы.

Стол под белоснежными скатертями ломится от множества китайских блюд...

Вунг мог бы удружить дорогим хозяевам жизни и смерти... После банкета — редкие, иначе говоря, запретные удовольствия!

Но оба английских джентльмена так строго приличны, так чисты и благородны их нездоровые белокожие лица, так они походят на благочестивых англиканских пасторов, что им нельзя предложить ничего подобного.

— Я вам это как англичанин говорю! — кричал за высоким банкетным столом, обращаясь к сидевшим вокруг джентльменам-китайцам, выпивший лишнего японец Джон Джонс. — И вы не смеете мне противоречить. Да, да, — добавил он и покачал пальцем перед носом соседа, а другой рукой поправлял галстук.

...Во вторник в мраморном особняке Джордина, в прохладной комнате при библиотеке сборище почтенных джентльменов в усах и пышных бакенбардах выслушивало невероятно интересное сообщение синолога и япониста русского посольства. Не задавалось никаких вопросов о дипломатических отношениях России с Японией или Китаем.

Гошкевич не сообщал никаких служебных сведений. Он показывал чучела. Демонстрируется прекрасная коллекция набивных птиц и зверей. Задается много вопросов о японских собаках. И о лошадях. О тех самых пришлось рассказывать, которых наш друг Ябадоо, или Сугуро, разводил в горах для продажи, а двух ежегодно отводил князю Мидзуно — отцу прелестнейшей барышни, за которой ухаживал Григорьев.

Боже, цепь воспоминаний о чужой стране! Как она живуча! Как мило воспоминания! О-сё-фу-сан — так ведь там все звали Гошкевича! Или: «Человек в мундире цвета хурмы»; и еще: «Человек из породы хромоногих»...

Но подлинную сенсацию произвел Точибан Коосай.

В черном сюртуке и галстуке, как замечал Осип Антонович, у него было одно из тех лиц, какие встречаются и у нас в петербургском чиновничестве и даже во дворянстве.

Сегодня Точибан отвечал блестяще: кратко и скромно, сурово и почтительно. Потом, в гостиной, он пил кофе, сидя среди англичан, и довольно хорошо разговаривал по-английски и держался так, словно всю жизнь провел в европейском обществе.

Джордин, дружески разговорясь с Точибаном, предложил посмотреть книги, увел в библиотеку. Разглядывали корешки, обложки, иллюстрации. Кое-что Прибылов мог прочесть. Присели за небольшим столиком между шкафов, закурили сигары.

— Все, что я вижу, меня очень восхищает.

— Вам бы хотелось побывать в Англии? — спросил Джордин.

— Да.

— Вы хотели бы жить в Англии? — осведомился всесильный негодянт.

Нахал Джон, который служил переводчиком у Стирлинга, никуда не годен. Носит английское платье и объявляет всем черт знает что.

— Да... — печально добавил Точибан. — Но... это-о... очень трудно...

— Почему же трудно? Можно сделать все. Нужно только ваше согласие.

— Да, — согласился, твердо кивнув, Точибан и добавил: — Но... я еще не могу.

— Почему же? Скажите прямо.

— Я... очень... больной...

— Чем же? Легкие?

— Нет. Это-о... Хуже... Мне стыдно признаться.

«Сифилитик! — отпрянул мистер Джордин. — За моим столом! Ел из нашей семейной посуды!»

К Точибану не впервые приставали с предложением, чтобы он перешел на службу. Он понимал: им тут нужен образованный японец.

Ах, боги, и так больно и горько, да еще приходится наговаривать на себя, сочинять небылицы, чтобы не завербовали в разведку, чтобы провести до конца и честно исполнить указания родины, данные «горелому мясу».

— Вы знаете, ваше превосходительство... кроме того... я очень тяжелый... запойный... алкоголик... Поэтому я бежал из Японии, совершив преступление.

Джордин молчал ошеломленный. Коосай помолчал и опустил голову, как на суде.

— Я убил беременную женщину, свою любовницу... Я много убивал... женщин...

Он говорил бесстрастно, пряча глаза. Потом поднял их. Глаза холодны, как черный лед. Он смотрел не мигая.

— Поэтому я решил бежать с русскими. Они не хотели меня брать с собой... Я их упросил, скрыв, что я совершил убийство... Я, конечно,

был еще... болен... но не так, как вы подумали... Но... спасибо, спасибо вам!

Казалось, Точибан очень тронут.

...В тот вечер сэр Джон Боуринг также сидел с гостем в своей библиотеке, и на обширном столе перед ними были груды книг о Китае и Индии и многочисленные старые и новые карты.

Адмирал Майкл Сеймур говорил о французском маршале Бюжо. Командуя экспедиционным колониальным корпусом в Алжире в сороковых годах, Бюжо сменил в своих войсках кивера на кефи. Первый полк тюрксов сформирован им в сорок первом году. Но чалма была оставлена офицерам и солдатам туземных войск во всем Алжире, и покорение успешно закончилось. Французский император предупредил пруссаков и баварцев, что в случае их нападения он приведет тюрксов на Рейн... Наш сероу, который сражался в Пенджабе, также носит чалму.

Да, всем известно, что сипаи справились с пенджабцами и завоевали для Англии их страну. И это после того как белые войска британской короны испытали в Пенджабе некоторые неудачи. Бенгальцы теперь преувеличенного мнения о своей доблести. Европейских войск в Индии мало. В Индии брожение... Впрочем, как всегда.

— В каждой стране при формировании туземных войск свои особенности, — сказал сэр Джон. — Португальцы дали пример, формируя войска сипаев. В Индии череполосица наций, фанатизм, касты. Бенгальские войска неверны, но в Китае будут сражаться. Китай един и многолюден, в этом особенность.

Речь шла о формировании наемных войск из китайцев для войны против Китая.

— Сначала без оружия! — сказал адмирал Майкл Сеймур. — Дадим при удобном случае, после первых испытаний.

— В Китае очень сильно стремление личности к благосостоянию, — продолжал губернатор, — и это при том развале, который происходит в государстве и в армии, становится смыслом жизни всех, в том числе власть имущих и образованного общества, то есть чиновников. В стране нет иных образованных людей, кроме имеющих чины. Сама степень образованности — чин. И наоборот. Такая взаимозависимость накладывает особый чиновничий, бюрократический отпечаток на всю их умственную жизнь. А народ голодает, большинство находится на крайней степени нищеты. Китайцы так ценят еду, им так тягостен вечный голод, что за питание и одежду встанут под любые знамена, чтобы хотя бы на время почувствовать себя людьми. Наденут на грудь нашу ленту с надписью «Military service»... К оружию их придется приучать... Комплектацию возьмут на себя компрадоры, и они же дадут часть денег.

Формирование сипаев — войск в Индии из туземцев всех племен, рас и верований — начали португальцы еще в XVIII веке. Теперь мир полагает, что англичане первыми начали формировать туземные войска в своих необозримых индийских колониях. Как всегда, история быстро забывается, особенно первым поколением, и потом ее уже легко исказить.

Из индийской армии в Крым ушли полки коронных войск, состоящие из европейцев. В Индии осталось сорок тысяч британцев на двести пятьдесят тысяч сипаев. Сэр Майкл Сеймур на пути в Гонконг заходил в порты Индии. По всей стране происходит брожение, туземцы подаются яростной пропаганде фанатиков, протестующих против нового закона, введенного англичанами, запрещающего детоубийство девочек... Готовится новое восстание сипаев. Англичане в Индии, как всегда, беспечны и ничему не придают значения, пока не грянет гром.

Всюду на базарах пророки провозглашают конец их владычества.

Несмотря на брожение в индийской туземной армии, два батальона сипаев уже присланы в Гонконг и выказывают готовность к реше-



тельными сражениям с китайцами. При виде «небесных» бенгальцы разъяряются и забывают свои претензии к англичанам. Сэр Майкл вполне согласен, что в туземных войсках в Гонконге, которые пойдут в Китай, надо утверждать в офицерских чинах вплоть до капитана командирами бенгальцев, пенджабцев и афганцев, чей военный опыт и храбрость очевидны. Нельзя знатных туземцев оставлять на фальшивом положении, держать на должностях сержантов и капралов. Это само по себе вызывает недовольство. Здесь начнется решительная реформа.

Мандарины в Кантоне хотят избежать конфликта всеми способами. На них движутся тайпины — об этом упоминал сэр Джон. Но когда десантные войска из Индии придут в достаточном количестве и снаряжения окажется достаточно, повод будет найден, как бы «небесные» ни береглись. Это ясно и без слов. Китайцы же пойдут на службу в английские войска, и формирование батальонов «милитари сервис» начнется полным ходом. Но надо помнить: Бюжо сохранил чалму для тюрокосов!

— Коса, халат и шляпа будут оставлены батальонам «милитари сервис». Пока наша подготовка происходит негласно. Она может быть закончена с величайшей быстротой и эффектом. Голодные китайцы возьмут в руки не только лопату для сооружения земляных укреплений, не только рогульку на спину для переноски военных грузов с кораблей королевского флота на берег материкового Китая.

— Но и нарезное ружье?

— Лучше не давать. Если они научатся воевать, мы сами не будем рады. Надо войска, но без оружия. И без оружия это будут отличные войска!

Не хотелось бы Майклу Сеймуру брать на суда своего флота десант из косатой морской пехоты, в халатах с лентами на груди, на которых написано по-английски и по-китайски, что это королевские солдаты...

Майкл Сеймур, просматривая бумаги, обратил внимание на рапорты английских офицеров с объяснением неудачных попыток совершить в минувшую кампанию опись побережья Татарии, лежащего северней Кореи и протянувшегося до устья реки Амур. Некоторые гавани, как выяснилось во время военных действий, оказались превосходными. Они заняты небольшими отрядами войск и кораблями противника. По слухам, в южной неисследованной части Приморья также существуют превосходные бухты. В копии с рапорта капитана французского корабля «Сибилл», пересланной французским адмиралом английскому командующему, сообщается, что при описи южного берега, где его меридиональное направление меняется на широтное, у безымянного мыса с указанием широты и долготы французами был встречен и потоплен двумя выстрелами русский палубный бот. Команду спасти не удалось. По сведениям, собранным от китобоев и туземцев, она была смешанной и состояла из крестьян-квакеров и военных моряков. Судя по этому, можно предполагать о продвижении русских к югу от Де-Кастри.

...Интерес к Китаю в коммерческих кругах в эти годы превосходит интерес к Индии. Там доходы от налогов. И, конечно, от торговли. Но здесь доходы, еще не бывалые ни в одной колонии.

Интерес к Китаю пробуждает интерес к его флангам. Не пустынно ли в гаванях приморского юга Татарии? А там, на флангах Китая, бухты могут оказаться такими же драгоценностями, как и на севере. Опасны не описи военных моряков, а появление крестьян-переселенцев! Если это не сказка и не домысел полусумасшедших сэра Джеймса и его ныне ушедшего французского коллеги!

Адмиралы на линейных кораблях совершили к тем берегам бесполезные плаванья.

— Мои офицеры, взявшие в плен команду «Дианы» и проводившие много времени с ближайшими сотрудниками Путятин в кают-компаниях, поставили меня в известность, что среди русских, находящихся ныне в Гонконге, есть участники экспедиций в южные гавани, о чем они никогда не распространялись. Они, конечно, знают больше, чем говорят. Американцы свидетельствуют, что русский адмирал в Японии похвально перед коммодором Адамсом своей описью залива у корейского берега, который он назвал именем русского капитана Посьета. Путятин описал другие гавани, и в одной из них, которая якобы может вместить все флоты мира, он построил крепость и ортодоксальный собор из бревен лиственницы...

Сэр Джон слышал об этом в несколько ином изложении. Сэр Майкл Сеймур докапывался до сути дела, и его версия достоверней.

Боуринг выслушал очень внимательно. Ведь это было как раз то, что занимало и его. Между приамурскими владениями России и Китаем, видимо, лежит область почти неисследованная и пустынная, но находящаяся в прекрасном для европейцев умеренном климатическом поясе. Там, видимо, не знают чумы и холеры.

То, о чем предупредил губернатора японец Точибан Прибылов, было наиважнейшим. Никто не понял японца, как сэр Джон. Азиаты направляют взгляды, преисполненные надежды, на Россию! Не на Англию и не на Францию. Грубо говоря, нужно вбить клин, чтобы взгляды горячих азиатов потухли.

Прежде всего нужны добросовестные исследования. Флот готов. У Майкла Сеймура отличные винтовые корабли, есть суда малой осадки для входа в реки, для прохода через бары. Есть опытные штурманы, совершавшие немало описей. Знаменит штурман *master* Фрэнсис Мэй. Новый командующий изучает карты. Занимая гавани Приморья, если это окажется возможным, мы усиливаем давление на «небесных».

План военной кампании 1856 года в случае продолжения войны против России отчетливо проступает в суждениях молодого адмирала.

Война с Китаем — дело очень трудное. Победить такую громадину невозможно. Но коммерсанты и расчетливые вымогатели уступят. Удар направить против чувствительных мест — по торговым городам. И задеть интересы, лишит правительство доходов. Пока мандарины не могут поднять на войну массы населения, так как сами опасаются своего народа.

Коммодор Чарльз Эллиот уверяет, что мандарины под предлогом сохранения военной мощи уведут войска подальше, а под огонь морской англо-французской артиллерии поставят сотни тысяч детей и не ведающих о сути событий женщин, чтобы потом вопить о зверствах рыжих варваров.

Боуринг согласен с молодым адмиралом. Надо дать дело флоту. Наши мальчишки рвутся в бой, желая отличиться. Они удручены бездействием и вялостью бывшего командующего.

Майкл Сеймур упоминал об осведомленности пленных офицеров. Но кто же добудет сведения? С ними в дружбе американцы — хозяева судов, коммерсанты и банкиры.

Адмирал Путятин был откровенен с американским коммодором в Японии. Почему бы кантонским американцам не вызвать их снова на откровенность? Сэр Майкл совершенно прав. Узнать надо все, что можно узнать!..

— О-сё-фу-сан! — пылко сказал Прибылов, стоя в маленьком номере гостиницы перед Гошкевичем. — Когда я занимаюсь составлением словаря, это очень увлекает. И даже такому, как я, хочется быть порядочным человеком среди вас — моих друзей. Я готов вам признаться в том, чего никто в целом свете не знает... Кроме японского правительства! Я знаю вас и не прошу хранить тайну... Но, признав-

шись, я стану чист перед самим собой, но нечист в глазах людей... Я скажу вам завтра.

На другой день сидели с утра и опять занимались словарем.

За обедом Точибан сказал:

— Вчера я очень... ира-ира <sup>4</sup>... Но сегодня я раздумал... но... я полагаю... вы... сами догадались.

## Глава 17

### КИТАЙСКИЙ ТУЗ

Поскольку русские не вели морской торговли с Китаем, они никогда не были заинтересованы в спорах по этому вопросу, никогда не вмешивались в них в прошлом и не вмешиваются теперь; на русских не распространяется поэтому та антипатия, с какой китайцы с незапамятных времен относились ко всем иностранцам, вторгавшимся в их страну с моря, смешивая их, не без основания, с пиратами-авантюристами...

*Карл Маркс, «Русская торговля с Китаем».*

Казармы пехотного полка помещались внутри цитадели, обнесенной невысокой каменной стеной. Это недалеко от отеля. Пушкин с товарищами пришли пешком.

Двухэтажное здание с квартирами семейных и холостых офицеров стояло на берегу моря. По второму этажу оно обведено сплошным широким балконом, над которым натянут тент. В обширной комнате с открытыми на балкон окнами и дверьми сервирован стол.

Поначалу разговор не ладился, но понемногу все оживилось и беседа завязалась. Задавал тон сидевший во главе стола тучный рослый майор с пышными усами.

— Три года тому назад,— продолжал он,— за этим столом мы принимали адмирала Путятина и офицеров фрегата «Паллада»... Мы рады были познакомиться со спутником и секретарем адмирала, известным писателем и прекрасным молодым джентльменом Иваном Алек-сандро-ви-чем Гончаровым... Прошу вас, господа, от имени командира нашего полка и наших офицеров за этим столом, за которым так привычно принимать гостей из вашей страны, быть ежедневно нашими собеседниками и товарищами...

«Офицеры и есть офицеры,— сказал себе Мусин-Пушкин, вспоминая прием следующим утром.— Военная косточка! Ничего не скажешь — порядочные люди! Не чувствуешь никаких подвохов, никакого в их речах нет скрытого смысла. Они и угощали искренне. Для меня их общество самое приятное в Гонконге. Однако продолжать посещение их столовой невозможно, приглашение столоваться очень любезно отклонено, дали понять почтительно: не смеем, так как они военные и мы военные и принадлежим к сражающимся друг против друга армиям и так далее и тому подобное. А мне с ними спокойней всего и чувствуешь себя в среде порядочных людей. Конечно, по некоторым физиономиям можно угадать солдафонов. Да как будто у нас их мало! Может быть, как все военные, закладывают за ворот от скуки. Так говорят про них американцы. Вот так и получается, что отважные и порядочные люди должны сражаться и уничтожать друг друга ради... Я не уверен, что и у нас в Петербурге все благополучно... А с теми, кто мне приятен и с кем мне спокойно, я ради чести, порядка, дисциплины отказываюсь встречаться наотрез! Что же мы делаем сегодня?»

И словно повторяя мысли Александра Сергеевича, этот же во-

<sup>4</sup> Нервное возбуждение (яп.).

прос вслух задал юнкер Урусов, когда все собрались за завтраком и ели зеленые бананы, жаренные на бобовом масле наподобие картофеля.

— Что же сегодня? Куда?

— А вы забыли? — сказал Шиллинг. — Сегодня важное событие: мы приглашены на обед к мистру Вунгу.

Да, он приглашал. Надо идти. А то получается, что порознь охотно с ним встречаемся, но не очень-то обнаруживаем это друг перед другом.

— Прав, Николай! Надо побывать всем вместе!

— Мистру Вунгу очень нравится, когда его называют Ванькой Каином, — заметил Прибылов и тут же поспешно пожелал, чтобы сегодняшней обед господ офицеры провели приятно.

Показал вежливый японец, что он не претендует на участие и не напрашивается на китайский пир. Его и не приглашали и нельзя. Ясно это и ему. Хотелось ему вчера очень и в казармы к офицерам местного полка картинных солдат в красных мундирах и в медвежьих шапках, какими их для японцев рисовали послы и офицеры Англии, каких мечтал повидать в жизни хоть раз каждый воинственный самурай. Да жарко в Гонконге, шапки, кажется, редко надевают: только на часах у дворца губернатора стоят солдаты во всей красе. Очень заманчиво было бы посидеть в гостях у английских офицеров во дворце-казарме с колоннадой и торжественным въездом в укрепленный двор. И хотя все солдаты там без парадных мундиров, но можно вообразить, какое множество роскошных красных гвардейских одежд войска королевы развешано и разложено в спальнях! Точно Прибылову многое неизвестно, а хотелось бы знать все. Очень обидно, что посещения официальных обедов вместе с офицерами ему запрещены. Все ругают тех, кто тайно что-то делает. А как же жить иначе, если все запрещено, открыто делать ничего не разрешается? Приходится Точибану с обиды пропускать на чужбине рюмку виски, как матросы говорят, по-фельдфебельски, то есть в одиночку. Тоже тайно. И полагаться на свои гениальные способности оставаться незамеченным...

— О-о! Господа! Заходите, заходите! — при виде гостей в своем саду восклицал мистер Вунг с таким же пылким радушием, как когда-то встречал он ватаги английских моряков, приходивших к нему в знаменитую кантонскую харчовку «Jolly Jack»<sup>5</sup> пить чудовищный напиток его собственного изобретения: смесь виски, вина, сока, настоя на любострастных кореньях, сахара, табака и чуть-чуть «чего-то» вроде опиума.

У мистера Вунга высокий богатый дом с садом. Крыша шатровых ворот с приподнятыми краями. Есть что-то знакомое, похоже на постройки в поместьях японских князей. Совершенно как у лидера клана Мидзуно!

В доме мистер Вунг снял шапочку и снял косу. Обтер голову полотенцем, которое подал бой.

— Эта глупая коса совершенно не нужна. Очень глупая! Я не могу выносить этого обычая. Великому народу шайка маньчжурских спекулянтов навязала глупый обычай унижения — носить косы. Ханьский народ обабился! Правда? У меня привязная коса. Я только на выездах надеваю косу, показывая, что все мы верны и единодушны в преданности. Да... да... Ха... ха... Как я рад! Есть ли у вашего государства обычай носить на голове какое-то свидетельство всеобщей глупости? Ха... ха... ха...

Бойки с косами засуетились, подавая плетеные стулья.

— Мистер Ред Ровер — Пиратский Флаг! — показывая себе на

<sup>5</sup> «Весельный Джек».

грудь, восклицал хозяин.— Китайская морда! — хрипло закричал он по-русски.

Он схватил руку Сибирцева, которому симпатизировал, и стал жать ее и трясти.

— У нас так: мистер Ву, мистер Ван, Шин... Ли, Сан, Сы, У, Лю, Тю, Па, Чи, Ши... Они же стали: Джек, Джон, Джим... Ха-ха! Все переехали из Кантона в Гонконг!

Бойки приняли от гостей пустые стаканы из-под аршада, и хозяин повел гостей по комнатам.

— Европейский стиль! Английские картины! А эта — китайский стиль...

В одной оказалась обширная библиотека китайских и английских книг.

— Благородный дом и «пахнет книгами»,— шутил мистер Вунг. Он повел гостей дальше.

— А тут моя маленькая обсерватория,— сказал хозяин, почти-точно открывая дубовую полированную дверь.

Компасы, хронометры, навигационные приборы, подзорные трубы и бинокли, барометры и термометры... В углу стеклянный купол в потолке. Прекрасная астрономическая труба.

— Это мой Гринвич... Еще комната европейского стиля — картинная галерея, вот подарки губернатора Гонконга. Подлинный Тернер! Великие испанцы! Подарки губернатора Макао! Еще китайский музей: живопись на шелке и на бумаге... Вот водяные краски... Вы знаете этого знаменитого художника? Это очень уважаемый... Вы, конечно, знаете... Цао-сеншень...

«Да, но вот тут-то мы туговаты. Шли к нему снисходительно, как к богатому киргизу... Знаем хотя бы, что сеншень — это то же, что у японцев сенсей, то есть учитель. Вежливая форма обращения к старшему, к профессору».

— Цао Бусин! Это его «Муха». Он жил, может быть, в танскую эру... Создал шедевр случайно. Уронил каплю на рисунок. Император решил, что это муха, и хотел ее согнать... Ха-ха! Вы помните, конечно?

— Да, я слышал,— сказал Урусов.— Рад видеть подлинник.

— Подлинник Цао — ширма,— остро глянув, ответил Вунг.— «Человек и лошадь из Самарканда»... Копия, конечно,— поспешил предупредить хозяин,— в те времена... Есть вид чайной розы, которую очень трудно рисовать, это стало известно в Академии живописи, я думаю, пять веков тому назад... но, может быть, шесть?

«Он мог бы спросить: а у вас была пять веков тому назад Академия живописи? Вы рисовали тогда чайные розы? Вы слышали о них? Мало что не было у нас академии, а мы еще и то, что было, забываем из чисто чиновничьих, холуйских соображений, в угоду славе Петра Великого — преобразователя. А как они когда-нибудь войдут в силу да подымут все свои династии, периоды и академии. Тут трудней, куда трудней, чем у Боуринга и Джордина. А мы, оказывается, не готовы... Гошкевича нет, остался, занимается с Прибыловым. Они оба у Вунга свои люди, бывают тут запросто, всегда могут зайти. Какими тут нелепыми представляются намерения члена нескольких европейских академий сэра Джона бомбардировать Китай беспощадно...»

Вунг сказал, что один великий китайский император покровительствовал искусствам, но был взят в плен... ха-ха... ха... какими-то народами... ха-ха-ха... Может быть, теперешними вашими инородцами — гольдами и гиляками...

И Боурингу и Джордину, конечно, пришлось бы тут не легче, чем нам! Да, они знают край и не упадут! Стреляные воробы!

Вунг показал коллекцию ажурных изделий — женских украшений из яркого китайского золота. Фарфор...

— Хозяин также имеет самый большой склад «иностранной грязи»! Так народ Китая окрестил опиум. Хотя считается, не я хозяин! Два парусных корабля! И два парохода! Приписаны к Гонконгу и ходят под английским флагом! Еще один — буксирный! Капитаны и механики — англичане! Но пиратских судов уже не имеется... О-о! Эу! Ха-ха-ха! Ах, Пиратский Флаг! Ах, китайская морда! — закричал басом Вунг и поднес себе кулак к усам.

После чая Вунг провел гостей по небольшому саду с редкими миниатюрными растениями. Персиковое дерево. Ива у пруда.

За обедом присутствовал молодой человек с умным лицом, с грустным взглядом и с сединой в усах. Он одет в черный шелковый халат. На голове черная шапочка-дынька с крупной голубоватой жемчужиной.

— Ученый и писатель мистер Чан, — отрекомендовал его хозяин. — Автор философских книг. Бежал из своей страны от преследований. Там ему не разрешили писать сочинения против англичан! Ха-ха! В Гонконге намерен выполнять свой замысел. У него своя фанза, огород... Персиковое дерево, посаженное из сада друзей.

На столе появилась свежая крупная садовая клубника! В разгар зимы! Мистер Чан пояснил, что это очень ценный сорт.

— Англичане взяли этот сорт у меня, — заявил Вунг, — и вывезли в Англию. Там вывели и назвали именем нашей королевы — «Виктория»! Сейчас мистер Чан пишет книгу, в которой призывает народ Китая к борьбе против британских варваров. Очень умный человек. — Вунг подмигнул Сибирцеву и добавил по-русски: — Но... в нем — китайская важность! Ха-ха!

— Англичане знают о книгах мистера Чана? — спросил Пушкин.

— О да, да! — воскликнул хозяин, опять принимая веселый облик. — Ха-ха-ха! Им это все равно! Их это не беспокоит!

Вунг спросил Сибирцева:

— Вы не собираетесь в Кантон?

— Нет.

— Ах так! Разве не хотелось бы посмотреть Китай?

— Хотелось бы, но невозможно.

— Да? Как жаль! Да-да! Конечно! — По лицу Джолли и по тону можно заметить, что все не так, чуть ли не вполне возможно побывать и в Кантоне.

Вунг взглянул значительно.

— Вы знаете, какие новости из Севастополя? Сегодня пришел почтовый пароход.

— Пока нет... Нам еще неизвестно.

— Кажется, в Севастополе началась очень сильная бомбардировка, — делая притворно кислое лицо, сказал Вунг. — Неизвестно, к чему это приведет. Может быть решающая атака?

«Он не знает ничего, — подумал Алексей. — Там каждый день бомбардировки».

— Нашли прецедент в истории Китая, — рассказывал мистер Чан. — В одно далекое царствование, когда власть была сильна, один знаменитый ученый был казнен за то, что писал историю государства у себя дома. Ко мне также придрались на этом основании, хотя в своем труде я обвиняю только тех иностранцев, которые приносят Китаю вред «заграничной грязью».

— В наш век, — заметил Шиллинг, — нравственная философия уступает философии социальной.

Юнкер спросил мистера Чана, знает ли он о республиканском строе и есть ли в Китае сторонники республики. Вунг, зная, что на глупый вопрос можно интересно ответить, выслушав Чана, добавил от себя:

— В Китае невозможно... У нас, например, существуют в городах профессии: «ободрать дохлую собаку» или «если прицепится, то будет раздувать»... Когда не будет императора и дворян, то такие искусные мастера по обдиранию встанут вместо династии... И тогда они будут прицепляться не к одиноким прохожим, а к целым соседним государствам, действуя по принципу «если привяжется... будет раздувать». Для вас это ново? При китайских императорах, по древней традиции, народ так не обдирается. С народа стараются брать как можно меньше налога, чтобы у государства не было обременительных богатств и чтобы не разводить лишних чиновников и не соблазнять воров. Народ беднеет сам, без помощи государя. У нас все знают и без этого, что монархи во всем мире платят дань сыну неба и при этом находятся на иждивении у Китая. Это очень наивно, но очень миролюбиво. Поэтому в Китае всегда будет сильная императорская власть и строгие конфуцианские законы!

О восстании тайпинов не осведомлялись.

— Я очень польщен,— прощаясь, говорил мистер Вунг.— Я мечтаю завести струг, сапоги и гребцов, чтобы стать китайским Стенькой Разиным. Так, мистер Сибирцев?

Утром от мистера Вунга в отеле получены подарки: ящик мандаринов, ящик вина и почтительное письмо — свиток... Отдельный пакет с подарками юнкеру Урусову как родственнику императора великой России...

## Глава 18

### ГОНКОНГСКИЙ ПЛЕННИК

Точибан, приодетый по моде, зашел в номер, где офицеры были в сборе и обсуждали, как обычно, известия с театра военных действий и собственные заботы.

На этот раз на японце «грей» — серый костюм. Сел на стул, закинув ногу на ногу, и закурил сигару. Он теперь все свободное время или с состоятельными иностранцами, или с офицерами и сам себя считает как бы русским офицером.

«Мои матросы на черной работе и с деньгами, а мои офицеры сидят без денег. Переводчик одевается лучше нас и меняет костюмы!» — подумал Пушкин.

— Как наши дела? — небрежно спросил Прибылов.

На днях Гошкевич, хваля японца, который составляет с ним вместе первый русско-японский словарь, сказал: «К сожалению, мой Коосай начал баловаться виски».

Александр Сергеевич оглядел Прибылова пристально.

— Ты смотри у меня,— сказал он,— не смей пить! А то я прикажу тебя выпороть!

— Да, да,— согласился Коосай.

Юнкер Урусов подошел и хлопнул японца по плечу.

Точибан просиял. Это впервые! Если рассказать, кто товарищески хлопает по плечу, в Японии не поверят! Какая компания! Немного сердится Пушкин. Но Коосай знал, что говорит.

Точибан переменял ноги.

— Как наши денежные дела? — спросил он, пуская дым сигары к потолку.

— Очень плохи, господин Коосай. Может быть, мы вынуждены будем посоветовать вам на некоторое время вернуться к матросскому котлу,— заметил Шиллинг.

— Тебе, Прибылов, нечего брать пример с нас. Какое тебе дело, как наши дела? — ответил Пушкин.— Ты рядовой и это запомни. Не выставляй нам свою подкладку с золотой короной. Это тебе в

диковинку! Мишура! Чушь! Пойми, что для нас не в этом суть! Снимай-ка весь этот дурацкий костюм, не воображай себя джентльменом. Как негр, ходишь в белом воротничке... Отправляйся, любезнейший, на черную работу вместе с нижними чинами и хотя бы себя прокорми честным трудом. А то слоняешься, как приживальщик. А нам своих забот хватает! А ну встать! Я тебе приказываю!

Пушкин заметил недовольство офицеров.

— Спасибо,— вежливо ответил Коосай, поднимаясь.— Я так и погуляю. Но мне хотелось бы быть более полезным.

Точибан полез во внутренний карман. На подкладке пиджака вышита золотая надпись: лучший портной колонии мистер такой-то для мистера такого-то по особому заказу. И золотая корона. Из кармана с этой вышивкой Прибылов вынул толстую пачку бумажных долларов.

— Пожалуйста,— с низким поклоном протянул он деньги,— примите триста американских долларов на общие наши расходы. Вы знаете, китайское общество состоит тут из очень порядочных... гораздо богаче и щедрей... И они говорят, что восхищены русскими.

— Так это от китайского общества доллары? — недоумевая, спросил Пушкин.

Он очень щепетилен. Коосай все это знал.

— Нет, это мои собственные. Английское научное общество не платит за доклады. Китайское общество имеет свои правила. Еще до доклада они выдали мне авансом немного денег, и я оделся, желая быть приличным. А это для вас...

— Это нам? — спросил Пушкин.— Только займы.

— Да, ничего... Я также оставил деньги для моих товарищей по взводу рядовых морских солдат. Кроме того, мне заказан еще один доклад. Себе я тоже оставил...

Офицеры заговорили по-французски.

— Что вы узнали про Энн Боуринг? — тихо обратился Коосай к Сибирцеву.— Она, по-моему, не является законной дочерью губернатора сэра Джона. Мне кажется, приемная. Это, может быть, неудачное предположение... Но сэр Джон любит ее больше, чем трех своих законных дочерей.

— Не отстраняйте японца, не гоните на черную работу. Положение его как переводчика весьма удобно для нас,— говорит Шиллинг.

— Да, да...— соглашается Пушкин. Он полагает, что уж лучше взять деньги в долг у Прибылова, чем у Сайлеса.— Пусть остается все по-прежнему,— решил он.

Точибан не понимал французских слов, но суть уловил. Его трость, перчатки, воротничок, галстук, конечно, останутся при нем.

Пушкин заявил, что Прибылов может продолжать работать с Осипом Антоновичем, как и прежде.

— Но мне неудобно оставаться в чине рядового матроса. Не могли бы вы произвести меня в русского офицера?

— Нет. Этого нельзя,— ответил Пушкин.

Коосай, кажется, обиделся.

— Но я назначил вас переводчиком как гражданское лицо с правом жить в отеле и ходить в город. Что вам еще? У нас переводчик — лицо очень уважаемое, а не шпион, как принято у вас и у китайцев. Наши переводчики на переговорах сидят рядом с высшими дипломатами, а не ползают перед начальством, как черепахи. Обычно такие переводчики, как наш Осип Антонович, становятся учеными, профессорами.

— Нет, я хотел бы стать офицером.

— Какой же вы решили прочесть доклад на этот раз? — спросил Шиллинг.



Немного поговорили про китайское общество. Про название доклада Точибан ничего не сказал. Он попросил позволения еще раз поехать в Китай.

— Как в Китай? — поразился Александр Сергеевич. — Это что за новость?

— На другую сторону пролива, — сказал Прибылов.

— Зачем? — спросил Гошкевич.

— Сиритай дес!.. (Изучать!..)

Офицеры оживились. Пожалуй, японцу можно съездить. Тем более оказывается, что он там уже был, уверяет, что случайно.

— Но и нам бы интересно, — сказал Сибирцев. — Я бы, например, поехал с удовольствием.

Обратились в Сити-холл. На другой день отправились на берег с разрешения властей, в сопровождении молодого английского офицера и переводчика-китайца, белло говорившего по-английски.

Офицер довел до пристани, сказал, что дальше не пойдет, тысячу раз там бывал. Проводил, чтобы видели полиция и лодочники, что поездка с разрешения властей.

— Можете нанять любую из лодок.

Китайка стояла на корме с длинным веслом, поворачивая его как винт, и при этом как бы слегка пританцовывала, покачивая бедрами. На ней опрятный, блестящий на солнце шелковый костюм, почти белый, но с розовым прицветом, как у нежных гвоздик; кофта, штаны выше щиколоток. Ноги босы и сильные.

— Здравствуй, душенька Лю, — ласково сказал ей Алексей. — Это знакомая. Вы помните, в день нашего прихода она была на палубе? — обратился он к товарищам.

Кажется, Сибирцев видел ее не только на корабле. Коосай недоволен, ревнует. Неужели полагает, что все женщины Японии и Китая должны быть увлечены только им?

— Мисс говорила мне о вас... Я передаю вам ее привет.

Каждый раз, поворачиваясь лицом, девушка улыбалась Сибирцеву. Гребет как танцует. Чем не кабаре на бедной лодке! Скулостенькое лицо, но не скуластей, чем у европейнок. Челка на лбу и красная роза в прическе. Китайки не шли ни в какое сравнение с японками. Те скромны, тихи, тише воды, ниже травы. Тихие омуты! Многочисленные перевозчицы в Гонконге держатся так, словно чувствуют себя дочерьми великого народа. Какие все красавицы!

Переводчик в белой шляпе, сойдя на берег, сказал:

— Пожалуйста...

Он показал на фанзы крестьян под соломенными крышами. Над ними высилась бесплодная на вид каменистая Кулунская сопка. С другой стороны по берегу — груда лачуг и такая же груда лодок. Настоящие трущобы, отплывшие от города и приставшие у другой стороны пролива.

— Идите куда хотите, — сказал переводчик.

Гошкевич с Точибаном и Сибирцев пошли в деревню. Крестьянин обедал с сыновьями и работниками на циновках под навесом из рисовой соломы. Он угостил рисом и чаем. Удивился, когда Гошкевич заговорил по-китайски. Хозяин показал свои поливные поля. Хлеб и гаолян росли на гребнях, на покатых грядках. Рис — в углубленных квадратах. Работник качает колодезным журавлем воду и непрерывно сливает ее в желоб. Вода разбегается по канавкам. Тут же замешаны в вонючих ямах удобрения. Китаец объяснил, что раньше здесь очень страшно было жить, нападали хунхузы. Теперь они боятся гонконгской полиции.

Гошкевич сказал, что мы мало знаем Китай, мало с ним соприкасаемся, что у нас нет ни одного развитого портового города на тихоокеанском побережье, откуда мы могли бы торговать, общать-

ся с ними. В Петербурге, в Москве сколько ни рассказывал про Китай наш Иакинф Бичурин — почти без толку. Сам Гошкевич и все, кто жил в Китае в пекинской миссии, по мере сил пытаются объяснить, сделать популярным все китайское. Но такие понятия, как «китайские церемонии» или «китайская грамота», укоренились не только у нас, а во всей Европе. Басни всяческие измышляются.

Сэр Джон всякое дело в жизни доводил до конца. Он выбрал время и почитал дочери поэмы Пушкина по-русски и сразу переводил. Ему самому понравилось. Впервые в жизни!

Далече грянуло ура:  
Полки увидели Петра.  
И он промчался пред полками...

Все же английские читатели не примут! На днях прочел в американской газете, что казак под Севастополем сказал про английских солдат: «Красивые ребята: рубить жалко!» Разве мы когда-нибудь жалеем гибнущих русских? Чем больше гибли и мерли, тем облегченней себя чувствовали!

Карамзин был недоволен, узнав, что у нас считается, будто войну с Наполеоном выиграли мы, а русским помог мороз.

Или еще хуже:

Умолк и закрывает вежды  
Изменник русского царя.

Это про Мазепу. А Мазепа у Байрона? Там он иной!

«Кавказский пленник»! Прекрасная поэма о любви к пленнику, смысл глубок, неизбежность грядущего сближения враждующих народов... Всепобеждающее чувство любви! Гуманизм! Но тут же:

Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

«Нет, в свое время я был все же прав. А теперь уж поздно исправлять ошибки! Да и книга о Сиаме на мне! Европа занята новыми идеями, интересы явились к Южной Азии, к южным морям и Японии, кроме того, губернатор должен изучать, готовиться к новой войне с Китаем!»

— Я заходил к вам, мистер Сибирцев,— воскликнул Сайлес,— но вас не было!

— Мы ездили за пролив.

— Зачем? Что вы там не видели?

— Посмотреть Китай.

— Китай? — Сайлес пожал плечами.— Разве там Китай! Нашли что смотреть.

— Мне было интересно. Я видел поля, крестьянские дома... И сама переправа, сознание, что ступаешь за границу, на землю Китая...

— Я вам могу показать настоящий Китай.

— Как же?

— На днях я иду на пассажирском пароходе в Кантон. Я могу взять вас с собой. Я покажу вам город Кантон. Не только так называемые фабрики, то есть фактории европейцев. Вы увидите застенный город, собственно китайский, куда англичан и вообще европейцев редко допускают и куда союзники не войдут без предварительного артиллерийского обстрела. Вы поняли?

— Но разве в Китай кого-то все же пускают?

— Нас пустят! Говорите прямо: едете со мной?

— Я военнопленный. Чтобы попасть в Кулун, мы просили разрешение.

— Дорогой мой! Вы друг губернатора Боуринга, он не признает вас пленниками и относится как к людям, потерпевшим катастрофу, кто вас будет держать после этого! Впрочем, формальности выпол-

ним. Я беру все на себя и получу разрешение взять вас с собой в Китай. Но вы-то сами что? Едем?

Пушкин ухватился за мысль послать в Кантон Сибирцева. Надо съездить в Кантон, побывать, посмотреть, что там происходит. Если на самом деле удастся туда попасть. Некоторая хитрость с нашей стороны не повредит. Появлялась возможность воспользоваться гостеприимством Сайлеса. Его расположение к нам вне сомнений, хотя все любезности сопровождаются прехитрейшими улыбками.

— Александр Сергеевич,— обратился Сибирцев,— вы разрешите мне... сегодня вечером... Я еду верхом...

— Да, пожалуйста.

«Эх, гонконгский пленник»,— подумал Пушкин про Алексея.

Точибан пришел печальный. Сказал Гошкевичу, что был объявлен второй его доклад под названием «Родственные связи японского и китайского народов. Почему они отсутствуют». Была вывешена афиша. Ему заплатили аванс. Но вчера на доклад никто не явился. Зал был пуст. Все китайцы, как оказалось, разъехались по делам, и даже Джолли Джек прислал к Точибану слугу с извинением, что его срочно вызвали в Шанхай, но поскольку все восхищены и доклад не состоялся не по вине профессора, то гонорар прилагается к письму.

Опять Точибан с деньгами! А ведь на здании китайского общественного собрания висело объявление: «Вторая лекция господина Прибылова: „Родственные связи...“» — и так далее.

Билеты были распроданы, но на саму лекцию никто не пришел! На дверях клуба повесили объявление: «Господа уехали». И дверь оказалась запертой.

Точибан запил. Похоже было, что в самом деле, как предупреждал Джордин, он запойный алкоголик, во всяком случае пьяница.

— Ну и подсунули нам японца! — воскликнул Пушкин. — Впрочем, образованность его не вызывает сомнений. Ученый из него получится!

Сибирцев пошел на ночную вахту на блокшив. На каменной набережной в сумерках у трапа сидел после трудового дня в рабочем паруснике, без синего воротника какой-то смугловатый матросик.

— Здрав желаю! — гаркнул он, подымаясь.

Алексей узнал Точибана.

— Здравствуйте, Прибылов. Вы уехали из гостиницы?

— Да, я подумал и решил исполнить приказание его высокого благородия старшего лейтенанта Пушкина и вернулся в строй, о чем хочу подать рапорт с просьбой разрешить мне исправить мои ошибки.

## Глава 19

### ГОНКОНГ ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ

...Войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, разливаясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев,— от места, всего облитого его кровью,— от места, одиннадцать месяцев отстаиваемого от вдвое сильнее-шего врага и которое теперь велено было оставить без боя.

...Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.

Л. Толстой, «Севастополь в августе 55 года».

Борта кораблей дымятся, и доносятся первые раскаты победного салюта. Отвечают крепость и форты. Весь Гонконг превращается в ряды дымящихся батарей. А «восток горит зарею новой».

На трехэтажном здании торгующей компании «Джордин и Матесон», над витринами в тентах, сплетены огромные вензеля из красных и белых китайских роз: V и А. Королева Виктория и принц Альберт!

Люди на улице с флажками в руках. Все поздравляют друг друга. Усатый джентльмен раскидывает руки, хочет обнять Алексея, обхватив — поцеловать...

— В чем дело? — яростно отвечает Сибирцев. — Я пленник войны!

Англичанин с недоумением смотрит в его покрасневшее лицо, разводит руками и уходит; голова над толпой китайцев долго еще видна.

Шиллинг ушел в горы. Матросы подавлены, сегодня работы прекращены. Некоторые затеяли стирку, но в большинстве лежат на подвешенных койках в знак молчаливого протеста или с кажущимся безразличием наблюдают, стоя на палубе. Пушкин и поручик Елкин с ними. Мичман Михайлов, юнкер Урусов и Гошкевич у себя в отеле, не хотят выходить на улицу.

Сибирцев оделся в костюм, сшитый для Кантона, и отправился в гущу толпы.

Гремит оркестр, из ворот крепости марширует пехотный полк. Щетина ружей движется среди китайцев и массы моряков со всех кораблей мира.

Управляя оркестром, степенно шагает усатый дирижер с жезлом в руке.

Алексею вспоминается, как входили в деревню Хэда моряки погибшей «Дианы»: тоже гремел оркестр, пели трубы, били барабаны и литавры и во главе первой роты морских гренадеров маршировал он сам. Теперь великолепный экипаж разобщен, разбросан чуть ли не по всему миру, нашего оркестра больше не существует, а половина команды в плену. Промелькнувшая страница жизни! Короткая пора дружбы с добрым и трудолюбивым деревенским народом. Что же теперь? Всякий плен позорен, а плен у достойного противника, как сегодня кажется, позорен вдвойне. Как сегодня заликовал и воодушевился Гонконг!

Слышно, кричат «хура» на кораблях, расставленных в проливе. Несутся восторженные крики из открытых карет, из которых, как из лож, солидные люди с семьями глядят на зрелище, женщины выкрикивают что-то и бросают букеты цветов. Из толпы китайцев тоже кидают цветы, кричат. Там многие с бумажными флагами, змеями, шарами, рыбами и разными фигурками, как на праздничном карнавале.

В карете с гербами медленно движется среди войск и ликующей толпы губернатор сэра Джон Боуринг. Его цилиндр, в синем и красном, обтянут победившим имперским флагом. Губернатор подъезжает все ближе. Он в лентах через грудь, в орденах, и при виде его толпа приходит от возбуждения и восторга в неистовство. Сейчас он символизирует победу империи над Севастополем. Также и победу Гонконга.

— Хур-ра... Хур-ра... Хур-ра-а!

Как они радуются! По их восторгу можно понять, что трудно далась победа, империя напрягала силы, подняты были средства колоний.

Год готовились они и французы и всё везли и везли в Крым войска и снаряжение, орудия — от малых гаубиц и мортир до новых гигантских бомбовых — и собирали множество кораблей. Подняли Индию — английские реджименты, — подняли Турцию, Сардинию. Нанимали людей в Италии и Германии. Потребовали на поле боя своих должников. В Крым отправлялись бенгальские полки. Прибыли

в Скутари британско-швейцарские и британско-германский легионы, всего семь тысяч. Ждут отправки в Крым.

Империя ждала. Первый штурм... Второй... И вдруг наконец-то... «Малахов взят!»

Взорвав все укрепления и еще не взятый союзниками бастион, защитники Севастополя, как сообщается, подобно своим соотечественникам в 1812 году, уходили на Северную сторону бухты. Командование союзников, как пишут, отдало приказ прекратить обстрел русских колонн, отступающих по понтонному мосту.

Храброго врага не тревожить напрасной пальбой!<sup>6</sup>

...Солдаты пехотного полка сменили свои белые тропические куртки на красные парадные мундиры. В бурых медвежьих шапках, со штуцерами на плечах, эти рослые белокурые люди кажутся гигантами. Их ряды, казалось, шагают все тверже, массивней и победней.

With a row-dow-dow,—

запевают женские голоса.

And a row-dow-dow,—

восторженно подхватывают все женщины на улице, в экипажах, на балконах и сидящие верхами на скакунах.

British grenadiers!

А вокруг индусы, китайцы, малайцы. Тут же чистая публика: немцы, американцы.

— Алексей! Зачем вы смотрите на все это? — услышал Сибирцев у своего плеча женский голос.

Энн внезапно появилась из толпы.

— Энн!

— Да! Да! А вы думали, что я тоже торжествую? Да, я люблю иногда посмотреть, как маршируют наши красные мундиры. Но здесь это лишь балет. Это красиво. Не думайте, что и во мне оживает при виде такого спектакля дух древних норманнов-завоевателей. Какое мне дело до того, кто и кого победил! Ведь это величайшая глупость, и мне сегодня стыдно за отца. Он как индейский петух, у него полосатый Джек на цилиндре! Но это не имеет никакого отношения к борьбе за права человека! Уйдемте отсюда!

Салюты закончились, но продолжается непрерывная беспорядочная стрельба, англичане это называют барабанным огнем. Пушки лупят со всех сторон, им вторят пушки торговых кораблей, личные пушки из дворов богатых людей и пальба пистолетов и ружей. Барабанный огонь!

— Когда вы едете в Кантон?

— Предполагали ехать сегодня. Сайлес сказал, что ему было бы неприлично покинуть праздничный город. Получилась бы демонстрация. И так в газетах метрополии пишут про враждебность американцев.

— Едемте ко мне! Уйдем сегодня в море на моей маленькой яхте. Я прошу вас, не растревляйте себя. Разве человечеству нужна ненависть? Разве ее еще мало?

«Точно так же празднуют сейчас в городах Индии, в халифатах и эмиратах на Востоке, в Стамбуле, в Вест-Индии, на Капском мысе, повсюду летится победный звук труб и внушается всем подвластным народам понятие о поражении России, о падении ее твердынь. Весь мир увидит нас побежденными и поверженными. Ликуют или будут ликовать в княжествах и ханствах, где наших пленников сажают для медленной казни в клоповники... И они за цивилизацию! Все же

<sup>6</sup> Впоследствии в парламенте требовали предать суду командующего английскими войсками в Крыму за это приказание.

есть, была и будет благородная цель у нашего оружия, есть смысл движения народов». Он вспомнил про Энн и сказал:

— Я так благодарен вам!..

— Алексей, вам тяжело? — спросила Энн, когда китаец открыл подъезд и они вошли в маленький коттедж при школе.— Не придавайте значения параду, не они воевали и не они взяли Севастополь! Глупость все такие празднования!

Сегодня солнце еще жаркое. А уже скоро дождливый месяц, как уверяют.

— Алексей! Не думайте, что женщины, которые проповедуют или борются за свою эмансипацию, лишены человеческих чувств,— сказала Энн, когда Алексей, подняв еще один косой парус, миновал сторожевые корабли и скалы пролива и пошел в открытое море.— Они стремятся преодолеть... неравноправное положение... Я говорю очень быстро? Вам не трудно понимать?

— Я понимаю вас, Энн.

— А теперь расскажите мне про Японию, Алексей... Вы встречались там с японскими женщинами?

— Ежедневно. Мы жили среди японцев. Мы привыкли к их обществу. Они горды, но дружелюбны.

— Да? — изумилась Энн.— Какие же японки? Маленькие, в цветах и с веерами?

— Есть и рослые.

Энн слегка зарозовела. Сильный солнечный свет резал ей глаза и оживлял лицо, привыкшее к занятиям в закрытом помещении.

— У вас была любовь в Японии, вы помните о ней?

— Да...

Энн на миг растерялась.

— Она желтая? Маленькая?

— Она тонкая, элегантная... С прекрасными ресницами.

— Как же вы оставили ее?

Алексей отвязал конец и привел парус к ветру.

— Я не знаю. Все закрылось с нашим отплытием. Я, может быть, не узнаю никогда... Японец, уехавший с нами, сказал, что... она постыдилась рассказать мне... но якобы она ждет ребенка...

— Постыдилась сказать вам? Скажите мне ее имя! В Азии для меня нет невозможного! Где она живет, кто ее отец? Рано или поздно я найду ее и я, Алексей, все узнаю для вас, я сообщу вам...

— Ее отец стал известным человеком, он богат и содержит князя, которому принадлежит. Она высокого роста, с нежной розовой кожей, с гибкими длинными пальцами.

— Вы так помните ее?

— Да.

— Губернатор говорит, что Япония станет нам доступной, что мы опередим янки, опираясь на Гонконг, пользуясь нашим флотом, установим прочные коммерческие связи... Я никогда не забуду вас, Алексей! Но вы ее любите?

— Не знаю.

— Что? — почти закричала Энн.— Как вы осмелились не любя? А если у вас будет сын? Или дочь? Только потому, что она японка?

Алексей не стал говорить, что все еще хуже, чем она предполагает...

— Вы могли бы жениться на мне? — спросила Энн, когда в сумерках яхта приближалась ко входу в пролив.

— Да.— Алексей почувствовал, что теперь нельзя иначе ответить. То, что произошло между ними, обязывало быть честным и прямым. Но неужели лишь играть в честность?

— Но я никогда бы не согласилась! Никогда я не уеду из Азии.

Я отдаю здесь все свои силы и отдам им всю свою жизнь! — торжественно и с радостью говорила Энн. — Я никогда не сложу оружия. Но я не японка. Я буду вам писать, Алексей. С первой же миссией я буду в Японии. Я все узнаю. Я буду бороться, я найду вашего сына. Я буду писать вам, когда окончится война. Оставьте мне ваши адреса в Петербурге и в деревне... А вы не могли бы после войны приехать в Гонконг? «Бог знает, что будет у нас после войны. Что тут ответишь? Клясться, что вернусь? Приеду в Гонконг?»

## Глава 20

### НА ЖЕМЧУЖНОЙ

Разговорившись с Сайлесом на пароходе, Алексей подумал уже не в первый раз, что о людях и событиях он судит через деньги. Сайлес, видимо, вообще мыслит деньгами.

Приходилось видеть людей, которые, получая деньги, волнуются, путаются, сбиваются со счета, а без денег хиреют, живут в тревоге о деньгах, а при случае не умеют ими распорядиться. Сайлес просто брал и просто отдавал, это еще в Японии при знакомстве замечено, когда он не скрывал, живя на американском военном судне, свои аферы с японским золотом и с долларами. Туз с размахом, не мелкий ростовщик, принимающий заклады от прогулявшихся моряков.

Алексей знал, что ныне банкиры во всем мире становятся влиятельными, банки считаются двигателями промышленности и торговли, иногда бывают от них зависимы правительства.

Сайлес под хорошее настроение откровенно признался, что вкладывает деньги в разные предприятия и даже авантюры. Из каждого дела неизменно благодаря настойчивости и умению реально мыслить извлекается прибыль.

Финансист должен хорошо знать жизнь. Каждый банкир — реалист! Как хороший, не сумасшедший художник! Нельзя сорить по одним впечатлениям, вкладывать в дело деньги или талант. Это одинаково! Поэт денег, судя по тому, как говорит! Без денег жизнь общества застыла бы. Банки представлялись Сайлесу кроветворными органами. Чистая и здоровая кровь денег оживляла сильный организм окружающего многоязычного общества, помогала ему избавляться от болезней и страданий. Тысячи кули с семьями, по его словам, можно посредством денег и работы превратить из голодных нищих в нормальных людей.

Сайлес знал здоровую силу денег. Он знал и преступную силу денег, подобную преступной силе власти, мог деньгами, как шаман злыми духами, заклевать человека, мог посредством денег проникать, как ему казалось, в самые интимные и потаенные уголки человеческой души. При этом считал себя гуманным, веря, что приносит пользу всем, с кем соприкасается, кого ссужает, от кого извлекает потом ссуды с выгодой и за кого думает, умело пробуждая в должниках энергию для бизнеса и самоспасения.

Сайлес уверял, что служит деньгами обществу и рано или поздно с каждым своим знакомым в каком-то виде входит в денежные отношения. В то же время чистосердечно признавался, что и он не застрахован от катастрофы. Но пока благодаря своему сильному характеру не беднел, хотя, рискуя, оставался временами без денег.

Сибирцев нравился ему тем, что, не избегая его общества, держался стойко и в денежные отношения не входил.

Трогательно: это единственный человек, который дружелюбен не из-за денежной корысти. Даже в плену свободен от влияния «ветра денег»! Неужели ему достаточно суконной формы с эполетами и жалованья за службу? Чего он хочет, о чем думает? Это был новый для Сайлеса тип: по-своему сильный юноша. Временами при всей симпа-

тии в отношении к нему являлись оттенки неприязни и горечи, словно бизнесмен угадывал непрактичного человека. Может быть, его капитал где-то существовал? Они живут на золотой земле. Рабочие руки у них есть, судя по отзывам Купера и других работодателей.

Сибирцев так держался, будто Сайлес имеет цену сам по себе, а не по банковскому счету. Если бы вдруг разорился и впал в ничтожество, то, может быть, остался бы для Алексея Николаевича таким же приятным. «Неужели он не понимает, что без денег и банка я не имею никакой цены и значения? Он меня ободряет и этим дорог. Если бы я все потерял? Не вижу сам к себе в таком случае никакого интереса! Сайлес без денег был бы как художник без души, писатель с угасшим навсегда вдохновением!»

Но у Сайлеса была слабость, в которой он не стеснялся признаться. В денежных делах он дока. Но хотелось бы стать человеком власти. Разве не мог бы? «Как вы думаете, Алексей?»

Мало богатства и денежной славы. Разве нельзя стать консулом Соединенных Штатов? Консулом России? Он мог бы пойти далеко! Никто об этом не догадывается, приходится самому напоминать.

Как доказать государственному департаменту Америки, каким дипломатическим тактом и энергией он владеет? Где, кому показать свой государственный ум? Стать американским консулом в Гонконге! Послом в Китае! Деятелем американской администрации! Даже английской службы! Желание власти было его ахиллесовой пятой. Только бы найти подходящее государство! В своем кругу он не раз критиковал Боуринга и Стирлинга. Неумело, неискусно ведут дела! Сайлес на месте Боуринга давно бы нашел общий язык с китайцами.

Сибирцев готов предположить, что Сайлесу что-то надо от него. Что делать, раз пустился на авантюру! Это не меняло хорошего настроения...

Тут так красиво! Над Жемчужной сияют жаркое осеннее солнце. По реке вверх и вниз шли парусные суда, лодки и плашкоуты, а на берегу толпы рабочих в лямках вели тяжелые мачтовые баржи против течения.

— Вам нравится? — заметил Сайлес.

— Да. Но почему река называется Жемчужной?

— Здесь, на этом рукаве Кантонской реки, добывали речной жемчуг. Да и сейчас... Но жемчуг не только в реке. Посмотрите! Жемчуг на полях, на реке и в воздухе! Такой торговли нет ни в одном порту Азии!

Алексей почувствовал благодарность к этому дельцу Сайлесу, который показал великолепное зрелище: движение по воде между Кантоном и Гонконгом.

— Вот сюда, на эту реку, к этому острову, подходили когда-то вооруженные до зубов опиоторговцы. На судах, прекрасно оснащенных, вооруженных пушками лучше, чем корабли флота ее величества. Это было всего лишь двадцать лет тому назад. Подходило навстречу им вооруженное китайское судно — старая лоханка с яркими тряпками на древках и с деревянной пушкой, — и мандарин передавал капитану бумагу о запрете торговли опиумом. Задавался вопрос: «Есть ли у вас опиум?» «Да». «В таком случае покиньте наши воды под страхом потопления вашего корабля». И что же дальше? Товар во время этого разговора с властями уже перегружался на ту же джонку компрадором, а мандарин в подарок получал ящик опиума...

Алексей смотрел вдаль, на берега. Деревни, как груды соломы или копны сена, сады, поля...

— Бывали случаи, что слишком отважный шкипер, пренебрегая опасностями, приходил налегке. Китайские чиновники посылали на него пиратов и перекупали у них груз через компрадора или захваты-



вали сами, даром брали. А пираты вырезали всю команду. Еще до сих пор у входа в Кантонскую реку, в островах, морские разбойники следят за каждым входящим кораблем... Европейцы прокладывают пути для своей торговли, которая сломала все запоры. Они никогда не откажутся от выгод, извлекаемых из Китая, какие бы маньчжуры ни сидели на троне, и пойдут на любые сделки. Не отстают и американцы. Пятьдесят американских богачей владеют фирмами в Гонконге. Уже сейчас доллар в Гонконге более ходовая монета, чем фунт. Любой китаец в лавке осведомлен, как сегодня переменить фунт на доллар, на талеры или на мексиканское серебро. Всюду меняльные конторы... А вот на этом острове когда-то китайский донкихот — кантонский губернатор Ли конфисковал на всех кораблях опиум, свез и зажег его... И что же было... Ах, что было! Война! И катастрофа для самого Ли, его сами же китайцы выдали англичанам как бы нечаянно, чтобы идеями о справедливости и заботами о народном здоровье кто-нибудь не помешал государственному аферам! Англичане увезли Ли в Индию, окружили его заботой и очень умело и как бы нечаянно уморили, как они умеют! А гроб с телом Ли доставили с почестями в Кантон!..

Навстречу, дымя трубами, шел двухпалубный пароход. Сайлес сказал, что этот гигант совершает рейсы между Гонконгом и Кантоном. А еще несколько лет тому назад ни одно судно не смело войти в Жемчужную, если капитан не соглашался исполнить унижительные формальности. А теперь регулярное сообщение! Корабль «Вилламетте». Из Гонконга в Кантон каждый понедельник и среду, а обратно по четвергам и вторникам в одиннадцать часов дня. Прекрасный первый класс для европейцев по фунту за рейс, первый класс для китайцев — два фунта. Завтрак стоит фунт стерлингов. Берет в грузовые трюмы для перевозки хлопок, масло, шерсть, смолу, скипидар, спирт... И все доставляет в образцовом порядке. Страховка груза.

— Кстати, вы знаете, что Пустау утвержден представителем телеграфного отделения австрийской пароходной компании «Ллойд»? Принимаются телеграфные депеши в Лондон. До Триеста сообщения идут почтовым пароходом, а оттуда в Лондон передают немедленно по новой телеграфной линии. Двадцать слов стоят шестнадцать флоринов, или тридцать два английских шиллинга, или, как мы тут называем, стерлинговых шиллинга, так как есть и другие шиллинги. Плюс один фунт за каждую телеграмму. Хотите что-нибудь сообщить? Я пошлю, и все будет понятно! А теперь идемте, мой дорогой!

Сайлес убежал на мостик. Алексей остался на палубе.

— Мистер Карри! — приветствуя капитана «Вилламетте», зычно закричал наверху Сайлес в рупор.

— Мистер Берроуз! — донеслось с «Вилламетте», и высокий борт встречного судна, окутываясь паром, мощно приближался к пароходу «Калифорния», выгребавшему против течения.

На «Калифорнии» пассажиры, пользуясь случаем и желая увидеть поблизи новинку парового флота, сбились к левому борту так, что судно дало крен. На палубу вышла оживленная компания рослых различных китайцев полуевропеизированного вида.

— Мистер Вунг! Вы ли? — изумился Алексей, сталкиваясь лицом к лицу со знакомым коммерсантом.

— О да! Ах, это вы! Здравствуйте! — весело ответил Джолли Джек. — Как я рад! Вы едете? Как прекрасно!

— Вы же хотели ехать в Шанхай? — вырвалось у Алексея. Он спохватился, да поздно, таких вопросов, видимо, не задают.

Джолли сделал скорбное лицо.

— Ах... Да, знаете... Срочные дела. В Кантоне тяжело больна мама... Я немедленно выехал.

Он любезно улыбнулся, но глаза неподдельно грустны.

— Как жаль...

— Приятно, что вы едете, — сказал Вунг.

— Да. Конечно. Очень интересно.

— Ах, правда? Но жаль, если не увидите китайского города.

— Разве? Мы же едем в Кантон. Мистер Сайлес сказал, что бывал в застенном городе.

— Да, он бывал. Со мной... И один тоже... А вы хотите видеть настоящий китайский город? — горячо спросил Вунг.

Само собой разумеется, Алексей не только хотел, но и ехал для этого.

— По закону это запрещено иностранцам с запада?

— Да. Конечно, — делая жесткое выражение лица, сказал Вунг. Но тут же смягчился. — Хотя... По знакомству все можно.

Сайлес спустился с мостика.

— Время обедать, — сказал он Алексею.

— Идемте с нами? — обратился Сибирцев к Вунгу.

— Нет, что вы! Спасибо. Я уже пообедал. Рано, по-китайски.

Очень сыт.

И мистер Вунг зычно рыгнул.

Когда обе компании со взаимными вежливостями разошлись, Сайлес сказал с укоризной:

— Нашли кого приглашать!

— А что же?

— Дорогой мой! Да как бы он ни был богат и влиятелен, а ему как китайцу запрещен вход в кают-компанию первого класса. Пусть он европеец с ног до головы и ест, как граф. Но у них свой буфет на корме со всеми деликатесами. Вот на «Вилламетте» впервые их пускают в первый класс. А «Калифорния» — старомодное судно.

Так вот почему Вунга не было видно ни вчера, когда на реке стояли на якоре, ни сегодня. А Сайлес знал, но не сказал.

— О нем не беспокойтесь. Он едет в отдельной каюте, в первом классе со всеми удобствами, а его компаньоны и слуги — во втором классе, отдельно. Нашли что предложить! — не мог успокоиться Сайлес. — Разве можно приглашать в кают-компанию китайца! Здесь не гонконгский суд и не китайская баня...

Разговоры идут полушутливо, вокруг все красиво и приятно, а у Алексея является такое чувство, как будто Сайлес еще только принаравливается, вот-вот начнет брать быка за рога...

Сайлес говорил много, но его болтовня была лишь ширмой. Он молчал о главном и самом важном. Он шел в Кантон не только из-за своих обширных коммерческих связей и бизнеса.

## Глава 21

### КАНТОН

— Ах, мой дорогой! — воскликнул Сайлес. — Отбросьте свои понятия, отказывайтесь от святого аскетизма! Вспомните, что вы молодой человек! Вы хотели бы поехать в Америку? Не отвечайте! Я не дам вам открыть рта. Я скажу за вас: да! Нет человека, который не хотел бы посмотреть Америку! Так я вам сначала расскажу про моего компаньона господина Джексона...

С Пушкиным перед отъездом так и решили. Если будем сидеть сложа руки, как мандарины, то и нас ожидает одна с ними судьба! И за нас начнут заступаться наши «спасающие». Алексей понимал, что добром его в такую авантюру никто не потянет. Он выпутается...

— Джексон владеет капиталами в акциях и многими предприятиями не только в Новой Англии и в Калифорнии. У него есть бизнес в Гонконге, значит, и в Китае. Он очень честный и обязательный коммерсант и промышленник. У нас выбрать в сенат могут лишь человека с безупречной репутацией.

Сибирцев еще в Японии узнал, что конек Джексона — раздувать мнимые угрозы от усиления России тихоокеанской торговле всех наций. Он во всем винит Россию, разносит ее в пух и прах перед избирателями.

— Отстаивает интересы американцев на Дальнем Западе и в Азии. Ведет торговые дела с Англией. Он друг Джона Булля! Конечно, я тоже, но... Он смертельный враг всех, кто поддерживает идею формирования полков американских волонтеров для отправки в Крым в помощь русским. У тех другие коньки. На митингах и в конгрессе Джексона с пылким сочувствием читает выдержки из английских газет о том, что американские друзья России находятся под влиянием царского золота. Я часто не согласен с политическими взглядами мистера Джексона. Но в делах мы компаньоны и союзники! А вы знакомы с Гуцлавом?

Что-то приходилось слышать. Доктор Гуцлав — автор книг о Китае. Когда-то немецкий учитель рассказывал братьям на домашних занятиях.

— Вы говорите о немецком проповеднике Карле Гуцлаве?

— Здесь он не Карл, а Чарльз. Знаток Китая, его истории, языка, философии, писатель, миссионер, но не только этим знаменит. Он главный советник англичан при заключении мира с китайцами после опиумной войны, душа ученого Гоңконга. Поп протестантский, но... он умер и похоронен здесь — доктор богословия! Не думайте, что существуют только англо-немецкие полки из наемников. Есть и англо-немецкие деятели и ученые. Если бы ваш покорный слуга не стал американцем, пришлось бы стать англо-немецким финансистом. В двенадцати томах Гуцлав написал об истории Китая и его современном положении. Он проникал в глубь страны с Библией и познал китайцев как никто другой. Вас ист эйнглише дас ист практише!<sup>7</sup> Англичане поняли, чем ценен такой знаток, и сделали его своим дипломатическим секретарем. При этом он перевел Библию на китайский, издал ее в грандиозном количестве экземпляров, стал выпускать ежемесячный журнал на китайском. Этот знаменитый проповедник пишет в своем многолетнем труде, что если бы не торговля опиумом, то Библия никогда не смогла бы проникнуть к народу Поднебесной. Гуцлав знал меня! Я здесь — это его рекомендация! Еще скажу вам... Англичане ищут среди американцев шпиона, который выпросил бы вас о гаванях южного Приморья. Прошу вас, будьте осторожны и никому ничего не говорите. Вы в самом деле были на описи гаваней северней Кореи?

— На описи я не был.

— Зачем вы от меня-то запираетесь! Всем известно, что адмирал Путятин назвал там гавань именем нашего общего друга Посьета. Это я слышал от него и от Посьета и это же опубликовано.

— Но я не был там. Я пришел на «Диане», а опись гавани Посьета адмирал производил на «Палладе», когда ушел из Японии после объявления войны.

Сайлес продолжал о Джексоне. Он разжигает в Штатах кампанию за освобождение негров. При этом учредил во всех открытых портах Китая бюро по найму китайской рабочей силы для свободной эксплуатации, вербуют кули и тысячами отправляют в Калифорнию и Австралию — в Новую Каледонию — на разные работы, особенно в шахты и на золотые прииски.

— Вы, Алексей, видный человек. Скажу вам: такие, как вы, редки. В вас есть ум. Также сила, смелость, мужество и расчетливость. Я понимаю вас. Мне кажется, что вы не для России. Вы не для нее!

«Вещунья с похвал вскружилась голова... ворона каркнула...» Но и надуться нельзя, «как провинциальная попадьа в гостях у пе-

<sup>7</sup> Что английское, то практичное (немецкая пословица).

тербургской барыни». Улыбайся, Сибирцев, держись по-американски! Усматривай в любом, кого встретишь, как бы закадычного друга!

— Вы красивый молодой мужчина. Жизнь для вас должна стать прекрасной. Вы можете слушать музыку и не считать часы, в скуке ожидая чего-то особенного, какого-то чуда... Но зачем вам чудо? Если бы вы знали, как мне нужны хорошие моряки! Вы не возражайте только, выслушайте. Я все понимаю, вы человек долга и чести. Но поскольку вы не узник войны, а потерпевший кораблекрушение и Америка не участвует в войне, мы можем сделать бизнес... Выгодный и вам и мне. Пока идет война, не все ли вам равно, где находиться? Зачем вам жить в плохом отеле, как на гауптвахте, или прозябать на блокшиве?.. Когда кончится война — другое дело. Я все подготовлю, я уже снесусь к тому времени с вашим министром иностранных дел и канцлером Нессельроде. Я уже послал ему два письма, в которых все сообщил о вас... Джексон — мой компаньон, что нужно мне, нужно и ему. Посольство Штатов в Петербурге попросит разрешить вам службу в тихоокеанской фирме американских предпринимателей. Уверю вас, что у вас за это ухватятся! Это в их интересах. Погодите, мой дорогой! Я хорошо заплачу вам. Я же обещаю вашему правительству помощь в развитии ваших новых портов. Я дам вашему правительству людей, которые откроют у вас доки. Во всех этих делах с Россией вы будете моим советником. Я покупаю новое большое винтовое судно. Я могу для начала предложить вам место капитана. Для начала пять тысяч в год и как только вы войдете в дело — десять тысяч. Это очень высокое вознаграждение, какого никто в Гонконге не получает. Никто из англичан не платит так никому из американцев или даже из британцев! Мой вам совет: рискуйте! Переезжайте, Алексей, в Америку! Сэр Алекс! — вдруг вскричал Сайлес. — У вас очень тяжелая... власть... Все это царское величие, двор, гвардия, ваш Петербург — все хорошо на картинках. Но вам-то что?

Алексей понимал, что блеск двора — это еще не прогресс. Но насчет нашей гвардии? Тут банкир по-своему, может быть, не заблуждается, но...

— Вы созданы для Америки. Какую атмосферу вы бы обрели! Вы, говорю вам прямо, энергичны, я уверен, что нет дела, которое не далось бы вам. А у себя вы останетесь обреченным на бездействие на всю жизнь, вы там шагу не сможете ступить. Сколько дарований у вас погибло! У вас скорей оценят такого дельца, как я, мне откроются все двери. Но не вам! Не своему и не человеку чести и таланта! Я знаю, русские — большие коммерсанты, даже мужички. Герои на войне, но ловкие и лукавые торгаши на базарах. При великих торговых способностях им ходу не дают. Ведь в вашей стране мало денег, значит, и мало возможностей и нет места тому, чем одарила вас природа. В стране много золота, а нет надежных денег и слаба торговля. Видели еще где-нибудь что-то подобное? В русском обществе ценят ум, красноречие, талант — в императорском театре и в балете, а коммерческим талантам и всем другим нет ходу... И вы созданы для женщин! А не для женщины. Когда вам надоест увлекаться всеми цветами кожи, мы женим вас! Женим на той, которая вам понравится, и вы возьмете большие деньги. Вы еще не знаете себя. Ах, Алекс, сэр Алекс, мой добрый друг! Вы скажете, что я еще не знаю вас? Может быть. Но я редко обманываюсь. — Сайлес вытер клетчатым платком большой лоб. — В нашей стране доход дают самые оригинальные предприятия. На судах Джексона и компании из Америки доставляют умерших китайцев на родину. Китайцы преданы своей стране и не хотят быть похороненными в чужой земле. Их, умерших, везут в ледниках, в гробы сыплют соль, чтобы покойник был доставлен на родину в целостности. Там, где живут десятки тысяч китайских рабочих, как в Калифорнии, немедленно появляются китайцы-эксплуататоры. Среди умирающих есть богатые китайцы. Их родственники платят огромные

деньги, лишь бы опустить прах скончавшихся на чужбине в родную землю. Уполномоченный Джексона в Гонконге мистер Ладзимэн открыл бюро с отделениями во многих городах. Прекрасно поставил предприятие по засолке и доставке умерших китайцев. Вы думаете, из Гонконга их не развозят по портам Китая? Да у нас больше китайских богачей, чем где-либо. Ладзимэн через свои конторы ведет учет всех состоятельных китайцев, живущих в Америке. Он буквально ждет смерти своих друзей — китайских бизнесменов. Поддерживает знакомство с их родней, с конфуцианскими монахами, со священниками.

Сайлес признался, что из-за предрассудков англичан пришлось переписать это предприятие на Джексона, но не на самого, а на его брата. Считается, что главная контора в Сан-Франциско, а тут филиал и Сайлес не имеет к нему отношения. А часть дохода приходится отдавать Джексону...

— На эти деньги он ведет кампанию за освобождение черных из рабства! На многочисленных митингах своим громовым голосом и внушительным видом он снискал огромную популярность на севере Штатов!

Так вот почему наши матросы дразнят китайских торговцев: «Соли надо?» — и те приходят в бешенство! Откуда узнали?

— Возить китайских эмигрантов в Америку! Вы гуманный человек. Зная ваши убеждения, я найму врача для китайцев. Он же будет помощником капитана, у меня есть прекрасный моряк. Он врач и хирург, из американских спаниардов<sup>8</sup>.

«И соленых покойников с ним возить из Калифорнии!» — подумал Алеша.

— Я поддерживаю всякие другие операции коммерческого человеколюбия, даю помощь для соблюдения обществами религиозных обычаев и во всем другом, в чем устои азиатов крепки, благородны и ради чего они щедры... Скоро Кантон! — спохватился Сайлес.

Пароход загудел, разгоняя лодочки пригородных рыбаков. За мысом открывалось море крыш, низкая площадь, застроенная лачугами. А выше них, довольно далеко — стена и город; из-за стен видны богатые строения на холмах, высокие гнутые крыши ямыней<sup>9</sup> в черепице и с головами зверей на коньках. Городские башни, как в нашем Китай-городе. Но это довольно далеко. А на самом берегу что-то вроде слободы, пригород...

— Вам нравится? — спросил Сайлес.

— Значит, не все китайцы живут в стенах города. Этот пригород вне стен.

— Да.

— А мы увидим настоящий китайский город и китайскую жизнь?

— Конечно...

— А где же те европейские фабрики, на которые мы направляемся?

— Дальше... За этим пригородом на почтительном отдалении, окруженные чистым полем. Но вы не думайте, что там есть какие-то фабрики. Никаких фабрик нет, ни заводов, ни труб. Просто небольшие кварталы жилых домов, лавок и оптовых складов, принадлежащих иностранцам. По кварталу на каждую нацию. Квартал — французская фабрика. Английская — тоже квартал. Впрочем, они прибрали к своим рукам еще несколько блоков. Есть и американская фабрика, там и мой блок, и мы там с вами остановимся.

«А застенный город?» — хотел бы опять спросить Алексей.

— О! Господин Вунг! Вы ли? — воскликнул Сайлес.

— О да! Здравствуйте. Как понравилось, стояли ночью на якоре? Ах мои тяжелые, срочные дела... Знакомьтесь, пожалуйста, мистер Сибирцев. Мой друг мистер Чжан. Господин Сибирцев из дружествен-

<sup>8</sup> Выходцы из Испании.

<sup>9</sup> Правительственные здания.

ной России... Я думаю, все будет благополучно! — обратился Вунг к Сайлесу.— Мистер Берроуз, а вы разрешите показать мистеру Сибирцеву застенный город? Бутылочный город моряков покажете вы, — китаец засмеялся, — с бывшим моим отелем! А я — застенный. Ах, за-прещенный город, как в Пекине? Так мы не говорим, так не называем, но так кажется европейцам.

— Мистеру Сибирцеву хотелось бы побывать только в Америке!

— Ах так? Я вам покажу, мистер Сибирцев, то, что мистер Сайлес не покажет. Совершенно бескорыстно, как верный друг!

«Разве Сайлес с корыстью?» — подумал Сибирцев.

— Я, Вунг, покажу застенный город. Вы не боитесь?

— Нет,— спокойно ответил Сибирцев. Всех их он считал порядочными людьми.

— Один очень важный мой друг,— засмеялся китаец,— он содействует. Помните, как я хотел пригласить вас в Кантон? И как странно... Вот и сбилось. Случайно совпало... Мистер Чжан свободно говорит по-английски. Он получил образование в Индии.

Алексей утром заметил, проходя мимо буфета, что европеизированный молодой китаец ест вилкой и ножом, безукоризненно держится, пользуется салфеткой, стрижен, плечист, атлетическая фигура.

А город совсем рядом, мимо борта проплывают пристани, похожие на амбары, построенные на сваях, с широкими воротами на реку. Соединены длинными мостками с берегом. Вернее, берега и не видно, мостки тянутся куда-то далеко среди полукруглых и серых крыш. Где суша, где вода? Неясно. Одинаковые лачуги и на суше и на лодках. Целое море жилищ.

«Смотрите, Сибирцев, не будет ли там подвоха,— говорил, прощаясь, Пушкин.— Как вы сами полагаете, зачем зовут вас? Не за красивые же глаза? Впрочем, вы молодой, да ранний. Да и что они с вас могут взять!» «Если зарежут только»,— сказал Урусов. «До этого дело не дойдет!» — заносчиво ответил Сибирцев.

— Вот и наша пристань,— сказал Сайлес.— Но когда же вы сами займете свое Приморье на берегах Татарики, когда? — с горькой досадой воскликнул он, резко поворачиваясь к Алексею.

— Как только будет возможность,— горячо ответил Сибирцев.

— А вы знаете, что там? Где же будут ваши города? Вы сумеете построить такой же город, как Гонконг? Я бы помог вам! Я хотел бы быть там, хотел бы!

Причал уже у борта. Стукнулись о дерево. Тут все деревянное, рогожное, из рисовой соломы.

Алексей что-то еще сказал более из желания сохранить престиж. Он сам не знал толком, как идут наши дела в Приморье.

Сайлес вдруг сказал о потоплении французским крейсером в одной из приморских гаваней русского военного бота. На нем были военные моряки и с ними сектанты, что-то вроде квакеров или пуритан.

— Значит, занято вами? Туда уже тянутся те, кого у вас объявили еретиками. А что на Амуре? Там гигантская плодородная равнина? Что же, ну? Тогда надо продолжать строить там города, доки!..

## Глава 22

### ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

— Кантон — рубеж наших прав,— продолжал Сайлес.— Мы стоим прочно, как и в Шанхае. Но по эту сторону стены. Надо получить право иметь посольства всех стран в Пекине. И право торговли в городах внутреннего Китая. Ну смотрите, спектакль начинается!

Поодаль от пристани видны построенные за городской стеной особняки, некоторые с садами. На рейде — винтовой клипер, военный

колесный пароход и фрегат. Английские и французские суда стояли поодаль друг от друга в море и по всей реке, их видели пассажиры «Калифорнии» на протяжении всего пути от Гонконга.

— Когда-то здесь, я вам говорил, и вы знаете, существовали фабрики: испанская, шведская, португальская и так далее. Теперь многие участки старых фабрик перешли к новым хозяевам. Шведы и испанцы вылетели. Большинство старых зданий пошло на слом!

У Сайлеса свой магазин, склады, а в небольшом доме с решетками — отделение банка. Знакомый еще по Японии бенгалец в чалме, куда он приходил с Сайлесом на американском пароходе, и тут сидел с ружьем у входа.

В конторе хозяина встретил высокий клерк-голландец с помятым лицом. Двое китайчат с записками и визитными карточками Сайлеса были посланы по адресам.

Отправились на конг — так называл Сайлес управление корпорации компрадоров. В большом дворе деревянные навесы амбаров, под ними ящики, тюки, мешки. Тут же телеги, запряженные лошадьми и ослиами. Походит на большой купеческий склад где-нибудь у Макария<sup>10</sup>.

Толстейший и на вид добродушнейший китаец обнял Сайлеса. Банкир тут же сказал, что прибыл не только по своим делам, но он теперь человек государственный, консул республики Новая Гренада. Вручил визитную карточку на китайском. Сайлес называл толстяка Хоппо. Этот китаец, кажется, и возглавлял корпорацию компрадоров. Поздравил Сайлеса с высокой дипломатической должностью. Алексей догадывался, что это тот финансовый и коммерческий делец, который, по словам Сайлеса, платил государственных налогов и давал взятки мандаринам вдвое больше, чем Вунг, — почти полмиллиона.

Он пригласил в контору и угостил чаем. Предложил Сибирцеву посмотреть склады корпорации в сопровождении приказчика.

— Наши сердца всегда были едины! Наш ум един, — говорил Хоппо банкиру, когда Сибирцев возвратился после поучительной экскурсии, насмотревшись на ящики с опиумом и на тюки всевозможных товаров, какие ввозились и вывозились из Кантона. Чего тут только не было: дамские кружевные платки десятками тысяч, пестрые ткани, металлические изделия, ласточкины гнезда как деликатесы. Опиум, оказывается, не был главным товаром, как говорили сами китайцы, а ежегодно ввозится в страну все больше и больше полезных изделий из Европы.

— Дело беспокоит меня, — уверял Сайлес. — Вы знаете, чем это может грозить коммерсанту, торгующему с иностранцами? В прошлые годы статут, утвержденный правительством, не спасал многих из вас...

Китаец посмотрел пристально и сказал, что уверен — мистер Сайлес все хорошо обдумал.

— Мы, американцы, не вмешиваемся, но я не могу как ваш друг не обнаружить беспокойства.

Сибирцев догадывался, что речь идет о каких-то уступках.

Шли домой на американскую «фабрику» на шлюпке с местными гребцами.

— Да, они опять возьмутся за старое, — сказал Сайлес, видимо имея в виду мандаринов.

Алексей смотрел, как плывет какой-то большой пестрый сверток. Китаец зацепил его багром с причала, подвел к берегу, вытащил и развернул цветное, лоскутное, стеганое одеяло. Оказался покойник. Китаец свалил тело обратно в реку, а одеяло сложил и забрал себе.

Дома Сайлес сказал:

<sup>10</sup> Нижегородская ярмарка.

— Завтра поедем в город, посмотрим, что делается, как идет розничная торговля.

Утром заехал Вунг и предложил Сибирцеву поехать в Кантон.

— Я приглашал вас. Мне разрешили... Один очень важный... мой приятель...— Мистер Вунг наклонился к уху Сибирцева.— Генерал-губернатор Кантона и командующий войсками. Он хочет с вами познакомиться. Знаете, приглашал меня с вами на загородную виллу. У нас это называется по-английски банкет. Возьмите с собой альбом для рисования.

— Я обещал ехать с мистером Сайлесом.

— Конечно! И мистер Сайлес приглашен.

— Вы знаете, когда в Китай пришло известие о разгроме англичан и французов на Камчатке,— вылезая из паланкина у башни с воротами в город, заговорил Вунг,— то китайское правительство, очень ободренное, согласилось на добрососедскую просьбу русского правительства о разграничении. До сих пор ваша страна была единственная, которая нанесла поражение англичанам. Никто не мог противостоять их империи! Кроме одного княжества в Индии.

«Что же,— сказал себе Сибирцев,— дальше в лес — больше дров. Риск — благородное дело, не зарежут же они. Вот каковы мои благородные понятия, а на деле сплошные предрассудки!»

Сердце замирает, когдаходишь в незнакомый город, где ни единого европейца, даже нет сопровождающего бенгальца с ружьем.

Вошли в застенный город через ворота в башне. Да это как ворота нашего Китай-города, не отсюда ли и название? Гошкевич уверяет, будто Бичурин выкопал, что у Кублай-хана при монгольской династии Юань в Пекине была гвардия из русских. Это, кажется, XIII век, пора монгольских завоеваний? Подвластные Юаням орды хлынули на запад, захватывали пленных на Руси за рост, вид и мужество, выказанное в боях, отправляли их напоказ Кублаю, а тот дал им оружие и сделал телохранителями.

А город какой-то знакомый: дома каменные, порядочные, смахивают на наше Замоскворечье, на Якиманку, Полянку, Ордынку, на Толмачевские переулки: с такими же каменными воротами и высокими окнами в толстых стенах.

— Это все живут торговцы?

— Да. Это же город! Все торгуют.

Сайлес распротился, сказал, что скоро будет, найдет сам, чтобы о нем не беспокоились. Нанял хороший паланкин и удалился на плечах четырех носильщиков.

— Мистер Берроуз сегодня очень занят,— пояснил Вунг.— Он... может быть... у губернатора Кантона.

— Как? Сайлес?

— Да, он христианский проповедник, очень рьяный. Разве вы не знаете? И по делам... распространения христианства прибыл на переговоры с его превосходительством. Ревностный миссионер!

Зашли в два древних храма. Потом свернули с многолюдной улицы во двор и в дом, минуя помещение, где множество бухгалтеров быстро щелкали на счетах. Прошли в какую-то контору. Вунг, улыбаясь, объяснялся со служащим, который очень заволновался. Упоминались какие-то пираты.

Сибирцев понял по-китайски, но не все, речь шла про какие-то огромные ящики с французскими тяжестями. Но что с ними случилось и где они — не понял.

Обедали в китайском ресторане. Туда же приехал Сайлес. Охотно ели вкусных креветок, ласточкины гнезда и разную снедь. Был и прекрасный суп и опять мясо, варенное в самоваре.

Под вечер шли пешком по узкой нарядной улочке без деревца



и без куста, с дырявыми деревянными тротуарами. По обе стороны еще не зажженные фонари с длинными красными лентами до земли вместо вывесок, означающие рестораны.

Вунг показал, куда идти. Открыл дверь. Зазвенел колокольчик, как у нас в бакалейной лавочке. С поклоном встретили пятеро молодых в шапочках и халатах. Джолли Джек подал знак своему переводчику, которого взял с собой на прогулку, как англичанин, — тот что-то пояснил одному из китайцев, который обрадовался и исчез за занавеской, прикрывающей дверь внутрь дома. Возвратился с хозяином, который низко и почтительно кланялся и смотрел на Вунга с по добострастием. Хозяин очень щуплый, сухой, быстрый в движениях и в речи.

Прошли во внутреннее помещение. В отдельной комнате гостям подали трубки. Опытные руки хозяина вложили в них разогретые шарики... Трубки закурились. Сайлес потянул разок-другой не вдыхая и отложил трубку.

— Идемте дальше, — сказал он, — показывайте магазин.

Хозяева засуетились и повели гостей по коридору. Во всех комнатах сидели, лежали и курили люди. Это были и старики и молодые, а кое-где и курящие женщины. Пожилая и, видимо, богатая дама полулежала на роскошном диване в отдельной комнате с красивой металлической чашей на столе и курила. На коленях перед ней стояла служанка.

— Тут что-то вроде ресторана с отдельными кабинетами, — сказал Сибирцев.

— Опиокурилка, — ответил по-русски Вунг и добавил по-английски: — Не первого разряда, но есть богатые люди, которым тут нравятся.

В другой комнате курильщики о чем-то громко спорили. Где-то пели женщины.

Сайлес еще чего-то потребовал. Открыли низкую дверь и через дверь вошли в похожее на конюшню узкое, уходящее в темноту помещение. На камышовых подстилках лежали завязтые курильщики. Всюду высохшие полуголые тела с выпирающими ребрами. Острые, торчащие скулы, остекленевшие или опьяневшие взгляды. Кожа на старике, как пергамент, желта, темна. Он кажется уже полумертвым. Это склад умирающих от курения, целые шеренги гибнущих. Невозможно что-то рассмотреть хорошенько в этой полутьме.

Хозяин водил оптовых поставщиков опиума по всем закоулкам своего разнообразного предприятия — компаунда. Старался обрадовать их всем, что тут происходило. Два богатейших коммерсанта решили в кои-то веки взглянуть на ход своих дел!

— Опиум какого сорта ценится более всего? — безразлично осведомился Сайлес.

Алексею показалось, что вопрос задан явно для него.

Китайцы, сопровождавшие хозяина, с живостью заговорили про сорта опиума и какой как действует. Хозяин, молитвенно возведя к Вунгу сухое аскетическое лицо, сказал, что два лучших сорта опиума — это индийские, оба фирмы Железнодорожной Крысы.

— Это они Джордина так прозвали, — сказал Сайлес, выходя на воздух. — Его китайцы иначе не зовут как Железнодорожная Старая Крыса. И сорта опиума так у них называются! А розничная торговля, как вы видели, идет прекрасно! Ученые и гуманисты Китая доказывают, что опиум не нужен. Но у нас в Гонконге все в один голос говорят, что это лишь первая капля в море тех возможностей, которые представляет собой Китай для торговли. И что для этого нужна еще одна война, с чем я совершенно не согласен. Но я боюсь, что наши компрадоры ждут, что не проиграют в новой войне, а только выиграют.

Вунг молчал, будто ничего не слышал.

Алексей помнил разговор в конторе о больших ящиках, которые куда-то шли, кажется, упоминались какие-то порты. Во всяком случае, говорили не об опиуме. Алексей старался не слушать, но и уйти неприлично. Китайский язык он изучал добросовестно, подолгу в отеле и на блокшиве сам, благо у пленного много свободного времени. Учил и с Гошкевичем, а разговорный — на лодках, на улицах и в магазинах. Невольно понимал иногда, о чем говорят окружающие, так как говор кантонский брал не из учебников, а из живой толпы.

Наняли паланкины и отправились в центр. Над крышами вечернего Кантона стояла сырая мгла, и Алексею казалось, что это дым множества опиокурилок сливается в сплошное облако над процветающим городом.

Ехала на ярмарка  
Ухарь купеза...—

запел в переднем паланкине мистер Вунг.

Ночевали в гостинице в отдельных номерах. При отеле — ресторан и своя опиокуралка в задних комнатах, роскошная, с коврами, диванами, зеркалами, затейливой посудой. Посетители в красивых шелковых одеждах. Вунг предупредил, что если кто захочет покурить, то может заказать у слуги — подадут в комнату со всеми приборами.

— Полштофки хлебного вина тут уж не закажешь? — спросил Алексей.

— Русской казенной водки в Китае нет, — ответил Вунг, — но есть виски и есть ханьшин хороших генеральских сортов. Есть настойка на тигровых костях. Есть сладкие вина ста марок. Вы хотели бы рассеяться? Подождите, завтра еще не то увидите!

Китайский командующий принял Сайлеса и Сибирцева без церемоний, у стола с картами, где собрались его генералы.

Тучный, еще не старый, громадного роста, с очень сумрачным выражением лица, он тускло щурился, глаз не видно. Одет в голубоватую, отделанную мехом выдры курму<sup>11</sup> с желтыми петлями на ажурных серебряных шариках. На груди нашивки. На шапке какой-то шарик. Разговаривал без поклонов и без улыбки. Чувствовался человек военного долга в час испытания.

Говорили недолго, гости получили приглашение на вечер в загородный дом.

Выслушав, что толковал через переводчика Сайлес, командующий с интересом посмотрел на Алексея, но заниматься с ним не стал.

— Вы хотите рисовать? — спросил он. — Сейчас я скажу, и вас отведут на *executing place*<sup>12</sup>. Пожалуйста! Обычно ни одному иностранцу мы этого не разрешаем.

У Алексея душа обмерла. Что еще? Куда его сосватали? Но надо держаться. Сайлес, видно, решил показать, что для него невозможно не существует.

Тихо вошел высокий китаец. Глаза его как бы выражают готовность к непрерывному отражению опасностей. Движения гибкие и быстрые.

— Наш главный исполнитель, — представил его один из генералов. — Доверьтесь ему, он покажет вам все. Для какого европейского журнала рисунок?

— Пока для собственного альбома.

— Пожалуйста!

Китаец с «отражающими» глазами попросил немного подождать.

<sup>11</sup> Китайская куртка.

<sup>12</sup> Место исполнения приговоров.

Алексей стал невольным свидетелем разговора Сайлеса с генералами. Ему показалось, что если начнется война, то китайцы будут сопротивляться долго и упорно. Генералы, которых он сейчас видел, — слуги самого деспотического режима в мире, враги тайпинов и христианства. Лица их энергичны и строги, глаза умны.

— В Кантоне — гнездо самых верных слуг императорского Китая, — пояснил Сайлес.

Алексей понял, какую опасность приходится непрерывно отражать глазам его спутника, офицера, исполняющего приговоры.

Шли вдвоем улицей, во всю ширину которой сидели еще молодые и сильные на вид китайцы в колоджах на шеях, связанные друг с другом косами, некоторые со связанными руками, многие с гноящимися ранами на головах и на теле. Очередь, как видно, шла медленно.

Головы рубили на небольшой площадке, каменистая почва которой была красной, как для игры в мяч с ракеткой. Пять домиков, выходящих друг из-за друга, со слепыми стенами на пустырь, огораживали площадку. С другой стороны какой-то склад, без окон стена. Все тесно.

Алексей вспомнил рассказы, что тела казненных съедают собаки и свиньи. Но нельзя найти столько животных, чтобы съесть всех, тут казненных. Существует якобы особая башня, куда складываются покойники, а потом вывозят всех сразу.

Пятерых мужчин и одну женщину поставили на колени. Мужчины опустили головы, чтобы срубали скорей, женщина держала — видимо, молилась или думала о семье. Исполняющий офицер, задерживая казнь, приказал подать художнику стул.

Вокруг лениво стояли маньчжурские солдаты охраны с допотопными секирами. Вдруг один из них как бы раздвоился. Из-за его спины вышел и неслышно стал подходить рослый, плечистый человек с опущенной головой и, как показалось Сибирцеву, с немного смущенной улыбкой, словно чувствовал, что его застают при кривом тяжелом мече. Шел так же легко и тихо, как и его начальник. Внезапно он поднял голову и молниеносно взмахнул мечом...

— Вы слышите эту песню? — спросил Сайлес, когда возвращались поздно ночью после приема в загородном дворце губернатора, который дан был, по всей видимости, в честь его.

Теперь «фабрики» начинали называть концешен, кажется, в переводе означает «уступка».

Сибирцев и Берроуз шли пешком за носильщиками с пустыми паланкинами. В темноте раздавались пьяные крики.

— Вы понимаете слова?

— Немного.

— Я вам тысячу раз говорил, что англичане — пьяницы и они пропьют империю! Согласны на что угодно, спят с китайками и негритянками и женятся на них, лишь бы вино! Больше им ничего не надо. На алкоголь мы создали из колонии мировую державу. Я говорю «мы», но к ним не имею никакого отношения! Все герои их — пьяницы. Вся их народная поэзия — поэзия пьянчужек и нищих бродяг. Создали флот и на службе их одевают, а то ходят оборванцами. Сколько их мрет в метрополии от голода! Пьют и не хотят работать. — Сайлес подвыпил и в мрачном ударе. — И еще одна способность у этого народа: исполнять строгие законы. Дисциплина отрезвляет даже пропившихся, чего не могут сделать жена и правительство. Народ горьких пьяниц, обреченный на вымирание! Вы думаете, их парламент не такой? И в парламенте все пьяницы... Как бы ни задирали нос! Пьянице легче быть завоевателем, он не думает о семье. Вы слышите, как орут британские матросы?

Алексей не впервой слышал эту страшную дринкинг баллад —

пьяную песню. В старину, кажется, вели на виселицу и надевали на осужденного какой-то черный колпак, капюшон.

«Довольно, господа,— оправдывался Алексей мысленно перед товарищами, лежа после этого тяжелого дня в номере подворья на американской концессии.— Идет генеральная рубка голов тысячам захваченных в плен тайпинов. Одних стреляют, другим рубят головы. Тела складывают в глухую башню с отверстием под крышей, похожую на гигантский скворечник».

На банкете, видя, что молодой гость расстроен, один из присутствовавших, рослый генерал с белокурыми усами, видно из той породы маньчжур, каких видел Невельской на Амуре, тихо сказал по-китайски Алексею на ухо: «Что жалеть! Ведь это только китайцы...» Алексей понял и печально опустил голову. «А вы полагаете, что тайпины не рубят голов? — продолжал маньчжур на этот раз с помощью гонконгского переводчика.— У них такие же казни и такие же деревянные пушки с обручами, как на ваших бочках с элем. Они уничтожают нас вместе с семьями, вырезают детей».

Сайлес в эту ночь тоже не спал, он был возбужден своим успехом. Сказал командующему, что надо избежать войны с Англией и Францией во что бы то ни стало. Привел доводы. Нужны уступки. Он выполнил дипломатическую миссию. Сказал про неизбежный закон развития... Он банкир, у него компаньоны и друзья — китайцы... Сказал, что нельзя прибегать к разжиганию черни, за это ухватятся.

Утром китайский главнокомандующий, сутуло сидя за тем же рабочим столом в своем штабе, задумался над картой, вычерченной для него французскими инженерами. Они под видом священников побывали в расположении мятежных войск, нанесли на бумагу лагеря и укрепления.

Дороги и мосты изображены гораздо точнее, чем на собственных картах. Высоты, низины, болота, поля, городки и деревни — с примечаниями, сколько в них жителей, заметки о колодцах с питьевой водой, о речках и каналах. Не очень долго они пробыли, но добросовестно все сделали.

Китай и китайцы попали впросак. Могучая процветающая нация возгордилась, залюбовалась собой, отгородившись от всего мира. И вот что получилось. Теперь говорят, что виноваты маньчжуры, то есть иностранцы, люди другого народа, захватившие трон и государство. Но грядущая беда настигает всех, пользуясь внутренними раздорами.

Создав цивилизацию, книгопечатание, порох, осуществив удивительные изобретения, проведя каналы, китайцы когда-то всех превзошли. Но стали углубляться в самих себя, погружаться в чувство любви к родине, к своим семьям. Великие вопросы жизни, смерти, государства, народа решены были правильно раз и навсегда.

Накопили за многие сотни лет груз поэтических предрассудков, выражающих вечные опасения за сохранность семей. Боялись опасностей придуманных, не видя истинных опасностей.

Когда династия теряет силу, нечестны чиновники, разваливается управление — народ должен свергать династию! Это согласно учению Кон Фуцзи. Тайпины восстали, они желают сбросить маньчжурскую династию Цинов.

«Но теперь уж дело не в династиях! В машинах, в огнедышащих самоходных судах, в пушках, бомбах, ружьях, штыках. При этом я должен верить и верю, что не это главное и что у нас все лучше, чем у европейцев, иначе не смогу командовать войсками. Верю, что тот, кто перед боем съест священную бумажку с иероглифами счастья и храбрости, тот совершит подвиг и победит врага! Мой солдат с косою и фитильным ружьем хорошо подготовлен, если наелся воодушевляющих листовок с отпущением грехов.

Подвоз тюков с такими листовками важней доставки пушек и ядер. Можно поразить врага! Я сказал на военном совете, что наши деревянные пушки с железными обручами отличны, прекрасное средство, готовы к стрельбе. Я доверенный государя, я военачальник, я не варвар. Должен оправдать себя в глазах доверивших. Я могу учить подчиненных только так. А рано или поздно начнется битва с внешними варварами. Я также заявлю перед началом военных действий, что мы победим! Но я-то знаю, что одних заученных уроков послушания недостаточно.

А я стою сам в длинном неудобном халате, совсем не в такой удобной форме, в какую англичане одели людей, привезенных из Индии. Европейцы объединятся против нас в войне, к которой готовятся. И только при помощи гонконгских коммерсантов удалось мне договориться с французами.

Теперь легче и удобней... Но разрешат ли мне подготовиться к сражениям, как я хочу? Пока мы и тайпины, два войска в халатах, будем бить, бить, бить друг друга из деревянных пушек.

А как говорит народная мудрость, настоящая победа бывает тогда, когда нет побежденных!

На свой риск и страх я получил новейшие пушки, не надеясь на бумажные индульгенции. Доставили наконец в Кантон французские нарезные орудия. Первый шаг в новом направлении. Прибыл инженер, получивший английское образование; на свой риск и страх они действовали.

Теперь боюсь не тайпинов, а за себя... От нашей роскошной жизни с нашими семьями в прекрасных дворцах и усадьбах со множеством наследственных драгоценностей и с роскошными библиотеками стремлюсь в мир стали и машин.

Сколько же поколений ждать, уничтожая миллионы мятежников — своих же сограждан, которые сами не знают верного пути?»

...В одиннадцать «Вилламетте» уходил в Гонконг. С утра все было готово и уложено, вещи унесли на пароход, а банкир и Алеша зашли на склады к Вунгу.

Выпили легкого вина перед дорогой. Джолли Джек, как всегда, шутил, смеялся. Но когда прощались, Алексей заметил, что Вунг на миг взглянул на Сайлеса таким темным и тяжелым взглядом, словно закрывал за ним крышку гроба. Алеша даже обомлел. Неужели что-то произошло? Какие-то дела у них тут. Алексей признался себе, что заметил, но распутывать не берется.

«Странно простился Вунг», — думал Алексей, глядя с верхней палубы новейшего парохода на отплывающий Кантон. А жалко стало покидать этот мир. На прощанье еще Вунг сказал Сибирцеву: «Мы знаем, что маньчжуры говорят про нас: что их жалеть, ведь это только китайцы! Очень бесчеловечно! Ха-ха-ха... Но китайцы сами говорят: наша люди много, наша люди не жалеют! Какая же разница?»

Новости ждали Алешу дома, в отеле. Получены французские, английские и американские газеты. Опубликован изложение диспозиции, составленной союзным командованием перед решительным штурмом Севастополя: французы штурмуют Малахов, англичане штурмуют Редан.

В решающей битве нельзя обойтись англо-сардинскими, англо-немецкими, англо-индийскими реджиментами. Приходилось пускать в бой цвет армии — англичан и шотландцев.

Французы взяли Малахов. На кургане взвилось французское знамя. Это сигнал к атаке. Англичане ринулись смело. Их встретили ужасающей стрельбой, несколько раз волнами шли и шли вперед британцы. За день легло две тысячи двести сорок солдат. Убиты два полковника и пятьдесят офицеров. Редан взять не удалось.

Как пишут газеты, в ночь русские стали уходить на Северную сторону, взрывая еще не взятые у них укрепления. Союзное командование отдало приказ: не стрелять по отступающим. Благородному противнику не стреляют в спину!

А в Гонконг только что прибыл новый посол Соединенных Штатов в Китае мистер Паркер.

Пятьдесят американских коммерсантов, живущих в Гонконге и ведущих в Китае дела, пригласили его на обед, предполагая в будущем действовать заодно, побольше узнать и побольше представить из своих рук разных сведений и советов. Паркер отказался присутствовать на обеде, сославшись на занятость. Дано понять, что представитель Соединенных Штатов не является представителем пятидесяти авантюристов из Гонконга. Хотя он, как видно, понимает, что американская колония в Виктории составляет могущественный ансамбль банков и торговых домов. Может быть, начиналось энергичное утешение Юнион Джека<sup>13</sup>. Но мистер Паркер не имеет к этому отношения. Есть иные, серьезные цели.

Гонконг — открытый город. Ничего нельзя запретить тут американцам. Они готовятся к действиям, которые пойдут вразрез интересам Великобритании. Объединяться с дельцами на глазах у хозяев колонии посол Штатов не намерен.

Возвратившись в Гонконг, Сайлес в тот же день подъехал в цилиндре и сюртуке к дому губернатора. Его приняли. Банкир сказал Боурингу, что поручение выполнил, и, кажется, успешно. Разговаривал с вице-губернатором Кантона и с виднейшими коммерсантами. Китайцы выслушали благожелательно и уверили, что они также желали бы жить в мире и готовы к уступкам... Однако невозможно сказать, насколько это искренне.

Боуринг поблагодарил, сказал, что всегда считал Сайлеса Берроуза одним из самых трудолюбивых жителей колонии и одним из лучших знатоков Китая и что, будучи нейтральным американцем, ему удобно было говорить о том, чего нельзя поручить никому другому.

## Глава 23

### АФЕРА

Сибирцева допрашивал капитан Смит. Алексей и прежде видел мистера Смита и в форме и в штатском. Гонконг невелик, несколько тысяч англичан на шестьдесят тысяч цветных. Европейцы все на виду друг у друга.

Впервые заметил тонкого и элегантного джентльмена на докладе Гошкевича в «Клубе наций, спасающих Китай». Положение у Смита особое: по должности что-то вроде офицера генерального штаба по сбору военной информации о силах противника. Говорят, владеет китайским и русским. У французов при генеральном штабе есть должности для разведывания тайн противника и засылки лазутчиков. У англичан, кажется, нет генерального штаба, и они делают вид, что подобных должностей у них нет, хотя всему миру известно, что по части сбора милитари интеллидженс, то есть военной информации, они на первом месте в мире.

Евфимий Васильевич сам мастак по части добывания военной информации, но он на почетной должности этим занимался, был русским военно-морским представителем в Англии. Военный дипломат для того и командирован в другую страну и для того ею принят как почетная персона, чтобы научиться всему, чего там достигли, признаваться опытом и делиться своим. Совершает все открыто, а

<sup>13</sup> Государственный флаг Соединенного королевства.

когда, наверное, и прикупит чужих секретов! Он и рассказал, что англичане, живущие в других странах и колониях, занимаются сбором информации. Мол, даже те, кто на пенсии, регулярно из года в год пишут подробные, добросовестно составленные отчеты о том, что у них на глазах произошло или что удалось узнать из достоверных источников. Служащие учреждений и фирм изучают язык тех народов, среди которых находятся.

В прежние времена стыдились шпионов, доблестями их не похвалялись и про них помалкивали. Ни один король или его премьер-министр или республиканский президент еще не додумались заявлять, что на основании шпионских сведений мы вам заявляем протест или озабоченность или обсуждаем ваши дела в своей палате или парламенте.

В древней Руси доносы не поощрялись. Была даже пословица: доносчику — первый кнут. Удар кнута полагался при наказании преступника тому, кто на него донес.

Теперь англичане подавали пример обновления не только в паровых машинах и в ткацком деле. Значит, времена понемногу менялись. Но сами англичане опасались русских шпионов, рисуя себе, наверное, их достоинства и трудолюбие по собственному примеру.

— Вы проникали во время войны в Англию. Пришли на пароходе «Валенсия» из Лиссабона вместе с вашим посланником. Оба с фальшивыми паспортами. Ваш — на имя крещеного португальского еврея Ильи Жермудского.

— Я никогда не был в Лиссабоне и никогда не принимал на себя чужого имени.

— Вы сопровождали русского посланника в Португалии господина Ломоносова, который до того дважды с начала войны появлялся в Лондоне, имея австрийский паспорт...

Алексей сидел утром в номере за столом, у окошка на пожарную, глухую стену и учился писать иероглифы. Пушкин, офицеры и юнкер ушли чуть свет посмотреть, как ведут себя матросы. На них есть жалобы, на блокшив приехали врач и полицейский офицер. Пушкин объяснялся. Теперь там разбор дел, поставлена охрана.

В дверь постучали. Вошел полицейский капрал, афганец в чалме, поздоровался с улыбкой и подал бумагу. Написано, что лейтенант Сибирцев приглашается into custody. Под арест? На гауптвахту? Афганец, видя, что бумага прочитана, поклонился вежливо и вышел.

Алексей встал, прошелся по комнате, сел за стол и написал Пушкину записку. В коридоре ждали капрал и двое сипаев.

Китайцы на улице обратили внимание, что Сибирцева ведут под охраной. Ввели во двор, где находятся казармы. У дома, которого раньше Алексей не замечал, несколько окон зарешечено. Может быть, военная тюрьма. Алексея попросили пройти в помещение, тщательно закрывая за ним двери.

Оказался в комнате с решеткой. На обратной стороне двери нарисована виселица, а на стене кто-то написал от руки целый столбец под заголовком «Правила повешения». Алексей не стал читать. Ходить по комнате неудобно — как ни шагай, последнего шага не получается. Но делать больше нечего.

— Мистер Сибирцев, мы вынуждены арестовать вас.

— Вы, мне кажется, не можете арестовать меня. Я и так арестован как военнопленный.

Смит молчал, как бы вглядываясь и вслушиваясь и что-то изучая, Алексей отродясь не бывал под арестом, и новизна положения пока еще забавляла его.

Как ни странно, но Алексей ждал чего-то подобного. Нельзя просидеть в плену несколько месяцев и выслушивать лишь любезности леди и джентльменов, жить как в гостях, делать что вздумается и не

навлечь подозрений. Равновесие должно быть восстановлено. И он входил в положение строгих властей военного времени. За последние дни что-то носилось в воздухе, отношения менялись. Лодочница-китайка еще вчера сказала, что надо бояться, очень страшно.

Вошел полковник с бесформенными клоками усов под исчерна-смуглым носом и, не глядя на Алексея, что-то сказал Смигу. С ним офицер-индус, очень молодой, в чине майора. Видимо, сынок какого-то знатного князька или короля, получил, может быть, воспитание в Англии в военном колледже. И в России в главном штабе и при дворе тоже есть высшие офицеры из князей — татар, кавказцев, киргизов, калмыков, получивших образование в Петербурге, из крещеных и некрещеных. Это не считая грузин и армян, которые как православные пользуются полным доверием, считаются русскими, дослуживаются до генеральских чинов. А князья Гантимуровы, потомки маньчжура, говорят, живут в Забайкалье деревнями, пашут и пастушат.

— Извините.— Капитан поднялся и вышел проводить пожилого полковника.

Вернулся вместе с блондином в штатском и в черных очках. У него бумаги в руке.

— Вы подозреваетесь в шпионаже,— резко сказал блондин в черных очках, выдвигая нижнюю челюсть.

Алексей понял, что нельзя выказывать благодушия или растерянности. Собрал всю силу воли, стараясь не упустить ни единого шанса для защиты.

— Вы расспрашивали, когда основан Гонконг и сколько здесь населения?

— Да, спрашивал.

— Зачем?

— Это естественный интерес. Я живу здесь, среди вас. Я много слышал о Гонконге, и меня, конечно, интересует английская жизнь в Гонконге.

— Вы не писатель?

— Нет.

— Тогда зачем вам эти сведения?

— Прошу вас объяснить причину задержания,— сказал Сибирцев.

— Обвинение будет предъявлено в течение нескольких часов. Военный суд судит через два дня. И сразу исполняется приговор. Отвечайте на вопрос.

— Сведения об основании Гонконга и о количестве жителей я могу получить в любом порядочном справочнике или в энциклопедии.

— Но вы не из энциклопедии старались сведения получить! Какое вам дело, когда и как основана колония, сколько и кого здесь живет? Вы в плену.

— Я не в плену! — резко сказал Алексей, зная, что только что сам утверждал обратное, и от этого раздражаясь.— Вы знаете, что мы захвачены незаконно, что по международным правилам мы не пленные.

— Но вы прибыли сюда не для исследований... Все русские офицеры говорят по-французски и по-немецки. Почему вы говорите по-английски?

Сибирцев не стал отвечать, как и почему он учил в детстве язык.

— Так вы подтверждаете, что были в Англии? — спросил Смит, когда блондин в очках ушел.

— Да-а,— мрачно ответил Алексей, когда-то увезший из Англии самые наилучшие впечатления.— Я сказал вам, что не был в Португалии, никогда не принимал на себя ничего имени и никогда в глаза не видал ни одного еврея из Лиссабона. Я был в Англии до войны, на корабле «Диана».



— Зная китайский язык, вы участвуете в афере вместе с китайскими преступниками как опытный военный.

А ведь действительно речь в Кантоне шла о каких-то тяжелых ящиках, доставленных Вунгом. Но про Кантон Смит ни словом не обмолвился. Что же тогда с Вунгом?

Продержали до полудня. Потом Смит поблагодарил, извинился и сказал, что мистер Сибирцев свободен.

— Пора обедать,— добавил он, глядя на часы.— Благодарю вас за беседу,— сказал, подымаясь.

Можно обалдеть от такой неожиданности. А он-то собирался с духом для длительной ужасной борьбы. А ему: «Пожалуйста, мистер Сибирцев, благодарим вас. Приятно было познакомиться». Вот это урок!

— А вы знаете, что император Китая объявляет войну России и заключает союз с Великобританией? — товарищеским тоном говорил Смит, провожая Сибирцева.

— Богдыхану, мне кажется, нет причин воевать с нами.

— Китайцы забыли, что по Амуру их законная земля. У них все в запустении, они ничего не помнят. Мы им это объяснили. Адмирал Стирлинг отбыл в Лондон по вызову адмиралтейства рассмотреть его план о действиях совместно с силами Китая.

Алексей вышел на жгучее солнце и зашагал степенней, чтобы не выдать радости, не помчаться не чуя под собой ног.

— Я получил официальное уведомление военного командования,— сказал Пушкин, встречая в отеле Алексея и, кажется, не удивляясь его появлению,— что часть наших офицеров и команды во главе со мной отправляется в ближайшие дни в Англию. Список будет дан мне. Завтра меня вызывают. Почему так срочно высылаются часть пленных?

— Трудно сказать. У них эскадра уходит в метрополию, на замену идут свежие, может быть.

— Что за странную записку вы мне оставили? А как же расположение сэра Джона к нам?

— Сэр Джон, видимо, не вмешивается в дела военных.

Выслушав рассказ Сибирцева о том, что с ним произошло, старший офицер не пал духом.

— Зубастой щучке в ум пришло за кошачье приняться ремесло,— с укором сказал Александр Сергеевич.— И крысы хвост у ней отъели!

Пушкин и не ждал ничего хорошего. Он тут никому не доверялся и никем не обольщался, и не с чего ему огорчаться. Жди худшего. Враг есть враг. Этим законом он жил. И высылка его не огорчает. Даже, может быть, лучше: будем ближе к Кронштадту.

— Дорогой мой! — воскликнул Пушкин.— В команде матрос заболел венерой! Двое запяняствовали, поколотили кого-то, потом их. Говорят, беда одна не ходит. Вам, Сибирцев, на прощанье решили все вспомнить. Но опять предъявили не те обвинения, которые следовало бы, говорили с вами не о том, что им показалось подозрительным и что их, видно, давно тревожит, чтобы не компрометировать своих и не впутывать имени Берроуза.

«Казалось бы, несли чушь. Но знают, что делают! Мой офицер скомпрометирован. Заодно и мы все. Но в чем все-таки дело, неизвестно. Суть не ясна! Сибирцева припугнули. Пока все ему сходило. Но англичанка не японка, да еще дочь посла! Эта вам свой характер покажет... Боуринг может вылететь в трубу. Впрочем, они сумеют сделать вид, что ничего не произошло. Мы всегда ждем, что с англичанами удастся сговориться. Очень может быть, что они согласятся с нашими интересами на Дальнем Востоке. Мы признаем достоинства англичан даже во время войны. Но Англия, как и Китай, ни в чьей

поддержке не нуждается, равных союзников для нее нет на свете и быть не может. Это не только эгоизм, но и здравый смысл, так как бескорыстных союзников не существует, и они это знают, как и китайцы. Многие народы, восторгаясь англичанами, искали дружбы с Великобританией, но всегда встречали холодность и их распростерты объятия хватали только воздух».

Пушкин ушел утром и вернулся в отель на исходе дня.

— В метрополию отправляется двести матросов, — сказал он Сибирцеву. — Из офицеров — вы, я и Шиллинг. Списки составили. Был у морского командования. Людей распределил на уходящие суда. Эскадра выслужила свой срок.

Пушкина, оказывается, поздравляли, что идет в Европу, покидает с товарищами нездоровую колонию, и под конец — из адмиралтейства есть распоряжение не считать моряков погибшей «Дианы» пленниками. «Но отправить как пленных?!» — подумал Александр Сергеевич. Он все же приободрен. Еще вчера, получив известие о предстоящей отправке, подумал, что, может быть, и к лучшему. По всем признакам войне конец, кажется, уже начались переговоры.

Сайлес пришел, сел на стул посреди номера, кинул шляпу в угол. На нем лица нет.

— Произошло несчастье! — заявил он. — Я разорен!

Гошкевич вскочил от неожиданности и что-то закричал и замазал руками.

— Да, да! У меня больше ничего нет! Пожалуйста, не беспокойтесь. А что у вас? — обратился он к Сибирцеву. — Вас вызывали в военную полицию?

— Да, я посидел под арестом.

— Я вам скажу, почему они вас арестовали. Вунг у нас с вами под носом провез в Китай современную нарезную артиллерию. Везли пираты, а он все это смастерил и все проверил. Говорят хуже: он провез пушки, а кантонскому губернатору двух Гунов передал только часть. У англичан всюду шпионы среди китайцев, и они все знают. Вунг молчит, а подозрение пало на вас, что вы имеете отношение ко всему этому. Или им надо сделать вид, что тут нечисто дело и вы не зря ездили. Не хотят лишиться своей части с этой аферы и не хотят подвести своего ставленника — мистера Вунга, даже когда он их же предаст! Англичане не такие простаки, чтобы поверить, что вы купили нарезные пушки и послали в Китай. Хотя они спят и видят найти во всяком сопротивлении «небесных» и в их успехах руку русских шпионов, но все же знают меру. Что вы ездили в качестве советчика — это им еще может прийти в голову. Но могут быть недовольны, что при щекотливом деле присутствовал русский офицер. Это скорей всего. Под арест! Потом скажут: вы его не знаете? он же сидел в тюрьме в Гонконге! После этого и рассказы ваши про нарезную артиллерию, переправленную дельцами в Китай, будут выглядеть вашей фантазией, точнее враньем! Каков Вунг, как он мило услужил мне и взял на себя заботу о вас! Но дело не в нем. Есть новости похуже. Вы не поверите. У меня больше нет ничего, а если бы даже что-то осталось, все быстро исчезнет... Что вы, господа, на это скажете? И вы знаете, кто виноват? Китайцы! Китайцы разорили меня в несколько дней. Когда я ехал в Кантон, я взял поручение правительства колоний. Мне казалось, мало быть консулом. Мне говорили приятели: что вам далась эта Новая Гренада! сегодня это государство существует, а завтра исчезнет бесследно. Я взялся за дело, о котором давно мечтал. Американец из Штатов, консул республики Новая Гренада, уважаемый всеми банкир и негодяй заявил себя посредником между англичанами и китайцами. Кто подбил меня на это? Моя спесь, алчность, жажда власти и славы! И хитрый английский поп — сэр Джон Боуринг. И я теперь думаю: где гарантия,

что это не хитрость святоши и лицемера и что он не задумал, мне льстя и меня возвышая, переломать мне ноги? Ах эти свободолюбивые, самые ужасные тираны! Но я ему отомщу! Я теперь никто, но я силен ненавистью. Я буду помнить и завещаю мстить ему до седьмого колена. Но это только предисловие к роману о том, кто, как, почему и за что меня разорил! Ах, сэру Джону я давно как бельмо на глазу. Но не будем об этом. Конечно, я сам виноват, я перестарался, я возомнил себя большим судьей Англии и Китая и сам не заметил, как на приеме у китайского вице-короля «поскользнулся языком»! Ах, ну это лишь формальная придирка, повод, китайская казуистика!

У командующего войсками, губернатора двух Гунов, то есть южных богатейших областей Гуандуна и Гуанси, или, как еще называли его иностранцы, вице-короля, наместника и так далее и так далее, Сайлес говорил совсем не о распространении христианства в Китае американскими миссионерами. Он объяснял, доказывал, убеждал очень искренне, что хочет спасти Китай, и теперь клял себя, что забыл вечную истину: Китай ни в каком спасении не нуждается и никогда не будет нуждаться. Еще сказал об уступках, которые Китай неизбежно должен сделать и сделает в торговле и в отношениях с иностранцами.

По привычке иметь дела со множеством людей, втягивать их в разные предприятия и говорить от их имени, выдавая их интересы за свои, Сайлес сослался на самих китайцев. Сказал вице-королю: «Все ваши денежные люди мои друзья, и я знаю их мнение». Он имел в виду компрадоров, что и они согласны.

А командующий и губернатор двух Гунов от компрадоров зависел, он жил на их взятки. Существовать генералу с семьей на жалованье невозможно, и нужна поддержка честных и состоятельных лиц, такова традиция. Намекать на это при решении государственных дел — большая дерзость, непростительная даже нейтральному Берроузу. Командующий все время держался гордо, был любезен и немногословен. Кстати, он может казнить любого из компрадоров, если надо будет. Это знают все купцы двух Гунов.

Китаец поблагодарил, пригласил к себе вместе с молодым русским офицером в загородный дом, вечером был очень радушен и весел, словно в руки ему попала хорошая карта.

Но еще сильней его обиделись и струсили компрадоры, как только узнали, что произошло.

Сайлесу теперь казалось, что его не так поняли. Он доказывал лишь, как расцветет Китайская империя в новых условиях. Люди у Китая есть!

Нет, у них всегда все по-своему!

Когда Сайлес уехал на «Вилламетте», в Кантоне сгорел его склад с опиумом и товарами.

С быстротой молнии среди китайских банкиров, компрадоров и хозяев фирм распространились сведения, что после разговора Сайлеса с генерал-губернатором в глазах князя недостойной выглядит позиция деловых кругов Кантона. Получилось, по словам Сайлеса, что компрадоры подчиняют свои убеждения коммерческим интересам и сетуют на существующий порядок и что губернатор, живущий на их средства, обязан с этим считаться.

Деловые китайцы решили дать бой. Следовало проучить любого, кто сунется туда, куда не просят. Если ты честный делец, заслужил доверенность китайских коммерсантов — не лезь не в свое дело, не касайся правительства. Деятельность Сайлеса по поручению властей выглядит перед чистым бизнесом как политическая спекуляция на дружбе. Все понимают, что без правительства и взяток нельзя. Но кто знает, тот молчит. Правительство всегда враждебно ком-

мерсантам. Западный делец Сайлес преступил священный закон, попытался именем коммерсантов оказать давление на политику.

Немедленно были поданы к учету и оплате все векселя Сайлеса. Все доставленные им товары и в прошлом и теперь объявлены негодными, забракованными, испорченными. Все новые заказы аннулированы. Все рабочие и служащие ушли от Сайлеса. Остался один пьяный голландец.

Бойкот перекинулся в Гонконг, и в несколько дней, по словам Берроуза, все было закончено...

Боуринг просил Сайлеса выпросить у русских друзей о Приморье! «Имею я право это сделать или нет? — размышлял Сайлес, лежа ночью на своей широкой семейной кровати в одиночестве. — В том положении, в котором я теперь? Кто они мне? Но они, кажется, сами знают не много. Хотя некоторые сведения для адмирала Сеймура важны. Пока, кажется, я не принес вреда людям, которым покровительствовал».

Сайлес узнал, казалось бы, случайно, но больше, чем все интеллидженс, вместе взятые. «Я узнал не из выгоды, а по привычке узнавать все и, конечно, совершенно не желая делать это лично для сэра Джона. Но вот катастрофа со мной! Бог меня наказывает за то, что я полез не в свое дело! Я, американец, ставший консулом Новой Гренады, захотел быть английским дипломатом и разрешить вековой конфликт между Великобританией и Китаем! Хитрый поп устроил мне ловушку! Просил как о любезности узнать все о Приморье! Но что же делать теперь? Использовать расположение русских ко мне? Впрочем, я могу оправдать себя: в жизни и так приходится! Но я еще подумаю. Говорят, надо с человеком съесть пуд соли, прежде чем его узнаешь. Я наказан за то, что действовал слишком самоуверенно!»

## Глава 24

### ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Первый удар, который был нанесен французской монархии, исходил от дворянства, а не от крестьян. Восстание в Индии начали не измученные, униженные и обобранные до нитки англичанами райяты, а одетые, сытые, выхоленные, откормленные и избалованные англичанами сипаи.

К. Маркс, «Индийское восстание».

— Останься здесь, со мной, — говорила Розалинда, — не уезжай! Ты такой мастер. У меня есть деньги. Купим пять коров и откроем свою ферму. Ты так любишь землю! Ты же садовник, Янка, теперь ухаживаешь за банановыми и апельсиновыми деревьями, как у себя на родине за капустой и яблоками. Разве тебе здесь не нравится? Ведь у нас здесь нет заморозков!

— Да, это хорошо, — отвечал Янка. — Но остаться не могу.

— Почему не можешь?

— Служба.

— У всех служба, во всех флотах. Но если выгодно, рвут контракт, откупаются или просто...

— Дезертируют? Нет, я на это не пойду!

— Но почему?

Янка не мог объяснить. Об этом надо спрашивать не его.

— Вот окончу службу. Тогда.

— Я поеду к тебе или ты ко мне? У тебя так красиво и хорошо, растут лук и сосны! Много селедки? И трески? Там тоже можно жить.

«Тебе к нам ехать? — думал Янка. После остережений и грубых упреков Мартыньша он стал колебаться. — В самом деле, дома бед-

ность, ей может не понравиться. Ведь у нее дома вроде хутор свой был и ферма у матери».

— К нам, наверно, можно,— молвил матрос неуверенно. — У нас если жениться, то новый царь, говорят, не сделает помех.

— Пойми, ведь у нас один бог!

Берзинь сделал серьезное лицо.

— Бог у всех один,— поучительно заметил он.

— А на сколько у тебя контракт с капитаном?

— У меня?

— Да.

— На двадцать пять лет.

— Янка! Ты в уме? Двадцать пять! Так ты богатый, где ты хранишь аванс за двадцать пять лет? Ведь мне сказали, что в награду вам год плавания засчитывается за пять лет.

— Аванс храню вот здесь, за щекой,— сказал Берзинь и достал изо рта шестипенсовик. — Вот мой аванс.

— А сколько же ты служил?

— Восемь лет.

— Почему нельзя разорвать контракт?

— Идет война. До конца войны нельзя уйти. А после войны, как ты слышала, срок службы у нас отрубят.

— А с кем у вас война?

— С кем? — Янка остолбенел. Уж такого вопроса он никак не ждал. Неужели она все перепутала и не знает, с кем у них война! — Я не знаю... А у вас ни с кем нет войны?

— У нас всегда война. Как же нет! Есть! Много!

— С китайцами?

— О-о! Мой милый! Да, да, с китайцами!

Они обручились, обменялись кольцами из яркого китайского золота перед долгой разлукой, и она сказала перед уходом Яна на корабль:

— Кто бы ни победил, я буду ждать конца войны. Я буду ждать царского манифеста о сокращении контрактов с матросами. Я очень сильная, Ян. Я буду ждать тебя всегда. И ходить в церковь. А может быть, ты поехал бы со мной в Австралию? Там так все хорошо растет.

Берзинь нахмурился, и деликатный ум ее постиг, что он никуда ехать не согласится.

— А ты так любишь своего царя?

— Да, мне приказано.

— О, Янка, Янка! Ты сам как царь! Мой царь! — воскликнула она и обняла его на прощанье.

Хотя бы слезу обронила! Янка удивлялся, как можно так верить и надеяться на другого человека! Он в душе поклялся, что постарается ее не обмануть.

Впереди ничего хорошего. Опять жить по Фаренгейту, на половинной порции сухарей из кукурузной муки с горохом и на половинной порции солянки. Погонят на рей, и будем мокнуть целыми днями.

Не успели прийти на пароход и сложить вещи, как пленных поставили на самые грязные работы.

Экипаж чуть не наполовину из ласкаров. Это наемники из Индии. Ласкары в английском флоте то же, что сипай в сухопутных войсках. Выбраны здоровенные детины, раскормились на казенных харчах, наели рожи. Их держат на грязных работах.

Увидя пленных, ласкары стали смеяться над ними, почувствовали себя господами. Младший унтер из ласкаров показал Берзиню, как надо чистить гальюн, объяснил, что поопрятней надо. Янка взялся за дело. Ласкар стоял над ним и ругался. Янка с досады размахнулся и стукнул его по уху. Тот сразу ушел.

Тихого и невысокого Вьямээ назначил чистить гальюн в лазаре-

те, а там, наверное, холерные больные, холера здесь, на кораблях, не переводится.

Британцы, казалось, не видят, что пригнали пленных. Думают о чем-то своем, работают или глядят на берег. Делай что хочешь, только не мешай. Поздороваясь — ответят. А ласкары такие же сволочи, как сипаи на берегу.

Вечером было тихо. По берегу и на лодках под борта подходили китайки и переговаривались с уходящими матросами экипажа и с пленными.

Луна взошла в пятне, «сырая» — к перемене погоды. На другой день подул с моря, в проливе начался сквозняк. Лодки с китайскими семьями бросало на берег и било друг о друга. Воздух не бушует, а сотрясается ужасными ударами, словно рушится пластами на город, как при землетрясении в Японии содрогается земля. Повалило сигнальную мачту в укрепленном дворе у казармы. Сносит вывески с китайских магазинов и мчит над крышами тяжелое железо с надписью: «Склад фирмы "Джордин и Матесон,»». Несет листья, ветви, сучья. Жилые плавучие кварталы ушли отстаиваться куда-то под ветер. Пролив осиротел, опустел. Качаются, рвутся с якорей корабли. Некоторые суда ушли в море. Как всегда, эскадра готова к любой опасности.

Тайфун разразился ливнем. На улицах полицейские в клеенчатых плащах. Улицы пусты, и воет ветер.

Энн в непромокаемом пальто с капюшоном появилась в условленный час. Она и Алексей разговаривали под зонтиками и обливаемыми водой деревьями.

— Хорошо, — сказала Энн, все выслушав. — Это лучше, чем вам ехать в Петербург через Сибирь. Вас заранее отправляют в Лондон. Вы будете вблизи своих.

На корабле, уходящем в Европу, отправляют не двести, а только шестьдесят матросов. Уже погрузились. С ними пойдут офицеры: Мусин-Пушкин, Шиллинг, Сибирцев и еще Елкин. Уходит также Гошкевич и с ним Точибан Коосай. Было предположение, что Сибирцева могут оставить. Но с ним все по-прежнему. Да он и не просил оставить его. С матросами перерешили в предпоследний день. Посчитались с недовольством Купера и других капиталистов. В Гонконге нужна рабочая сила, а с уходом такого количества пленных предприятия лишаются рук.

Немедленно хозяева заявили командованию о своих претензиях. У командования свои соображения. Многие пленные, работая в Гонконге, сделали себе громоздкие покупки, с которыми всех и невозможно отправить в Портсмут. Но... Частная собственность! На судах места не хватит. Решили отправить при случае на судне в Де-Кастри, а может быть, и русское судно к тому времени за ними явится.

Вечером, когда в последнюю ночь в отеле после жженки и «Вещего Олега» улеглись, Пушкин поворочался, а потом сказал:

— Вот будете знать, как вести дела с китайцами. Из-за вас поплывем теперь вокруг Африки!

Александр Сергеевич более уж не утешает себя.

— Не учите, дорогой мой, англичан. Они пророчат вам будущее. Но в их дела не лезьте. Они знают, что делают. Они прекрасно знают, что не вы продавали винтовые орудия и что все мы тут ни при чем. И китайцы все знают. Да и сэру Джону надоело возвращаться мысленно к Карамзину и началу века.

Мистер Вунг, которому накануне нанесли визит, принял прекрасно, опять мечтал вслух о карьере Стеньки Разина. Прислал в гостиницу подарки на дорожку: мандарины в ящиках, живых индеек особого откорма — для аристократического стола.

Ночью дождь стих. Тайфун миновал, как вылизал улицы, город и горы.

Пароходо-фрегат «Нью Винчестер» уходил в Англию из Гонконга при большом стечении народа.

Сайлес, прощаясь, говорил, что с окончанием войны хотел бы стать здесь русским консулом, что все связи у него остаются и он еще выбьется.

— И не бойтесь, не избегайте дельцов и хищников, — говорил он, стоя на пристани и пожимая руки русским офицерам. — Не бойтесь их предпринимательства, не расслабляйте свой народ опекой. Вы погубите и его и себя, ведь вы не идете ни на одну сделку, которые я вам предлагал.

— Ну, гонконгский пленник, как вы? — спросил остающийся в Виктории мичман Михайлов.

Все перецеловались и пошли по трапу.

Алексей почувствовал, что ему жаль покидать Гонконг, несмотря на все обиды и оскорбления, которые тут перенес. Чего же жаль? Сознания нашей отсталости? Своего ареста? Нет, чего-то значительно большего, что оставлял он в этой кутерьме, в этой европейско-китайской мешанине.

Судно отошло. Стал виден зеленый холм и на нем белый губернаторский дворец. «А вон и она!» На балконе с колоннадой, на фоне стены из вьющейся зелени Энн в красном жакете, как белокурая королева на параде в гвардейском мундире. Она почувствовала миг и махнула рукой отходящим кораблям.

На рейде один за другим паровые суда снимались с якоря и уходили с гудками. Эскадра покидала Гонконг.

Энн долго еще стояла на балконе, отчетливо видимая с парохода. Белый платок у нее в руке.

На пристани провожающим видна теперь лишь корма судна. Мистер Вунг на гребной джонке мчится мимо массы жилых лодок. На высокой корме с раскрашенными балясинами он подпрыгнул как бы от восторга и весело закричал, показывая вдаль на уходящий корабль:

— Наш зять уезжает на огнедышащем драконе! К себе, в прекрасную болотистую и холодную, дождливую страну внешних варваров!

Как по команде масса лодочников и лодочниц поднялась на крыши и у бортов своих нищих жилищ, махая руками и шляпами, а некоторые девицы с цветочных лодок визжали от восторга, как американки. Махали и кричали не только Сибирцеву. На драконе многие зятья уходили в страны королевы Виктории и ее противника — царя.

За кормой утонули в сырой и мгlistой тропической дали вершины гор на острове и материке.

Алексею хотелось верить, что все это не зря, не зря судьба открыла то, что не видел никто другой, словно ему предназначен далекий и тяжкий жизненный путь, к которому он должен быть готов. «Мне только двадцать три года! — думал Сибирцев. — Наш путь мы должны угадать сами, если уроки не пройдут даром!»

Ночью тайфун стал возвращаться. Опять поднятые вверх пленные матросы и офицеры показали умение обращаться с парусами.

На пароходе лазарет полон. Туда попали уже и наши. С каждым днем все жарче и жарче. Штормы измучивают до изнеможения, хорошей погоды еще не было.

По выходе из Сингапура умер матрос-ласкар. «Индианмэн», — сказал британец, спустивший в море его тело в мешке с грузом.

Умер Вяамээ из родных мест Шиллинга. Николай пришел, сказал, что перед смертью все звал товарищей. Последнюю волю сказал на эстонском. Шиллинг понял и записал.

Алексей и Мартыньш по очереди просиживали у изголовья больного Берзиня. Янка впадал в беспамятство, бредил и второй день не

приходил в себя. Губы его были бледны, как бумага. Иногда он присаживался и отдавал честь.

Ночью Янка стих, казалось, уснул. Вдруг приподнялся и крикнул:

— Букреев! Я сейчас приду!

Лег и стал отходить, вздрагивая всем телом.

Алексей вышел на палубу. Ночь, звезды, море стихает. Худший мрак был в душе. Столько смертей посмотрелся, что уже не мог плакать. Если бы на карте изобразить все могилы матросов нашей экспедиции и поставить отметки, где в волны под чтение военного пастора уходили тела умерших, то получилась бы пунктирная линия вокруг света. А когда еще серым днем за серым морем завидятся крутые красные крыши домов и церковей Портсмута!

— Поднялся, сел, отдал честь и откинулся... — рассказывал Мартыныш. — Ваську звал...

— У него бы товарищ, в Японии отравился ягодой и помер, — объясняли матросам «Нью Винчестера». — Он тогда плакал.

— Оставил двести рублей и велел передать сестрам, — говорил товарищам Мартыныш.

— А Ябадоо теперь молоко пьет и детей поит, — вспомнил Лиэпа.

Алексей плохо чувствовал себя. Пропал аппетит, все время мучило. Неужели стал хуже переносить качку? Никогда не бывало. Неужели вырвет? Глядя в море с правого борта, подумал, что Индия где-то близко: может быть, на траверзе. Нос Индостанского полуострова свисает с севера в океан. Проходим неподалеку.

Офицеры жили в каютах. В кают-компаниии они на равных правах с офицерами корабля.

Толковали между собой о восстании в Индии. Там уже не первый год шли тяжелые бои, а восстание сипаев против англичан становилось народным, об этом рассказывали и сами англичане. На подавление восставших и на штурм их крепостей опять посылались сипаи вперемежку с английскими войсками.

Шиллинг вспомнил, что и в Гонконге формируются войска из китайцев для войны против Китая.

— Научат их всех англичане на свою же шею!

— Вам-то какое дело? — ответил Александр Сергеевич. — Только бы мы с вами на свою шею не обучили кого-нибудь.

Как он сказал перед смертью: «Мартыныш, ты женись на ней. Не обижай ее. Напиши ей!»

«Эх, Янка, Янка!» У Мартыныша слезы на глазах.

Янка Берзинь остепенился, это она его вышколила, выучила и сделала человеком.

Янку опустили с грузом в море. С Капского мыса Мартыныш пошлет письмо Розалинде. Извинится, что пишет с ошибками. Сообщит о кончине Янки от холеры, о его похоронах и как Янка сказал, что любит ее, просил, умирая, написать Розалинде и сказал Мартынышу, чтоб женился на ней и ее не обижал. Если она не против, то он, Мартыныш, готов это исполнить честно, он всегда видел, что она очень хорошая девушка. Сообщит, что скоро конец войны и ему будет увольнение со службы и что у него хорошее хозяйство, у отца пятнадцать коров и арендует землю. Он попросит Розалинду написать в Петербург по прилагаемому адресу в пивную, которую содержит его дядя, и тот передаст. Будет ждать, сколько бы война еще ни продолжалась!

Алексею в бреду представлялся фонарь с изображением осенней травы, женские карты со стихами. Три герба с изображением ростков имбиря. В темноте, с опущенными камышовыми шторами. Рукав пахнет фиалками. Согреть дыханием тушь... Итёгаси — девичья прическа. Женская, женская с золотыми шпильками в волосах.



Лежал с закрытыми глазами, иссохший, пожелтевший, как мумия. Услыхал, что заговорили о нем. Испугался, хотел что-то ответить.

— Этот до вечера не выживет.

Разговаривают санитар и фельдшер. К губам приложили примочку.

Алексей поднял руки. Живой скелет. Когда-то сказал так в насмешку над Иосидой. Теперь сам такой же. Губы иссохли, он сед, скуласт.

Есть пословица: сколько еще умрет прежде тебя тех, кто приходил к тебе, когда ты был болен! Вы помните, Оюки?

Английский врач пришел и сказал что-то.

— Он понимает по-английски,— предупредил другой голос.

— Он уже ничего не понимает. Приготовьте все. Он исповедовался?

Но Алексей все слышал. Он хотел сказать. Одеревеневшие губы бормотали: «А... сей... Си... би... цев...» — снова и снова он повторял свое имя, как бы вызванный на переключку.

Сейчас его выбросят в море с грузом, привязанным к ногам, и, боясь, что чужие люди не дадут ему умереть до этого, он хотел им сказать, что еще жив, и в полубреду все повторял и повторял свое имя.

«Эх, Алексей Николаевич, Алексей Николаевич»,— думал Пушкин, стоя у его койки на коленях.

## Глава 25

### ШХУНА «ХЭДА» СНОВА ПРИШЛА В ЯПОНИЮ

Черед был... за Америкой и Россией. Обе страны преизбыточествуют силами, пластицизмом, духом организации, настойчивостью — не знающей препятствия, обе... расплываются на бесконечных долинах, отыскивая свои границы, обе с разных сторон доходят через страшные пространства, помечая везде свой путь городами, селами, колониями,— до берегов Тихого Океана, этого «Средиземного моря будущего» (как мы раз называли его и потом с радостью видели, что американские журналы много раз повторяли это).

А. Герцен, «Америка и Сибирь».

Капитан второго ранга Воин Андреевич Римский-Корсаков говорил утром в кают-компании корвета «Оливуца», который направлялся к берегам Японии:

— Китайцам выгодней иметь нас своим союзником и — с оговорками — должником, вместо того чтобы наносить нам вред или стать орудием наших противников, наемным пушечным мясом. В интересах Китая иметь под боком сильных и незлобивых соседей. И не держать камня за пазухой.

В Приамурье Римский-Корсаков встречался с маньчжурами и китайцами, присутствовал при многих переговорах с ними, познакомился с их купцами. Воин Андреевич китайцев не называет иначе как гордой нацией, расположен к ним, рассказывает им будущее во всех отношениях и дружбу с Россией. По словам его, казаки и крестьяне из Забайкалья, ведущие повседневные дела с китайским простонародьем, говорят, что это люди честные и простые. Хотя надо иметь в виду, что слабых инородцев Амурского края они уничтожают беспощадно, вымаривают их, спаивают и эксплуатируют. Слабых китайцы вообще не щадят.

Молодой капитан успел обойти вокруг света, командуя паровой шхуной «Восток». Пришел на Дальний Восток под командованием Путьгина, был в Японии, несколько раз плавал оттуда с поручения-

ми адмирала на Амур и в Китай. В войну провел годы на Амуре и каждое лето, командуя судами, бывал в самом пекле военных действий на море, совершая опасные рейсы.

Молодцеватый, образованный, он зимами на берегу всегда выступал в любительских спектаклях, куда дамы вовлекали его непременно.

Отовсюду посылал он своему брату Коле письма с описанием событий, в которых участвовал, и стран, где приходилось бывать. Полагал, что так и надо систематически воспитывать мальчика, пробуждать в нем интерес к миру, морям, в которых жемчугам несть числа, и каменным алмазным пещерам.

Война закончилась, эскадры англичан и французов удалились из Охотского и Японского морей. Флот наш вышел из устья Амура.

Корвет «Оливуца» сопровождает «Хэду» в Японию. Оттуда «Оливуца» пойдет в Кронштадт.

Капитан первого ранга Константин Николаевич Посьет и командир шхуны «Хэда» лейтенант Александр Александрович Колокольцов, выехавшие в начале лета из Петербурга после заключения мира, рассказывают Воину Андреевичу и его офицерам про необычайный подъем во всей России. Всюду толкуют и спорят о будущем. Россия почувствовала себя так, словно война выиграна, а не проиграна, что в конечном счете одержана величайшая победа. На востоке страны Муравьев развивает титаническую деятельность. Договора с Китаем еще нет, новая граница пока не утверждена, наш выход в океан не подкреплён дипломатическими документами, все гадают, как и какие группировки в Китае примут нашу сторону и как китайцы войдут с нами в новые отношения. Сибирское и московское купечество ждет, что не только Кяхта станет местом торговли между двумя странами, но и вся граница откроется. Много говорят о том, что на востоке мы должны равняться на Америку. А она на нас. Особенно после войны в Крыму. Пишут: «События показали сильный зародыш... Слабые народы так не дерутся». Только когда пал Севастополь и война закончилась, русские осознали свою силу.

В плаванье взят Корсаковым на «Оливуцу» мичман Николай Ельчанинов, родной брат Кати Невельской.

На пути с устья Амура входили в Императорскую гавань, откуда за три недели до того ушла английская эскадра. «Произвели славное дело!» — по выражению Коли Ельчанинова. Сожгли все дома и остатки горелых бревен разбросали по берегу. Со слезами на глазах начальник поста лейтенант Кузнецов показывал места, где стояли здания. «Все, что осталось от прежнего жилья,— кресты над прахом умерших», — с его слов записал Ельчанинов.

В этом «славном деле» отличился командир фрегата «Пик» Никольсен.

Воин Андреевич забрал в голову крепкую думу... Хотя, как говорят, после драки кулаками не машут.

У капитана есть бретерский замысел. Предстоит зайти в Гонконг. Корсаков надеется встретиться с Фредериком Никольсеном, которого давно ищет, и вызвать на дуэль! Скандал будет. Карьера рухнет! Корсакову во время войны приходилось бывать на Камчатке, на Курилах, на татарском и охотском побережьях, и всюду, где побывал Никольсен, он оставил те же следы, как в Императорской уже после заключения мира.

...Наверху заходили, видно, паруса стали наполняться, дрейф закончился. После тяжелых непрерывных штормов, которые вытерпели, теперь тепло. Туман поднялся; погоды наступают ясные.

Долго в Японском море дули ветры и стоял холод... Коля Ельчанинов держался молодцом, хотя и жаловался на «невыносимую качку» и на ветер, который так режет, что кожа на лице не выносит.

Чуть подуло, Александр Александрович Колокольцов распротился с корветом и, садясь в шлюпку, отправился к себе на шхуну «Хэда».

— Любо-дорого посмотреть, как он с парусами управляется! — сказал, обращаясь к Коле Ельчанинову, командир корвета капитан Воин Андреевич Римский-Корсаков, стоя на юте и глядя, как при внезапно засвежевшем ветре уходит Колокольцов на шлюпке.

Тускло, смутно, сонно. Еще ночь. Город Симода спит. И не чувят, какой им приготовлен сюрприз.

При луне видно, как проплыли скалистые островки с тропической растительностью в вершинах и с соснами в виде зонтиков.

Со сторожевой халки окликнули по-английски, кто идет. Ответили по-японски:

— Орося но фунэ дес...<sup>14</sup>

На рассвете заметили, что в городе выросло большое новое здание. Это, верно, и есть Управление Западных Приемов, которое японцы начали возводить к сроку открытия порта для иностранных кораблей, когда мы еще тут были.

Штурман Семенов, оглядевший в трубу знакомые места, на окрестности побережья заметил какую-то странность. За бухтой, у деревни Какисаки, на крыше храма Гекусенди что-то установлено вроде флага. Но тихо, в безветрие нельзя разглядеть.

— Дорогой Уэкава-сама! Рады вас видеть! — любезно встретил знакомого чиновника Александр Александрович.

Уэкава-сан явился в синем мундире европейского образца, с квадратными желтыми погонами поперек плеч, в форменной фуражке, в больших американских башмаках и крахмальных льняных самурайских шароварах, какие в Японии носят исстари. В лучах солнца, восходящего из моря, он очень эффектен. «Недурна форма! — подумал Александр. — В тропиках и я охотно надел бы такие!»

Переводчик Татноскэ — старый приятель, немало получил от русских наград и подарков, немало услуг оказывал явных и тайных. Когда были американцы, он познакомился с банкиром Сайлесом, продавал ему японские золотые монеты бу. Американцы знали, что у японцев цены на золото ниже, чем в Европе, и воспользовались этим.

Татноскэ сейчас холодно-вежлив и нижайше почтителен, воплощенный долг, верный исполнитель кодекса буси<sup>15</sup>!

— Мы прибыли в Японию по повелению молодого государя России и привели шхуну «Хэда», которая построена здесь в подарок императору Японии.

— О-о! — Уэкава почтительно поблагодарил и многократно поклонился.

Осведомились друг у друга о здоровье государей. Уэкава спросил о здоровье Путятин, Колокольцов — о Кавадзи. Также про здоровье Накамуры Тамеи. Оказалось, что Накамура здоров и при деле, как и был. Он по-прежнему губернатор города Симода. Старый знакомый адмирала.

— Как Посэто-сама?

— Вполне здоров. Скоро его увидите.

— Адмирал Путятин будет ли у нас?

— Адмирал Путятин не может оставить Петербурга. Он возведен в графское достоинство и отправляется по дипломатическим поручениям в Европу.

— О-о!

Уэкава осторожно хотел бы спросить, на чем же отправится Кокоро-сан обратно в Россию.

<sup>14</sup> Русское судно...

<sup>15</sup> Воин, рыцарь.

Гостей пригласили к завтраку.

— За мной идет корвет «Оливуца». На нем следует в Японию знакомый вам знаменитый дипломат, капитан первого ранга Константин Николаевич Посьет.

— Спасибо, спасибо.

— Капитан Посьет идет с очень важным поручением нашего государя.

— О-о!.. — цедя в себя воздух через зубы, протянул Уэкава и стал кланяться. Ясно, все ясно. Поручение такое важное, что Колокольцов так и не сказал в продолжение завтрака, какое оно, даже не смеет объявить. Уэкава догадывался, что это за поручение. Иначе и быть не могло.

Оба молодых человека чувствовали себя как бы наиважнейшими представителями, решающими сейчас судьбу двух государств. Приятно все же быть дипломатом! Хотя бы самому себе показаться таким на время.

Но пока суд да дело, нужны дрова, вода, продукты.

— Яйца можно ли достать, как прежде? Мяса хорошо бы.

Колокольцов еще хотел спросить кое о чем...

Уэкава все обещал прислать и сказал, что и для «Оливуцы» также подготовят воду, дрова, свежие фрукты, овощи, рыбу, птицу, мясо. Ясно, что Посьет послал вперед шхуну «Хэда» с предупреждением, как принято, чтобы известить о своем приходе заранее и дать подготовиться.

Уэкава-сан, избегая дальнейших объяснений, откланялся и отправился на берег с докладом губернатору.

В три часа дня в бухту вошел корвет «Оливуца» и бросил якорь. На судно явилась делегация японских чиновников во главе с городским головой Симода. С ним Хамада Иохэй, еще молодой человек, старый приятель — чиновный староста деревни Какисаки, где в храме Гекусенди жил Путятин.

Посьет не объявлял о сути поручения. Надо видеть губернатора Накамуру Тамею. С этим все согласны. Это само собой разумеется.

Посьет объявит только ему, что прибыли с копией договора между Россией и Японией, который заключен в прошлом году здесь, в Симодэ, адмиралом Путятиным и Кавадзи Саэмоном но джо. Трактат утвержден в Петербурге. Прибыли для обмена ратификациями.

Приехал Уэкава. Он правильно обо всем догадался.

— Губернатор Накамура-сама очень хочет видеть вас, Посэто-сама. Сегодня он еще... не мог приехать сюда для встречи.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, я сам явлюсь к губернатору.

Договорились, когда, кто и куда отправится. Беседа приняла частный и дружественный оттенок.

— Мы с Александром Колокольцовым очень любим город Симоду, — сказал Константин Николаевич. — Всегда помним вас, Хамада Иохэй-сан, знаем, что вы летописец всех великих событий. Наши офицеры также описали в книгах и журналах катастрофу, пережитую здесь, как и всю нашу жизнь в Японии. Теперь в Петербурге все знают этот город. Можайский показывает свои рисунки храмов, портреты японцев, также пейзажи вашей страны, исполненные им здесь с натуры. Все, кто увидел, были в восхищении. Эпопея о том, как строилась шхуна «Хэда», стала известна во всей России, наши публикации об этом переведены в Европе и Америке. Теперь нет войны с Англией и Францией, и у нас самые лучшие отношения со всеми государствами. Мы просим вас, Уэкава-сан, и вас, городской голова Иноуэ-сан, пока мы будем передавать в дар Японии шхуну «Хэда» в знак нашего почтительного уважения, пока будут вестись переговоры и завершаться дела, — опять, как встарь, в знак нашей крепнущей дружбы, нам на радость и удовольствие мы просим отвести нам для жилья на берегу в деревне Какисаки милый нашему

сердцу храм Гекусенди, в котором уже происходили важные переговоры и совершались исторические события. Уж так случилось, что мы первые из иностранцев жили в Японии на берегу именно в этом храме.

Уэкава-сан очень тронут, почти плачет, корректно отвечает по-русски:

— К сожалению, теперь это невозможно.

— Почему же? — поразился Константин Николаевич. — Разве мы уже забыты?

— Нет. Никогда. Японское сердце никогда не забудет.

— Так в чем загадка? Разве храм сгорел?

— Очень большое несчастье...

— Да вон же он виден, как и стоял... У деревни Какисаки за бухтой. Может быть, занят важной персоной из Эдо?

— Достопочтенный капитан и дипломат Посэто-сама! В храме Гекусенди живет... — Уэкава сузил глаза и покачал головой, — мистер Харрис, приехавший из Америки. Очень солидный американский дипломат. Первый американский консул в Японии. Его консульство занимает храм Гекусенди.

— Так ведь там уйма комнат! — не выказывая признаков удивления, возразил Посэет.

— Мистер Харрис и штат консульства занимают весь храм.

— Да сколько же служащих в консульстве?

— Там мистер Харрис.

— И кто еще? Какой же штат? С ним семья?

— Нет, он одинок. Еще не разрешено женщинам приезжать в Японию. Поэтому американцы прислали холостяка. У мистера Харриса и в Америке нет жены.

— Так сколько же с ним служащих посольства?

— Один. Это-о... переводчик мистер Хьюскен. Еще очень молодой человек. Молодой холостяк, голландец, но из Америки, есть слуги-китайцы, но они в храме не живут.

«Вдвоем занимают все комнаты! Однако наше дело, уж если на то пошло, не в житье на берегу. Мы обязаны, соблюдая достоинство при любых обстоятельствах, выказать благодарность японцам, соболезнующую свою честь и выказать уважение здешним властям — от императора до старосты летописца Иохэя».

Александр Колокольцов сам не свой. Что-то ему очень обидными показались ответы Уэкавы. Предполагалось, что японцы помнят, что это он, Колокольцов, строил шхуну «Хэда», поэтому и назначен командиром. Первый европейский корабль спущен им на воду в Японии! Он оставил все чертежи здесь и все объяснял по приказанию Евфимия Васильевича Путятин. Он помог японцам заложить еще две такие же шхуны. Готовы ли они? Может быть, от Колокольцова как от начала начал пойдет новое японское судостроение? А ему нет квартиры в Гекусенди и другой не предлагают. А ведь мы знаем, что в Симодэ много храмов и в каждом можно дать приют уважаемому гостю. Так бывало, когда сюда наезжали вельможи и дипломаты из Эдо во главе с Кавадзи.

Впрочем, для обиды и волнений Александра Колокольцова могут быть иные, более глубокие причины. Он улавливает перемену отношения, что-то предугадывает, чувства его обострены. Он, когда шел сюда, боялся всего этого. Ясно, он хотел бы в Хэду под предлогом осмотра — как там продолжают работы на начатой им верфи — посмотреть или хотя бы узнать о судьбе Сайо. Как же она? Жив ли ребенок, его участь?..

— Консулу из Америки будет сообщено, что прибыл посланник императора в ранге гораздо более высоком, чем консул республики Штатов, — заверил Уэкава. — Он большой ростом и толстый, но очень

суетливый. И у него высокая грудь, как будто он ее все время выпячивает. Такой он сильный. Это, конечно, американский богатырь!

— А самураи,— ответил Посьет,— выращивают для важности брюхо. Как и китайские мандарины.

— Хи-хи! — согласился Уэкава.

Сегодня Уэкава рассказывал, как ласково и почтительно проводил в позапрошлом году из Хэды последнюю партию в триста моряков во главе с Мусиным-Пушкиным. Лагерь сдавал и морское войско из Японии повел по улице Сибирцев. Населению Хэды и всем чиновникам жаль было прощаться. Даже сказали Сибирцеву: «Вы, пожалуйста, не думайте, что надоели нам и что мы очень рады, что вы уходите. Это совершенно не так».

Несколько раз Уэкава поминал сегодня Сибирцева.

Теперь Уэкава морской офицер в европеизированном мундире, который он сам изобрел как образец для будущего японского флота, еще когда русские моряки жили в деревне Хэда. Уэкава явно не на высокой должности. А ведь шел вверх быстро!

Что-то, видно, произошло. Значит, Колокольцова не допустят в Хэду. Да, перемены чувствуются! На берегу в Симодэ и то жилья не дают.

Как же быть? Из Японии доходили ужасные слухи. Не был никогда Колокольцов хитрецом, да нужда заставляет.

— Скажите, Уэкава-сан, а доится ли корова у Ябадоо? — спросил Колокольцов, выходя с японцем на палубу.

Уэкава мгновенно все сообразил. Для осведомления Кокоро-сан избрал идеальную форму.

— Знаете, доится! — уверенно отвечал Уэкава, и глаза его стали теплей и добрей. Он радовался, что, не неся ответственности, мог проявить человечность, которой не полагается по закону.

Уэкава прекрасно понимал, о чем речь. Если ребенок русский, то его и кормят по-русски, молоком. Но Ябадоо никогда в этом не признается, ведь был издан закон: убить всех детей, родившихся от иностранцев. Ябадоо этот закон обошел. Но уж теперь должен держаться крепко и не признаваться, что в семье Ябадоо у его дочери Сайо ребенок родился от Кокоро-сан, с которым она долго жила, все это знают, и Ябадоо ребенка очень любит и кормит молоком, но никогда не признается и никому не отдаст ребенка. Он уже доказал и деревне, и правительству, и князю, что ребенок — чистокровный японец, и все верят, хотя знают, что Ябадоо обманывает, но не верить нельзя, это бесчеловечно.

Японцы уехали.

А на борт «Оливуцы» поднялся мистер Харрис. Высок ростом, плотен, осанист, быстр, с одутловатым загорелым лицом, верно его Уэкава охарактеризовал, с приятными глазами. «Похож на питерского купца, одетого с иголки под барина,— подумал Колокольцов.— Буржуа девяносто шестой пробы».

От американца попахивает виски. Прибыл на японской лодчонке, как на корыте, с полуголыми гребцами. Видно, от Управления Приемов казенную лодку ему не дают, значит, теснят его господа японцы, это они умеют.

Посьет сказал, что вне себя от восторга. Римский-Корсаков — что очень рад. Колокольцов и мичман Коля Ельчанинов пожали руку консулу.

— А где же мистер Рид? — спросил Посьет в салоне.

Пили довольно много, не желая уступить первенство гостю.

— Рид? — удивился американец.— Кто такой Рид?

— Мистер Рид был назначен первым американским консулом в Японию в прошлом году и жил в городе Симода как гость адмирала Путятина.

— На берегу?

— Да, в храме Гекусенди.

— Вы здесь жили? Здесь? В Японии?

— Мы здесь жили полгода.

— В этом городе? — изумился Харрис.

— Да, неподалеку отсюда мы построили шхуну.

— Какую шхуну? — насторожился Харрис.

— Вот эту самую, которая пришла с корветом вместе.

«Не может быть? Не верится? Потом от японцев узнаете, мой дорогой», — подумал Посьет.

— Рид не консул! Рид — самозванец! — вскричал Харрис.

— Прекрасный человек, — ответил Посьет.

— Настоящий джентльмен, — подлил масла в огонь Колокольников. Римский-Корсаков молчал.

Посьет объяснил, что шхуну «Хэда», построенную в Японии, привели теперь в подарок императору, микадо, в знак расположения нашего государя, благодарности и дружбы.

Харрис стал доказывать, что консул он единственный, вся Америка провозгласила его с восторгом, о нем писали газеты, напутствовал его сам государственный секретарь.

Харрис шел через Атлантику, был в Париже, и там произошло фурор его появление. Япония уступила! В Европе никто не ждал, что туда едет посол Америки. Харрис пил и в Париже, появлялся в красной тоге посла в ресторанах с дамами. Всюду хвастался, что едет в Японию. А теперь стал жаловаться, как ему тяжело в Японии, какое ужасное питание. Нет молока.

Посьет взял тон откровения и держался на дружеской ноте. Сказал, что привез ратификацию русско-японского трактата, заключенного в Симодэ.

Харрис попросил снять для него копию трактата, сказал, что капитан Посьет его премного обяжет и что он в долгу не останется.

— Я могу предложить вам самую последнюю новинку — копию договора, который я заключил как посол Соединенных Штатов в Бангкоке с королем Сиамом. В придачу — копию американо-японского трактата. И еще копию японо-голландского договора, который только что заключен.

Снимет копию для посла Посьета. Новейшие сведения! Прекрасный обмен!

Харрис пожаловался: обхождение японцев доводит до раздражения. Переводчика Хьюскена, еще молодого человека, — почти до отчаяния. Харрису временами казалось, что он здесь живет без толку.

Посьет ободрил, сказал, что как другу даст полезные советы и снимет копию договора. Харрис обрадовался. Это первое дело, которое он исполнит для государственного департамента, живя в Японии.

Обед продлился с шести до девяти вечера. Для «променажа» съездили на шхуну, и после осмотра Таунсэнд Харрис сказал, что восхищен. Было уже поздно, когда он отправился на корветской шлюпке с гребцами и мичманом Ельчаниновым у руля по черной воде к огням храма Гекусенди.

В своем обширном консульстве, состоявшем из кабинета, спальни и столовой, разделенных анфиладой полупустых комнат, Харрис со счастливым смехом, хваля новых знакомых, рассказывал своему переводчику Генри Хьюскену о приеме на пришедших кораблях.

— Какие приятные и, я бы сказал, воспитанные молодые люди, особенно командир корвета Римский-Корсаков!

Хьюскен — молодой человек из голландской семьи в Штатах. Как голландский переводчик охотно отправился в Японию с первым консулом. В Симодэ дел мало, Хьюскен изучал французский и японский, читал привезенную литературу — Кампфера, Зибольта, Гуцлава, вел записки, а иногда скучал, валялся на диванах, закидывая свои длинные ноги на низенькие японские столики.

— Русские уверяют, что японцы притворяются, показывая, что говорят только по-голландски. Посыет расхохотался и стал уверять, что до поры и с русскими такие были.

Слуга-японец зажег свечи в кабинете и встретил Харриса с поклоном.

Усевшись за стол, который когда-то сделан был для русского адмирала, Харрис взял перо и, подвинув тяжелую чернильницу с тушью, записал в своем дневнике:

«Сегодня в Симоду пришли русские корабли: корвет и шхуна. Ездил на корвет. Меня приветствовали офицеры рангов: капитан Посыет и командир корвета Воин Римский-Корсаков... Very agreeable persons and very friendly<sup>16</sup>. Корвет очень беден, стар по возрасту и устаревшей конструкции. Вооружен старомодными карронадами... Шхуна «Хэда» хорошая, имеет прекрасную кабину, красиво меблирована, обшита полированным деревом, coilcloth<sup>17</sup> на полу, столы красного дерева и обои и занавеси из шелкового темно-голубого вельвета...»

Александр Колокольцов долго ходил вечером по палубе своей шхуны, останавливался, смотрел на огни Симоды, на знакомые островки, проливы. Светлая вода при луне выделяла черноту скал. Колокольцов знал здесь все наизусть. Теперь ему все это запрещено! Он никогда не пойдет в деревню Хэда! Или, может быть, все же удастся?

Утром, когда съезжали на берег, лейтенант рассказал Константину Николаевичу, что корова, раздоенная Берзиным, еще дает молоко, что Уэкава по секрету признался.

— Я скажу об этом американцу, — сказал Посыет.

Знакомыми улицами прошли через весь город.

В новом здании Управления Западных Приемов их встретил старый приятель Путятина и Посыета — коренастый богатырь, губернатор Симоды Накамура Тамея.

Посыет торжественно объявил о главной цели приезда. Доставлена ратификация. Государь утвердил трактат. Шхуна «Хэда» передается Японии как подарок императору — тенно. Привезли тринадцать тысяч золотом — долг. Все орудия корабля «Диана», оставленные в Японии на сохранение, преподносятся в дар японскому правительству.

Губернатор благодарит и кланяется. Кланяются все чиновники.

Накамура предупредил, что пошлет немедленно доклад в столицу на быстрой лошади. Ясно, что не скоро они все решат. Накамура заметил: «Дела потребуют времени». Посыет и его спутники готовы к этому.

За обедом разговорам не было конца. Тамея-сама спросил, куда пойдет корвет из Японии. Узнав, что в Гонконг, казался, опечалился. Осведомился, известно ли Посыету, что англичане начали войну с Китаем, из Гонконга посланы войска и флот в реку, на которой стоит Кантон. Сведения от голландцев из Нагасаки, и от судов, приходящих в Симоду, и от самих китайцев. Ведь в Нагасаки имеется с древних времен китайская торговая фактория.

Тут же сидел вице-губернатор его превосходительство Вакано Меосиро.

— Ох, Посыет-сама! Да, я теперь бугё, губернатор! И все было бы хорошо, — подвыпив, тихо говорил Накамура, — если бы не навязался этот американец. Очень тяжелый человек! Один он доставляет хлопот больше, чем все американские семьи с корабля «Каролайн», когда они жили в том же храме.

Накамура слов на ветер не бросает. Он остерегает. Но странно, чем ему мог так не понравиться Харрис?

Накамура рассказывал подробности, как парусник «Грета», взяв на борт триста русских матросов, оставшихся после ухода шхуны

<sup>16</sup> Очень благожелательные и дружественные.

<sup>17</sup> Плетеная обивка.



«Хэда» из Японии, уходил из деревни Хэда. Рассказал про Сибирцева и добавил, что очень жаль его.

Посьет, Корсаков и Колокольцов о судьбе своих товарищей знали только, что «Грету» захватили англичане и увели в Гонконг, откуда были письма от американцев. Но почему Накамуре жаль Сибирцева?

После губернаторского обеда пешком в сопровождении знакомых чиновников, переводчиков и стражи пошли на берег. Здоровались и кланялись со встречающимися многочисленными знакомыми. На шляпках ушли на суда, переоделись и под вечер в штатском на тех же шляпках отправились к Харрису в храм Гекусенди, куда он вчера усиленно приглашал.

## Глава 26

### ПИСЬМО

...написанное тем женским языком, в котором каждый слог является смиренной лаской...

*Лефкадио Хэрн, роман «Кокоро».*

— Пока придет ратификация из Эдо, простоим не меньше месяца, — говорил Константин Николаевич, сидя за знакомым столом в Гекусенди.

Американцу рассказал о передаче шхуны «Хэда», о платеже, о ратификации и об одарении японского правительства корабельной артиллерией.

Римский-Корсаков помалкивает, держится в стороне, наблюдает, слушает с интересом. Харрис тоже следит за ним внимательными глазами.

— А-а, Мориама Эйноскэ! — воскликнул Посьет.

Все невольной встали, завидя знакомого японца. Лучший переводчик и величайший дипломат. Так вот кому поручили вести дела с американцами! Тут мистеру Харрису нелегко придется — коса найдет на камень, размышлял Посьет.

Элегантен, строен, мужествен. Мориама-сан немолод, но моложав, гладок, выхолен, как знатная персона, плечи и кулаки, как у боксера. Легок на ногу, гибок и телом и умом. Такие крепкие пожилые люди опасней всего в делах. Кто сказал, не Конфуций ли, старался вспомнить Посьет, что в борьбе молодого со старым всегда побеждает старое! Жаль, Гошкевича нет, он знает все эти заповеди. Но и Харрис немолод, такой же породы, только европейской школы, говорил, что в Париже часто бывал и там свой человек. Кого только судьба не заносит в Японию!

Корсаков знал Мориаму по первым встречам в Нагасаки. Тогда он по обязанности простачком прикидывался, ползал или лежал между договаривающимися делегациями плашмя на полу, не смея глаз поднять на свое высокое начальство.

Харрис без всяких церемоний сказал Мориаме, что в услугах его сегодня не нуждается.

— Нам сегодня переводчики не требуются, — пояснил Хьюскен, сидевший развалясь, и расхохотался, дружески кивая японцу.

— Корпус переводчиков отдыхает, — пояснил Посьет.

— Шпионы на каждом шагу, — сказал Харрис. Он вернулся к столу и принялся открывать бутылку.

О войне англичан с Китаем у консула не было никаких сведений. Удивился, что губернатор рассказал коммодору и капитану политические новости. Интересно. К этому шло, но оскорбительно! Почему скрывают от Харриса? Почему предпочтение тем, кто явно хочет тут выставить себя соперниками Америки? Японцы раздувают их значение в своих целях!

— А нам предстоит зайти в Гонконг,— пожаловался Посьет.

Харрис расхвастался, что в Гонконге у него прекрасные знакомые, с которыми и деловые и приятельские отношения. Известные Армстронг и Лауренс — его поверенные.

— У вас, вероятно, знакомые и в Макао? — спросил Римский-Корсаков.

— Да, конечно! Всюду американцы и все свои люди. К английской агрессии не имеют никакого отношения. Некоторые американские фирмы предпочитают вести дела с Китаем, находясь не в Гонконге, а в условиях большей независимости — в Макао. Снимают под свои конторы и склады роскошные дворцы обедневших португальских грандов. В Макао у меня друзья, крупный делец Дринкер — мой приятель, я в переписке с ним. И даже, ха-ха-ха-ха... в интимной переписке с их милейшей дочкой, пятнадцатилетней красавицей Катти. Ах, что за милые послания шлет она с описаниями всех мелочей жизни. Это целые отчеты! Но, к сожалению, почта приходит очень поздно. Ее письма для меня интересней гонконгской периодической прессы... Капитан Корсаков, не вздумайте увлечься Катти! При этом непременно условии я дам рекомендательные письма к ее отцу. Но... вы... вы слишком goodlooking!<sup>18</sup>

Казалось бы, распоясался, в то же время очень радушен. Но дело и свои цели эти люди помнят в любом состоянии.

— Мой коммодор! За ваше здоровье! За здоровье коммодора, господа...

Посьет возразил: такого чина у русских нет.

— Я знаю! У вас нет чина коммодора! Но все же вы — коммодор! Вы командуете эскадрой, исполняя дипломатическое поручение, какие у нас возлагали на коммодора Адамса! Мой коммодор!

Посьет дал характеристики губернатору, знакомым чиновникам и переводчикам, в том числе и Мориаме. «Зачем он так откровенен с этим господином? Верный ли тон взят?» — озаботился Римский-Корсаков.

Харрис не нравился Воину Андреевичу, не вполне нравился ему и Посьет. Казалось бы, умный и дельный. Облечен величайшим доверием. Откуда выскочил, грубо говоря? Где откопал его Путятин и за какие качества приблизил и возвысил? Назвал его именем самую лучшую гавань Приморья — мира будущего. На англичанина смахивает, и этого уже достаточно Евфимию Васильевичу. Обязателен, знает языки и уже коммодор, по сути дела американец не ошибся. Ведет переговоры с Японией и Америкой от имени России. Тысячу раз прав Гончаров. Разве в петербургском самовластье дело? Да у нас на эскадре у Евфимия Васильевича в десять раз худшее самовластье и тирания! И самодурство! И никто не пикнул. При этом авантюристов и проходимцев у нас и в правительстве и около правительства не меньше, чем в Америке. А вот говорят, что у них все стоит на предприимчивых личностях. Это еще вопрос, кто кого по этой части за пояс заткнет.

Воин Андреевич не завидовал, в дипломаты не собирался, Константин Николаевич дорогу ему не переходит, держится просто, естественно, мнения окружающих выслушивает и, если стоящие, принимает.

Когда возвращались на суда, Колокольцов сказал:

— Зачем, Константин Николаевич, так выкладываете ему все? Мне кажется, что этот американец порядочный пройдоха.

Колокольцов — спутник и друг Посьета, много плавал с ним и жил в Японии.

— Ну, может быть, не так строго! — отозвался Константин Николаевич.

«И мне кажется, лучше бы держать язык за зубами», — полагал Корсаков. Он сам смеялся сегодня, и шутил, и в карты играл. Говорил про Крымскую войну, и Воин Андреевич заявил, что если английского

<sup>18</sup> Приятной внешности.

солдата лишить привычного рациона и комфорта, то он потеряет бое-способность. Под Севастополем британцы не отличились, чего нельзя сказать про французов, которые смелы и отважны в любых условиях.

— Мой дорогой,— обратился Посьет к своему молодому другу и неизменному спутнику,— мне нужны рекомендательные письма в Гонконг. Придется попросить Харриса одолжить деньги. У нас гроши остались с Воином Андреевичем до Гонконга. Как бы японцы нас ни одаряли, а надо еще покупать сувениры...

Эта мысль Посьета пришлось по душе Римскому-Корсакову, согласна с его желанием.

— А борзые щенки?.. А коллекции фамильных драгоценностей?— вмешался он в разговор.

Векселя были на банки, но наличных денег почти нет. Харрис же сам сказал, что деньги у него есть.

Утром в назначенный час занятий Харрис, преоборая похмелье прогулкой и купаньем, записал в своем дневнике: «Посьет сказал, что желает, чтобы наши визиты друг другу происходили бы запросто, без церемоний, как между друзьями и что я могу чувствовать у него себя как дома, как и он у меня».

— Как вы обходились в Японии без женщин? — за обедом на «Оливуце» обратился к Посьету подвыпивший американец.— Как вообще у них по этой части?

Харрис смотрел настороженно.

— Посол Японии на переговорах с Путятиным — очень образованный и светский японец — не раз беседовал со мной откровенно. Однажды я задал ему такой вопрос.

Харрис восторженно вскинул обе руки и фальшиво расхохотался. Он усматривал своего человека в Константине Николаевиче.

— Ну и что же он?

— Ответил, что у них это доступно для знатного путешествующего вельможи там, где бывает его ночлег. И если князь или чиновник по делам службы живет в храме, то всегда есть приятная служанка или, может быть, привезенная для этого племянница бонзы или какая-то другая юная девица, родственница или знакомая хозяйка храма.

— Ах так! А они меня уверяют, что никогда и ни в коем случае не может японка сходиться с иностранцем.

Теперь Посьет расхохотался:

— Ах, дорогой мой! А вы бы хотели услышать иной ответ от представителей власти!

— Разве у вас были случаи?

— Когда-нибудь я вам расскажу об этом более подробно.

— Почему же не сейчас? — обиженно спросил изрядно выпивший Таунсэнд.

...На «Оливуце» принимали японского губернатора. Накамура-сама сказал, что из Эдо прибыло важное распоряжение. Поручена приемка «Хэды», как и предложил Посьет. Это будет происходить одновременно с обменом ратификациями. Уэкава-сан назначается капитаном шхуны.

— Команда для корабля уже составлена и обучена на подобном же судне... На другом корабле такого же типа. С благоговением примется драгоценный для Японии подарок императора России...

Посьет сказал, что «Оливуце» предстоит кругосветный переход. Накамура ответил, что все будет сделано, чтобы снарядить русский корабль в далекое плаванье.

На другой день Харрис принимал Посьета и Корсакова в Гекусенди. Опять пили виски. О женщинах не говорили.

— Помогите мне, коммодор, объяснить японцам, что я не могу жить без молока,— попросил Харрис.— Я непрерывно мучаюсь от разных недугов.

— Мой дорогой посланник! Живя в Японии, мы раздоили несколь-

ких коров. У господина Колокольцова осталась дойная корова в том доме, где он жил. В одной из соседних деревень. Мы можем попросить японцев одолжить ее вам, и вы будете с молоком.

— Как я был бы рад! — пришел Харрис в пьяный восторг. — А то ведь я чувствую себя как в блокаде. Меня морят, заставляют есть пищу, к которой я не привык, обрекают на воздержание — и при этом вокруг цветы, роскошь, благоухание, экзотические пейзажи...

«Экая пьяная морда, пьет и не просыхает! — подумал Воин Андреевич. — Видно, никто порядочный не захотел в Японию ехать без семьи. Впрочем, дело не мое».

В бухту города Симода вошла парусная шхуна под японским флагом, точная копия «Хэды».

— Это же «Камидзава»! — вскричал Колокольцов. — Вторая наша шхуна! Я ее закладывал сам в Хэде!

Уэкава с сияющей улыбкой явился на «Хэду».

— И третья такая же. Спущена там же на воду, — рассказывал он. — В Ущелье Быка.

Посыет съездил к губернатору, от него заехал к американцу.

Харрис был обеспокоен: в залив вошло европейское судно, но он не может поехать, у него нет лодки.

— Это японское судно, под японским флагом, построенное нами в той же деревне Хэда, что и наша шхуна, мы сами ее закладывали.

— Они закончили без вас?

— Едемте, мистер Харрис. Там они вам сами все расскажут. Берите Хьюскена и Мориаму. Мы покажем вам еще одно наше произведение! Японцы приглашают всех на корабль для угощения европейского образца, в салон командира!

— А как же, господа, ваши главные дела?

— Ждем ратификации.

По утрам на «Хэду» являлись сорок японцев. Колокольцов проверял их познания и обучал эту новую команду.

На корме, в европейском платье, Уэкава-сан подавал команды в рупор. Японские матросы в грубых белых костюмах из материи, похожей на толстую парусину, подымали якорь. Взбегали на мачты, ставили и убирали паруса, спускали шлюпки, буксировали судно.

Вечер. Якорь брошен. Кормовой флаг опущен, спешить некуда. Японская команда съехала на берег. Больше не надо никого учить и проверять. Ночь наступает.

Александр и Уэкава в салоне, где когда-то тесной семьей, выйдя из Японии, офицеры поутру увидели через портики первые снега и льды родины. И теперь уж скоро. «Ну вот и все! Прощай, шхуна «Хэда!» Но не ее судьба тревожит Александра Колокольцова.

— Я вам все расскажу, — сказал Уэкава Деничиро. — Сайо беременна.

— Как беременна? Опять?

— Нет, впервые.

— Как это может быть? До сих пор? Так долго?

— Нет. Она естественная и здоровая, молодая, очень красивая женщина. Она замужем. Очень счастлива и ждет ребенка. Но она очень любит своего маленького брата, который родился через полгода после вашего отбытия из Хэды. Александр-сама, он очень похож на вас!

— Брата?

— Да, это просто удивительно. Ябадоо-сан говорил: «У меня жена старая, а родила мне хорошего сына». И он очень любит маленького мальчика. Говорит: «Я горжусь, это будет мой наследник!» Вы должны понять, Кокоро-сан, когда издали приказ об убийстве всех детей, родившихся от иностранцев, то к Ябадоо-сан явились и спросили. Не тронули мальчика, узнав, что он рожден старой женой Ябадоо...

— Убить детей? Такой приказ? А как же судьба других? Всех убили?

— У нас закон очень строгий. Власть требует, и все сразу исполняется. Но все-таки, кажется, все, кто родился, остались живы. Кажется, кто-то вмешался в Эдо, я уверен, что это не Кавадзи-сама, хотя об этом все догадываются.

Она замужем! Сын — наследник Ябадоо. Шхуна «Хэда» под командованием Уэкавы-сама. В храме Гекусенди живет американский консул!

— Вы знаете, я совсем забыл... У меня есть для вас письмо.

— Письмо? Откуда? Кто мог мне написать?

Душа похолодела у Александра, когда Уэкава открыл плетеный ящик вроде портфеля, достал небольшой конверт и подал его в почтительном поклоне. Адрес по-русски: «Господин лейтенант Сибирцев».

— Это Алексею! Это не мне. Боже мой...

«От госпожи Оюки Ямадо». Пахнет фиалками, ее любимый запах.

— Получите, пожалуйста.

— Это Сибирцеву, а не мне.

— Просили передать вам.

— Я даже не знаю, где теперь Алексей Сибирцев.

— Он, кажется, уже погиб,— тихо произнес Уэкава.

— Что? — испугался Колокольцов.— Погиб?

— Я надеюсь, что известно неточно.

— Откуда у вас сведения?

— Это было предсказано гадальщицей в Хэде. Оюки-сан плакала и не хотела верить. Ему наворожили, что он встретит в море врагов и... погибнет. Но японскому Управлению Западных Приемов ничего не известно. В деревне Хэда очень хорошие предсказатели.

«Ну, предсказания — это еще ничего не значит»,— с облегчением подумал Колокольцов и сказал:

— Мы знаем, что он был взят в плен вместе со всем отрядом. Известие мы получили уже из Гонконга.

— Вы знаете, что в Китае война и была сильная стрельба по Кантону?

— Да, губернатор сказал нам, что война начинается. Откуда вам известны подробности?

— Переводчики узнают через голландскую факторию. Иногда получают газеты.

— С губернатором сэром Джоном Боурингом мы стали близкими приятелями,— рассказывал у Посьета в гостях Таунсэнд Харрис.— Нашему сближению немало способствовал американский посол в Китае мистер Паркер. Также колония американских негоциантов. Я тогда еще понял, что у англичан с Китаем завяжется война.

Гуляя с Посьетом по палубе, Таунсэнд сказал:

— Мне пришлось лично от Боуринга услышать кое-что... что может заинтересовать и вас. Скажу вам как другу: вы говорите, что адмирал Путятин занял на юге Приморья гавань, названную вашим именем? Гавань коммодора Посьета?

— Да.

— Англичане старательно изучают Китай и Маньчжурию. В разгаре война, и у них будут все возможности, флот готов на все. Боуринг сказал мне лично, что, по его предположениям, согласно сведениям, доставленным ему военными кораблями, от границы Кореи к северу есть отличные гавани и они ничьи. И как только начнется война, туда пойдут эскадры, и что там интересы Великобритании. Это касается и гавани Посьета? Как вы думаете? Если, как сказал сэр Джон, гавани китайские, он займет их, пользуясь войной? Но он опасается, что китайцев там и духу нет. Боуринг и Сеймур хотя бы перенести Гонконг в более умеренный и здоровый пояс. Уверяют, что

климат Приморья хорош. Англичане в бешенстве от Муравьева. Они так же ненавидят русских, как мы, американцы, симпатизируем вам.

Посьет не ждал ничего подобного. На первых порах он даже обомлел.

— Но там гавани наши!

— И я уверен в этом.

На другой день Посьет пришел с офицерами и гребцами на двух шлюпках в Гекусенди.

— Услуга за услугу,— сказал он многозначительно.— В знак благодарности за ту помощь, которую коммодор Адамс оказал в этом городе экипажу и офицерам погибшей «Дианы», будучи здесь на военном корабле «Поухаттан», а также в знак нашей дружбы к Соединенным Штатам мы доставили вам в подарок, мистер Харрис, одну из наших шлюпок. Идемте на берег принимать.

— Мой дорогой Посьет! — Харрис горячо и от души обнял Константина Николаевича.

— Я не могу оставить вам при ней гребцов,— сказал Римский-Корсаков,— но японцы всегда найдут для вас людей в Симоде.

— Без шлюпки для развозов тут как без рук. Это то же, что своя карета в Париже!

Все засмеялись.

— Ах, как я вам благодарен!

Открыто привезенное с «Оливуцы» шампанское. Суетятся знакомые японцы. Священник Бимо и его жена то и дело пробегают и кланяются. Все их распоряжения исполняют слуги.

— Тут всюду заливы, бухты, река, каналы, и вы на шлюпке пройдете всюду, как в Венеции.

Харрис увел Посьета в свой кабинет и хотя выпил, но очень трезво стал рассказывать о Джоне Боуринге. Существует секретный план овладения северным японским островом Хоккайдо. Англичане утверждают, что на японских картах этот остров обозначен названием Эссо, так же как и все земли и острова других стран, населенных охотничьими народами и не входящих в состав Японии.

— Так сами японцы не считали Хоккайдо своей землей. Не хотят ли Боуринг и Майкл Сеймур этим воспользоваться и опередить вас? Хотя, как я понял, у России нет никаких намерений в отношении Хоккайдо. Этим островом интересуются послы и адмиралы Соединенного королевства, но для этого им нужен я, моя помощь и сочувствие, чтобы все было сделано, не задевая интересов Америки. Они уверяют, что тут цели Штатов и Великобритании одни и мы должны их поддержать. Они открыли мне все карты, дорогой Посьет! Вот слушайте, они стремятся после Севастополя изолировать вас. И Японию отгородить от России прочно и навсегда своей колонией. Слушайте, дорогой...

«Наш прекрасный сад,— с грустью думал Колокольцов, глядя на грядки цветущего адисая во дворе перед храмом.— Эти удивительные японские гортензии меняют цвет за лето трижды, цветут красным, синим и белым».

Хьюскен рассказывал Ельчанинову, как учит французский, показал книги. Поделился, что ведет на французском свой дневник, чтобы японцам не повадно было заглядывать.

Начались рассказы о Макао и о городе Виктория.

— Ах, эти Елисейские поля Гонконга! — восклицал Харрис, вспоминая увеселительные прогулки.— Называются Хеппи Уэлли — Счастливая Долина!

Утром Харрис сидел за своим дневником. «Что-то пора написать и о русском подарке, доставленном для японского императора. В конце концов никто не упрекнет. Я мог так понять. Я так и напишу».

«Шхуна «Хэда» легка и устойчива на ходу. Русские моряки, как

я понял, построили ее на реке Амур и прекрасно отделали. Шхуна приведена в Симоду как подарок японскому правительству...

Как я убеждаюсь, Россия тащится в хвосте других стран, посылающих свои суда в Японию. Это началось, еще когда Россия обратилась к Америке с просьбой об отправлении экспедиции в Японию, желая вместе с американцами послать и свои корабли в залив Эдо.

Как уверен Харрис и как ему это объясняли в Вашингтоне, командор Перри категорически им отказал, отверг предложения Нессельроде. Он даже Зибольду отказал за то, что тот ездил в Петербург, считая его шпионом! «Да, шхуна «Хэда» — мелочь и не может иметь никакого значения. Но все же лучше не упоминать, что ее построили в Японии. Здесь все начинают только американцы и никто другой. А из американцев я первый после Перри! Я внушаю японцам, что им надо создавать паровой флот. Но флота и машин они даром не получат!»

### Глава 27

#### ГЛУБИНА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ

Целое племя, многочисленное и даровитое, но долго отдаленное от остального мира положением своей страны и государственными уставами, примкнуло к торжественному ходу передовых народов земли...

*М. Венюков, «Обозрение Японского архипелага».*

— Вы желали узнать о Сибирцеве? — спросил переводчик Татноскэ-сан. — О нем что-то было известно. А, я вспомнил! Он был болен. Холера. Как всегда, я могу быть вам полезен, Александр-сан.

Татноскэ улыбнулся так ласково, что за дальнейшие сведения придется деньги платить. А Харрис еще удивляется, зачем нам деньги, мол, живем не по средствам.

— Да-а, конечно... Ареса-сан на переходе из Гонконга в Африку был очень болен. Могло быть, что он...

Ужасная судьба! Как блестяще он начал — и такой тяжкий конец.

— Почему вы спрашивали? Да, я знаю, вы были близким другом... А вы знаете, что в Гонконге Сибирцева-сан задержали англичане за перевоз артиллерии Китаю.

Что за чушь! Как это может быть?

— А потом его выслали из Гонконга в числе других пленных в Англию. На переходе началась эпидемия холеры, и он заболел. Многие умерли. Я так думаю... Я узнал случайно от других. Приезжала с английской эскадрой англичанка из Гонконга, очень знатная, и искала его сына. Я удивился... Я совершенно не знал... и был поражен... Разве у Сибирцева был сын? Я до сих пор ничего не знал.

— Она нашла его сына?

— Да, она была очень настойчивая. Но японскому Управлению ничего не известно.

Так у Алексея Николаевича все же сын! А сам он? Жив ли?

— А что это была за англичанка?

— Говорят, она в христианской миссии в Китае учит девочек. Очень молодая и красивая. Ее зовут Энн, и больше мы не узнали. Вернее, я не слышал.

— Кто из переводчиков с ней встречался?

— Мориама-сан.

А Мориама, улыбаясь, стоял рядом и все слушал.

— Мориама, вы видели приезжавшую из Гонконга англичанку?

— Да, я помогал ей. Очень молодая и приятная. Когда она упомянула имя Сибирцева, то краснела, и я решил, что она сестра Ареса-сан.. или... жена! Он ей не безразличен. Она очень хотела видеть его сына и готова была поднять на ноги всю японскую полицию и призвать западную религию и флот королевы. Она так и заявила, что

имеет право говорить от имени королевы и что королева Виктория имеет много детей и всех сама кормит грудью и не отдает их нянькам. У королевы прекрасный муж, но не имеет власти. Кое-что мисс Энн удалось узнать. Я помог ей...

— Так что же она говорила об Алексее?

— Ареса-сан был якобы арестован в Гонконге английской полицией за перевозку современных артиллерийских орудий в Кантон. Но на самом деле это сделал не он, а какая-то шайка спекулянтов. Мисс Энн говорила, что после высылки из Гонконга распространились слухи, будто на переходе в Индийском океане Сибирцев болел холерой и был брошен в мешке в воду. Англичане якобы хотели его судить за доставление артиллерии Китаю.

Уэкава с сияющей физиономией поднялся по трапу и кланялся встречающим офицерам. Сказал вахтенному офицеру, что желает видеть капитана господина Римского-Корсакова и обрадовать важным и приятным известием.

Посыет опять у Таунсэнда Харриса в Гекусенди, а Хьюскен вместе с Колокольцовым сегодня на «Оливуце».

Римский-Корсаков поспешно вышел на палубу. С Уэкавой прибыла целая свита чиновников. Внесли на руках что-то вроде плетеного сундука. «Что там?» — подумал Воин Андреевич, заметив таинственный багаж.

— Вот. Прибыло. Для вас, — улыбался Уэкава.

Можно с ума сойти! Неужели ратификация? Впрочем, быть не может!

— Это из Эдо?

— Из Нагасаки... Это-о письма, — любезно объявил и щелкнул каблуками Уэкава, — из России господам офицерам и матросам.

Чиновники достали из корзины настоящий почтовый мешок из грубой ткани, какие введены для перевозки почты в Европе и Америке на пароходах и по железной дороге.

— Очень большая тайна! Охрана частной переписки... Спасибо! Получите... — сказал Уэкава-сан.

Ушли в салон и стали разбирать. Писем множество, и офицерам и нижним чинам. Матросские отдали сразу же унтерам для раздачи.

Но у всех писем сургучные печати сломаны и письма открыты. Ельчанинову письмо от сестры Екатерины Ивановны Невельской. Они уже в Петербурге и собираются поехать в поместья в Смоленск и Кострому. Еще письмо от сестры Саши из Красноярска. На всех письмах штампы: Петербург, Амстердам... И японская печать тоже... Как они вперед шагают!

— Бог с ними, со сломанными печатями, — сказал Римский-Корсаков, передавая возвратившемуся Посыету целую пачку писем. — Слава богу, что пришли.

Хьюскен, гостивший на «Оливуце», развалился на диване, хохотал до упаду, глядя, как офицеры, перечитав письма, огорченно осматривают сорванные печати и как японцы извиняются за плохую работу голландской почты, которая так долго задерживала корреспонденцию.

Вечером молодой американец записал в дневнике: «Русские офицеры получили письма через Нагасаки, и японское правительство не поколебалось вскрыть каждое из них, что доказывает, что не одни лишь европейские правительства виновны в такой оскорбляющей недостойности».

Приехал Мориама Эйноскэ с пачкой газет под мышкой. Сказал, что подписался на гонконгские еженедельники и сегодня получил очередные номера через Нагасаки. Это ему разрешается.

Война в Китае в полном разгаре. Видимо, была сильная бомбардировка Кантона. Город разрушен. Слухи, о которых сообщал Уэкава, подтверждались.



Началось из-за лорчи<sup>19</sup> «Арроу». Ее хозяйева, гонконгские китайцы, подняли британский флаг и пришли в Кантон. Там полиция опознала в команде беглых преступников из Кантона. Власти Кантона их задержали. К этому придрались англичане, объявили действия кантонских властей оскорблением флага, и пошло и поехало. Китайский вице-король извинился. Но не тут-то было.

— Ужасно, если в Японии появятся такие же представители. Поэтому приходится следить... — сказал Мориама.

— За нами!

— Да, да... пожалуйста! Газеты можете оставить себе. Конфиденциально... Посэто-сама, могу сообщить... что мистер Харрис с этой же почтой получил американские и французские газеты, но ему писем не было.

Это в крови у них, хоть на кого-нибудь надо доложить «конфиденциально». Если не про нас, так нам про американца. А то и про своих донесут что-нибудь. Не сидеть без дела, как их приучило их же собственное правительство из самых возвышенных побуждений.

— Кажется, в Кантоне англичане устроили резню, — добавил Мориама печально. — Это нельзя узнать из прессы Гонконга. А вы знаете, что американский молодой переводчик каждое утро... в саду скачет, как козел. Очень удивительно! Ему некуда девать силы.

На корвет приехал вице-губернатор с сообщением, что прибыла ратификация из Эдо.

— Мы на днях уходим. Завтра решим, когда обмен ратификациями. Что еще сделать для вас, Таунсэнд? На прощание. Чего бы вы хотели? — спрашивал Константин Николаевич, заехав в храм на берегу.

— Молока! Мне нужны молочные продукты! — вскричал пьяный Харрис. — Я в отчаянье! Я жить без них не могу. Я просил, но меня не понимают.

— Уверяю вас, что молоко будет, — ответил Посьет, — я уже сказал японцам.

— Ничего не сделано до сих пор.

Харрис заговорил про Боуринга, что с ним самые лучшие отношения. Достал из стола его письма и прочитал отрывки. Действительно, тон дружеский.

— Но, дорогой коммодор! На все свои причины! Сэр Джон несколько раз говорил со мной, о чем я вас предупредил. Он хочет занять японский остров Хоккайдо и этим прочно изолировать Японию от России. Уверяет, что это в наших общих интересах. Базы английского флота вблизи берегов развивающейся Сибири! Он желал знать, каким будет отношение к этому Америки... и просил меня... о содействии. Вот как их озаботил Севастополь!

Посьет поехал из Гекусенди к губернаторам.

— Что же с доставкой коровы? Разве больше не доится в Хэде адмиральская корова?

— Корова? О-о, корова! — закачал головой Накамура-сама. — Нет, кажется, не доится. Оттуда сообщили, что она погибла. Бакуфу приказало уничтожить всякие следы близких сношений с иностранцами. И Ябадоо-сан, вероятно, сразу выполнил.

Убить корову за связь с иностранцами! Ну, до этого еще никто и нигде пока не додумался.

— Знаете, господа, — сказал Константин Николаевич, — видно, без американцев вам не обойтись в вашей истории. Если добром нельзя, то они заставят.

Накамура слушал печально и кивал. Как Посэто-сама не видит, что его самого обманывают!

<sup>19</sup> Большая палубная парусная лодка.

К Ябадоо в деревню Хэда явились чиновники от губернатора. У старика душа замерла. Но самурай — это воин. Никогда не боится, смело идет вперед. Кокоро-сан! О-о! Неужели начнется розыск снова? Ужасное положение! Неужели? Нет, не может быть. Кокоро-сан горд и молчалив, как воин, он все знает. А кто знает, тот молчит. Если он заявит, что у него тут должен быть сын, то на этот раз не вывернешься.

Ябадоо боевым маршем самурая повел чиновников к себе домой.

— У вас корова доится?— спросили его.

— Нет, нет... Уже давно не доится.

— Почему?

— Да незачем. Некому есть молоко. Это противная варварская еда.

— Жаль. Нужно молоко для американца... Приказано корову послать в Симоу.

«Корову я бы отдал. Но если отдать корову и окажется, что она доится, то дать повод к обвинению в политических ошибках и к розыску»,— так подумал Ябадоо.

Оказывается, для американского консула японское правительство ищет дойную корову, американец старый, хотя нахал и бабник и хорошо танцует, а, как известно, если старый человек хорошо танцует — это негодяй. А он негодяй. Но без молока у него кишки плохо работают и может быть конфликт с Америкой, у которой десять тысяч военных судов. Нужна дойная корова! У правительства все надежды только на Ябадоо-сан. Посыет, который тут жил и сейчас в Симоде и собирается сюда приехать вместе с Харрисом, сказал американцу, что в деревне есть дойная корова.

— О-о! — Ябадоо переменялся. Уже не в первый раз правительство не могло без него обойтись. Да, он поможет.

Ябадоо сказал, что старая корова зарезана как имевшая сношения с иностранцами. Но есть еще две коровы, которые доятся. Они отелись. У них есть молоко. Он сам их раздаивает. Умеет. Для правительства он готов.

На самом деле Ябадоо не убил корову, которую доил Янка Берзинь. Он очень любил это животное. Молоком этой коровы кормили любимого в семье мальчика. Это даже еще важнее, чем западный флот и стальные машины. Если все семьи вырождаются, то кто будет плавать на западных кораблях? А Япония заселится корейцами и китайцами. Сам тенно поплывет! Его семья божественного происхождения и выродиться не может.

— Также есть другие коровы. Беременные. Родятся телята, я сам раздою их для Америки. А сейчас одну подарю правительству не жалея для Соединенных Штатов.

— А когда это будет? Как она пойдет в Симоу?

— Пока дорога перекрыта, можно дать Америке слабительного отвара из кореньев. А через два дня после отпльтия Кокоро-сан корова будет в Симоде. А зачем пришел Посэто-сама?

— Нет, мы возьмем корову на наш корабль.

Ябадоо сказано под величайшим секретом! В Симоу из России пришла шхуна «Хэда», которую строили в этой деревне. Русский император прислал ее в подарок тенно, сиогуну и Японии. Дар этот уже передан в Симоде. Приезжала из Эдо особая комиссия. Кавадзи к русским больше не подпускали. Тем, кто с русскими знаком или встречался, запрещено даже приближаться. Даже полицейских переменили. Уэкава назначен капитаном западного корабля. «Хэда» уже стала японской. Уэкава-сан очень умело управляет и командует. Готов экипаж из молодых японцев. Все в парусине. Кокоро-сан и его экипаж перейдут на русский корабль «Оливуца» и уйдут в Китай. Война у них закончилась, но секреты не разглашаются.

Ябадоо уже слышал все это. Вся деревня знает все то, о чем велено молчать, храня секрет.

— А как живет Ота-сан? — решил спросить Колокольцов на закате, задержавшись с Корсаковым и переводчиком под сенью лавровишневых гигантов.

Солнце садилось за холмы.

— Очень хорошо, — отвечал Мориама, — Он переехал в Эдо и открыл банк. Отделение в Осаке... Ота-сан хотел бы растить внука... Но отец ребенка очень любит и решил воспитывать его сам. У семьи богатый новый дом в Эдо. Построен для Оюки, дочери Оты-сан, любящим супругом.

В Японии очень ценятся дети. Ота-сан любит внука и говорит, что он самый лучший ребенок в Эдо, — когда вырастет, то пригодится Японии. Ота-сан не уступает Ябадоо-сан в глубине человеческих чувств!

«Значит, жизнь распорядилась по-своему, — думает Колокольцов, отправляясь на корвет, куда матросы только что перевезли его вещи с «Хэды». Александру Александровичу надо осмотреться, прежде чем после сдачи «Хэды» переселяться совсем. — Итак, завтра уходим. Как говорится, два брата на медведя...»

## Глава 28

### А ДВА СВОЯКА — ЗА КИСЕЛЬ

«В исходе одиннадцатого часа свезли с корвета «Оливуца» ратификацию японских трактатов, причем салютовали тринадцатью выстрелами.

В половине первого часа в момент размена ратификациями на берегу подняли на мачте русский и японский национальные флаги, с корабля салютовано двадцатью одним выстрелом.

В половине третьего часа прибыли на шхуну вице-губернатор города Вакано Меосиро и командир шхуны офицер Уэкава Деничиро, которым по приказанию капитана первого ранга Посьета сдана шхуна.

В пятом часу прибыла японская команда на шхуну. В шесть часов по спуске флага командир шхуны лейтенант 23-го флотского экипажа Колокольцов, 4-го флотского экипажа мичман Казин и нижние чины — один фельдшер, два квартирмейстера и шестнадцать рядовых — перешли на корвет „Оливуца“.

Так записал командир шхуны «Хэда» лейтенант Колокольцов в шканечном журнале 25 ноября 1856 года.

Харрис записал в дневнике: «...мне доставили корову, и пожилая японка доит ее после нескольких преподанных мной уроков. Вчера и сегодня я с молоком и чувствую себя гораздо лучше. Показывал японцам, как пьется молоко, и объяснил, какие молочные продукты из него вырабатываются. Они были поражены и сказали, что это для них целое открытие, что я первый в истории Японии знакомя их с пользой молока и мои уроки не забудутся никогда, вечно будут помниться, пока сохранится любовь к Америке».

Харрис велел приготовить тогу посланника, желая сделать сегодня официальный прием.

...Римский-Корсаков искренне рад. Постоянно встречаешься, и невольно является дружеское расположение.

Харрис остер, умен, да и дело знает. Откуда он выброшен сюда, из каких недр? Сам говорит, что из Европы в Америку и обратно переплывал Атлантический океан много раз, жил в Англии и Франции.

Выражение лица его часто меняется. Он вдруг бывает обидчив и тогда словно хочет сказать: «Что? Как это вы обо мне понимаете, па-азвольте?» Глаза принимают злое выражение. Начинает нервно, брюзжа, но не теряя важности, доказывать что-то вроде того, что он посланник, а не консул, но что японцы крючкотворы, стоят на букве,

уверяют, что по договору, заключенному Перри, обязались принимать только консулов, а не послов. Но обычно Харрис приветлив и любезничает, любит кутежи, смех, анекдоты, тучная осанистая фигура трясется от восторга и самодовольства. При этом он многое слышит и замечает, и, когда надо, они с Посьетом умеют сообщать друг другу, что-то важное. Харрис бывает так мил, весел, радушен, что веришь, что он в Париже был любим и уважаем.

Бумаги были составлены и переданы друг другу. Письма написаны. Все проверено и обо всем уговорились. Посьет сказал, что сегодня японцы прислали на корвет еще восемь ящиков подарков для Петербурга. На прощанье Таунсэнд Харрис сказал Воину Андреевичу:

— Так дайте мне слово не стать в Макао моим соперником, мой goodlooking captain! Ха-ха-ха-ха-ха... Только при этом условии я даю вам мои наилучшие рекомендации.

Жали руки и обнимались.

— А вы со своим консулом в Хакодате оберегайте остров Хоккайдо от диких претензий гонконгских агрессоров,— говорил американец Посьету и попросил позволения на прощание поцеловать его.

Вечером Римский-Корсаков проверял записи в своем журнале, как переданы орудия погибшего фрегата «Диана» японскому правительству:

«Из них весной прошлого года шесть пушек взяли на шхуну «Хэда», когда она уходила из Японии на Камчатку. Вся остальная артиллерия сложена была рядами близ берега реки. Выстроены два караула, наш и японский. При передаче сказали несколько торжественных слов, подняли на мачтах флаги: наш и японский.

Пушки теперь принадлежат Японии. Они понимают, что орудия не новейшие, но еще не снятые с вооружения на всех западных флотах. Им все хорошо известно. Они очень нужны им».

Утро. Ветер свежий, с сильными порывами, малооблачно. Температура плюс десять. На рейде рядом с «Оливуцей» японские военные корабли «Хэда» и «Камидзава-ката». В начале девятого часа поднят якорь, и на буксире японских лодок корвет стал выходить из бухты Симода.

Александр Колокольцов теперь уже не командует судном. Смотрит на знакомую крышу храма Гекусенди, как при свежем ветре с моря на ней заполаскивало огромное звездное полотнище. Опять думалось, что он оставил тут и «Хэду», которую тоже любил, которую строил, и вообще простился со всем и всеми навеки, навсегда...

...По раздумью на досуге Накамура глубоко опечалился. С американцами будет еще хуже, чем с русскими. Неужели нам со временем придется готовиться к беспощадной войне с Россией, если даже этого не хотим? Опять учить детей бесстрашию, заставлять мальчиков смотреть на казни, а потом дома давать им вишневый густой напиток цвета крови, чтобы не боялись убивать и рубить головы. Трудно будет внушить японцам, что Путятин и Яся были ему врагами! Но ведь это знают лишь в Хэде и Симодэ. Ну, может быть, еще в Нарояме и Матсузаки, куда на днях Посьет пешком ходил через горы вместе с Харрисом. Знают в соседних селениях. А вся огромная Япония не знает! Ее можно превратить во французскую армию, которая сражалась под Малаховом за Англию.

Мориама Эйноскэ стал почти американцем. Он согласен с правительством — будущее Японии в дружбе с Америкой. Действовать, как американцы! Жить сытно, красиво. Но американцы имеют рабов-негров как рабочий скот. И русские еще хуже, держат в рабстве свой народ. А мы-то сами такие хорошие!

Американцы достигают прогресса, уничтожая индейцев! Это деловое развитие — уничтожить народ, который жил прежде на хоро-

шей земле. Если не уничтожать людей, то и нет прогресса! Так уверяет Мориама. Вот что думает японец, познакомившийся с западными представлениями!

— Америка богатая и сильная. Не такая богатая, как Англия, но будет еще богаче,— твердил Харрис, беседуя с Накамурой в Управлении.— И что вы? Что Россия? Вы видели, как они испугались. Я потребовал с них шлюпку — и сразу отдал.

— Заходите, Эйноскэ-сан, заходите, заходите. Всегда рады вас видеть!

Эйноскэ теперь в чине. Он один из важных мецке.

Старый переводчик, похожий на боксера, смолоду участник пыток европейцев, попадавших в Японию. Теперь Мориама Эйноскэ любит виски. Пришедшие с ним городские чиновники сегодня принимают благодарность от Харриса.

— Вы знаете, я вспомнил,— заговорил Мориама,— что русские, когда жили здесь, пекли хлеб. Вы могли бы делать то же сами. Вам надо постараться, мистер Харрис, и научить Японию употреблять хлеб. Вы могли бы этим прославиться.

Мориама свободно говорит по-английски.

— Я не пеку хлеб.

— Но у вас на кухне китайцы делают западные булки, сладкие и... и... наверное, кислые, как русские тоже...

— Да, да. И кислые.

— Мы полюбили Америку! — говорил пришедший с переводчиком сельский староста Хамада Иохэй.

— А вы объявите об этом в Америке?

— Да, да!

— Вы, пожалуйста, помните, что мы подали первый пример употребления молока.

— Да. Мы поставим памятник в знак благодарности вам и этому событию в жизни нашей страны,— нашелся Мориама Эйноскэ.— Нам нравится, что американцы очень смелые...

«Все равно все начинания в Японии будут мои»,— подумал Харрис, уходя во внутренние комнаты, чтобы кое-что записать, и оставя Хьюскена с гостями.

Харрис много думает о том, что со временем Америке предстоит встреча с опасными противниками на Тихом океане. Он записал: «В будущем здесь в конфликт придут между собой две величайшие силы в мире: демократизм и американское свободолобие столкнутся с русской тиранией...»

На «Оливуце», шедшей при ровном пассате к югу, тоже говорили в этот вечер о демократии и тирании.

Колокольцов дал понять Константину Николаевичу, что Харрис все же не производит приятного впечатления и полного доверия не заслуживает.

— Мы не в первый раз встречаем американцев и много видели прекрасных людей. В Европе считается, что в Америке самый справедливый демократический строй, лучшие умы Европы видят в океанской стране новый мир во всех отношениях, при такой демократической форме правления, когда каждая деревушка сама решает все свои дела и сама выбирает себе власть, а не прозябает, согбенная перед столицей, полицией и помещиком с розгами. Почему же являются тогда личности, спекулирующие демократизмом, приспособившиеся к нему хищники?

— Харрис свое дело знает. Они практики. Их надо знать,— отвечал Посьет.

Воин Андреевич полагал, что все зависит от личности, и стал развивать свои мысли о воспитании. Он воспитывал брата Колю письма-

ми. Матросов и молодых офицеров — примером. Он гневен, и готов к дуэли с Никольсеном, и готов держать за это ответ, согласен рискнуть всей своей карьерой.

Колокольцов напомнил про Сибирцева, как тот заметил однажды, что истинные христиане не в Ватикане и не в Испании, а в таких странах, как Япония и Китай, где христианство карается.

— Точно так же демократы являются там, где идеи демократии запрещены, отрицаются, где самовластье грозно давит на личность. Поэтому очень часто мы видим неприятное удивление американцев, когда наши офицеры и матросы выглядят благородней, честней и образованней.

Константин Николаевич полагал, что дело не в устройстве общества, а в породе человека. Есть люди, которые всегда благородны, умелы, им все дается. Они и воины, инженеры, мыслители. Они до конца доводят всякое дело. И необязательно такие люди должны быть аристократами. Они есть и в простом народе. Таким может быть пахарь, матрос, рабочий, который пригоден ко всему и всегда ценен.

После войны и тяжелых плаваний все офицеры, возвратившись в Петербург, конечно, выйдут в люди. Колокольцову быть на доках, на заводе, и не последней спицей в колеснице. Римский думает о других больше, чем о себе. Ему учить флотских офицеров. Дорога будет открыта перед каждым. И каждый из них много еще свершит и в тяжелых условиях. А Харрис в Японии присвоит теперь все, что русские начали. Но у нас дела другие. Их по горло. Надо строить железную дорогу через Сибирь.

Посыет раскусил Таунсенда Харриса. Платил ему полезными сведениями. И шляпку подарил. Подарил корову.

Колокольцову хотелось бы оставить его и без шляпки и без коровы. Как бы он выглядел? Смешно и жалко! Но Посыет в представителе Штатов хотел бы видеть надежного союзника. Если не Харрис, то кто-нибудь другой. А пока Харрис будет хвалить нас как людей воспитанных, которых он вокруг носа обвел.

## Глава 29

### РЕКА ПЕРЛОВ

Потомок завоевателей проповедует мир, в то время как член Общества мира проповедует стрельбу калеными ядрами; Дерби клеймит действия британского флота, как «позорные поступки» и «бесславные операции», между тем как Боуринг по случаю этого трусливого насилия, не встретившего никакого сопротивления, поздравляет флот с «его блестящими достижениями, беспримерной храбростью и превосходным соединением военного искусства с доблестью»...

Кроме опубликованных документов, должны существовать секретные документы и секретные инструкции, которые могли бы показать, что если д-р Боуринг и был одержим «манией» вступления в Кантон, то за его спиной стоял хладнокровный глава Уайтхолла, поощрявший эту манию и в своих собственных целях раздувавший ее из уголька во всепожирающее пламя.

*Карл Маркс, «Парламентские дебаты о военных действиях в Китае».*

В Гонконге, где все привыкли к картинной красоте своих солдат и моряков, в тяжелый, сумрачный день с дождем и ветром сходили с транспортных кораблей колонны бесцветных бородатых солдат. Это труженики войны — севастопольские братья. После окончания войны из Крыма их отправили в Китай. Заросшие еще в Балаклаве, в длинных шинелях, полы которых подоткнуты по-русски за ремни. Понюхали пороха и побывали в рукопашных, постоянно рыли могилы

и работали, проводя железную дорогу от Балаклавы почти до самого рокового Редана. Не столько товарищей схоронили от пуль и бомб, сколько от чумы, холеры, дизентерии, привезенных на позиции турками. Все узнали за годы войны, что такое полевые военные госпитали.

Вновь прибывшие наемники не требовали излишнего комфорта или развлечений. Они и не знают, что за прелесть китайские деликатесы и потехи, но к их услугам в городе открыт солдатский клуб, который по имени старинной игры в шары назван поистине народным названием «Pall Mall».

Так Гонконг предстал перед ними в ветрах и туманах, в осенней холодной сырости. Встречавший молоденький долговязый и жизнерадостный военный корреспондент газеты «Таймс» даже сказал весело: «Не правда ль, стоило ли ради того же самого плыть за десять тысяч миль!»

По набережной Гонконга, держа ногу, прошел батальон китайцев в конических шляпах и дабовых штанах и халатах, в ремнях и с золочеными надписями на широких лентах во всю грудь наискось: «Милитари сервис». У некоторых из них есть оружие. Эти «военнослужащие» предназначены для перетаскивания тяжестей, рытья укреплений, для подноски еды солдатам, патронов, ядер и бомб, для всех тяжелых работ. Между собой офицеры их называют кули. Через несколько дней их грузили на суда вперемежку с морской пехотой, с артиллерией, с севастопольскими братьями и сипаями из Индии и с афганцами. На пароходы, на парусные корабли, на баржи, которые тянулись за дымящимися буксирами. Пошли китайские джонки под оранжевыми и желтыми парусами с изображениями иероглифов победы и драконов, с огромными глазами рыб и морских чудовищ на носах и кормах и с британскими флагами на мачтах. С командами из китайцев под начальством ласкаров и британцев.

Вся эта масса кораблей, выйдя из извилистого пролива, служившего отличной бухтой Гонконгу, направилась, минуя несколько мелких островков, в огромное, подобное морскому заливу устье реки Сицзян, или Кантон-ривер. На морской карте расходящиеся берега этого устья, или лимана, удивительно похожи на гигантскую, оскаленную в ярости пасть тигра. Этот китайский тигр извечно хочет загрызть и поглотить флоты морских пришельцев. Португальцы, объявившие себя первооткрывателями, так и назвали этот залив Восса Tigris — Пасть Тигра. На оконечности правого берега, или верхней челюсти этой пасти, как украшение, воткнутое в губу, поместился Макао. А на нижней челюсти, тоже у самого кончика, остров Гонконг.

Гонконг и Макао вместе стремились создать невидимый бутель, которому не страшны волны и скалистые зубы Восса Tigris. Этим бутелем зажаты, как наборные части мачты, все многочисленные входы и выходы в протоки Кантонской реки.

Флот двинулся в реку Жемчужную — левую протоку реки Сицзян. Жемчужная глубоководна, широка, знаменита тем, что на ней издревле происходили все стычки и сражения с пришельцами из-за морей, начинались и продолжают до сих пор международные торговые сношения. Кантон — известная приманка для всех купцов и морских разбойников. А за последние годы иностранцы так укоренились по островам и на реке, что напротив Кантона пониже по течению ими построен глубоководный порт и даже доки в местечке Вампоа, которое разрослось и обстроилось прочными, всегда хорошо покрашенными зданиями европейского типа. Жемчужной название дано тружениками реки, ищущими в ее русле раковины с драгоценными наростами, идущими на украшение костюмов, шапочек-дынек и на наряды женщин. Европейцы понимают в ином, более близком для них значении название Pearl-river — река Перлов. Они расширили

и углубляли, нагружали все больше эту главную и драгоценную артерию торговли и экзотики, на которой теперь происходило небывалое столкновение.

Любознательные практичные китайцы искренне, постоянно с внешним спокойствием и пренебрежением, но жадно стремились узнать, что произведено в западных странах. Перлы со всего мира шли по Жемчужной вверх, а вниз по этой же великой артерии — богатства Китая, его всевозможные изделия: шелка, фарфор и ажурное золото растекались по всему миру. Гонконг и Макао стали двумя тяжкими кольцами на губах Пасти Тигра. Но ее нельзя было застегнуть замком. Не было и нет сил на свете, в том числе и в самой столице Китая, как и на «снежной голове» Гонконга, которые могли бы приглушить движение жизнеспособного и деятельного народа Поднебесной. Но европейцы и американцы не менее жизнеспособны и деятельны. Аппетиты росли с обеих сторон, и те, кто больше всего преуспевал, больше всего стремились к конфликту.

...Пальба с парохода «Барракута» по Кантону была зажигающей и разрушительной, но это лишь первые сигналы к началу общих действий.

Мелкосидящие суда местной постройки тянулись на буксирах за речными пароходами или подходили на парусах и скапливались массой с разноцветными десантами всех родов войск.

Вспыхнули борта стоящих в отдалении больших кораблей, начался барабанный огонь фрегата «Пик», как всегда, под командованием Никольсена. Пальба слышна на реке ниже Кантона.

Коммодор Чарльз Эллиот с отрядом винтовых судов, вернувшись из Сибири, бомбардирует в упор каменные и глинобитные форты китайской крепости, построенной под крутым обрывом высокой каменной сопки на том же левом берегу, что и Кантон. Капитан Каллаган прекрасно действует на фрегате «Сибилл».

Китайские купцы превратили свои магазины в больших городах Китая в райские уголки, изобилующие самыми прекрасными произведениями, привезенными из стран варваров. Но реку охраняли все те же старосветские, полутысячелетней давности форты, издали похожие на длинные двухэтажные и одноэтажные казармы, протянутые под скалами по узкой полосе берега и вооруженные не только чугунными, но и деревянными пушками, которые дают сокрушительный выстрел, но единственный, так как сами от него рвут обручи на своих ствόлах и приходят в негодность.

Защитникам такого форта под градом бомб и ядер деться некуда. Они поставлены, чтобы обнаружить стойкость и готовность умереть. Их узкая старомодная крепость между водой и высочайшим обрывом как бы нарочно для того, чтобы был расстрелян ее гарнизон: никому и некуда спастись.

Бьют корабли «Сибилл», «Винчестер», «Медуза», «Монарх». Множество труб и мачт.

В минувшее лето пароход «Барракута» был с эскадрой на описи побережий южнее устья Амура. Начали с северных гаваней. «Барракута» на буксире ввела фрегат «Пик» в Императорскую гавань.

Десантные партии собирали ревень. Матросы чистили и ели его тут же, вспоминая абрикосы, бананы и виноград. К их удивлению, в лесу рос виноград. Странное место!

Говорят, что каким бы создателем ни был человек, но он особенно любит разрушать. Поджигали факелами. Деревянные дома и казармы загорелись. Фрегат «Паллада» затоплен был самими русскими тут же, в главной гавани, вблизи входа. Шлюпки ходили на опись. Нанесли на карту и промерили все пять бухт Императорской гавани и переименовали ее в залив Барракута.

...До корейской границы от устья Амура в эту навигацию все



описано. Лучшая из гаваней найдена не на юге, а на севере и названа порт Сеймур — по имени командующего эскадрой, принимавшего участие в этом деле. Имена многих офицеров, в том числе и master Мэя, даны другим бухтам...

...С рейда длинные орудия «Барракуты» бьют уже в застенный Кантон, зажигая город бомбами и калеными ядрами. В этом людском муравейнике все приходит в движение. Повалил дым, как при лесном пожаре. Плавающий город рыбаков, перевозчиков и нищих расплылся во все стороны еще за несколько дней до начала битвы. Берега и пристани на виду, обнажены, на них с бортов пароходов и лодок уже перекинуты трапы и неторопливо сходят заросшие бородами крымские солдаты с отличиями на одежде. Сходят и белокурые молодцы в красных мундирах. Сходят, и снова возвращаются, и снова сходят проворные «милитари сервис», перенося на берег тяжелые грузы на плечах. Тут же чалмы афганцев. Тут же картинные ласкары и сипаи.

Грохот артиллерийской канонады удваивается. Пальбу поддерживает французская эскадра — «Сибилл», «Константин» и «Облигадо».

По трапам на берег Китая идут французские стрелки из Алжира и стрелки из Крыма, герои Малахова кургана. Они в кепи и голубых шинелях, все с усами и бородами а-ля император.

Кантон горит.

Но иногда со стен города раздаются сильные выстрелы из современных орудий, и бомбы, настоящие бомбы, подобные тем, что летели у Свеаборга и Кронштадта на суда Дундаса и Сеймура, прилетают и здесь на борта кораблей союзников. Эти перлы не китайского происхождения. Но вскоре стрельба из современных нарезных орудий прекратилась. Можно понять, что китайцы их, как драгоценную драгоценность, постарались увезти куда-то далеко, предвидя падение города, или просто жалели стрелять из хороших пушек.

Артиллерия союзников заканчивает уничтожение всех фортов противника, выдвинутых вперед на подходах к Кантону на обоих берегах реки. Их стены в брешах, легли грудами камни и глина.

Майкл Сеймур сумрачный, как всегда, сходит в черной повязке и плаще с огромного военного парохода «Калькутта» на плоскодонное винтовое судно. Идет в пекло морского боя.

На матчах судов появились новые сигналы. Сотни пушек заговорили теперь во всю глотку. Все корабли дружно переносят огонь на цели в застенном городе.

Красные ряды морской пехоты, голубые ряды французов тронулись. Бесстрашные севастопольцы идут впереди. В рядах с ними вперемежку услужливые наемники «милитари сервис». Атака начинается. Посмотрим, как встретят ее маньчжурские и монгольские воины богдыхана!

В июле и августе Майкл Сеймур побывал на описи Приморья, куда стремились еще Стирлинг и французский адмирал.

Надо решать, что делать дальше. Если Боурингу разрешат занять северный остров Японии, то порт Сеймур и Хакодате сохранят морские пути торговых держав в неприкосновенности. Дела подобного рода решаются в Лондоне. После войны, тяжелой и большой кровью достигнутой победы могущественный Пальмерстон осторожен. Начинать новую войну с Россией для Англии равнозначно потере второго глаза для сэра Майкла.

Обдумать и представить замечания и документы он обязан. Сеймур остается сторонником оттеснения казаков, закрытия их выходов. Занятия гаваней. Именно поэтому Сеймур согласился назвать самую нужную, по его мнению, гавань своим именем. Выдвинутая на север, она будет форпостом против тиранических казаков. Этим она удобна. В то же время очень хороша как гавань.

В сентябре флот вернулся в Гонконг. Южные гавани на побережье Приморья пока не имеют цены для Сеймура, он полагает, что флоту нужна база северней для сдерживания потенциального неприятеля.

Но в октябре произошел инцидент с лорчей «Арроу», ставший известным во всем мире, и сейчас уже не до Приморья и не до открытий на берегах Сибири. При всем военном бессилье Китай всегда остается опасным противником, и спокойной может быть около него лишь такая страна, которая сохранит многолюдье, подобное Китаю, и разовьет в своем народе практицизм, подобный китайскому.

К войне с Китаем шло давно. Глупо винить лишь англичан за раздувание инцидента с лорчей «Арроу». Китайцы сами дали повод и первый знак ненависти, в феврале убив католического миссионера. И уже тогда были посланы в Париж и Лондон просьбы о присылке в китайские моря героев Редана и Малахова.

Адмиралу понравился залив из двух уходящих в горы бухт, соединенных узким глубоководным проливом. Сравнительно небольшие бухты. Сначала входишь с моря в одну, а потом оказывается, что между холмов в лесах скрывается другая. Решили, что эта лучшая гавань на побережье Приморья. Ее-то и назвали порт Сеймур. Но смеем ли мы ввязываться в войну, подобную севастопольской, если к этому нет кричащих поводов? При всем умении и быстроте, с какими совершена опись Приморья, нанесены на карту роскошные архипелаги принца Альберта и императрицы Евгении, заливы Виктории и Наполеона III, все это вряд ли поведет к чему-то решающему. Вряд ли там будет колония в климате, напоминающем родную и милую европейскую природу. Но с гораздо большей роскошью растительного мира.

Русским помогли жертвы, которые приносят сейчас китайцы под потоками наших бомб и ядер. Китайцы, кажется, нелепо жертвуя, защищают невольно их интересы, отвлекая нас. Известно, что в Китае выражалось чувство глубокой благодарности Муравьеву, после того как произошла битва на Камчатке.

Сеймур — воин, видел кровь, бывал в боях. Он продиктует свои условия кантонскому вице-королю маршалу Е. Он, сидя за столом, беспощадным взглядом укажет прибывшей с повинной китайской делегации место и ее униженное положение. Дело есть дело.

Но Сеймуру в глубине души не очень-то нравится после Свеаборга, Севастополя и Кронштадта сражение хорошего современного флота против беззащитного города, где детей и женщин в десятки раз больше, чем солдат, и в десятки тысяч раз больше, чем палачей и мандаринов.

### Глава 30

#### ПРОЩАНИЕ С МАКАО

Я люблю остатки красоты больше, чем саму красоту...

О. Роген.

Решено не идти в Гонконг. Зайти нейтральному судну в порт воюющей державы не возбраняется, но все же лучше быть подальше.

Все же надо признаться, что без ремонта в Гонконге или Вампоа перед дальним плаванием не обойдешься. Но, кроме того, дел тысяча, деньги надо в банке получать и деньги надо уплатить поверенным Харриса, в контору Армстронга и Лоуренса.

Посыет решает при первой возможности срочно отправляться с почтовым пароходом в Европу. Плавание на «Оливуце» для него заканчивается. Он должен будет в Макао подготовить почву для приез-

да в будущем году нашего посланника Евфимия Васильевича Путятина, которого назначают, по всем признакам, уполномоченным в Китай для ведения переговоров обо всех делах, в том числе и о границе. Если весной китайцы не пропустят из Иркутска через Монголию в Пекин, то придется ему плыть. Теперь у Муравьева в Николаевске-на-Амуре есть превосходный пароход «Америка», купленный, точнее заказанный Казакевичем в Штатах и пришедший в его распоряжение. Петр Васильевич Казакевич, возвратившись из Америки, назначен губернатором Амурского края в Николаевск, где ему придется продолжать все дела, начатые с американцами в их стране, и полученными от них судами распоряжаться и командовать эскадрой.

Надо в Макао так устроить дела, чтобы Путятин, если явится, почувствовал бы себя удобно. У Посьета в Макао приятели и знакомые. Письмами Харриса придется воспользоваться.

Посьет спешит в Россию. Надо Горчакова поставить в известность о том, что намереваются предпринять Боуринг и Сеймур в отношении Хоккайдо и Приморья. Жаль, что трудно, верно, будет узнать подробности описей бухт Приморья, совершенных их флотом. Но попытаться надо, хотя времени нет. И нет офицера, которого можно было бы тут оставить. Все рвутся домой.

Но главное, с чем надо спешить в Петербург,— ратификация. И, конечно, надоело тут все до невероятия, до смерти, пора домой, в Европу! Только при обязательности Посьета и при качествах его характера, при его выучке он все исполнил точно, терпеливо и не торопясь. Но и опротивело все!

В первую очередь письма к американцам Дринкеру в Макао и Армстронгу в Гонконге. Посьет, как и Корсаков, надеется также на португальцев, говорит, новый их губернатор, назначенный из Лиссабона, хочет восстановить престиж и значение колонии, будто бы привлекая американцев. Португальцы сами одряхтели будто бы, частью вымерли или смешались с китайцами. Хьюскен уверяет, что почти все население Макао состоит из метисов, малайцев и китайцев и от обоих народов не унаследовали достоинств, а только пороки. Но, как знал Посьет, португальцы весьма честны и порядочны, а главное, как и американцы, не любят хозяев Гонконга. У янки даже есть заповедь: верить в бога и ненавидеть Англию. Путятину лучше будет в Макао, не из английских рук смотреть на Китай.

«А что ждет нас в Петербурге? — думал тем временем грустный Колокольцов.— Согласятся ли там исполнять то, что нам надо на Тихом океане? Обрадуются ли нашим успехам? Горчаков — человек дела, друг Пушкина и когда-то его единомышленник. А остальные? Еще нельзя отделаться от наших сытых блудливых старичков, «играющих в ордена, ленты и звезды». Правительство так и не удастся обновить. Все еще не могут освободить крестьян, хотя уж и сами блудливые старички понимают, что избежать этого не удастся. И теперь уж только хотят при реформе урвать себе выгод побольше! — С такими новостями уехал Александр Колокольцов из Петербурга и теперь к ним же возвратился.— Хотя еще не скоро все это будет и если дойдем благополучно».

Воин Андреевич Римский-Корсаков думает о своем: «Макао от Гонконга близко, сорок миль через Пасть Тигра, узнаем все, где, почему и какие события. Но каковы японцы! Закрытая страна была, когда три с половиной года тому назад впервые увидели ее берега, явившись на эскадре Путятина. А теперь раньше нас узнают о событиях в мире. Следят за тем, что происходит в Китае, их беспокоит, не хотят себе такой же судьбы, как у Поднебесной».

Макао открылось. Торжественно смотрят ввысь сдвоенные стрельчатые башни старинных католических соборов. Видны крепостные стены, форты... Каменное распятие у входа в гавань.

Посьет живо снесся с Дринкерами, а через два часа после того как бросили якорь съехал на берег.

Португальский губернатор в прекрасном дворце с тенистыми деревьями вокруг принял Посьета, Корсакова и офицеров в зале с красными занавесями, с колоннадой и полами из розового мрамора.

Узнав, что «Оливуцу» желательно исправлять не в английских доках, предложил сделать ремонт на соседнем островке, входящем в состав территории Макао. Там есть умелые рабочие и все нужные приспособления.

Макао и Гонконг — это больше не кролик и удав. Прежние португальские губернаторы как загнипнотизированные смотрели на своего соседа на другой стороне Пасти Тигра. Дон Хуан Антонио де Кастилино намерен все привести в порядок в колонии, для этого привлекает не только оставшихся у дела португальцев, но и американцев. Сэндвич Дринкер его личный друг и частый гость.

Бал во дворце в честь русских гостей с испанским блеском. Воин танцевал с Катти. Рано развившаяся, выросшая в португальской колонии... Не удержался, от чего его полушутя предостерегал Харрис. Какая прелесть эта Катти Дринкер! Когда ей представили Воина Андреевича, спросила с удивлением, как бы не расслышав имени:

— Вы не брат Сибирцева?

— Я Римский-Корсаков!

— Вы... не Сибирцев?

Предложила сыграть в шахматы. Обыграла Корсакова. Сказала, что в Гонконге все знают Сибирцева. Его любят там. Вы понимаете? Алексей Сибирцев. You see? Желала бы его видеть. Он тяжело заболел в плавании, был при смерти, но поправился на Капском мысе, стал еще мужественней и красивей.

И это девочка в пятнадцать лет! Впрочем, кажется, ей уже шестнадцать. В этом возрасте и в Америке и у нас замуж выдают...

В Гонконг утром уходили на шлюпке, приготовься с вечера, как к дальнему вояжу.

Были в банке. Армстронгу отдали долг. Заказали у него же все что надо для плавания.

Армстронг закажет каюту для Посьета на почтовом пароходе, идущем в Египет, с оплатой проезда через пустыни и города — в Порт-Саид и оттуда в Неаполь через Средиземное море. Кюта будет, Посьет может сесть в Гонконге. Но еще проще в Макао. Все почтовые пароходы отдадут честь португальскому флагу и бросают якорь на рейде Макао.

В Гонконге узнали, что Сибирцев ходил в Кантон с разрешения губернатора. Что он принят был в доме сэра Джона Боуринга. Что Гошкевич читал англичанам доклад во время войны. За поездку в Кантон Сибирцев попал под арест. Как и все его товарищи, был в хороших отношениях с американским банкиром Сайлесом, у которого дела недавно пошатнулись. Сайлес знает о Сибирцеве все подробности, и с ним советовали увидеться, но банкир в отлучке, ушел в Нагасаки. «Когда-нибудь еще увидимся», — полагал Посьет.

Корсаков и Ельчанинов решили сходить на пароходе в Кантон. Дринкер предложил им свои услуги. У Дринкера три прекрасных пассажирских парохода опять ходят по Кантонской реке. Рейсы возобновлены.

Римский-Корсаков явно влюблен в Катти Дринкер. И она в него. Воин Андреевич больше уже не упоминает Фредерика Никольсена, забыл про свое желание вызвать его на дуэль. Вот как изменяются благородные намерения, когда молодой блестящий моряк испытывает увлечение.

Странно, что в Гонконге все помнят Сибирцева, спрашивают о нем и рассказывают. Чем он на себя внимание обратил? Неглуп и практичен, как американец.

Посыет простился с доном Хуаном де Кастелино, с Дринкерами.

Хьюскен называл Макао tomb, то есть гробницей, надгробным памятником. Говорил, что тут все в разрухе, все валится. Правда, чувствуется некоторый застой в торговле. Многих товаров нет. Нельзя сухарей и риса запастись. Римский-Корсаков заказал в Гонконге.

Гонконг перебивал торговлю у португальцев, но еще не съел Макао, хотя, видимо, много соков высосал. Великий торговый путь идет теперь не через Макао. Новый губернатор все это понимает. Португальцы хотят взяться за дело, идет постройка новых складов. Макао далеко не «томб», а прекрасный, удивительный городок. Гостеприимные дома, любезные хозяева, никаких следов португальской колониальной свирепости. Хотя солдаты — негры и колониальная держава еще чувствуется.

Прелесть набережная Прайя-Гранде вдоль всего восточного побережья, с дворцом губернатора, с большими, старинной постройки особняками грандов и зданиями торговых компаний. Собор с фресками.

Хьюскену не понравилась картина в соборе. Изображено, как Иоанн Креститель отражает в XVI веке голландское нападение с моря на Макао, командуя португальцами. Но тут у Хьюскена задета голландская гордость!

Римский-Корсаков ежедневно ездил на берег один или со своими офицерами то в гости, то по делам, и очень нравилось ему пройтись по великолепной Прайя-Гранде, где вечером, сидя на скамейках у каменного парапета или прогуливаясь, любезничают разряженные, европеизированные до мозга костей парочки.

— Ах, разве вы не знаете, почему на самом деле Сибирцева отравили из Гонконга? — с недоумением воскликнула Катти. Она приняла вопрос Римского-Корсакова за наивность.

Мисс Катти расхохоталась звонко и раскатисто. Милое дитя, прелестное создание! Она уверена, что Сибирцев не пропадет. Слышала о нем. Желала бы познакомиться.

Посыет прошел на шлюпке мимо «Оливуцы» к пароходу, ожидавшему на рейде. Помахал рукой с платком.

«Оливуца» скоро уходит, исправления сделаны. Судно перешло от островка к городу. Из Гонконга буксир привел баржу с рисом, мукой, маслом и всем остальным, что заказывали. Корсаков и Ельчанинов ездили в Кантон, но неудачно. Их отравили китайцы хлебом, приняли за англичан. Теперь оба поправились, разгуливают по палубе.

Посыет уже на пароходе, прощается с Макао, чего давно желал. Вскоре исчезло двухтрубное судно, оставив над морем в тихом воздухе черные полосы дыма.

«Скоро и мы пойдем. Что-то у нас на Амуре? — вдруг вспоминает Римский-Корсаков. — Разве дело в мести Никольсену!»

### Глава 31

#### «АВРОРА» СНОВА ПОЯВЛЯЕТСЯ

На корабле «Аврора» не знали о происшедших событиях, как и о тех дальнейших действиях, которые предполагались союзниками в Китае. «Аврора», выйдя из гавани северного Приморья, не заходила ни в один порт по пути в Гонконг. Но если бы и знали о войне с Китаем, все равно бы зашли в Гонконг. Фрегату нужен ремонт.

Взяв лоцмана, который рассказал новости, пошли в пролив. При полной парусности, во всем устаревающем великолепии, так трогательным еще до сих пор сердца моряков всего света, с резной богиней на носу. Заслышались команды на русском языке.

На судах и на берегу множество людей смотрели на корабль из страны, которая так долго считалась неприятельской.

Убрали паруса и на буксире шлюпок поползли среди множества торговых и военных судов, стоявших на якорях и у причалов или двигавшихся по проливу, похожему на реку.

— Э-э, господа, а здесь не на шутку война! — сказал капитан Изыметьев, вытирая лысину платком. У старого вояки глаз наметан, понял, что означает погрузка войск, китайские джонки под британским флагом, с пушками на носу и на корме, небольшие госпитальные суда.

Ничего не знали, но все узнавали быстро. Шлюпка сходила на берег. «Будут ли ответные салюты?» Ответ доброжелательный.

Раздался гром русских орудий в Гонконге. Ну что же! Салюты славному флагу владычицы морей! Флагу губернатора и посла! Неприступной крепости Гонконг. Докам Купера и прославленной британской промышленности...

Орудия крепости отвечали выстрелом на выстрел.

Хотя войска грузились, но война на Кантонской реке, видимо, утихла. В газетах описываются схватки на воде под заголовком «Охота за джонками».

Простым глазом видно: на противоположном берегу пролива возведены укрепления из мешков с песком, над ними поднят Юнион Джек на мачте и прошаживается британский часовой с ружьем.

Госпитальные суда не уходят. Раненых и убитых, как рассказывают портовые служащие, мало, гибли массой китайцы, бессильные против современной артиллерии. В городе все; с кем пришлось встречаться, даже американцы и немцы, склонны полагать, что иначе и быть не могло, всякому терпению есть предел, что, несмотря на жертвы, понесенные Китаем, этого урока еще мало, мандарины упрямятся.

Изыметьев сидит за огромным столом на обеде, который задают гостям английские офицеры кораблей, не вовлеченных в военные действия.

Добрый, усатый, боевой капитан с толстым носом, рыхловатый на вид, он одержал победу. Как это могло быть? На него украдкой поглядывают молодые англичане, полагая, что не столько он победил, сколько они оплошали. Вообще старшие чины русских толстоваты и лица у них некрасивые, не производят впечатления.

Разговоры: как в Кантон вошли английские и французские войска; союзники, видно, впитались в Китай; на Кантонской реке опять начались перевозки и уже пошли пассажирские суда; военный флот несет службу на всем пути до Кантона, и корабли готовы к отражению новых нападений; все почти как в мирное время. Англичане, смеясь, рассказывали, что в городе всем известно, что неуловимый фрегат «Аврора» пришел с самыми прекрасными намерениями, и все хотят видеть загадочный корабль бывших противников.

Уже выпили за здоровье королевы и за здоровье молодого императора России.

Лейтенант Фесун стал рассказывать, как ночью в Татарском проливе адмирал Путятин на шхуне «Хэда», идя из Японии, проскользнул под кормой английского крейсера и ушел в Амур.

— Черт побери! — вскричал молоденький лейтенант Каллаган, сын известного Каллагана. — Это была моя вахта!

...В эту ночь вечный труженик моря коммодор Чарльз Эллиот стоял с непотушенными огнями на своем винтовом пароходе-корвете на реке Жемчужной у острова Дент, где когда-то, в годы молодости, он сражался с китайцами. Войну, какую теперь начал Пальмерстон смело и без объявления, затеял тогда сам Эллиот.

Дул холодный ветер с дождем. И в такую погоду наблюдать за рекой приходится. Форты у входа в реку разрушены. Но с верховьев

время от времени появляются вооруженные мелкосидящие суда и совершают ночные нападения. Мандаринская джонка или просто лодка неслышно подойдет к военному кораблю и взорвет его вместе с собой.

Над рекой Жемчужной черная зимняя ночь, ни зги не видно. Исчезли во тьме близкие острова с плодородными низинами и берега с дамбами и журавлями для качания воды. На баржах, шедших с грузами из Кантона и вставших на ночь на якорь вблизи военного судна, огни тоже не погашены.

Компрадоры уже ведут операции: прием грузов опиума и других товаров. Возобновлены и перевозки в занятый англичанами Кантон.

Снизу, звонко шлепая плечами, идет небольшой колесный пароход. В этом нет ничего удивительного. Пароход как пароход, не может принадлежать мандаринам. Гонконгские шкиперы отлично знают реку, она промерена, обставлена знаками и кое-где впервые горят сигнальные огни, поставленные после победы англичанами.

— Коммодор Чарльз Эллиот!.. — кричат с парохода в трубу, равняясь с военным кораблем. — Его превосходительство коммодор Эллиот!

— Что вам надо?

— Срочно нужен коммодор Чарльз Эллиот!

— Зачем вам?

— Передать срочное сообщение из Гонконга! — продолжал голос с американским акцентом.

— Где это сообщение? Подайте сюда!

Видимо, какой-то коммерсант идет в Кантон за баржами с шелком и фарфором на своем быстроходном пароходике с новой машиной. Возможно, что с ним кто-то из офицеров с пакетом для коммодора. Или, может быть, что-то надо передать. Американец не соглашается говорить ни с кем, кроме коммодора.

В трубу ответили, что коммодор сейчас будет. За Эллиотом сходили вниз.

— Коммодор Чарльз Эллиот слушает! — раздался над ночной рекой голос, который знали на всех морях и побережьях.

— Коммодор Чарльз Эллиот? — переспросил американец.

Это был Сайлес Берроуз. Он начинал восставать из нищеты и ничтожества. Сначала мистер Вунг частично покрыл его долги и тайно одолжил денег. После разгрома мандаринов купцы стали возобновлять сделки с Берроузом. «Боуринг меня подвел и разорил. И Боуринг, сам того не желая, выручил. Он воевал для бизнеса, значит, и для меня». Сейчас, на реке, Сайлес чувствовал, что снова становится человеком.

— Да, да. Я Чарльз Эллиот. Что у вас за сообщение?

— Это вы?

— Это я! Коммодор Чарльз Эллиот!

— Слушайте меня! Русский фрегат «Аврора», который вы искали по всему океану, пришел в Гонконг и ищет вас!

— А черт тебя побори! — в бешенстве зарычал Эллиот и погрозил кулаком. — Негодяй! За этим ты меня разбудил? Чем у нас заряжено кормовое орудие? — обратился коммодор к вахтенному офицеру.

— Ядром, ваше... — отвечал вахтенный лейтенант.

— Выпалите по этому янки! Пусть заткнет свою глотку! Эй, прощайся с жизнью!

Замашки старых времен! Приказ не сразу выполняется. Когда раздается выстрел, пароход уже далеко, но еще слышно, как он шлепает по ночной воде плечами и доносится хохот американца. В рупор откуда-то издали опять кричат:

— Коммодор Чарльз Эллиот!.. Ха-ха-ха!.. «Аврора», которую вы искали, пришла в Гонконг и ищет вас!..

---

---

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## КСЕНИЯ НЕКРАСОВА

Ксения Некрасова, которая, по словам С. С. Наровчатова, «поэт в самом чистом виде», воспевала жизнь словами «в золотом, как солнце, окружении»... Писала стихи, вовсе не заботясь о рифме, рифма вообще за редким исключением в ее произведениях отсутствует. И без этого бесконечно нас околдовывает.

Детство ее прошло на Урале, вблизи реки Исеть, в местах, по выражению Ксении, «неизъяснимой красоты». Именно здесь родилось ее необыкновенное дарование: «И шелест буйных трав мой возвышал язык». Училась в шадринском педтехникуме. Короткое время работала по культурной части на заводе (Уралмаш). Поехала в Москву и поступила учиться в Литературный институт имени М. Горького. В поэтической толпе молодежи ее особо отметил Н. Н. Асеев и рекомендовал ее стихи в журнал «Октябрь». Великая Отечественная война застала ее в Донбассе. Эвакуировалась в Среднюю Азию. В Ташкенте встретила с Ахматовой.

В 1955 году К. Некрасова выпустила тоненькую книжечку «Ночь на баштане» («Советский писатель»), в которую вошло всего 11 вещей. Потом Егор Исаев отобрал ее стихи для новой книжки «А земля наша прекрасна!», которая вышла в 1958 году, но Ксении уже не было в живых.

Мне, автору этих строк, удалось найти множество ее стихов и опубликовать три сборника. Последний — «Судьба» — вышел недавно, в 1981 году, в «Современнике». Стихи «Улица Горького», «Сказка» и «Ты любишь, женщина...» публикуются впервые.

Л. Рубинштейн.

### УЛИЦА ГОРЬКОГО

Последнее время во мне  
как-то все необычно:  
от людей,  
от их глаз,  
от нечаянно сдунутых с губ  
золотолистных речей  
и от улицы Горького.  
Слово прохожие в воздух

уронят,

а у меня под сердцем  
пастбища горные,  
и эхо слово поймает,  
покатит и в травах  
тончайших спрячет  
от глаза дурного.  
И опять улица Горького,  
а по бокам дома

и лица идущих,  
и глаза,  
как тайное тайных,  
лежат поперек лица.  
А я ведь поэт  
и отгадчик вселенной,  
сподобленная проникать  
в зрочки  
и вынимать спрятанное  
в уголках души.  
И снова улица Горького,  
а по бокам дома  
и лица идущих,  
и глаза,  
как неразгаданные планеты,  
мерцают под сенью лба.



## СКАЗКА

Я сидела ниже травы,  
тише листвы.  
А выше моей головы  
цвели на грядках цветы.  
И лиловые залы видела я  
и оранжевое убранство их.  
Цветочный паломник —  
косматый шмель  
в дом голубой  
на зеленом стебле  
не стуча, не спрося влетел.  
А в зале чаши  
нет никого,  
и тычинки стволы пусты.

И на ложе любви —  
ни капель,  
ни одежд,  
ни росы,  
и лапки шмелю ни к чему  
без желтых следов пыльцы.  
И незванный гость  
зажужжал в усы  
и вылетел вон, сердясь.  
Сбоку ели  
тонко, тонко  
очертили небеса.  
И у елки на макушке  
месяц выставил рога.  
1946.

\* \* \*

Ты любишь, женщина,  
и не таи глаза  
в прохладности ресниц,  
не каждый одарен  
талантом любви.  
О, как страшны мы  
без счастья все твоего —

в молчании сердец  
и в очерствлении крови,—  
ни неба вечного,  
ни взлета птиц.  
Мы смертные все,  
когда любовь молчит.



АЛЬФРЕД КОЦ

★

## БЕССМЕННАЯ ВАХТА АЛЕКСАНДРА НЕРОТА

**Я** привык летать в Сургут, потому что другого пути туда не было. Но вот впервые довелось увидеть сверкающие после дождя мокрые рельсы... Станция Сургут. Слова, особенно дорогие для тех, кто строил дорогу. Целых десять лет для них Сургут был, как значилось в служебных документах, «целевой задачей». То есть будущим. И вот стал явью.

Скоро показались первые домики поселка. 32-я — одна из лучших в тресте, в ней отличные экскаваторщики, и цель командировки — обобщение их опыта. Некоторых из мехколонны я хорошо знаю, с другими хоть раз да встречался на трассе. Правда, пока не сводила судьба с нынешним начальником мехколонны А. А. Чешухиным. На этот раз встретиться с ним тоже не довелось. Тресту Уралстроймеханизация вручали орден Трудового Красного Знамени, и Чешухин улетел в Свердловск на торжества.

О главном инженере Анатолии Ивановиче Нощенко я слышал не раз. С отцом его и братьями встречался под Тобольском, когда на участке 80-й мехколонны проходил конкурс профессионального мастерства экскаваторщиков и шоферов.

В тесном кабинете я увидел рослого и крепко сложенного мужчину слегка за тридцать, с тяжелыми руками рабочего и мальчишески простодушным лицом. В дальнейшем, узнав Нощенко лучше, я убедился, что первое впечатление не обмануло меня. Человек бесхитростный и прямой, с немалым для своего возраста жизненным и производственным опытом, Анатолий Иванович отличается редким вниманием к людям, бережным уважением к личности.

Вырос он в многодетной семье, работать начал еще в восьмом классе, из-за частых передислокаций пять раз менял школу. В двадцать лет впервые взялся за рычаги экскаватора, водил дрезину. А после техникума стал мастером, прорабом, вырос до главного инженера мехколонны.

Известно, что житейские трудности не всегда облагораживают. Подчас они ожесточают и огрубляют. А вот Анатолий Иванович Нощенко, родившийся в мехколонне, всю жизнь проживший на трассе, обрел удивительно тонкую душевную организацию.

Мы договорились, что он сам напишет, в чем соль производственного опыта. Через несколько дней, изучая ворох исписанных листков, я увидел, как непросто далась Нощенко непривычная для него работа. Страницы пестрели помарками, аляповатыми рожицами, сквозь густую штриховку просупали фразы: «Быструева К. К. и Чешухин А. А. работают почище экскаваторщиков», «Эх Нерот, Нерот... Об этом человеке можно книгу написать».

С тех пор у меня в памяти прямо-таки гвоздем засело это «эх Нерот, Нерот...». Так и торчал этот гвоздь четыре года, пока я не взялся за очерк об Александре Эдуардовиче Нероте.

\* \* \*

Оставив мотоцикл под деревом, он вышел с ружьем в руке на опушку и здесь, в молодом ельнике, нос к носу столкнулся с затаившимся в бурьяне большим бурым медведем. Встреча вышла настолько неожиданной, что Нерот выстрелил не целясь. Медведь встал на дыбы, взревел, мощным ударом лапы опрокинул Нерота в траву, сорвав при этом кожу с головы вместе с волосами, и навалился на него сверху. Но тут на зверя кинулась собака. Защищая хозяина, она хватала медведя сбоку и сзади, захлебываясь

лаем и не давая ему ни секунды передышки. Устав отбиваться от ее бешеных наскоков, медведь ушел в лес. Лайка спасла Нероту жизнь.

Едва отдышавшись после схватки, он с трудом забросил на голову сорванный зверем лоскут кожи. К счастью, глаза уцелели. Отыскал мотоцикл, завел его и поехал. Ехал почти наугад — кровь заливала глаза. Я смотрел по карте. От места схватки до деревни Мазурово восемнадцать километров. Он проехал пять. Как он вообще их проехал, эти пять километров по тайге, лавируя между деревьями, просто уму непостижимо. Врачи уверяют, что с такими ранами это физически невозможно.

И все же он ехал, притом довольно точно, ориентируясь по солнцу, пока мотоцикл не застрял в грязи. А потом, преодолевая тошноту и головокружение, долго брел по заболоченной тайге, спотыкаясь, падал, вставал и снова упрямо шел вперед. С каждой минутой силы покидали его, но он не давал себе передышки, понимая, что тогда уж не сможет подняться. Так он прошел еще четыре километра, вышел на дорогу.

Все дальнейшее он помнит отрывочно, как при вспышках молнии. Чьи-то бережные руки. Скулящая Лайка. Приборный щит самосвала. Белые халаты. Боль. Тряска. Снова люди в белом.

Утвердилось мнение, что поскольку рабочая профессия вовсе не predetermined заранее от природы, а выбирается и приобретается путем воспитания и обучения, то, следовательно, любой здоровый человек способен к любому физическому труду, а по-сему не приходится говорить о некоем таланте рабочего, как, скажем, правомерно говорить о таланте художника или ученого.

Конечно, наивно было бы утверждать, что тому на роду написано непременно стать кондитером, а этому до конца жизни только крутить баранку. Все гораздо сложнее. Из великого множества профессий одни вам подходят, другие нет, а третьи делают вас счастливым. Очень важно найти себя. Для каждого человека. И для общества в целом.

Знавал я электросварщика с двадцатилетним стажем, который так и не научился держать дугу. Из-за врожденного недостатка — дрожания руки — электрод у него ежесекундно срывается и пригорает к металлу. На работе его ругают за невыполнение норм и за брак, дома за то, что мало зарабатывает. А надо бы просто посоветовать человеку сменить профессию. Профессиональная непригодность приводит не только к личной трагедии. Спросите об этом экономистов, врачей, работников автоинспекции. Они назовут устрашающие цифры.

Жизнь подтверждает, что физический труд тоже требует таланта (призвания, склонности, психофизиологической предрасположенности — разве дело в степени или названии!), что кондитером или экскаваторщиком тоже надо родиться.

Я убежден, что для каждого человека поиск своего места в жизни должен сводиться к выбору только из числа своих самых счастливых человеческих возможностей. И потому очень важно помочь каждому человеку точнее познать себя и разнообразные сферы труда, создать ему условия для профессионального самоопределения. Но где он, профориентолог с моей профессиограммой?

Впервые в жизни Александр увидел экскаватор только в Новочеркасске, когда поступил в училище механизации. Он влез на продавленное сиденье, потянул на себя рычаг и, ощутив его упругое сопротивление, понял, что это ему подходит. На практике в Батайске прошел все ступени механизатора — стал ремонтным слесарем, газосварщиком и трактористом. Училище окончил на отлично с квалификацией машиниста экскаватора.

Но ему не повезло. В Абаканводстрое, куда он попал после училища, экскаваторщик не требовался, и Александра посадили на трактор. Потом на Саралинском золотодобывающем руднике он целый год работал мотористом и электриком, пока наконец доверили экскаватор. Увы, радость оказалась преждевременной. Все устраивало — уважение товарищей, высокие заработки. Но не было главного — настоящего дела: его «Воронежец» больше стоял, чем работал. А это для деятельной натуры Нерота нож острый.

20 февраля 1961 года Александр Эдуардович сдал свою трудовую книжку в отдел кадров 32-й мехколонны. Не знал он тогда, что эта дата станет поворотной в его судьбе.

Мехколонна строила автомобильную дорогу Горячегорск—Шушь-Кия, потом же-

лезную дорогу Красная Сопка — Шушь-Кия — Шалтырь, и работы хватало. Это его устраивало, он ежедневно поднимался в кабину и с веселой яростью давал кубы, только грелись под ладонями рычага управления.

Вот ведь, оказывается, мало понять, чего ты хочешь, — надо еще найти настоящее дело, как нельзя лучше отвечающее твоему характеру и возможностям. Теперь-то он уж знал про себя точно, что он прирожденный оператор, испытывая просто физическое наслаждение, когда грохочущая машина подчинялась его воле, когда, повинувшись движению его рук, экскаваторный ковш опорожнялся над кузовом самосвала. Так уж матушка природа распорядилась, наградив его быстрой реакцией, чувством ритма, способностью переносить длительные физические нагрузки и технической интуицией. Впрочем, последняя скорее результат опыта.

Александр Эдуардович пытливо присматривался к работе товарищей и все брал на заметку. А экскаваторщики — народ самолюбивый и не очень-то любят чужой глаз. Иной из них застопорит двигатель, распахнет дверцу кабины: «Ну и как?» Нерот молча покажет большой палец или прямо скажет: поворот нормальный, а врезаешься резко, врешь тросы. Не всем, конечно, нравилось. Но прямота вызывала уважение.

Покинув Красноярский край, мехколонна передислоцировалась на строительство железной дороги Тюмень — Сургут. К тому времени Нерот в полтора раза перекрывал норму. Столь высокая выработка всех устраивала. Кроме Нерота.

Модернизацией машины занялся весь экипаж — помощник Нерота Валентин Серебряков, сменщик Степан Григорьевич Солдатов. Помогала и жена Нерота, несколько лет работавшая помощником машиниста. Потом, правда, Нина Васильевна перешла диспетчером в гараж мехколонны, потому что в отдаленные вахтенные поселки женщин решили не посылать.

Любую короткую остановку машины Нерот использовал для очередной отладки или замены. Экскаватор стал более надежным, чем раньше. И все-таки каждый раз Александр Эдуардович находил что-то еще, нуждающееся в доработке. Усилие машины почему-то плохо передавалось на рычаг управления. Тогда он на приводе лебедок установил пневмоцилиндры вместо пневмокамер. Конструктивно такая замена оказалась сложной. Зато потом, взявшись за рычаг, он сразу ощутил его живое сопротивление. А для опытного машиниста такая обратная связь очень важна, потому что позволяет выдерживать правильный режим набора грунта.

Некоторые нововведения оказались доступными только экскаваторщикам экстра-класса. Лишь трое смогли по его примеру заменять обычное дизельное масло авиационным, когда при износе двигателя давление масла падает и стрелка манометра приближается к красному сектору. Авиационное гораздо более вязкое, чем дизельное, и лучше держит давление. Правда, работа с ним требует тонкого понимания зависимости состояния смазки от периодичности ее замены, режима двигателя и даже температуры и влажности окружающего воздуха. Но зато изношенный двигатель обретает второе дыхание, или, как говорят механики, увеличивается его моторесурс. А как раз этого Нерот и добивался. Он хотел, чтобы у машины было надежное сердце.

В конце концов он обжил машину, как дом. В ноги дует струя теплого воздуха, установлена розетка на 220 вольт, и в любую минуту можно вскипятить чай или побриться. Для облегчения осмотра и ремонта все узлы, стрела и кабина хорошо освещены, и ночью издали виден экскаватор Нерота.

1967 год Александр Эдуардович встречал счастливым. Он наслаждался своей работой. В ней воплотились физические и нравственные силы его природы, весь его прошлый и новый опыт. Ему было тридцать шесть. Возраст зрелого человека. Пора зрелого мастерства. Наконец-то он работал как мог и жил как хотел.

И вдруг все рухнуло.

Из медпункта деревни Мазурово Нерота перевезли в ярковскую районную больницу, а там сразу вызвали по радио санитарный вертолет и отправили в Тюмень.

Прошло уже десять часов после схватки, а он все еще был в сознании, ясно и внятно отвечал на вопросы хирургов, готовивших его к срочной операции. Они оценили его мужество и выносливость, но не слишком обольщались на этот счет. Они видели, как реально опасна гипоксия мозга и гангрены тканей, как развилась отеки и как много крови он потерял. Жизнь висела на волоске.

Только теперь, когда Нерот лежал на операционном столе, приступив к хирургической обработке ран, врачи увидели, что наделал зверь. Он нанес обширную скальпи-

рованную рану головы, множественные рваные раны лица, туловища, бедра, сломал левую руку, повредил обе кисти, предплечье и дельтовидную мышцу, прокусил суставы в запястьях. Спасая Нероту жизнь, хирурги В. В. Голодnev, Э. А. Шнайдер и кандидат медицинских наук О. П. Чудаков, ставший впоследствии доктором медицины, провели за операционным столом напряженные, тяжелейшие часы.

— Врачам, конечно, досталось,— сказал потом Нерот.

Можно себе представить. Ведь первая операция в тюменской областной больнице длилась больше семи часов.

Увы, это было только начало.

В ординаторской отделения челюстно-лицевой хирургии Свердловского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии я познакомился с В. И. Щипачевой — заведующей отделением. За тридцать пять лет работы в институте перевидала она немало людей, попавших в беду, но Нерот занял в ее памяти особое место. Валентина Ивановна листает историю его болезни, только чтобы уточнить дату или процитировать особенно интересную запись.

— Даже через полтора месяца после схватки,— рассказывает она,— Нерот поступил к нам в тяжелейшем состоянии. Вместе со мной его многократно оперировали опытные хирурги Толстоброва, Соколова, Прохоров, а помогала нам операционная сестра Шепиль. Технически работа была кропотливой и сложной — замещение гранулирующих тканей кожными лоскутами, восстановительные пластические операции. Пришлось даже снимать тончайший слой кости черепа и пришивать туда кожу. Такие процедуры требуют величайшей осторожности и профессионализма. Тридцать два раза вливали ему нативную плазму. Это очень эффективный препарат крови, мобилизующий защитные силы организма. Нерот точно выполняет предписания врачей и активно помогает нам своей настроенностью на полное выздоровление. Но вы только представьте, что ему пришлось пережить. Приезжал к нам несколько лет подряд и ложился в клинику. Перенес уже шестнадцать операций. А они идут под местной анестезией, длятся по два-три часа, а потом через день перевязки, которые для больного нисколько не легче самой операции. Я уже давно послала ему очередной вызов, но он почему-то не приезжает...

Я хорошо знал, почему Нерот не едет в Свердловск. Предстояло пропустить первый поезд до Уренгоя, и на трассе настали решающие дни. Он просто не сможет уехать, пока не выйдет на последний перегон путеукладочный кран. И тогда в многотысячной толпе строителей и жителей приполярного поселка он встретит украшенный кумачом тепловоз первого поезда. А скорее всего будет в числе его пассажиров. Есть такое право у лучших строителей.

Между тем если Нерот затянет свой приезд, ему просто не к кому будет обратиться. Как я выяснял, готовится решение о закрытии отделения челюстно-лицевой хирургии. Очень жаль. Ведь это единственный на Урале и в Сибири специализированный научно-клинический центр с уникальным опытом и традициями.

Со Светланой Нерот я познакомился, когда она училась на последнем курсе свердловского строительного техникума Минтрансстроя. Меня сразу поразили в этой высокой девушке, светловолосой и голубоглазой, необычные для ее возраста серьезность и обязательность. Она уже успела после десятилетки окончить курсы мастеров, поработать геодезисткой, да и специальность, избранная ею в техникуме, тоже достаточно сложна — изыскание и строительство железных дорог.

А вскоре Светлана блестяще окончила техникум, защитив диплом на отлично. Причем угадала как раз к двадцатилетию работы отца в мехколонне. Лучшего подарка к юбилею не придумаешь.

Когда случилось несчастье с ее отцом, Светлане было семь лет. Но она помнит, как после его возвращения из клиники к ним началось настоящее паломничество. Шли соседи, знакомые, товарищи по работе. Охотники приносили дичь, а хозяйки стряпню. Нужды в том никакой не было. Припасов в доме хватало, а жена Нина Васильевна прилично готовит. Но отказываться тоже неудобно: обидишь человека. Застолье обходилось без вина, потому что хозяин равнодушен к спиртному. Гости пили чай, делились поселковыми новостями, подходили к детской кровати посмотреть на Леночку, названную в честь матери Нерота. Леночка родилась 1 октября, когда тюменские хирурги боролись за жизнь ее отца.

Из треста запрашивали по рации, не нужна ли помощь, путевка на курорт или

какое-нибудь редкое лекарство. Часто навещал Александра Эдуардовича начальник мехколонны П. В. Ковалев. Однажды Петр Васильевич осторожно намекнул, что вакантна должность мастера. Но Нерот оставался непреклонным. Он хотел вернуться на экскаватор.

В эти трудные дни Нерота поддерживало внимание друзей, забота жены и дочери. Соберутся, бывало, после ужина всей семьей у телевизора: Нина Васильевна с Леночкой на руках, Александр Эдуардович со Светланой, а в кровати — двухлетний Вова. Или под настроение песни поют. Все что вспомнится: «Катюшу», «Надежду». Иногда Александр Эдуардович читает вслух стихи, понравившиеся рассказы. А когда приходит письмо от друга Сильверста Обермана, ответ пишут всей семьей. Нерот подружился с ним еще в училище механизации, где оба учились на машинистов экскаватора. Теперь Сильверст Эдуардович заведует гаражом в деревне Криуше на Рязанщине. Той самой Криуше из «Анны Снегиной», помните: «Я шел по дороге в Криушу и тростью сшибал зеленыя. Ничто не пробилось мне в душу, ничто не смутило меня. Струилися запахи сладко...» Сильверст приглашает в гости. Давно не виделись, да и поглядеть охота на есенинские места. Только вот вырваться все никак не удается.

Нравственная атмосфера семьи, пример отца сказались на судьбах близких. Светлана по окончании техникума получила направление в свою мехколонну. Владимир еще подростком успел до призыва в армию выучиться на шофера, поработать слесарем и в восемнадцать лет окончить курсы электромонтеров. Только Лена пока не имеет никакого отношения к стройке — она еще школьница.

Когда дети растут в атмосфере профессиональных интересов родителей, им проще выбрать специальность. В реальных условиях трассы наследование родительского ремесла совершенно естественно и почти неизбежно. Стройкам же, страдающим хронической нехваткой кадров, такая преемственность только на руку, потому что семейная «фирма» работает на совесть и едва ли подается на сторону. Сиюминутная польза очевидна.

И все же практика трудовых династий вызывает серьезные размышления. Ведь что ни говори, это выбор вслепую, при котором шансов на ошибку ничуть не меньше, чем на успех. Поэтому настораживает категоричность, с какой наследование профессии объявляют чуть ли не образцом профориентации. А один маститый ученый, ссылаясь на положительный пример трудовых династий, предлагает даже обеспечить... совпадение потребностей конкретного экономического района с интересами школьников. Вот тебе и на! С детства нам внушали, что основной принцип социализма — от каждого по способностям. А выходит, что от своих природных задатков вполне можно отказаться, если они не совпадают «с потребностями конкретного экономического района»? Да отвечает ли подобная тактика глобальной стратегии нашего развития? Не думаю, чтобы такая «профориентация» действительно была в интересах личности и общества. Кто бы, к примеру, выиграл, если бы Нерот стал не экскаваторщиком, а ветеринаром по примеру отца?

В наше время пригодность к некоторым массовым профессиям уже определяется научно обоснованными методами. Шоферов отбирают по остроте зрения и скорости реакции, шлифовщиков — по мышечной чувствительности и чувствительности кожи пальцев. Но беда в том, что порой потенциальный шлифовщик, не попав на пробу в профтехучилище, по совету приятеля устроился киномехаником в пригородный совхоз, а прирожденный шофер, не подозревающий об этих своих задатках, потя и чертыхаясь, снимает запоротую деталь со шлифовального станка...

Я с большим уважением отношусь к рабочим династиям. Они обеспечивают преемственность нравственной традиции. Заимствуется и наследуется отношение к труду, отношение к людям и к жизни. Что же касается воспроизводства родительской специальности и профессионального опыта, не будем преувеличивать: они могут совпасть или не совпасть со склонностями и житейской практикой детей. Но, конечно, если совпали, этому можно только радоваться.

Спросил я как-то Светлану, довольна ли она своей будущей профессией.

— Мне нравится,— застенчиво улыбнулась девушка, поправляя вязаный берет, который ей очень к лицу.

Больше всего Нерота беспокоила правая рука. Раны зарубцевались, но после выписки из клиники Александр Эдуардович с трудом поднимал правой три килограмма. Он отлично помнил последний разговор с В. И. Щипачевой.

— У вас анкилоз суставов обеих запястий,— объяснила она.— Не контрактура, а именно анкилоз, то есть полная неподвижность. Поэтому на экскаваторе вы работать больше не сможете.

Внимательно выслушав хирурга, он сказал:

— А я все-таки попробую.

— Пока и пробовать нельзя,— предупредила Валентина Ивановна.

Он, конечно, понимал, что придется запастись терпением и выдержкой. Нужно время, чтобы восстановить силы. Его жгло неотступное желание взяться за рычаги машины, но у Александра Эдуардовича счастливый характер. В нем удачно сочетается взрывчатая нетерпеливость с расчетливым и жизнестойким упорством в достижении цели.

Через полгода после схватки с медведем, не дожидаясь разрешения врачей, он впервые поднялся в кабину экскаватора. Но работать не смог. Мешала боль в запястьях, не хватало силы и цепкости пальцев. И все же он почувствовал тогда, что есть надежда, что пальцы смогут работать. И потому воспринял случившееся как временную неудачу. Врачи все-таки ошибаются, он одолеет недуг и вернется на экскаватор. Это он решил твердо. А если Нерот что-то решил, он всегда доводит дело до конца. И Александр Эдуардович начал тренировать руки, особенно пальцы правой. В ход пошли лечебная гимнастика, эспандер, гантели.

В борьбе за жизнь и здоровье он никогда не был одиноким. А вот в своем решении вернуться на экскаватор он поначалу ни у кого не находил поддержки. Скорее наоборот. Врачи, друзья и товарищи, как будто сговорившись, в один голос убеждали его сменить работу. И нужно признать, что объективные факты и житейская логика были на их стороне. В любой момент он мог перейти на инвалидность или принять должность мастера.

Но у Александра Эдуардовича не было никаких колебаний на этот счет. Он продолжал упорно тренироваться и подолгу мял в ладони резиновый мяч или подтягивался на турнике. Он занимался вопреки усталости и боли, вопреки сомнениям маловеров и просьбам жены пощадить себя. Уж он-то себя не щадил, отлично понимая, что без этих изнурительных ежедневных упражнений ничего не добьется.

К тому времени, когда врачи закрыли больничный лист и Нерот вышел на работу, его ладони стали жесткими, как дерево, а пальцы обрели былую цепкость. Заняв свое место в кабине экскаватора, он работал сколько хватало сил. Пот лил с него градом, рубашка прилипла к спине, а он безостановочно, как одержимый, перебирал рычаги.

Он уставал к концу смены. Но к нему вернулся прежний азарт и неистребимое стремление к совершенству. Он спешил наверстать упущенное за эти месяцы. Каждый день в начале и в конце смены он засекал время, какое тратил на полный цикл экскавации, то есть набор грунта, подъем ковша с поворотом, его разгрузку в кузов самосвала и обратный поворот с опусканием ковша. Скоро сократил цикл до двадцати секунд. Совсем неплохо, на шесть секунд быстрее, чем по норме. А главное — уменьшилась боль в суставах и частично восстановилась подвижность кисти в запястье.

Уж не знаю, ошиблась ли В. И. Щипачева в диагнозе или воля пациента сломила сопротивление суставов, но факт остается фактом: Нерот вернулся на экскаватор и перекрывал норму выработки! Однако для Александра Эдуардовича и этого было мало. Он хотел во что бы то ни стало выйти на прежний уровень операторского мастерства. И продолжал сражаться с машиной, шаг за шагом отвоевывая заветные секунды.

И настал день, когда он двенадцатитонный «КрАЗ» нагрузил с шапкой за семьдесят секунд. Он стал работать лучше, чем до схватки с медведем. Это была настоящая победа.

Зря я думал, что отлетелся в Сургут. Вахтенный метод избавил механизаторов от необходимости прыгать с места на место вместе со всем своим скарбом. Они уже пропустили первый поезд до Уренгоя, а поселок 32-й по-прежнему рядом со станцией Сургут. Ушли в прошлое многомесячные мытарства передислокации базовых поселков. Теперь они годами стоят на месте и благоустраиваются, а на новые объекты за какие-нибудь две недели перевозят по зимнику передвижные вагончики вахтенных поселков. Сэкономленные деньги идут на аренду самолетов и вертолетов для доставки на отдаленные прорабские участки вахтенных смен механизаторов.

Специального дома приезжих в мехколонне нет, а в качестве «заежки» обычно используется любая временно пустующая квартира. В данном случае она оказалась на

окраине, и по пути я с удовольствием разглядывал добротный поселок, в котором не был уже, пожалуй, года три, а то и больше. Здесь все (кроме клуба) построено еще при Ковалеве — контора, котлопункт, баня, ясли, котельная, гараж, мастерские, на совесть собранные щитовые дома с центральным отоплением и высокие, почти полметра над землей, желтые пешеходные дорожки. Дорожки эти фирменные, родились в 32-й. Обычно в поселках строителей теплотрассу изолируют шлаковатой, в лучшем случае пустят в дощатом коробе, а Ковалев расщедрился, оградил трубы бревенчатыми стенками и засыпал опилками. Отлично держат тепло. Так и образовались по обеим сторонам улицы поселка необычные пешеходные дорожки. Идешь себе, а под ногами мягко пружинят утрамбованные пешеходами опилки, не замерзающие круглый год. Ковалева уже давно нет в Сургуте, он уезжал в Красноярский край налаживать дело в 87-й мехколонне, внедрил там вахтенный метод, перешел в аппарат треста, а дорожки эти все еще называют ковалевскими тротуарами.

Ковалева я впервые встретил задолго до того, как он стал начальником 32-й. Коренной сибиряк, он после техникума работал в райкоме комсомола под Ачинском, бригадиром в совхозе, а потом в трех мехколоннах треста Уралстроймеханизация прошлепал путь от геодезиста до главного инженера и начальника. Строил вторые пути Ачинск—Красная Сопка, железную дорогу Ачинск—Абалаково, а потом все нынешние железнодорожные линии на тюменском Севере. Трассу Сургут—Уренгой начинал в числе первых. Его мехколонне достался участок с восьмого до четырнадцатого километра.

А уж как он начинает, я видел своими глазами, когда на трассе Тобольск—Сургут готовился штурм знаменитого Салымского болота. Работа началась сразу, как только прибыли первые экскаваторы и самосвалы и привезли по зимнику пару жилых вагонов и вагон-котлопункт. Да еще в каком темпе! За ночь меня дважды будили люди в пропахших мазутом комбинезонах: нары, на которых я спал, оказались трехсменными. Между прочим, первым согнал меня с нар Александр Эдуардович Нерот. Но об этом я узнал лишь через несколько лет. А Петр Васильевич оказался просто двуязычным, так и не сомкнул глаз всю ночь: требовал по радиации горючее, не без скандалов принимал приезжающих (селить-то пока негде), торопил поварих котлопункта. Всю ночь прожекторы выхватывали из тьмы экскаватор, и гулкие удары клин-бабы, долбившей мерзлый грунт, разносились окрест. К утру Ковалев появился в вагончике бодрый и повеселевший: горючее привезли, новая техника и вагончики прибыли, поварики пригляшают на завтрак.

На Севере Ковалев, по собственному признанию, чувствует себя, как рыба в воде. Жена его, Ульяна Яковлевна, тоже коренная сибирячка, работала в мехколонне лаборантом. А дети, Гена и Лена, бегавшие в школу сначала в Белом Яре, потом в Юности и в Сургуте, не боятся никаких расстояний и комаров, растут на редкость здоровыми, неприхотливыми и выносливыми.

С тех пор как Ковалев в аппарате треста, мы встречаемся с ним почти ежедневно — для этого мне достаточно спуститься тремя этажами ниже. И каждый раз, когда я вижу Петра Васильевича, неизменно возникает уверенность в стойкости и надежности этого невысокого, крепко сбитого человека, человека твердого ума и характера.

Я частенько расспрашивал Ковалева о Нероте. Хотелось лучше узнать Александра Эдуардовича, что им движет.

— Своеобразный характер, — сказал Петр Васильевич. — Вот я знаю его пятнадцать лет, а как он поступает в тех или иных обстоятельствах, сказать не могу. Обо всем у него свое мнение, и он твердо его придерживается. Простой пример. Все уже привыкли, что водку он пьет редко и без особого удовольствия. Только чтобы не обидеть товарища или гостя. Сколько его помню, он равнодушен к спиртному. А знаете почему? Он немногословен, но недавно сказал: хочу жить с ясными глазами и незамутненным сознанием. Очень стойкие и разнообразные интересы. По неделе бродит в тайге со своей «тулкой». А то вдруг обложится литературой по механике — за вечер головы не поднимет. Дома у него небольшая, но хорошо подобранная техническая библиотечка.

— Похоже, опять решил поднять кубатуру?

— Кубы Нерот не считает. Для него важны не кубы, а сама работа, ее азарт, ее качество, ее красота и сила.

Петр Васильевич несомненно прав. Только не стоит его слова понимать слишком буквально. Кубы-то Нерот, может быть, и действительно не считает — есть и без нег-



кому этим заниматься. Но уж равнодушным к результатам труда его никак не назовешь.

А что касается кубов как источника личного заработка, к ним Нерот и в самом деле равнодушен. Зарабатывает он хорошо — вместе с северным коэффициентом и премиями. Но работает он и живет не ради денег. Ему важно убить медведя, а кому достанется шкура — его мало волнует.

На этот раз я специально приехал в Сургут, чтобы подготовить плакат об опыте работы А. Э. Нерота. И сразу стал в тупик: какой опыт описывать? Ведь за это время Нерот снова ушел вперед и, кроме операторского мастерства, овладел искусством организатора производства. Сегодня он уже не тот, что был вчера.

Его организаторские способности угадывались задолго до перехода на вахтенный метод. Потому его первым переводят на новый объект. Во-первых, Александр Эдуардович непривередлив и никогда не возражает, как некоторые другие, если посылают на заболоченный участок со сложными для разработки, тяжелыми грунтами. Скорее наоборот. Чем труднее, тем ему интереснее. А во-вторых, он совершенно не переносит простоев, его раздражает пустая трата времени. Случись у самого поломка — исправит, а если заминка у товарища — непременно подойдет, спросит, что случилось и не нужна ли помощь. Так что когда Нерот в карьере, начальство спокойно: там все крутится.

Он давно понял, что мало одного операторского мастерства. Надо всю работу организовать умно. И его экскаваторный экипаж первым в мехколонне перешел на трехсменку. Сговорившись со сменщиком С. Г. Солдатовым, Нерот получил своего помощника В. П. Серебрякова, помог ему подготовиться и сдать экзамен на машиниста. Экскаватор стал работать по восемнадцать часов в сутки, без выходных дней, и зимой не терялось больше время впустую на разогрев двигателя по утрам. Сверхурочной работы не стало совсем. Сутки не резиновые, пришел сменщик — вылезай, освобождай место за рычагами.

А потом Александр Эдуардович организовал первый в мехколонне вахтенный хозрасчетный прорабский участок. Железнодорожная насыпь растет там круглые сутки — прерываются только на обед и межсменный осмотр техники. И Нерот добился, чтобы участок стал лучшим на трассе. Этой цели он подчинил все. Сгодился даже опыт корабельного кока. Во время ремонта он становится слесарем, сварщиком, электриком и механиком, при нужде садится за рычаги бульдозера или копается в приемно-передающей радиостанции, а выбирая схему разработки карьера, снова становится топографом. Зайдет с высокой точки, окинет цепким взглядом беспорядочно изрытую площадку и сразу решает, откуда лучше начинать забой, где быть выездной траншее, как самосвалам удобнее заезжать под погрузку. Такая работа уже немалыми на основе узкой профессиональной подготовки. Тут требуется целый конгломерат специальностей плюс волевые и нравственные качества передового рабочего.

Да уж, что-то, а работы Нероту не занимать. Даже те десять дней, что он проводит в базовом поселке мехколонны, тоже трудно назвать отдыхом, потому что он ходит в контору на производственные совещания, связывается по радио с трассой, часами пропадает в гараже, чтобы пробить нужные для вахты запчасти и материалы и потом захватить их с собой в вертолет. Практически это работа мастера, которую он добровольно взвалил на себя, оставаясь машинистом экскаватора и бригадиром лучшего на трассе экскаваторного экипажа. Признаться, я не испытываю восторга от этой его миссии, хотя понимаю, что им руководит, и знаю, насколько важным для судьбы вахтенного метода и участкового хозрасчета оказался личный авторитет Александра Эдуардовича. По его примеру так стала работать вся трасса.

И все же мне непонятно, почему передовой рабочий должен брать на себя несвойственные ему функции строительного мастера, слесаря-сборщика, конструктора землеройных машин и черт знает кого еще! А что же тогда делают штатные слесари, мастера и конструкторы?

Ведь смогли же найти удачную форму управления хозрасчетными коллективами на Западном БАМе. Там я познакомился с начальником мехколонны № 83 треста Запбамстроймеханизация В. Г. Якименко. Тучный и немолодой уже человек, он сразу располагает к себе доброжелательностью, здравым смыслом и гневной нетерпимостью к любой несправедливости.

— Мы рассуждали очень просто, — объяснял Владимир Григорьевич. — Вся соль нынешней формы хозрасчета — в досрочной сдаче объекта. Ведь так? Для этого нужна

очень крупная бригада механизаторов, способная выполнить целый комплекс земляных работ. Руководить такой многочисленной, к тому же разбросанной по трассе и работающей в две смены бригадой очень трудно. А бригадиру, то есть одному из механизаторов, это и вовсе не под силу. Ведь, кроме бригадирских, у него есть и прямые обязанности: управлять экскаватором или автосамосвалом. И их за него тоже никто выполнять не станет. Да и после смены какой из него бригадир: он же вымотается за день. Остается только поручить руководство бригадой мастерам и производителю работ. Так зачем же унижать инженеров и техников, отстраняя их (пусть даже формально) от руководства? Вот мы и решили создать комплексно-механизированный хозрасчетный участок, в который вошли четыре лучшие хозрасчетные бригады.

Чего стоят эти бригады, Владимир Григорьевич понял, попав на трассе в автомобильную пробку. Шесть самосвалов из бригады А. И. Литвиненко сгрудились вокруг машины с поврежденным двигателем. Четверо шоферов его демонтировали, один завалил буксирный трос, другой сел за руль своего самосвала и разворачивался, чтобы увезти поврежденный узел в мехколонну. По норме на замену двигателя полагается четыре дня. Они управились за четыре часа.

Готовясь к подряду, руководитель нового хозрасчетного участка старший прораб Валериан Петрович Моисеенко советовался с бригадирами, составлял графики работы механизмов, разрабатывал технологические схемы. Дня не хватало, и молодой инженер просиживал ночи напролет за расчетами, стараясь предусмотреть все.

Уже в Свердловске я узнал, что подряд успешно завершен — земляное полотно главного пути со сто третьего до сто шестого километра сдано на отлично. А участок производителя работ В. П. Моисеенко официально признан лучшим на БАМЕ.

Я уверен, что в Сургуте мастера ничуть не хуже, чем в Усть-Куте. Так зачем же ставить их в двусмысленное положение?

Что касается Александра Эдуардовича, по-моему, вполне достаточно, что он перwokлассный машинист и отличный бригадир экипажа. Машина рассчитана на восемь лет, а обслуживающая ее экскаваторная бригада Нерота за десять лет выполнила на ней тридцать годовых норм. По моей просьбе специалисты подсчитали (приблизительно, конечно), сколько грунта разработал лично Александр Эдуардович с 20 февраля 1961 года по 20 февраля 1981 года, то есть за двадцать лет своей работы в мехколонне. Оказалось, не меньше двух с половиной миллионов кубометров. А это стокилометровая насыпь двухметровой высоты. Условно говоря, железная дорога, сотворенная одним человеком! Причем львиную долю ее он построил после 1967 года. Да и все свои главные награды и звания он заслужил тоже после схватки с медведем. А их много даже для нашего щедрого на награды времени: почетный диплом победителя Всесоюзного социалистического соревнования рабочих ведущих профессий Минтрансстроя, именные часы Минтрансстроя, серебряная медаль ВДНХ, почетный диплом и премия ВДНХ — автомобиль «Москвич» последней модели, орден «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени, звание почетный транспортный строитель.

Работа, равная подвигу.

Выйдя из кабинета начальника мехколонны, я оказался втянутым в спор о трехсменке. Женщины, окружившие в коридоре К. К. Быструеву, были целиком на ее стороне, и вместо одного я приобрел сразу нескольких оппонентов.

Выражение «трехсменный режим», или «трехсменка», никак не отражает сути дела, хотя давно пошло гулять по белу свету в статьях и брошюрах, попало в экспозицию ВДНХ и в решение коллегии Минтрансстроя. Прежде всего это не трех-, а двухсменная работа, потому что в течение суток сменяют друг друга две, а не три смены механизаторов. Пока две продленные смены чередуются на объекте (по двадцать дней каждая), третья десять дней подряд отдыхает в базовом поселке мехколонны. Изобретения тут никакого нет. Это ставший уже знаменитым вахтенный метод нефтяников и газовиков. Но транспортными строителями он в широких масштабах применен впервые и дал им громадные преимущества.

Так что же надо этим женщинам, шумящим в коридоре конторы мехколонны? Они хотят, чтобы был мужчина в доме — муж, отец, сын. Что для них сверхплановые кубометры грунта, километры железнодорожного полотна или даже заработанные тысячи рублей, если мужчина в доме — только редкий гость? Прилетел со строительства дороги, потрепал по щеке сына, а на следующий день уже и лыка не вяжет. Пролетели дни отдыха — и прости прощай снова на три, а то и четыре недели:

нехватка вертолетов и задержки вылетов затягивают смену вахты иной раз на неделю и даже больше.

Особенно решительно возражает против вахтенного метода Быструева. Эту рослую женщину с крутыми дугами бровей я помню еще с тех времен, когда она была главным инженером мехколонны. Ксения Константиновна нисколько не изменилась за эти годы. Все тот же молодой блеск черных глаз за стеклами очков. Все та же быстрая, темпераментная речь.

Спорить с ней трудно. Ксения Константиновна — выпускница Московского института инженеров транспорта, коренная москвичка, интеллигент в седьмом колене и, наконец, просто умный человек. Аргументы у меня достаточно сильные. Каждый экскаватор теперь работает не меньше 17 часов в сутки, что ежегодно дает тресту дополнительно почти 5 миллионов кубометров. За восемь лет вахтенного метода трест при той же численности рабочих и том же парке машин почти удвоил выработку. И потому намного раньше сроков удается сдавать под укладку пути земляное полотно железных дорог Тюмень — Сургут, Сургут — Нижневартовск и Сургут — Уренгой.

Но просто язык не поворачивался все это ей высказать, ведь Ксения Константиновна преимущества вахтенного метода понимает лучше, чем я, потому что активно участвовала в его внедрении. А надо сказать, что здесь, в 32-й, да и в других мехколоннах вахты далеко не сразу пробили себе дорогу. Прогрессивно мыслящие инженеры и рабочие убеждали сомневающихся словом и делом. Особенно много сил и упорства проявили управляющий трестом Герой Социалистического Труда Е. С. Стрельников и главный инженер Я. И. Фрейдин. Они ввели преимущественное премирование сменных экипажей и участковый хозрасчет, взяли на себя тяжкие хлопоты о запчастях и не менее сложные переговоры с авиаторами, организовали диспетчерскую службу для оперативного руководства строительством.

И тогда я напомнил Ксении Константиновне, к каким важным социальным последствиям привели вахты. Она избавила семьи от тягот частых передислокаций, а самим механизаторам подарили десятидневный ежемесячный отпуск в условиях благоустроенного базового поселка мехколонны. Вахты изменили психологию и судьбу людей. Увеличилось число учащихся школ, техникумов и заочных институтов. Стали устойчивыми высокие заработки. Сократилась текучесть кадров. В 32-й, например, вдвое.

— Все мужчины заодно, — махнула рукой одна из женщин.

— А вы посмотрите на трехсменку с другой стороны, — потребовала Быструева. — Люди живут на объекте оторванными от семьи. Приезжают домой на несколько дней и, расслабляясь, выпивают, иногда скандалят. Своим дурным поведением уродуют психику детей. Сами ничего не видят в жизни, кроме работы. И туда же, в эту яму, тащат детей. (Это она уже в адрес рабочих династий.)

Не разделяя столь резкой оценки вахтенного метода, я по просьбе Ксении Константиновны воспроизвожу ее мнение, не смягчая острых углов и без опасения ее подвести. Человек решительный и бескомпромиссный, она в состоянии постоять за себя.

По пути в «заежку» я снова думал о споре с Ксенией Константиновной. Все же в ее словах много правды. Действительно, и с авиацией у строителей немало накладок, и ненормальный ритм жизни подчас выбивает из колеи, и семьи чувствуют себя сиротевшими. Люди устают к концу вахты, а дефицит человеческого общения и отсутствие новых впечатлений на отдаленных объектах обедняют их жизнь.

Между прочим, Нерот так и не встретил первый поезд и не был в числе пассажиров. Его вахта на трассе вместо положенных двадцати дней затянулась на месяц — не пришел вертолет, да и самому хотелось дожать до конца, чтобы открыть путь на Уренгой. Но Александр Эдуардович настолько вымотался, что, вернувшись в Сургут, отсыпался несколько дней и не поехал на торжества.

Ну уж так тоже работать нельзя! Развивая вахтенный метод, используя его громадные преимущества, необходимо нейтрализовать его отрицательные последствия для людей. Нужна действенная практическая помощь строителям и авиаторам, чтобы вахты не становились бессменными. Нужно обобщить уже накопленный в стране опыт. Нужна правовая основа. Нужны обоснованные практические рекомендации физиологов, гигиенистов, социальных психологов, специалистов по научной организации труда.

В квартире приезжих я застал только Надю, студентку Харьковского архитектурного института. Занимавшие соседнюю комнату командиры студенческих отрядов еще не вернулись с трассы.

Мне хотелось хотя бы умыться с дороги, но оказалось, что нет воды: Надя истратила ее на стирку. И все же девушка нашла выход.

— Давайте я вам из графина солью, — предложила она.

Я вытянул над тазом сложенные лодочкой ладони, а Надя немного слила в них из графина. Руки почему-то упорно не намыливались, но я все еще ни о чем не догадывался. И лишь плеснув себе в лицо полную пригоршню и при этом едва не задохнувшись от специфического острого запаха, я наконец понял: да это же водка! Хочешь не хочешь, пришлось идти к колонке с ведрами.

А вечером двое угрюмых мужчин за сорок в одинаковых диагональных рубашках с каменными лицами выслушали мои объяснения и молча разлили по стаканам остатки. Поскольку мне они не предложили, стало ясно, что, по их мнению, я свое уже получил. Получили и они сполна и за свой примитивный трюк с графином и за свое лицемерие. Коль ввели сухой закон для других, позорно устраивать для себя исключение. Мне нисколько их не было жалко. И все же, запивая свой вечерний бутерброд крепким чаем и поглядывая на их мрачные физиономии, я невольно старался подавить улыбку.

После памятной сургутской командировки я узнал о Нероте немало интересного. О нем ходят легенды. Но писать за глаза, без личного знакомства я просто не мог. Нельзя без спроса лезть во внутренний мир человека. Да и кому нужна еще одна легенда?

А встретиться все никак не удавалось. Мы с ним просто не совпадали в пространстве и времени. И когда наконец все совпало, обрадовался: Александр Эдуардович оказался таким, каким я его себе представлял. Это высокий худощавый эстонец с острыми голубыми глазами. Смуглое лицо пересечено бинтом. Обмениваясь рукопожатием, я ощутил необычную жесткость его ладони и цепкость пальцев. Держится непринужденно. Внутренне собранный, цельный. Каким-то непостижимым образом мгновенно осознаешь, что перед тобой незаурядная личность.

Нерот совсем не в восторге от моих намерений, говорит, что уже однажды обжегся, и я угадываю в нем человека с развитым чувством собственного достоинства.

Обычно он неразговорчив. Но вопреки моим опасениям разговор получился острым и содержательным. Не знаю уж, как это вышло — то ли собеседник уловил мое огромное уважение и интерес, то ли просто вопросы, какие мы обсуждали, задели его за живое. Рассказал я ему про спор о важном методе.

— Ерунда, — отрубил Александр Эдуардович. — Где бы мы были сейчас, если бы не вахты? И половины б не прошли.

Он озабочен практическими проблемами, которые тормозят работу вахт. А таких предостаточно.

Новехонький, только с Ковровского завода гидравлический экскаватор. А трубопроводы никак не закреплены, течь масла, слабая ходовая тележка. Один такой и полгода не проработал — перевернулся. Конечно, можно исправить заводской брак, перебрать машину заново — и она станет не хуже старой. Но каковы ковровцы! Где напастись запчастей для круглосуточно работающих машин? Изнашиваются они гораздо быстрее односменных, а нормы списания и снабжения запчастями те же самые. Их надо срочно пересматривать.

— В притрассовых поселках при открытых дверях хранят деньги и ценности. Никто не возьмет. Но попробуйте в самом глухом уголке трассы оставить на ночь самосвал. Мигом разденут — снимут шины, приборы, дефицитные детали. К утру голый остов останется. Потому что люди хотят работать.

Нерот, конечно, прав. На одной из строек мне рассказывали о черном рынке дефицитных деталей. Механизаторы покупают с рук за свои кровные любые запчасти. Установилась даже своеобразная такса: комплект фрикционных колодок — 10 рублей, синхронизатор или шестерня для коробки передач — 25 рублей, раздаточная коробка «КраЗа» — 50 рублей. И так далее. Это, несомненно, махровая уголовщина. Только трудно справиться с ней милиции, пока сохраняется острая нехватка запчастей и пока рабочие заинтересованы в их покупке. Судите сами. По тарифу шофер больше 4 рублей не получит, поэтому в простое он не заинтересован. А деньги, потраченные на запчасти, он легко зарабатывает за пару смен. Так что есть прямой расчет купить на свои кровные, а не ждать, пока хозяйственники выбьют запчасти (да и выбьют ли еще!).

Возникли и совершенно неожиданные проблемы. Пришлось усилить контроль за режимом труда и отдыха механизаторов. А то первое время находились ловкачи.

Сговорятся с товарищем, отработают на объекте два срока, устроив себе двойной дополнительный отпуск. Отпуск-то что, он не с неба свалился, а подкреплён двойной нормой часов, отработанных на объекте. Беда в другом. Недопустимо, чтобы человек подрывал свое здоровье длительным тяжелым трудом без отдыха.

Еще задолго до знакомства с Александром Эдуардовичем, просматривая наградные документы мехколонны, я наткнулся на необычную для официальной производственной характеристики фразу: «Работа для Нерота является главным в жизни». Однако сам он не согласен со столь упрощенной формулировкой, и все, что он мне сказал по этому поводу, я цитирую дословно, включая даже сомнительное его суждение о печальной участи толстяка:

— Главное — сама жизнь. Ощущение, что ты действительно живешь, работаешь, добиваешься своего. Кто живет без цели, тот вовсе не живет, а только существует. Просто я верен себе. Кто толстый, не может стать худым. Вот и я не могу жить медленно, раз от природы быстрый. Стыдно не быть первым, если можешь им быть. Стать лучше, жить ярче, сделать жизнь свою деятельной и полезной — вот что меня держит. А работа потому и в удовольствие, что для меня она наилучший способ проявить себя.

О себе Нерот говорит просто и точно, без всякой рисовки или ложной скромности. Суждения его решительны и неординарны.

Я спросил Александра Эдуардовича, могу ли рассказать без утайки о сложных моментах его биографии.

— Смотря как напишете.

Я понял, что предстоит опасная работа по разминированию фактов, и упаси меня бог допустить при этом малейшую бестактность или хоть немного сфальшивить.

В чем же секрет Нерота? Почему именно Александр Эдуардович стал одним из лучших машинистов страны и самым популярным человеком на трассе? Ведь в двадцатитысячной армии транспортных строителей Тюменщины немало отличных экскаваторщиков. И некоторые из них не уступают ему в операторском мастерстве, превосходно знают машину, обрели огромный производственный опыт. Например, в той же 32-й сменщик Нерота Степан Григорьевич Солдатов, Александр Михайлович Каух, Петр Степанович Ворфоломеев. Все при них — сенсационная выработка, ордена, почетные звания.

Думаю, что все дело в характере. Нерот — человек редкой воли и целеустремленности. Поражает его отношение к труду. Даже не сама работа, а вот это решительное, осознанное и неотступное стремление к совершенству, составляющее самую основу его натуры.

Александр Эдуардович безусловно человек честолюбивый. Для него труд не просто источник радости и первая жизненная потребность, а способ утверждения личности. Нет, он не из тех честолюбцев, которые рвутся к почестям и наградам. Его честолюбие, его человеческое достоинство в самой работе, в преодолении ее сопротивления, в неудовлетворенности сегодняшним результатом, в борьбе за новый успех. Ему важно стать первым, а не прослыть таковым. В этом обаяние его личности.

Всем своим жизненным поведением он утверждает, что хорошая работа — результат личной порядочности, а не только профессионализма и, наоборот, работа вполсилы позорна и унизительна для человеческого достоинства. Под его влиянием установился даже своего рода нравственный эталон труда. Все более престижны самая трудная работа и достижение высокой выработки в особо неблагоприятных условиях.

Вместе с тем непростая судьба передового рабочего, его нелегкий путь к самому себе рождают раздумья о сложности жизни, несовершенстве и неполноте нашей помощи профессиональному самоопределению личности, о громадных запасах жизнестойкости и целеустремленности, необходимых каждому человеку для достижения жизненных целей, и об издержках на этом пути, которые нельзя считать неизбежными.

Есть точное выражение, отчасти утратившее изначальный смысл от частого употребления, — проявить себя. Что бы ни было запечатлено на фотобумаге, контуры изображения начинают проступать только в кювете с раствором. В жизни роль такого проявителя чаще всего играют случайные обстоятельства: профессия отца, совет подруги, прочитанная книга, объявление о найме. Это похоже на попытку проявить фотопленку, окуная ее в первую попавшуюся жидкость.

Создание действенной, научно обоснованной системы профориентации даст громадные преимущества человеку и обществу. Этого требует сложившаяся демографиче-

ская ситуация и интенсивное развитие экономики. Нам вполне по плечу стать первой в мире страной, гарантирующей профессиональное самоопределение личности.

Встреча с Неротом стала для меня открытием, потому что он открыл себя. Тем и значителен. Он всегда живет на пределе, на самом пике своих возможностей, и это стремление всегда быть впереди, конечно же, далеко не безболезненно для него самого и его близких. Не я выдумал, что наши недостатки суть продолжение наших достоинств.

Прав Нощенко: о Нероте можно книгу написать. Вторую «Повесть о настоящем человеке». Драматизм фактов и незаурядность личности допускают это. Да вот беда: искусство не терпит ничего второго. В том числе и второй «Повести о настоящем человеке». Впрочем, в реальной жизни тоже не может быть второго Маресьева. Или второго Нерота. Но когда человек неповторим и значителен как личность, люди стремятся извлечь уроки из его судьбы. Александр Эдуардович Нерот на практике доказал, что человек располагает громадными физическими и духовными резервами. И потому на нем счастливо сошлась чеканная формула социализма: от каждого по способностям, каждому по труду.

Думая о Нероте, испытываешь сложное чувство. Ведь не пришлось бы ему так щедро тратить себя, если б каждый толково и честно выполнял свои обязанности. Так что его успехи маскируют порой безответственность и равнодушие других. Но именно потому, что Нерот много берет на себя, столь неотразимо обаяние его личности. Хочется жить, когда знаешь, что рядом такие сильные, честные и талантливые люди. Они приняли на свои плечи громадное дело, и их бессменная вахта не кончится никогда.

Долг ученых и организаторов производства облегчить эту тяжесть, облагородить вахты разумной мерой отдыха и труда, духовного и физического комфорта. И все же останутся неизбежными разлуки с семьями — тут Ксения Константиновна несомненно права. Но такова суровая мужская работа. И просто нет никакого реального выхода, кроме вахт. Вахт строителей и нефтяников, геологов и космонавтов, полярников и моряков. Без вахт невозможно ускоренное освоение природных богатств тюменского Севера и разведка новых месторождений, исследование космоса и глубин океана. А у всех, кто на вахте, есть жены и матери, которые ждут. Их преданность и терпение согревают нам жизнь, обжигают состраданием и печалью, внушают гордость и уважение.

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

БОРИС ВАХТИН

★

## ГИБЕЛЬ ДЖОНСТАУНА

НАЧАЛО

**В**осемнадцатого ноября 1978 года в джунглях Гайаны погибло свыше 900 американских граждан, которые создали там поселок, названный Джонстауном — в честь их руководителя протестантского священника Джеймса Джонса.

Если бы где-то внезапно вымерло все население небольшого городка, то туда устремились бы врачи, чтобы выяснить, какая же болезнь его поразила и как предотвратить распространение такой болезни. Но здесь, в Джонстауне, не было ни моровой язвы, ни чумы, ни неведомой хвори. Здесь люди погубили себя сами, а точнее, друг друга.

Невозможно установить, кто из них покончил с собой добровольно, кого к этому принудили против его желания, а кого и просто убили. Когда прибывшие в Джонстаун специальные команды разбирали, чтобы похоронить, горы трупов, они находили среди них целые семьи — многие родители и дети умерли, держась за руки, стараясь теснее прижаться друг к другу. Погибшие, как и их вождь, были безусловно вменяемыми. Там лежали белые и черные, молодые и пожилые, маленькие дети и глубокие старики, высокообразованные и малограмотные...

Присмотримся же к случившемуся повнимательнее.

### ЕГО ПРЕПОДОБИЕ ДЖЕЙМС УОРРЕН ДЖОНС

Джеймс Уоррен Джонс родился в 1931 году в городке Линне штата Индиана. Семья его была по американским понятиям бедная. Мать однажды видела сон, что ей суждено родить гения, который исправит грешный мир...

Подростком Джонс интересовался деятельностью церкви. Мальчику разрешали ходить в любую церковь. Он любил играть со сверстниками «в церковь», причем читал проповеди и цитировал заповеди, а от остальных требовал, чтобы они изображали молящихся. В компаниях и играх любил и умел верховодить...

В старших классах школы Джонс держался независимо, близких друзей не заводил, вожаком не был, хотя и пользовался известностью. Интерес к религии в нем не угасал. Он смутно мечтал о своем особом призвании, о некоей миссии, возложенной на него чудесным сновидением матери.

В маленьком Линне жила большая злоба — та тупая животная ненависть к черным, которая отравляет жизнь Америки.

В 1947 году Джонс перешел в школу города Ричмонда (к югу от Линна), которую и окончил с посредственными отметками в 1949 году; в том же году поступил в университет штата Индиана в Блумингтоне. К этому времени он уже, видимо, окончательно решил стать проповедником.

Учась в вузе, Джонс встретился с медсестрой Марселиной Болдуин, двадцатидвухлетней худенькой и миловидной женщиной, и женился на ней.

В 1950 году супруги переезжают в Индианаполис, где Джонс становится пастором в методистской церкви (вариант протестантского вероисповедания).

В 1953 году он основал собственную церковь, которую стал называть Народным храмом.

В своих проповедях, весьма противоречивых, туманных, Джонс затрагивал темы

равенства рас, их интеграции, слияния, братства. Большую популярность молодому проповеднику принесло то, что он усыновил семерых детей.

Вскоре Джонс учредил в своей церкви следственный комитет, составленный из самых преданных ему людей. Комитет должен был бороться за сплоченность секты, за ее единство. Джонс считал, что без личной преданности ему, без повиновения его воле невозможна никакая успешная работа. Проповедник стал достаточно известным в городе, и политические деятели обратили на него внимание. В 1960 году мэр назначил его директором местной комиссии по правам человека.

Расисты обрушились на него. Одна из газет предала гласности неприятные для Джонса детали его личной жизни; сторонники сегрегации били стекла в его доме, звонили ему по телефону, угрожая расправиться с ним, если он не уедет из города. Все это содействовало популярности Джонса, росла численность секты.

В эту пору в журнале «Эсквайр» появилась статья, в которой перечислялись «наиболее безопасные» места в случае всемирной ядерной войны. Статья была иронической, но Джонс воспринял ее всерьез. И спрятался со своей семьей в одном из мест, указанных «Эсквайром» — в бразильском городе Белу-Оризонте, — оставив паству. Здесь, ожидая ядерной катастрофы, Джонс жил скромно на доходы, поступающие от покинутой церкви в Индианаполисе.

К страху перед войной, достигшему уже такой силы, что Джонс вскрикивал от шума пролетавших самолетов, добавился новый страх — перед раком. Похоже, что в 1961—1964 годах Джонс вступил в полосу страха, уже не покидавшего его вплоть до ужасного конца.

В Бразилии Джонс познакомился с «опытом» «исцелителя» Давида Мартинза де Миранды. Начал применять этот опыт на практике, активисты же Народного храма в США стали в 1963 году распространять слухи о том, что их руководитель обладает чудесным даром — способностью излечивать больных.

В 1965 году Джонс затеял переезд в Рэдвуд-Вэлли (Северная Калифорния) — в район, также упомянутый в названной статье «Эсквайра» как одно из якобы наименее опасных мест в случае ядерной войны. На этот раз с Джонсом отправилось около 150 приверженцев.

Бразильскую передышку Джонс использовал для того, чтобы накопить силы, энергию и обдумать многое в организации своей секты. Главное новшество, которое он ввел в свои «богослужения», — исцеление больных. Вот отрывок из рекламного объявления, созывающего на его проповеди:

**«ПАСТОР ДЖИМ ДЖОНС... Неправдоподобно!.. Чудесно!.. Восхитительно!.. Самая Уникальная Пророческая Исцеляющая Служба, Свидетелем Которой Вы Когда Бы То Ни Было Являлись! Делает Зримым Слово, Воплощенное Внутри Вас!**

Бог действует каждый раз, когда трепещущие массы допускаются к участию в службе... Перед вашими глазами калек начинают ходить и слепые прозревают!..»

Вот примеры того, как «работал» Джонс.

Однажды Джонса спросили, кого можно вылечить, как это делается.

— А что именно у вас не в порядке, сэр? — спросил Джонс.

— Много лет боли в спине, — ответил тот.

Джонс указал ему на женщину лет шестидесяти, сидевшую в первом ряду.

— Каждая железка в ее теле, — сказал он с пафосом, — была поражена раком! Доктора уже не оставили ей никакой надежды! Но посмотрите на нее сейчас!

Женщина встала, подняла высоко руки и сделала несколько па какого-то страстного танца.

Джонс указал и на других, описал их болезни и чудесное выздоровление. По его словам, они излечились и от рака и от других болезней, даже от переломов, полученных во время автомобильных катастроф. Аудитория наэлектризовалась.

Женщина прижала к себе мужчину и увлекла его танцевать. Вдруг мужчина остановился и закричал восторженно:

— Прошло! Не болит! Спасибо, Джим! Я здоров!

Примерно на таком же примитивно-журльническом уровне проходили другие сеансы «исцеления».

«Неудач» у Джонса не было. «Исцелял» он и себя. Однажды его якобы обстрелял какой-то снайпер. Джонс показывал рубашку свою со следами крови и дырками и грудь, совершенно целехонькую. Рубашку поместили под стекло, хранили, как икону...

Активнейшей и самозабвенной его помощницей была жена.



Одна газета напечатала интервью с Джонсом:

«Вопрос. Один из управляющих Храмом сказал, что вы воскресили сорок три мертвеца?»

Джонс. Да, таких воскресений было сорок три.

Вопрос. Все эти воскресения прошли внутри церкви?

Джонс. Да, внутри церкви. У нас очень хороший коэффициент — за несколько последних лет у нас не было ни единой смерти среди тех, кто разделяет наши верования».

Интервью, статьи... Все это крикливо, сенсационно, без каких-либо попыток ограждать заблудших от махинаций иллюзиониста в сутане.

В 1968 году у Джонса с женой произошло серьезное столкновение из-за его внебрачных связей — Марселина решила с ним развестись. Но Джонс быстро и легко подавил бунт жены.

— Если ты когда-нибудь попытаешься от меня уйти, — сказал он, — то больше живыми своих детей не увидишь.

Марселина любила детей. И, видимо, достаточно хорошо знала решительность мужа. Бесстыдный шантаж подействовал.

Дела в Калифорнии шли у Джонса прекрасно.

Неосторожный журналист выразил в 1972 году сомнение: если Джонс, по его словам, исцелил такую прорву народу и даже мертвых воскрешает, то зачем ему многочисленные телохранители? Они нужны, заявил адвокат Джонса некто Э. Чайкин (присоединившийся к Народному храму и покинувший ради него свою практику, — этот тоже верил, как и Джонс, что «цель оправдывает средства», и изображал исцеленного калеку на спектаклях), потому что Джонс и весь Народный храм живут в обстановке постоянной травли, угроз и нападений.

Чем же были заполнены дни преподобного Джонса? Прежде всего он регулярно проводил собрания своей паствы в Народном храме — своеобразные культовые ритуалы, в которых центральной фигурой, единственным оратором, учителем и целителем был он сам. Службу открывал хор, который исполнял песни о братстве, мире и любви между детьми господа; пение сопровождала музыка. Читались молитвы. Затем на возвышение выходил Джонс в больших очках с темными стеклами, с гладко причесанными на пробор блестящими черными волосами, одетый в длинную черную рясу, и начинал проповедь. Говорил он, как правило, очень много и долго, возбуждаясь собственной речью. Спектакли порой приобретали неожиданный поворот. Над возвышением, с которого выступал Джонс, висели хоругвь и американский флаг. Когда Джонс однажды достаточно разгорячился, он обернулся к флагу и погрозил ему кулаком:

— О, погоди, нация фанатиков и фашистов, нация расистов, империалистов, бессердечных богачей и куклуксклановцев! Придет твой час расплаты за совершенные злодеяния, ответишь ты за все свои преступления, и не на том свете постигнет тебя возмездие, а здесь, на земле! Вот у меня в руках эта книга, Библия, видите? Это она почти две тысячи лет отвлекает людей от реальной работы, суля нам с вами царствие небесное, мешая нам бороться с несправедливостью, угнетением, унижением, бесправием! Вот, я швыряю ее на пол — видите? Вот, я плюю на нее — видите?

Роль защитника угнетенных срабатывала безотказно. Потрясенная паства восторженно откликалась:

— Бог вочеловечился! Бог вочеловечился!

А иной раз служба шла по-другому. Девушки в длинных голубых платьях и юнoshi в темных штанах, красных рубашках и черных галстуках пели сначала песню «Мы за демократию, братство — наша вера», затем вступал детский хор, составленный из белых, черных, красных, желтых ребятишек, из мулатов всех оттенков, с восторгом исполнявший песни, слова и музыку которых сочиняли сами члены Народного храма; вслед затем выходила Марселина и пела балладу «Черное дитя» — о приемном сыне, о надежде защитить его от злобы и насилия расистского общества. Наконец под хоругвью появлялся Джонс. Надпись на ней гласила: «Отец, мы благодарим тебя»; под отцом подразумевался Джонс. Он всматривался в аудиторию и приглашал подойти то одного, то другого. Им он рассказывал подробности их жизни: где они работают, где живут, какие лекарства пьют, сколько зарабатывают и даже кто их близкие друзья. Перед сообщением каждого факта Джонс долго всматривался в потрясенного человека, затем говорил, например:

— Вы часто принимаете транквилизаторы... Это потому, что ваша мать очень больна... Так... А еще в детстве у вас был аппендицит... Так...

Называлось это откровениями, должно было свидетельствовать о мистической силе Джонса — люди, которых он приглашал на эти сеансы из толпы, с ним раньше не встречались.

Чуда, конечно, не было. В обязанности ближайших приспешников Джонса входило собирать сведения и письменно докладывать Джонсу о всех членах секты и сочувствующих. Годилось все — с кем кто переписывается, что любит есть, какие принимает лекарства, какие читает книги и т. п.

Иногда Джонс заканчивал собрание эффектным спектаклем. Он воздевал руки над толпой и замирал в позе распятого Христа — и тут из его ладоней начинала хлестать кровь. Фокус нехитрый, но на невежественную толпу действовал гипнотически — люди верили, что перед ними божество. «Он, бесстрашный, был нашей единственной надеждой, и мы готовы были умереть во имя его дела», — вспоминает одна из активисток Народного храма.

Джонсу было тесно в Рэдвуд-Вэлли — и шарлатан широко практиковал такие же собрания по всей Калифорнии, а также и за ее пределами. Набив автобусы сторонника-ми, он чуть ли не каждый уик-энд «работал» на выезде — разумеется, с предварительной подготовкой и рекламой.

Кроме этой «обрядовой» деятельности, массу времени и сил требовала от Джонса политическая жизнь: контакты и связи с влиятельными лицами, которых надо было обворожить, привлечь на свою сторону; дружба с другими «деятелями», переписка с ними, взаимная помощь; поддержка избирательных кампаний «своих» против «чужих» — члены секты, быстро переброшенные на автобусах в нужное место, создавали впечатление массового успеха нужного кандидата; заигрывание с прессой...

В сентябре 1972 года Джонс перевел штаб-квартиру секты в Сан-Франциско. Здесь изменились масштабы его деятельности. Он купил большое здание, начал издавать газету в 6—8 полос под названием «Народный форум» тиражом до 60 тысяч экземпляров, приобрел телевизионное время (полчаса), число сторонников Народного храма исчислялось уже тысячами, имя Джонса замелькало рядом со знаменитостями, без его помощи не могли уже победить на выборах многие либералы, он, окруженный телохранителями, кочевал по стране, появляясь в Детройте и Хьюстоне, Сан-Луисе и Вашингтоне.

Политическая активизация Джонса в Индианаполисе вполне устраивала власть предрезающих. Но некоторые дотошные газетчики начали беспокоить проповедника, и он из этого города уехал. Но и в Сан-Франциско, где Джонс добился еще больших успехов, пресса снова стала на его пути... Катастрофа не была внезапной. Сначала поползли какие-то слухи о том, что секретность секты не случайна, что внутри Народного храма за внешним «человеколюбивым» фасадом творится что-то отвратительное и жестокое.

Журнал «Нью Вест» стал готовить статью о секте Джонса. Об этом там каким-то образом узнали. Все друзья бросились на помощь Джонсу, но в июле 1977 года журнал с разоблачениями вышел в свет.

Существо обвинений сводилось к тому, что Джонс создал что-то вроде собственного государства, что он с помощью обмана, личного влияния сперва заманивал подданных, а затем посредством обещаний, обирания, шантажа, страха наказаний, давления коллектива на личность удерживал их на положении рабов.

За этой публикацией последовали другие. Джонс решил, что пришла пора бежать. Еще в 1974 году он приобрел в Гайане участок земли и поселил там группу сторонников. Этот лоскут обработанной земли в джунглях Гайаны, названный Джонстауном, отвечал главному желанию пастора — он был отрезан от мира. Туда и бежал Джонс еще до выхода в свет «Нью Веста», а к концу 1977 года за ним постепенно перебралось несколько сотен его приверженцев. Переселенцы — таково было условие — передали в собственность Народного храма все свое имущество: деньги, вещи, дома, автомобили, чековые и пенсионные книжки...

## НА ПУТИ К СМЕРТИ

Гайана — страна небольшая, а рыбацкий поселок Порт-Кайтума числится маленьким даже по ее масштабам. Плохонькая десятикилометровая дорога ведет от поселка через джунгли в Джонстаун, удивительное «государство» размером с деревенку, но с претензиями самыми непонятными и порядками отнюдь не оригинальными. У этого «государства» были собственные вооруженные силы — телохранители и охранники Джонса, свои законы и обычаи, промышленность (лесопилка и генератор), сельское хозяй-

ство (посевы, огороды, плантации), транспорт и связь (автомобили, тракторы, радио), своя система образования, медицинской помощи с врачами и медсестрами, свое искусство, свой спорт... Джонстаун заботился и о том, чтобы мир о нем узнал.

«Превосходное здоровье поселившихся здесь и поразительный рост строительства — это пламенное проявление духа социалистической кооперации. Опыт Джонстауна и вдохновение его лидера и основателя Джима Джонса свидетельствуют о возможности вести здоровую и счастливую жизнь», — писали Джонстаунские авторы о самих себе.

У американского конгрессмена Райэна был близкий друг, сын которого какое-то время членствовал в секте Джонса, затем с ней порвал — и был убит при загадочных обстоятельствах. Друг просил Райэна выцарапать двух внучек, очутившихся в Джонстауне. О встрече с близкими, уехавшими с сектой в Гайану и практически пропавшими без вести, хлопотали их родственники. Райэн решил лично побывать в Джонстауне.

Своей поездке Райэн придавал характер не частного, а официального визита. Он обещал помочь репортерам пробыть вместе с ним в Джонстаун. Райэн, два его помощника, 9 журналистов, 13 обеспокоенных родственников и Бонни Тильман, бывший член секты и до тех пор добрая приятельница Джонса и Марселины, прибыли в Джорджтаун — столицу Гайаны. В аэропорту за прибывшими наблюдала пара представителей Джонса. Среди «обеспокоенных родственников» возникло волнение при виде этих молчаливых фигур, что вызвало у журналистов иронические улыбки — за время полета родственники рассказали им о Джонстауне такие страсти-мордасти, что репортеры окончательно перестали им верить.

Но в Джонстаун группу пускать не хотели. Представительство Джонса в Джорджтауне заявило, что Райэн прибыл с единственной целью — устроить спектакль для новой кампании клеветы в прессе против Народного храма. Из Джонстауна в посольство поступила петиция с 600 подписями, которая гласила: «Мы не приглашали и не желаем видеть конгрессмена Райэна... представителей прессы, членов группы так называемых обеспокоенных родственников или каких-либо иных лиц, которые, возможно, как-то связаны с этими личностями либо прибыли с ними».

Райэн обратился к адвокатам Джонса Марку Лейну и Чарльзу Гэрри. С первым из них конгрессмен еще в США вел переговоры о посещении Гайаны и получил тогда письмо, в котором Лейн просил согласовать с ним дату визита.

Лейн и Гэрри утром в пятницу, 17-го, прилетели в Джорджтаун и начали уговаривать по телефону Джонса, что не пускать конгрессмена невыгодно — это даст пищу для подозрений. Они сумели выжать из Джонса приглашение — сперва при условии, что не будет журналистов, затем и без этого условия.

В распоряжении «приглашенных» был один восемнадцатиместный самолет, который должен был доставить их в Порт-Кайтуму. Райэн и его помощник, 4 представителя «обеспокоенных родственников», 9 журналистов, Лейн и Гэрри, сотрудник американского посольства — таков был состав этой экспедиции, вылетевшей 17 ноября 1978 года в Джонстаун.

Лейн говорил журналистам, что может быть, в Джонстауне и есть люди, которые хотели бы уехать, но что это ничтожное меньшинство, не больше 10 процентов; никто их там силой, конечно, не держит, хотя, разумеется, они несвободны от духовного влияния Джонса, от взятых на себя прежде обязательств перед ним и его экспериментом; он, Лейн, с месяц назад побывал в Джонстауне, и то, что он там увидел, произвело на него огромное впечатление. Лейн был очень рад узнать от одного из журналистов, Чарльза Краузе, что тот едет в Джонстаун без всякого предубеждения и не верит «обеспокоенным родственникам» и их абсурдным обвинениям; Лейн сказал, что он с самого начала настаивал, чтобы Джонстаун посетили непредубежденные журналисты, и сообщил Краузе, что, как он убежден, «90 процентов джонстаунцев будут стоять насмерть за свой город и возможность в нем жить».

Краузе не показалось чуть-чуть необычным, что 10 процентов (то есть примерно 100 человек) хотели бы, возможно, уехать, но почему-то не уезжают, а юрист не спешит выяснить, в чем же тут дело...

В это время самолет как раз должен был пролетать над Джонстауном, и Лейн, а следом и Гэрри стали протестовать, требуя изменить курс — появление над поселком самолета, говорили они, может вызвать страх и враждебность у жителей. Увы, и эта странность — что люди приходят в страх от одного вида самолета и исполняются враждебности к тем, кто в нем летит, — не привлекла внимания Краузе и журналистов.

## ПОКА ЛЕТИТ САМОЛЕТ

Перечитаем, пока летит самолет, те свидетельские показания, которые частично были даны до гибели Джонстауна.

Дебора Блэйки, двадцать пять лет, из преуспевающей семьи, получила хорошее образование в Англии:

«Мне было 18 лет, когда в августе 1971 года я стала членом Народного храма. Я оставалась таковой до 13 мая 1978 года; до моего отъезда в Гайану в декабре 1977 года я была финансовым секретарем Народного храма. Вступая в него, я надеялась помогать другим и этим внести в мою жизнь порядок и самодисциплину. В течение тех лет, что я была членом Народного храма, я наблюдала, как организация с возрастающей скоростью отходит от провозглашенной ею преданности социальному прогрессу и представительной демократии. Преподобный Джим Джонс постепенно овладел тиранической властью над жизнями членов Храма».

Любое несогласие с его диктатом, писала Блэйки, стало рассматриваться как предательство. Каждого, кто оставлял организацию, он именовал предателем. Он настойчиво утверждал, что наказанием за дезертирство будет смерть. Тот факт, что члены Храма часто подвергались жестокому телесному наказанию, придавал угрозам устрашающую реальность.

Преподобный Джонс, продолжает она, считает себя объектом заговора. Заговорщики у него меняются день ото дня. Он внушает страх и другим. Черных членов Храма он пугает, что их заключат в концлагеря и убьют, белых — ЦРУ, в списках намеченных жертв которого они состоят и которое выследит их, арестует, будет пытаться и убьет. На собраниях членов Храма он часто говорил, что он перевоплощение Иисуса Христа, Будды и множества других политических и религиозных деятелей. Он утверждает, что может исцелять больных и с помощью сверхсенсорного восприятия читает мысли людей. Он твердит, что у него мощные связи во всем мире...

Сам он во все эти фантазии не верит, но, по его глубочайшему убеждению, цель оправдывает средства. Иногда он выглядит как параноик и, кажется, сам верит в то, что говорит.

В декабре 1977 года Блэйки приехала в Джонстаун, где увидела, что в поселке полно вооруженной охраны, никому не разрешают без специального пропуска его покидать, с окрестным населением общаться позволено только для выполнения поручений начальства. Подавляющее большинство работало на полях шесть дней в неделю с семи утра до шести вечера, а также по воскресеньям с семи утра до двух дня с часовым перерывом на ленч. Кормили из рук вон плохо. На завтрак был рис, на ленч — водянистый рисовый суп, на обед — рис и бобы. По субботам каждый получал яйцо и что-нибудь сладкое. Два-три раза в неделю давали овощи, некоторые слабые или престарелые получали каждый день по яйцу. Но когда в поселке были гости, то кормили лучше. В отличие от коммунаров Джонс питался отдельно и несравненно лучше, ел мясо каждый день. У него был собственный холодильник, ломившийся от запасов.

Главным средством общения Джонса с подданными были речи по радио, а также почти ежедневные собрания. В среднем он говорил по шесть часов в сутки. Общий смысл его выступлений всегда сводился к одному: развязанная против него клеветническая кампания угрожает делу всей его жизни, рисует его в искаженном свете, лишает заслуженного места в истории.

Посетителей редко пускали в Джонстаун, но когда пускали, то все без исключения члены коммуны — да, этим чистым именем нарекли джонстаунскую казарму — должны были участвовать в представлении для гостей, сценарий которого выработывался заранее. Рабочий день сокращался. Кормили лучше. Устраивали танцы, играла музыка.

Постоянно Джонс вещал о смерти. И в ранние дни Народного храма он любил поговорить о том, как почетно умереть во имя принципов. Но в Джонстауне тема массового самоубийства ради торжества «социализма» стала постоянной. Никто ему не возражал — люди вели там жалкую жизнь, да и боялись его. Терпимость же властей к «пропагандистской» деятельности Джонса можно объяснить одним: любая дискредитация таких понятий, как «коммуна», «социализм», — благо.

Вот свидетельские показания Блэйки, взятые из письменных и обширных показаний, данных под присягой 15 июня 1978 года, то есть за пять месяцев до гибели Джонстауна, когда еще не поздно было эту гибель предотвратить.

По крайней мере раз в неделю, показывает Блэйки, устраивали «белую ночь» — общую тревогу. Сирены будили всех. Специальные дежурные, человек 50, вооружен-

ные огнестрельным оружием, ходили от жилья к жилью и проверяли, все ли поднялись по сигналу. Однажды Джонс приказал всем, включая детей, построиться и подходить по очереди за маленькой порцией красной жидкости, которую люди должны были выпить, причем заявил, что в жидкость подмешан смертельный яд, от которого через сорок пять минут все умрут. Люди покорно выпили напиток, но через эти сорок пять минут Джонс объявил, что на этот раз яда в напитке не было, что он только проверял преданность ему коммунаров, но что недалеко то время, когда придется наложить на себя руки.

Блэйки вспоминает, что жизнь в Джонстауне настолько раздавила ее, а физическая усталость была столь велика, что и она с полнейшим равнодушием выпила «яд» и не была потрясена случившимся — она стала безразличной к смерти.

В апреле 1978 года, когда Блэйки отправили в Джорджтаун, ей удалось бежать...

Следующий свидетель — Грэйс Стоэн, женщина не беспристрастная. В прошлом она занимала в Народном храме очень высокий пост — главного советника — и была популярна благодаря своей щедрости и отзывчивости. Ее выход из Храма нанес большой ущерб безграничной власти Джонса, который объявил Джонстаунцам, что Стоэн только притворялась доброй, и поклялся, что никогда не вернет ей сына...

Нет никакого сомнения, что будь у Джонса достаточно силы и власти и попади Грэйс Стоэн ему в руки — ее бы казнили, может быть даже и публично.

Грэйс Стоэн рассказывала всем, что в Народном храме собрания идут ночи напролет, что люди приходят в совершенно животное во время этих бдений состояние, что непослушных тут же избивают, что Джонс сеет в секте взаимное недоверие и страх...

Свидетельствовал и Эл Миллз, образованный человек лет сорока, вступивший вместе с женой в Народный храм в 1969 году. Вышли из него супруги в 1975-м. Он говорил, что на него большое впечатление произвела преданность Джонса прогрессивным идеям, хотя поначалу настораживали «исцеления», но постепенно и они стали казаться Миллзу полезными. Джонс был, по его словам, настолько способен поддаваться как бы сходящему свыше вдохновению, что «мог говорить на одном собрании, обращаясь к религиозным людям, об исцелениях, а на другом, обращаясь к людям, увлекающимся политикой, о справедливости. Вы слышали то, что хотели услышать. Я знал, что некоторые из его исцелений были обманом и фокусами, но если народ находится на таком уровне и это привлекает его к работе во имя социальной справедливости, то это прекрасно!». Но постепенно блаженная жизнь, состоящая из всеобщего служения идеалам справедливости, стала превращаться в нечто кошмарное. «Джонс пользовался приемом «разделяй и властвуй», чтобы добиться полного руководства, — говорит Миллз. — Он поощрял детей доносить на родителей. Из-за этого очень быстро расстраивались и разрушались браки. Уже нельзя было говорить откровенно! К счастью, мы с женой твердо пообещали друг другу, что никогда не перестанем доверительно разговаривать». По словам Миллза, Джонс был гением по части подавления воли своих прихожан на продолжавшихся всю ночь собраниях, в ходе которых достигалось экстатическое состояние присутствующих и проштрафившихся тут же разоблачали, избивали и унижали. «Битье привилось как-то постепенно», — вспоминает Миллз.

Любопытно его свидетельство, что Народный храм имел свою театральную группу и свой репертуар, включавший только политические темы.

Диана Миллз, восемнадцать лет, жизнь которой с девяти до пятнадцати прошла в Народном храме, дочь Эла, свидетельствует, что Храм стал разлагаться в 1972 году — именно в этом году она стала замечать телесные наказания, «зверские и просто тошнотворные». Так, была беспощадно избита ее младшая сестра за то, что играла на улице с другой девочкой, родители которой вышли из секты. «Ей ко рту поднесли микрофон, — рассказывает Диана, — чтобы все слышали, как она кричит...»

Показания Вэнды Джонсон, сорока двух лет, сын которой погиб в Джонстауне:

«Нам всем дали однажды вино, и Джонс сказал, что его надо выпить. Потом Джонс сообщил, что мы выпили яд и через 30 минут умрем. Некоторые были уверены, что умирают, и попадали со стульев на пол. Энди Сильверс, сидевший напротив меня, являвшийся членом плановой комиссии и знавший все заранее, вскочил и спросил: «Значит, мы все сейчас умрем?» Сосед начал бить его, Энди упал на пол, и вдруг растеклось около него пятно крови — ненастоящей. Какая-то женщина побежала к своему ребенку, чтобы умереть вместе с ним, — и ей выстрелили в бок. Это был холостой выстрел. Джонс понаблюдал за нашими мучениями, а потом сказал, что это он испытывал нашу верность и послушание. Все понял, что он сумасшедший, но мы до того уже были скомпрометированы, что не решались даже спрашивать его... Я подписала письма, что я

ненавижу моих сыновей, что когда они были совсем маленькими, я ласкала их для удовлетворения моего сладострастия, что, если надо, я могу их убить, потому что я их ненавижу. Кто, прочитав эти письма, в чем-нибудь мне поверил бы?»

Том Диксон, пятьдесят три года, бывший член Народного храма:

«Трудно рассказать, в чем состояла гипнотическая притягательность Джонса. Но он умел вас убедить... Приятный, красноречивый, привлекательный, с энергичным голосом и движениями, представительный. Когда надо, повышал или понижал голос. Он делал из своих последователей рабов. Они ему красили дом, подгоняли автомобиль. Я теперь знаю, как происходят подобные вещи...»

Лина Пайетайла рассказала, что Джонс посылал работников своей службы безопасности шпионить за членами коммуны — и те тайком залезали в дома, читали письма и бумаги, а сведения, ими добытые, использовались потом Джонсом...

Может быть, достаточно? Кажется, уже ясно, что нового ничего не услышишь, что созданное Джонсом замкнутое общество было настолько отвратительно, что наконец и погибло страшной смертью.

Но следует еще выслушать самого Джонса. Обратимся к его статье, опубликованной в январе 1978 года в его же органе «Народный форум»:

«Здесь так мирно. Нет ничего, что могло бы так удовлетворить человека, как такая вот жизнь в коммуне. Сегодня мы орошали сад. Мы разделились на бригады и, передавая ведра по цепочке, поливали участок размером два с половиной акра, где мы ставим опыты с выращиванием североамериканских культур. Мы пели, смеялись и шутили все время, и радостное чувство, что работа у нас спорится, заставляло каждого двигаться быстрее. Мы сделали всю работу за два часа. Я люблю трудиться. Я стоял в начале цепочки, таская родниковую воду из колодца, который оставался полным до краев, сколько мы из него ни черпали. Тот, кто руководит, тоже работает...»

Жизнь в сотрудничестве рождает безопасность. Она рождает такую структуру, которая позволяет удовлетворять нужды каждого. Она доводит до предела собственные творческие способности каждого индивида и оставляет время для использования в личных интересах. У нас есть кружки по изготовлению ковров, вязанию, выделке кож, консервированию и множеству научных предметов. Как старики, так и молодежь изучают всевозможные ремесла, плотничество, сварку, электротехнику и даже медицину. У нас самое лучшее питание и очень высокий уровень профилактической медицины. У каждого жителя раз в неделю проверяют давление крови, температуру, пульс и дыхание.

Мы пользуемся удовольствиями всех видов спорта и развлекательных игр. Музыкальные таланты и искусства процветают. У нас общие радости и нужды...

Мы должны найти способ поделить богатство этого мира более справедливо... Мы обрели полноту жизни. Мы сплотились вместе. Каждый миг у нас все общее. Когда я вижу, что старики счастливы и успешно трудятся, что дети собираются для общей игры, я знаю, во имя чего мы живем. Жизнь без идеи лишена смысла...

Один из вождей движения за гражданские права позвонил нам, чтобы сообщить, что писак, преследующие нас, подбираются с проверкой и к нему. Но если вы стоите за ваши права, делая все, что в ваших силах, ради угнетенных, страха в вас больше не существует.

Мы нашли здоровое и осмысленное существование. Взаимоотношения здесь находятся на высоком уровне, они не те, что порождаются только сексом, они основаны на общности жизни и высших идеалов...

На протяжении лет на нашем пути воздвигались многочисленные препятствия. Краткими штрихами не обрисовать все интриги — были очень замысловатые попытки поймать меня в ловушку. Было больше угроз убить меня и осуществленных попыток, чем я могу сосчитать, и они были нацелены не только на меня или мою семью, но также и на большинство руководителей нашей церкви».

Только последовавшее за статьей саморазоблачение (убийства и самоубийства) сделало показания Джонса столь весомыми. До этого никто и внимания не обратил на унылую, длинную и тяготную статью — таких вроде неисчислимое множество... Например, в годы «культурной революции» в Китае день за днем газеты печатали длинные, для более или менее здорового человека абсолютно несъедобные передовицы и статьи; невыносимое чтение представляли собой и бесценные дацзыбао, но я собственными глазами видел, как люди вчитывались в эту абракадабру, словно голодные, — они не читали написанное как прямое сообщение, а искали скрытый смысл, расшифровывали хитроумно закодированную информацию, переводили с «нюспика» на

родной китайский, переводили, страшась собственного перевода и даже факта его, а потом в общении совершая обратный перевод... на «нюспик».

Учитывая, что люди привыкают к «нюспикку», примиряются с ним, научаются даже говорить на нем (иногда охотно, иногда поневоле, иногда для «лучшего взаимопонимания» с Джонсами), что язык тут пункт важнейший, что статья Джонса в силу широко распространенной привычки и терпимости к подсобного рода публикациям может показаться разумной, а кое в чем и «прогрессивной», — вот все это учитывая, стоит немного внимания уделить этому документу.

Главные его утверждения: Джонстаун — величайшее достижение рода человеческого («Нет ничего, что могло бы так удовлетворить человека»); жизнь в нем предельно раскрывает творческие способности каждого; в нем «самое лучшее» питание; люди в нем нашли полноту жизни; старики счастливы, детишки играют; люди познали счастье, царят мир и безопасность... Есть еще много прекрасного, хотя и не достигнутого еще максимума совершенства: «очень высокий уровень профилактической медицины», таланты процветают, высокий уровень человеческих взаимоотношений и взаимное доверие...

Но наш свидетель говорит, что в этот счастливый город посланы шпионы и провокаторы, — как же совместить высокий уровень человеческих взаимоотношений, доверие и общность радостей и бед, если среди счастливых гнездятся обманщики, цель которых это счастье порушить? И заметьте: тайные агенты — значит, под подозрением находятся многие, а может быть, и каждый? Выходит, люди в Джонстауне одновременно и доверяют друг другу, имея решительно все и всегда общим, и подозревают друг друга? А разве можно доверять, подозревая?

Следующий момент в показаниях Джонса — враждебное окружение Джонстауна. Враги — невидимые, беспощадные и коварные — прямо-таки душат город. Джонсу приходится руководить сложными действиями по защите жителей от агрессии, он готов умереть во имя свободы города, он успокаивает тех, кто тревожится за судьбу Джонстауна, — он-де готов бороться до конца, а враги, некие «они», «могущественное учреждение», врются к старикам и детям, чтобы над ними надругаться, засылают провокаторов; вот это уже не «они», а «какой-то человек», «какая-то группа», которые замышляют убить Джонса, заглушить его одинокий голос; здесь же мельком он говорит, что его хотят также запятнать и очернить...

В Джонстауне насаждали страх, страх, страх. А там, где он, рождаются ненависть и насилие.

..Именно страх жил в глазах каждого без исключения китайца, с которым я встречался в Китае во время «культурной революции». Иногда человек словно забывал о страхе, шутил, смеялся, рассказывал о своих детях, о работе. Но приближался другой человек — и собеседник менялся: настораживался, в словах становился разборчив. Никогда не забуду, как в музее пожилой профессор показывал сокровища китайской культуры, а рядом шли хунвейбины и записывали его слова — наверно, для обсуждения потом их идеологической выдержанности. Так и шли по залам музея рядышком страх и насилие...

Следующее важное место в показаниях Джонса — равенство. Он и начинает с картины труда, в котором все равны. Вот как они с песней и шутками передают друг другу ведра, поливая общее достояние. Он свидетельствует: ничто не может принести большего удовлетворения, чем жизнь в сотрудничестве, когда ценность человека определяется тем, что он делает для других, когда богатства поделены справедливо, руководители трудятся наравне со всеми, когда все общее, господствует коллективизм и одновременно полно раскрываются способности каждого, когда все делается друг с другом всем; словом, не то раннехристианская община, не то буколический сельскохозяйственный кооператив. Все равны — старики, дети, население, коллеги, «мы»...

Но странное дело — в этом дружном коллективе, в котором Джонс никого не выделяет, вырисовывается одна гигантская, хорошо освещенная фигура, возвышающаяся подобно Эвересту над ровным полем. Фигура эта — сам Джонс, который сам же себя описывает, выдвигает и возносит. Заметьте — сам, это очень важная черта! Он неоднократно называет себя лидером; он с гордостью описывает, как трудится вместе со всеми, правда оговариваясь, что от такой физической работы его отвлекают «государственные» дела: координация обороны, защита населения, так что работал он «со всеми» редко и, добавим, мог в любой момент с поля уйти; он борец за высшие идеалы, прямой и бесстрашный, готовый умереть за свои убеждения.

Таким образом, получается, что в Джонстауне царит одновременно и равенство всех и исключительное положение одного — верховного руководителя этих самых всех.

### ГИБЕЛЬ

На аэродроме в Порт-Кайтуме прибывших встречали гайанский капрал с автоматом и несколько членов Народного храма. Сначала капрал никому не разрешил выйти из самолета, ссылаясь на инструкции, полученные от Народного храма, затем представители Народного храма увезли с собой Райэна с помощником, адвокатов и сотрудника американского посольства, оставив прочих еще на два часа в Порт-Кайтуме. За это время один из дотошных журналистов поговорил с гайанским солдатом из числа охранявших взлетную полосу. Тот сказал, что раз или два в месяц какие-то частные самолеты забирают американцев, получивших тяжелые травмы во время работы по освоению джунглей, и что таких, травмированных на производстве, что-то слишком много.

В начале седьмого, уже под самый вечер, за оставленными прибыл самосвал и отвез их в Джонстаун.

В центре поселка стоял большой павильон без стен, под рифленой крышей, рядом с ним здание управления, а перед ними имелось пространство, вроде бы площадь. Большинство построек — деревянных, с двускатными крышами — представляли собой жилые дома, стоявшие кучками или рядами, так что четкого плана поселка не обнаружилось. Среди жилых домов выделялись склады, лесопилка, медицинский центр, школа, площадка для игр. К поселку примыкали огороды и плантации. Весь этот освоенный людьми пятючок окружали джунгли — мелкорослый, местами болотистый лес с множеством слабых и сгнивших деревьев. Сквозь эти заросли, в которых водились змеи, ядовитые насекомые и даже, хотя и редко, хищники, единственная дорога вела к Порт-Кайтуме. В самом Джонстауне роль улиц играли тропинки и деревянные мостки. Жаркий влажный климат приводил к буйному развитию растений, так что дикость быстро пожирала возделанную землю, стоило только оставить ее без пригляда.

Взором прибывших открылись мирные картины вечерней жизни коммуны: на площадках резвились дети всех цветов кожи, коммунары стирали одежду, пекли хлеб. Подошла Марселина и пригласила гостей в павильон поужинать.

Журналист Краузе отделился от компании и пошел не торопясь к павильону один. Тут же к нему пристал молодой человек, некий Тим Картер. Выяснив его имя, парень просиял:

— Марк Лейн сказал, что вы показались ему чутким и честным репортером.

Тим привел Краузе в павильон, в котором был накрыт ужин человек на тридцать, и представил его Джонсу, сидевшему во главе стола. Джонс выглядел больным. Кому-то из журналистов показалось, что он напудрен и надушен, брови его были подчеркнуты.

— Плохо себя чувствую, — пожаловался Джонс Краузе, пожимая ему руку через стол и как бы награждая этим пожатием, — температура тридцать девять и четыре, представляете?

Все шло на первых порах хорошо: конгрессмен и журналисты беседовали с жителями, родственники нашли своих близких и сидели с ними на лавочках около павильона, к которому собралось человек до 700 поселенцев. Небольшой музыкальный ансамбль исполнил гайанский национальный гимн, затем песню «Прекрасная Америка», потом популярные рок-песни.

Отметив, что и певцы и музыканты оказались первоклассными, журналисты заметили, что пожилые люди почему-то в такт музыке притоптывали и прихлопывали и даже подпевали порой, хотя их сверстники в других местах предпочитают уже какой-то иной дивертисмент. Видимо, одна из причин трагической неудачи Джонса, так и не сумевшего пробиться в сколько-нибудь значительные лидеры американского общества, заключалась в его неталантливости именно по части маскировки, декорации, показухи — то одно негодяит, то другое упустит, все-то у него накладки получались. Так что нам для изучения попался микроб не очень характерный, слабый. Впрочем, слабый-то слабый, а почти тысячу человек загубить сумел... Пол Пот, микроб той же болезни, что и Джонс, три миллиона ухитрился уложить в фундамент «своего Джонстауна»...

— Что-нибудь из ваших опасений подтвердилось? — спросил Краузе Райэна.

— Нет, — ответил конгрессмен. — Только кое-что странно...

Концерт получился очень хороший, и после него Райэн поговорил еще с несколькими коммунарами, которые на все лады хвалили Джонса и свою жизнь, и, взяв микрофон, сказал толпе:



— Вопреки обвинениям в ваш адрес, которые я слышал прежде, я, после того как сам поговорил с людьми, уверен, что здесь есть такие, которые считают Джонстаун лучшим из всего, что они видели в жизни!

После этих слов толпа хлопала и кричала «ура» несколько минут.

Джонса спросили о шестилетнем Джоне, сыне Тима и Грэйс Стознов, которого Джонс усыновил когда-то с согласия родителей и после их выхода из секты категорически отказывался вернуть ребенка.

— Это мой сын, — ответил он. — Мой! От меня его Грэйс родила. Тут я чувствую себя виноватым, но сына не отдам. Ни за что!

— У вас с Грэйс был роман? — спросил Краузе.

— Нет, — возразил Джонс. — У меня ни с кем, кроме жены, романов не было. Просто Тим Стозн попросил меня вступить в интимные отношения с его женой. А потом она стала требовать, чтоб я на ней женился. Я не хочу делать ему и ей больно, но сын-то я знаю от кого. Мальчик и сам не хочет, ему здесь так хорошо!

— Скажите, — спросил Краузе, — а в Джонстауне разрешено вести нормальную семейную жизнь?

— Какая чушь! — вмешалась Сара Тропп, преданная помощница Джонса. — Просто чушь! Чего только о нас не болтают!

Вопрос был неглупый. Дело в том, что... Впрочем, вот что пишет корреспондент ТАСС А. Минеев в газете «Комсомольская правда» от 31 августа 1979 года: «Одним из вопиющих нарушений прав человека в полотовской Кампучии были практиковавшиеся по всей стране насильственные «браки», жертвами которых стали тысячи кхмерских женщин»...

Суть вторжения в сексуальные отношения не в том, что лидер хочет уничтожить или укрепить браки, а в том, что он стремится взять под контроль все человеческие взаимоотношения.

— Да, от членов церкви требуется, — сказал Джонс, — чтобы они перед браком советовались со мной... Но в коммуне с семьдесят седьмого года родилось уже тридцать детей... О нас столько врут все эти перебежчики, предатели, заговорщики. Цель у них одна — раздвинуть меня, мое движение! Угрожают и угрожают стереть нас с лица земли! Иногда мне кажется, что лучше бы я и вовсе не родился! Я понял ненависть! — кричал Джонс. — Любовь и ненависть стоят рядышком! И они могут овладевать мною...

— В чем же сущность вашего движения? — спросил Краузе. — Оно политическое или религиозное, христианское или коммунистическое?

— В каком-то отношении я марксист(!), — ответил Джонс.

— Но это религиозное движение? — спросил Краузе.

— Да, и весьма, — ответил Джонс. — Я верю в то, что надо вместе жить, вместе работать, делать общими труд, его результаты, обслуживание.

— Стало быть, вас правильно назвали социалистом? — приставал Краузе.

— Назовите хоть и социалистом, — отмахнулся Джонс, — меня и похуже называют. Здесь он пришел в возбуждение и заговорил с пафосом:

— Я не верю в насилие. А обо мне говорят, что я люблю власть. Да какая у меня власть тогда, когда я гуляю по дорожкам с моими дорогими старичками и что-нибудь им рассказываю?! Я ненавижу власть. Я ненавижу деньги. Единственное, чего я сейчас хочу, это чтобы я вовсе не родился бы... Если бы мы только могли прекратить борьбу против нас... Иначе я не знаю, что может произойти, я ни за что не ручаюсь, за тысячу двести жизней здесь тоже...

Он спросил, приготовлен ли ночлег для гостей. Один из его помощников ответил, что репортеры и родственники решили переночевать в Порт-Кайтуме у хозяина тамошней дискотеки, чтобы там побывать на танцах.

Это была неожиданная и наглая ложь — все хотели ночевать в Джонстауне. После долгих споров остаться разрешили только Райэну, Лейну и Гэрри, остальных сплывили в Порт-Кайтуму.

На следующее утро не в 8.30, как им обещали, а на два часа позже из Порт-Кайтумы всех привезли назад.

Началась суббота, 18 ноября — день, когда погиб Джонстаун.

Райэн с утра продолжал опрашивать джонстаунцев. Журналистам Марселена стала показывать ясли и детский сад, которые построили под ее руководством (она, напомню, имела образование медсестры), школу...

Краузе заметил три большие постройки, похожие на сараи, которые оказались запертыми, на стук никто не отзывался. Краузе позвал других репортеров. Поднялся шум.

Прибежали Лейн и Гэрри и впустили репортеров. Это оказалось женское общежитие для пожилых. В большом помещении стояли рядами деревянные топчаны, между которыми расстояние равнялось примерно метру. Женщины в бараке выглядели насмерть напуганными и повторяли, что они очень, очень и очень счастливы и живут как в раю. Но тут одна женщина, Эдит Паркс, твердо заявила:

— Я хочу уйти с вами. Я хочу уехать из Джонстауна.

Появился Джонс, подошел к ней и начал что-то горячо шептать на ухо. Пожилая женщина молча смотрела прямо перед собой. Джонс сердился, явно будучи не в силах ее переубедить.

Стали смелеть и заявлять о желании уехать все новые и новые люди. Скоро набралось уже десятка два. Было неясно, как их вывозить — в Порт-Кайтуму должны были прилететь только два самолета, один восемнадцатиместный и маленький, четырехместный.

Затем Джонс согласился дать журналистам интервью.

— Если здесь такое счастливое общество, почему многие хотят уехать?

— Кто же захочет отсюда уехать? — начал было Джонс, очевидно забыв, что таких набралось уже порядочно, но быстро поправился. — Уезжают — и пусть. У нас свобода, хочешь — уезжай. Предатели уезжают, луны! Они и выходят из Храма, чтобы лгать и клеветать! Сначала они лгали мне, что не хотят уезжать, теперь будут лгать другим. Ведь говорили, сами мне говорили, что не оставят меня, а теперь? Я их отпускаю, а они же потом начинают пакостить мне, чтобы погубить Джонстаун.

— Правда ли, что у вас практикуются избиения? — спросили его.

— Снова вранье! Избиения практикуются не у нас! — с пеной у рта отвечал он.

— Может быть, у вас есть оружие? Для охоты?

— Для охоты у нас есть луки и стрелы... Есть какое-то и огнестрельное оружие, но им никого никогда не пугали, это клевета... Люди предпочитают жить здесь, потому что их не грабят, не насилюют, здесь нет гетто, отчуждения, индустриального общества!

— Почему люди согласились передать вам полную власть над ними?

— Я социалист, который верит в абсолютную демократию. Никакой у меня власти нет и в помине.

Наконец интервью кончилось, аппаратуру убрали, грузовик для отъезда гостей подал. Но в последнюю минуту еще несколько человек решили уехать. Райэн отправился на переговоры с Лейном и Гэрри — возникли юридические заковыки. И тут на Райэна сзади набросился какой-то здоровенный детина с ножом в руках. Лейну удалось поймать за руку нападающего, в борьбе тот порезался, кровь залила рубашку Райэна. Покушавшегося оттащили, Гэрри стал извиняться, а Джонс, сидевший в стороне и молча наблюдавший за этим инцидентом, спросил:

— Это все меняет?

— Не все, но кое-что, — ответил Райэн.

После перелома, вызванного покушением, официальные лица, гости и «изменники» уехали наконец в Порт-Кайтуму.

Едва они туда прибыли, как их догнал трактор с прицепом, выскочили сектанты, вооруженные автоматами, и открыли по ним огонь. Убив Райэна, трех репортеров и ранив нескольких человек, сектанты поспешили назад в Джонстаун...

В пять часов пополудни Джонс через радиоточки, установленные в поселке, стал созывать всех к павильону. Пока люди торопливо собирались, Джонс говорил Гэрри и Лейну:

— Мне страшно. Вы не знаете кое-чего... За предателями кто-то погнался, погнались те, кто меня беспредельно любит... Они могут ради меня прикончить беглецов, сбить самолет... Мне страшно — это бросит на меня тень, но они это делают из преданности мне...

Лейну и самому стало страшно — он-то кое-что знал о планах Джонса на случай провала. Гэрри вроде бы не знал, но и ему стало не по себе и захотелось отсюда выбраться — ему, который публично называл Джонстаун жемчужиной, которую должен повидать мир (впрочем, и выбравшись отсюда, он назвал Джонстаун благородным и прекрасным экспериментом)...

— Вам тут опасно оставаться, — сказал Джонс юристам. — Народ очень возбужден отъездом предателей, как бы вам не попало...

По его приказу вооруженные (огнестрельного оружия сразу появилось очень много) парни отвели Гэрри и Лейна в дом для гостей и встали у дверей...

Дальнейшее произошло быстро, свидетелей осталось мало, и восстановить трагедию во всех подробностях, видимо, невозможно.

Когда все собрались у павильона по призыву Джонса, который кричал что-то о «белой ночи» и тревоге, он объявил, что сейчас самолет Райэна рухнет с неба, потому что верный человек пожертвует собой и, погибнув сам, взорвет его. Но тут из Порт-Кайтумы вернулись налетчики (наверно, у них не было четких инструкций) и что-то доложили Джонсу. Тот закричал в микрофон:

— Конгрессмен мертв, журналисты тоже! Солдаты гайанских сил обороны будут здесь через сорок пять минут! Нам осталось только выполнить свой последний революционный долг — покончить с собой! Я объявляю белую ночь! Умрем с достоинством и мужеством!

Лэрри Шэкт, человек с медицинским образованием и очень «передовыми» взглядами, уже приготовил страшное зелье в металлическом чане — смесь клубничного сиропа, обезболивающих средств, транквилизаторов и соли синильной кислоты.

Кто-то попытался убежать — его схватили телохранители Джонса и заставили вернуться. Какая-то восьмидесятилетняя старушка умудрилась спрятаться. Другая плохо себя чувствовала и осталась в постели — ее не хватились. Повар Стэнли Клейтон сбежал, сообразив, что на сей раз дело и впрямь может дойти до самоубийства, — раньше в таких случаях поваров оставляли на кухне готовить еду, а на сей раз вооруженный охранник пришел и за ними. Удалось спастись и еще одному, которого медсестра послала за стетоскопом (зачем он ей понадобился?), а он недолго думая удрал в джунгли.

Кто-то говорил Джонсу, что умереть готов, но что будет с миром без его, Джонса, указаний и руководства?

Джонс сидел на «троне» — деревянном возвышении, над которым красовались лозунги «Кто забывает прошлое, тот обречен пережить его снова!» и «Свобода там, где дух владыки!» (под «владыкой» подразумевался сам Джонс)... Но вот он вскочил и закричал снова:

— Умрем все до единого! Если вы любите меня так, как я люблю вас, то давайте умрем вместе! Все равно нас вот-вот погубят внешние враги!

Он производил впечатление совершенно безумного человека. Толпа какое-то время колебалась. Потом потихоньку люди стали подходить за своей порцией яда...

— Сначала младенцев, поднесите маленьких! — командовал Джонс.

— Завтра он всех нас воскресит, — повторял кто-то, — сегодня умрем, а завтра станем, воскреснем...

Охранники выхватывали детей у колеблющихся родителей и подносили к чану, где медсестры шприцами вводили им яд.

Одна из матерей не отдавала своего годовалого сына, но охранник сунул ей в бок револьвер и с бранью отнял малыша. Какой-то старик стал сопротивляться — его повалили, силой влили в рот яд.

— Поторопись! — взывал Джонс. — И умрем с достоинством!

Большинство принимало яд покорно, подходя иногда целыми семьями, взявшись за руки. Время от времени сопротивление возникало, и Джонсу приходилось усиливать призывы, а стражникам наводить порядок...

Понадобилось немного времени, чтобы сотни людей (как потом подсчитали — 927) выпили свою чашу, легли в сторонке на землю и умерли... Марселина и другие близкие сотрудники Джонса покончили с собой в его доме. Погиб и шестилетний Джон, из-за которого было еще накануне столько споров...

Сам Джонс все никак не решался расстаться с жизнью. Он смотрел на умирающих, на охранников и повторял:

— Я старался, я старался, я старался... — Потом дико закричал: — О, мать, мать! — И выстрелил себе в голову. Впрочем, не исключено, что выстрелить ему помогли.

Мало кто уцелел из обитателей Джонстауна: те, кто оказался в момент самоубийства в Джорджтауне, «изменники», несколько беглецов, юристы Лейн и Гэрри — они уговорили стерегших их, что должен же кто-то оповестить мир о героической смерти джонстаунских «революционеров», и их отпустили, они убежали в джунгли, где и спрятались. Когда в Джонстаун прибыли солдаты Гайаны, они нашли горы трупов, целый арсенал оружия и сундук с пенсионными книжками (все пенсии шли в казну Джонса), сотнями паспортов погибших (они хранились у Джонса) и миллионом долларов наличными. Большие суммы растащили охранники, а что-то, говорят, Джонс хранил в Швейцарии...

## ЭХО

Дети и взрослые должны были писать Джонсу исповеди и трогательные объяснения в любви. Этими документами хочется предварить краткий обзор мнений, высказанных о трагедии в Джонстауне...

Из письма Розы Китон, семьдесят один год:

«Благодарю за все прекрасные возможности, которые Ты предоставил всем нам — членам этой замечательной социалистической семьи. Ты, Отец, закупил пищу для нас здесь, в Джонстауне, на сумму 675 тысяч долларов. Никто бы другой этого не сделал... Мы должны превозносить Тебя и Мать, т. к. Ты — лучший Отец, которого кто-либо имел. Мать (Марселина.— Б. В.) — лучшая Мать... Я отдала вещи, деньги и время, но я никогда умышленно не предаю веры. Я знаю, что должна повиноваться власти, надежной власти. Я каждый день стараюсь быть послушной и прилежной... У меня нет иного повелителя, кроме Отца, и я не желаю иной доли. Я сожалею только, что не знала этого двадцать лет назад. До 1959 года я боялась смерти и умирания, но с тех пор я думаю о смерти и умирании просто как об отходе ко сну...»

Из письма Джонсу О. Холтон, семьдесят четыре года:

«Я так счастлива в Джонстауне. Это лучшее время моей жизни... Отец, до первой «белой ночи», которая была у нас здесь, я боялась умереть. Но я увидела время, отделяющее жизнь от смерти, и с тех пор я не боюсь. Что-то во мне уже умерло теперь, что-то еще живет. Я люблю смотреть, как маленькие дети растут здесь, шутят, улыбаются. Я привезла сюда четыре одеяла. А теперь у меня нет ни одного, они у других. Я бы очень хотела иметь одно хорошее одеяло. Благодарю Тебя...»

От Стефании Джоунс, возраст неизвестен:

«Иногда я слишком строга с детьми, которых учу, что, я уверена, тормозит их развитие. Я ленива в моей работе и я не следую тем примерам, которые Ты показываешь мне на практике... Меня злит, что люди мало думают о детях, которые сами не все понимают... И еще я думаю, что это эгоистично, что люди хотят умереть и пострадать, вынести смертную муку, но не желают переносить тяготы труда...»

Как объяснить эти письма? Как вообще понять случившееся в Джонстауне? В истории вроде бы нет аналогичных событий. Трагедия в Гайане — событие небывалое, не известное ни истории, ни современности, ни прошлому, ни настоящему. В судьбе Джонса, Народного храма и Джонстауна есть на первый взгляд неповторимость...

«Мы считаем,— писал журнал «Нью рипаблик» 2 декабря 1978 года,— что по крайней мере часть вины должна быть отнесена на счет особого рода легковерности, которая, что достаточно странно, встроена в «нашу рационалистическую и светскую культуру». Эта легковерность присуща не только тем, кто готов все оставить и отправиться в далекие джунгли в поисках какого-то безумного политического или религиозного идеала, но также и современным политикам, правительственным служащим и агентствам новостей...»

Журнал приводит отзывы о Джонсе и его секте, сделанные до трагедии. Так, вице-президент США писал: «Для меня служит источником великого воодушевления знание того, что ваша конгрегация глубоко вовлечена в главные социальные и конституционные проблемы нашей страны»; министр здравоохранения, образования и социального обеспечения Джозеф Калифано выражал восхищение «многочисленными социальными программами, которые ваша церковь осуществляла для удовлетворения всех видов человеческих потребностей». Аналогичное одобрение высказывали многие политические фигуры национального масштаба. Типичным для всего этого словозвержения журнал считает следующий, как он выражается, «набор слов», написанных Калифано и не образующих даже цельного предложения: «Зная вашу преданность и сочувствие, ваши гуманные принципы и вашу заинтересованность в защите индивидуальной свободы и свобод, делают выдающийся вклад в продвижение человеческого достоинства».

Любопытно, что тон статьи в «Нью рипаблик» не допускает даже тени возможности, что журнал и сторонники его направления могли бы стать сами как жертвами легковерия, так и сторонниками Джонса. «Мы с вами», как бы подразумевает статья, никакого отношения к этому обманщику и хитрецу иметь не можем, «мы» — другие. Увы, американская действительность оснований для такой самоуверенности не дает...

Известный психолог Маргарет Сингер в журнале «Сайкологджи тудей» (январь 1979 года) пишет о мрачной картине религиозных культов и сект в Америке. Культы

обещают дать сторонникам своим цель в жизни, требуя взамен полного повиновения руководству культов. Это повиновение вырабатывается в процессе долгой и однообразной обработки членов сект с помощью речей лидеров или каких-либо упражнений (например, в одной из сект дзэн-буддизма несколько раз в год нужно было по 21 часу в течение 21 дня молиться, петь и погружаться в медитацию).

Сингер цитирует слова одного сектанта: «Вас заставляют поверить, что только они знают, как спасти мир. Вы думаете, что находитесь в авангарде истории... Вас призвали из безликих масс, чтобы помогать мессии... Как избранный, вы выше закона... Они приходят к смиренному и одновременно самовозвеличивающему мнению, что они более ценны для господина, для истории и для будущего, чем остальные люди». В результате личность теряет связи с внешним по отношению к секте миром и растворяется в безличностном целом. Постоянно, однако, часть вступивших в секту разочаровывается в идею или вождя, не хочет повиноваться чужой воле и стремится выйти из секты, но такие люди находятся уже в сильной психологической и иной зависимости от «преданных» членов секты и от руководителей. В желающих выйти возникает чувство вины и страх перед ответными мерами секты — громогласным отлучением, разрывом, — да и внешний мир пугает их, им неясно, удастся ли найти в нем место себе, прижиться, обнаружить все ту же самую «цель жизни». Секты загружают своих членов по 24 часа в сутки ритуалами, работой, богослужениями и общими делами — без помощи извне страшно расставаться с этой механической, безликой, но заполненной жизнью. Помощь должна быть иногда решительной, так что секты вполне могут жаловаться на вмешательство в их дела посторонних. Депрессия, чувство одиночества, неспособность к независимому суждению, а главное, к принятию решения — вот то духовное наследие, с которым оказываются люди, покинувшие секты. Один из них сказал: «Свобода — это прекрасно, но требует столько работы...» Некритичность, пассивность соединяются в них с острым ощущением несправедливости и неожиданными вспышками гиперкритики и даже нетерпимости, когда малейший компромисс с обществом вызывает в них протест — они видят в нем признак приспособленчества. Добавлю, что Сингер обходит вопрос о том, что, вероятно, эти люди обладают острым чувством справедливости и болезненно переживают тот океан страданий и человеческого унижения, который их окружает в Америке; именно в этом корень неудовлетворенности тех, кто затем ищет легкого пути решения проблем социальной несправедливости; здесь благодарное поле для художественного исследования, здесь поразительные персонажи, которые так замечательно знал Достоевский (напомню Ипполита и его компанию в «Идиоте», самоубийцу Кириллова и растерянного Шатова в «Бесах», Колю Красоткина в «Братьях Карамазовых») — тень его все время витает над нашим рассказом о джонстаунской трагедии...

Маргарет Сингер не говорит ничего о Джонсе — ей мешает поставить Народный храм в один ряд с прочими культами то, что в других сектах болезнь, приведшая к гибели Джонстауна, либо находится в зачаточной форме, либо ее симптомы еще трудно выделить, а конечный результат болезни — самоубийство заблужденного общества — кажется и вовсе невероятным. Статья Сингер свидетельствует, что почти все люди и клетки социального организма могут заразиться от остроинфекционной личности рассматриваемой здесь болезни, то есть несут в себе некоторые качества, свойства, способствующие их объединению в смертоносную безликую массу.

Марк Гэлентер в интервью, опубликованном 4 декабря 1978 года журналом «Юнайтед Стейтс Ньюс энд уорлд рипорт», не проводит грани между культами и старается никак не связывать проблему с жизнью в США:

«Любая группа людей с абсолютной верой в социальную структуру, лишённую стабильности нормального поведения, уязвима для того, чтобы ее уговорили сделать все что угодно... В западном обществе не много заранее заданной ориентации за исключением наиболее причудливых и отчужденных сект. Индивида постепенно затягивают в систему верований... Он начинает переводить мир все более и более в термины идей, предоставленных сектой, пока в конечном счете он может стать в очень большой степени склонным видеть мир в терминах того, что предлагает ему секта. К этому времени секта может побудить его делать довольно странные вещи...

В Гайане, как это очевидно, многие члены этого культа были разлучены с нормальными ценностями — разлучены как физически в результате их изоляции, так и психологически. Воздействие на их поведение и планы могло происходить почти исключительно через слово их руководства. В силу этого в критической ситуации они были гораздо более склонны к групповой истерической реакции. А когда она начинается овла-

девать группой, могут возникать совершенно непредсказуемые и непредвиденные модели поведения».

Многие идеи, высказанные ученым, справедливы, но в целом он сводит проблемы, поднятые небывалым событием, к привычным, знакомым и к «нам с вами», то есть к нему, профессору, и читателям не особенно-то непосредственно касающимся. Ну действительно, «мы же с вами» не в джунглях, не отрезаны от «нормальных ценностей» и вообще в «западном обществе не много заранее заданной ориентации» на насилие... Я не стану напоминать о терроризме, охватившем практически весь Запад; не стану напоминать о германском фашизме. Возьму другой аспект. Представьте себе, что вы услышали, что где-то врачи ставят эксперименты на людях. Это делали нацисты Германии (эту страну, кажется, никто еще из состава Запада не исключал). Нет сомнения, что каждый нормальный человек — не садист, не извращенец, не какой-то запутавшийся в демагогических построениях субъект, не милитарист, не бездушная личность — почувствует омерзение, негодование и даже страх, если, например, поставит себя и близких на место беспомощных подопытных. Такая реакция будет одинаковой у людей любого региона мира, любого цвета кожи. Но вот на глазах у всех происходят эксперименты над миллионами беспомощных людей — и этот самый Запад в лице высокообразованных представителей не только не испытывает ужаса или гнева, а, напротив, всячески экспериментом восхищается. Ну если и не восхищается, то и не возражает особенно пылко — проворчит что-то чуть-чуть, а ему в ответ хор голосов: эксперимент же! Я веду речь о маоистском Китае, где в 1966—1976 годах эксперименты ставились над сотнями миллионов, и о Кампучии 1977—1978 годов. Согласитесь, что Запад как-то так умудрился охарактеризовать то, что там происходило, что неспециалисты вроде бы и знают о погибших, замученных китайцах и кампучийцах, но не придают этому обстоятельству решающего значения — ведь там эксперимент идет, подождем результатов... Но какие же такие результаты должны быть, чтобы искупить океан страданий, крови, голода, унижений, чтобы переплывшие его наслаждались на берегу счастья прекрасной жизнью? Да и как это экспериментаторы и их сторонники собирались добиться расцвета культуры, уничтожая образованных людей?

Психиатр Джеймс Гордон высказывает мнение, что Народный храм подобно другим современным и средневековым, восточным и западным сектам имел успех в эпоху перелома среди тех, кто переживал экономический и социальный сдвиг. Многие из его приверженцев — старики, бедняки, негры — чувствовали себя в урбанической Америке XX века беспомощными и отчужденными, такими же раздраженными и забытыми, как неразвитые крестьяне и лишенные работы ремесленники, которые шли за мистическими анархистами средних веков. Гордон пишет: «Как и его исторические предшественники, Джонс обещал своим последователям освобождение от нищеты и неуверенности и возможность стать участниками уникальной и благословенной свыше искупительной миссии». Затем учение Джонса стало, по мнению Гордона, более политическим, так что от идеалов примитивного коммунизма первых христиан он перешел к бездумной, барабанной воинственности, к этакой «детской левизне».

Но нам известно, что Народный храм возглавляли образованные люди: Джонс, Троппы, Чайкин. Нам известно, что старики были обеспечены пенсиями, так что назвать их нищими никак невозможно — эти пенсии приносили высокий доход Джонсу. Нам известно, что лозунг общности имущества был таким же шарлатанским обманом, как и воскрешение мертвых. Нам известно, что Народный храм действовал не на одиноком острове, обитатели которого падали ниц при виде самолета или поклонялись случайно попавшей к ним радиолампе, видя в ней дар предков, а в центре богатейшей страны мира, перенасыщенной средствами связи. Нам известно, что Джонса высоко ценили политические деятели. Нам известно, наконец, что Джонс объявлял себя и Христом, и Буддой, и Эхнатомом, и вообще кем угодно, лишь бы приобрести личную власть над душами людей. Как все это ускользает от Гордона?

Американская печать — и это совершенно естественно, учитывая ее традиции, — склонна видеть в джонстаунской трагедии эпизод из жизни сект США. Характерна статья «Народный храм», написанная Уильямом Пфифом и опубликованная в журнале «Нью-Йоркер» 18 декабря 1978 года. «Народный храм преподобного Джима Джонса, — пишет автор, — был мессианистской сектой того типа, который знаком по истории и Америки и других стран». Следует длинный перечень сект и верований, стран и эпох, перечень, свидетельствующий о больших познаниях автора. Здесь средние века и Реформация, Африка и Индокитай, секты Кимбангу и Эрикилипикили, Стэнливилль и Мола-

незия, восстание тайпинов и призывание духов американскими индейцами. Все это свалено в кучу, напускается туман, в котором плавают Эрикилипикили, Китавала, свидетели Иеговы, мормоны... Так что, с одной стороны, секта Джонса получается и похожей на другие секты, включая Эрикилипикили, и непохожей... Кончает он многозначительно:

«Нынешний пророк располагает современным воображением, ориентированным на политику, революционным, навьюченным технологией войны и образами тоталитаризма — концлагерями, избиениями, промывками мозгов, шпионами, заговорами. Он думает как об обычном о наркотиках, контроле над умами, роботах, пришельцах из иных миров, суперменах из суперцивилизаций, разведках, лишенных человечности, глобальных манипуляциях и космических трансформациях... Сейчас человек — это господе; пророк молится самому себе, он возвещает свою собственную власть и величие, его последователи становятся его творениями и его жертвами и он приносит не жизнь, а смерть».

Профессор Роберт Лифтон напечатал в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» 7 января 1979 года статью «Притягательность смертной поездки». Нам его мнение важно потому, что он написал в 1968 году книгу «Революционное бессмертие. Мао Цзэдун и китайская культурная революция», в которой объявил недостаточно глубокими понятия «власть», «борьба за власть» и «соперничество» для объяснения исторических событий типа «культурной революции» и предложил искать мотивы поведения как Мао Цзэдуна и его окружения, так и миллионов хунвейбинов во взаимодействии личности и коллектива прежде всего, в потребности достичь «революционного» бессмертия — общего чувства причастности к непрерывному «революционному» брожению — и преодолеть индивидуальную («мою») смерть путем продления жизни («нашей») неопределенно долго.

Эти же идеи профессор Лифтон использует и для анализа джонстаунской трагедии. Актом самоубийства, считает Лифтон, жители Джонстауна как бы соединялись с вечностью, делали бессмертным то совершенное общество совершенной духовной чистоты, которое они не смогли построить, но о котором мечтали, — и тем самым как бы разом, единым усилием одолевали все зло окружающего мира. Люди секты, считает Лифтон, прошли последовательно через следующие изменения декартовского изречения: «я верю, следовательно, я существую» — «я подчиняюсь, следовательно, я существую» — «я умираю, следовательно, я существую». Последняя формула снова поразительно напоминает Кирилла из «Бесов» с его уверенностью, что высшим доказательством того, что он стал богом, является его самоубийство, которое спасет мир и переродит человека, «ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего бога никак».

Возвращаясь от общих соображений к проблеме Джонстауна, Лифтон не может не заметить, что обман Джонса, которому удалось кому-то казаться богом, хотя он не отличался ничем, кроме безумия и алчности, обман, доведший до нелепости разрыв между провозглашенными идеалами и постыдным поклонением идолу-вождю, являет собой живую и болезненную карикатуру на американскую действительность. Боясь ядерной войны, прячась от пролетающего самолета, Джонс пользовался страхом для укрепления своей власти, для запугивания сектантов.

Не могу не познакомить читателя с еще одной публикацией — статьей Кэйти Батлер «Исправление верой — надежды вышли боком», напечатанной в «Виллидж войс» 9 декабря 1978 года. Автор пишет, что почти два года назад она стала посещать собор Народного храма, имея целью написать об этой «впечатляющей социалистически-христианской церкви». И церковь привлекла ее. «Сегодня, — пишет она, — перед лицом гибели более чем девяносто человек непросто пытаться объяснить воздействие Джонса на людей. Многие отчеты сворачивают на легкий разговор о сектах и «промывке мозгов» и приписывают все явление демоническому принуждению, подкрепляемому избиениями, показными исцелениями, и оркестрированной спонтанности. Истина более тревожна: он помимо всего прочего олицетворял нашу надежду».

Да, вот в чем была сила Джонса — он олицетворял надежды известного круга людей в США. Джонс исчез, но надежды остались, а с ними осталась и питательная среда для новых заразных личностей, осталось снисходительное отношение к маоистскому террору и кампунийскому геноциду... Эта питательная среда — не только социальные несправедливости, но и некоторые умонастроения, некоторые люди, готовые допустить во имя «прекрасных целей» любые страдания и любую кровь...

Батлер была единственным белым репортером, которому разрешили посетить На-

родный храм в Сан-Франциско, после того как поползли слухи о массовом самоубийстве в Гайане.

Зал на две тысячи мест был странно пуст. В здании лежал груз, подготовленный к отправке в Джонстаун: тюки с одеждой, ящики с лекарствами, бочонки с зерном, гвоздями... На стенах висели черно-белые плакаты, на некоторых из них изображены были сцены из истории гитлеровских концлагерей и японских лагерей для интернированных. Бросался в глаза лозунг: «Мы должны учиться у прошлого, чтобы понять будущее!»

Все, что случилось с Джонсом и его экспериментом, кажется в каких-то чертах сходным с тем, что мне известно как востоковеду. Приведу лишь одно свидетельство: «Страшно представить, но если бы режим пекинских ставленников просуществовал еще каких-то 5—6 лет, то это означало бы физическое уничтожение почти всего нашего народа» (Рох Самай, генсек ЦК Единого фронта национального спасения Кампучии — «Правда» от 12 марта 1979 года).

Полное пренебрежение к человеческой жизни. Оно может выражаться по-разному — и в воспитании готовности в любой момент пожертвовать жизнью по воле вышестоящих, и в низком уровне оплаты труда, плохих жилищах, подневольной работе, недостаточном питании, и в жестокости законов, и в массовых демонстрациях в поддержку суровых и унижительных наказаний, и в многочисленных запретах, налагаемых на деятельность людей, и в моральном и материальном противопоставлении касты избранных прочему «быдлу».

Запутывание, насилие, террор. Джонс пугал своих подданных внешними врагами и ядерной катастрофой; он развивал в них чувство вины перед сектой и ее руководителем; он подвергал их унижительным и жестоким наказаниям; он поощрял их доносить и оговаривать друг друга; он угрожал им смертью и приводил эту угрозу в исполнение. Все это, но уже не в «малой группе», не в микроклеточке, а в огромном общественном организме, происходит, увы, не только в Джонстауне.

Похоже, что жителей Джонстауна погубила болезнь не менее страшная и смертоносная, чем болезни тела, не менее распространенная, чем они. Мне кажется, что история возникновения и гибели Джонстауна — первый в мире случай, когда мы можем проследить эту болезнь от самого ее начала (появления очень активного, высококонтактного человека — возбудителя, микроба болезни) и до самого конца (самоубийства той группы, которая объединилась вокруг возбудителя).

Люди пошли за Джонсом на тот свет в силу многих причин: кто поверив ему, кто под угрозой оружия, кто настолько соединив с ним свою судьбу, что отступить было уже поздно, кто полностью утратив самостоятельную волю, даже волю к жизни.

Но вот что примечательно. Трагедия, не знающая аналогий в истории человечества, когда сотни людей слепо шли за невеждой, сметая на своем пути все живое, даже самих себя, и пришли к массовому самоубийству, произошла в США — стране, претендующей едва ли не на мировое лидерство, кичащейся богатством, знаниями, силой.

В заключение сошлюсь еще на одну публикацию («Известия» от 25 июля 1981 года), проливающую свет на многие «загадки» Джонстауна:

«На совести шпионского ведомства лежит гибель 914 человек, членов американской религиозной общины «Пиплз темпл», сознательно, как сейчас выясняется, уничтоженных 18 ноября 1978 года в Джонстауне (Гайана). Злодейская расправа над ними — результат секретной операции ЦРУ под кодовым названием «МК-ультра». К такому выводу пришел Дж. Холсингер, помощник конгрессмена Л. Райэна, прибывшего в те дни в Гайану для расследования положения в Джонстауне и убитого в тот же день, что и члены этой общины...

Джим Джонс был человеком ЦРУ, которому было поручено проведение экспериментов в рамках программы по отработке методов контроля над поведением человека — «МК-ультра»...

В Джонстауне этот агент ЦРУ использовал все те методы, что отрабатывались шпионским ведомством для контроля над поведением человека, — сильнодействующие наркотики типа ЛСД, насильственный труд, лишение сна, особые диеты, сеансы «промывания мозгов» и т. д. Конечной целью операции было устранение у человека нормальных моральных принципов, с тем чтобы его можно было «запрограммировать» на совершение преступных актов, убийств или самоубийств».

Результаты самостоятельного расследования Л. Райэна не устраивали ЦРУ. Он был расстрелян «неизвестными вооруженными людьми».



ВАДИМ БАРАНОЕ



## ДЕЛО КРИТИКИ — ВЫНОСИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ

Десятилетие после выхода (в 1972 году) постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» было периодом заметных перемен в оценке роли критики. На другой день после опубликования постановления «Правда» писала в редакционной статье: «Повышение уровня критики — непереносимое условие успешного развития искусства». И далее: «Являясь неотъемлемой, органической частью творческого процесса, она призвана оказывать активное влияние на формирование результатов этого процесса, эстетических вкусов народа». Это очень важно: критика не есть нечто извне привносимое в художественное творчество, но органическая часть его! Задачи критики отныне последовательно соотносятся со всей развернутой программой культурного строительства в стране.

Отправляясь в путь, не мешает оглянуться назад... 20-е годы. В критике такие не нуждающиеся в эпитетах имена, как А. Луначарский, А. Воронский, Ю. Тынянов, В. Полонский. Значительный вклад в развитие критики вносили писатели — Горький, А. Толстой, А. Фадеев. Все это люди огромной профессиональной культуры. А каким был средний уровень читателя? К моменту Октябрьской революции три четверти населения России оставались неграмотными. Разрыв между уровнем критики и уровнем массового читателя в ту пору был огромен.

Ныне СССР — страна всеобщей грамотности. И, если угодно, судить о прочитанной книге, о просмотренном фильме в состоянии у нас каждый (тем более что и профессиональная критика — всегда дело, не лишенное субъективности). Надо ли говорить, что в исторически кратчайшие сроки ножицы между уровнем критической мысли и читательского восприятия были ликвидированы (различия — совсем другое дело).

И вот публикуется партийный документ,

целиком посвященный проблемам критики. Партия сочла своевременным поставить вопрос о качественно новой роли критики в обществе зрелого социализма, в воспитании высоких эстетических вкусов широких кругов трудящихся.

Совершенно очевидно: широта распространения культурных ценностей и глубина их усвоения — далеко не во всем совпадающие процессы. Тем важнее общественная роль критики.

Опыт исторического развития критики свидетельствует: замечательных успехов она достигала именно тогда, когда чутко реагировала на пробуждение общественного сознания, в периоды поисков страной новых путей развития. Беспрецедентный расцвет литературной критики в России XIX века ярчайшее тому подтверждение (как бы ни пытался кое-кто в последнее время умалить значение революционно-демократического наследия Белинского и его «Письма к Гоголю» или Добролюбова с его бескомпромиссным разоблачением темного царства).

Пробуждаясь в периоды активизации общественного сознания, критика сама в свою очередь становится одним из важнейших его стимуляторов. И, право, как-то странно выглядят утверждения некоторых западных литературоведов наподобие нижеследующего: «Тот факт, что в наше время профессиональная критика, несмотря на свои ошибки, представляет собой необходимый институт, надо считать симптомом увеличения пропасти между литературой и жизнью». «Между книгой и читателем встает весьма сомнительная в своей закономерности фигура критика, ведущего столь же сомнительную войну на два фронта»<sup>1</sup>. Разумеется, не следует выводить прямой зависимости между подобными утвер-

<sup>1</sup> М. Верли. Общее литературоведение. М. «Иностранная литература», 1957, стр. 179, 178.

ждениями и многими уродливыми явлениями в развитии культуры Запада, но и не усмотреть никакой связи между ними было бы тоже ошибкой.

Современное буржуазное общество, внедряющее в сознание миллионов низкопробные стандарты так называемой массовой культуры, вовсе не заинтересовано в развитии критики. Весьма характерно, что с принижением роли литературно-художественной критики на Западе определенным образом перекликается отношение к ней кое-где на Востоке, к примеру в Китае. Небезызвестная Цзян Цин призывала, например, осудить «русских буржуазных литературных критиков — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, а также театрального деятеля Станиславского».

Совершенно иное место занимает литературно-художественная критика в духовной жизни стран социализма, так как по самой природе своей социализм воспитывает и развивает индивидуальное и общественное сознание личности. Активизация литературно-художественной критики — важный показатель роста общественного сознания в нашей стране. В развитии литературно-художественной критики заинтересована только та система, которая способна к плодотворной социальной саморегуляции. С огромной работой по созданию нового человека, проводимой в нашей стране, и связана органически та последовательная линия, которую проводит партия в отношении критики в 70-е годы, неизменно уделяя ей внимание на своих высших форумах. На XXVI съезде КПСС Л. И. Брежнев подчеркнул высокую роль критики, напомнив: «Дело литературных критиков и искусствоведов выносить профессиональные суждения»<sup>2</sup>.

О значительно возросшем в истекшее десятилетие внимании к вопросам критики свидетельствует и небывалая интенсивность разработки теоретических и методологических проблем критики, а также вопросов ее истории.

Приходят на память прежде всего два коллективных труда последних лет: «Современная литературно-художественная критика» (Л. 1975) и «Современная литературная критика. Вопросы теории и методологии» (М. 1977). (Конечно, появление этих сборников не только не устраняет, но, наоборот, рельефнее обозначает необходимость создания единого монографического труда по теории критики.) Труды Пушкинского Дома и Института мировой литерату-

ры успешно подкрепляют коллективные издания Академии общественных наук — «Современный литературный процесс и критика» и «Методологические проблемы современной литературной критики». К изучению проблем критики подключились и вузы: интересные сборники выпустили кафедры теории литературы<sup>3</sup>, критики и публицистики Московского университета<sup>4</sup>, исследователи Саратова<sup>5</sup>, Куйбышева<sup>6</sup>. Появилось несколько монографических работ: Б. Бурсова «Критика как литература» (1976), Т. Щукиной «Теоретические проблемы художественной критики» (1979), Б. Егорова «О мастерстве литературной критики» (1980).

Активно осваивается история критики. Учебник по русской критике XVIII—XIX веков, написанный профессором В. Кулецовым, вышел уже двумя изданиями. Органическим дополнением к нему стала подготовленная тем же автором хрестоматия, охватывающая тексты от Ломоносова до Михайловского.

Отрадно, что литературоведческая мысль и издательская практика идут вглубь, к решению более конкретных задач. Характерны два издания, посвященные различным этапам развития критики в России: одно из них — «Литературная критика 1800—1820-х годов» (1980) — знакомит нас с первыми шагами самосознания литературы и включает сочинения мало известных и даже не установленных авторов; второе — «Часть общепролетарского дела. Литературная критика на страницах дореволюционных большевистских изданий» (1981) — сводит воедино критику в многочисленных большевистских журналах и газетах начала века и рисует роль критической мысли в борьбе за литературу нового типа. Различным аспектам истории критики художественной посвящены книги Р. Кауфмана<sup>7</sup>, Н. Беспаловой и А. Верещагиной<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> «Проблемы теории литературной критики». М. Изд-во МГУ. 1980.

<sup>3</sup> «Вопросы эффективности литературно-художественной критики». М. Изд-во МГУ. 1980.

<sup>4</sup> «Проблемы развития советской литературы». 3 (7). Саратов. Изд-во Саратовского университета. 1980.

<sup>5</sup> «Проблемы истории критики и поэтики реализма». Вып. 1 — 3. Куйбышев. 1976, 1977, 1978.

<sup>6</sup> Р. С. Кауфман. Русская и советская художественная критика (с середины XIX в. до 1941 г.). М. Изд-во МГУ. 1978.

<sup>7</sup> Н. Беспалова, А. Верещагина. Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX века. М. «Изобразительное искусство», 1979.

<sup>2</sup> «Материалы XXVI съезда КПСС». М. Политиздат. 1981, стр. 61.

Наметились сдвиги и в области изучения советской литературной критики. Опубликована хрестоматия, составленная профессором П. Юшиным и охватывающая 1917—1934 годы. Читатель ждет ее продолжения. Вышел ряд сборников, посвященных критике в странах социалистического содружества. Назову два из них: «Культура и общество. Марксистская литературно-художественная критика США» (1976) и «Ленин и марксистская литературная критика за рубежом» (1977). Наконец, завершу этот неполный перечень указанием на работы самих критиков, которые сочли целесообразным сделать некоторый поворот в традиционном жанре книг, посвященных современному литературному процессу: они теперь пишут не только о художественных явлениях, но и уделяют специальное внимание тому, как эти явления отражаются в критике. Характерны названия книг: «Поэт и критик» Л. Лавлинского (1979), «Общность цели. Литература и критика» Н. Машовца (1979), «С веком наравне. Критика прозы. Критика критики» Ф. Кузнецова (1981).

Нет никакой возможности вести подробный разговор о перечисленных выше трудах. Каждый из них заслуживает особого разговора, что, впрочем, не исключает необходимости и их общего сравнительно-аналитического рассмотрения. А пока несколько частных соображений.

Ничего не пытаясь умалить значения выпущенных книг, рискну все же заметить: не слишком ли широко мы порою трактуем понятие «критика»? Не только конкретные художественные явления, их авторы, складывающиеся тенденции — объект критики, но, оказывается, и проблемы чисто теоретические и методологические. Разумеется, не следует жестко ограничивать критику и теорию искусства. Но, с другой стороны, не следует забывать о природе критики в собственном смысле, о ее специфическом предмете. Критика имеет дело с живым литературным процессом, не только с образцами высокого искусства, но подчас и с сочинениями серыми, посредственными. Теория свободна от контактов с ними, но кто как не критика производит отсеивающие, расчищая теории путь к фундаментальным обобщениям?

В разработке вопросов теории критики у нас выдвигаются порою не только дискуссионные, но и очевидно односторонние суждения.

Долгое время считалось, что установление закономерностей литературного развития есть привилегия академической науки. Функция критики сводилась к анализу и

оценке текущей продукции. В последнее время наметилась тенденция обратного порядка — приписать критике, помимо ее собственной достаточно ответственной роли, функции, отнюдь ей не свойственные. Так, по мысли В. Кожинова, рождающиеся художественные произведения при всей их значимости еще как бы не составляют литературу. Они становятся ею лишь после того, как критика расставит все по своим местам. Критика, по В. Кожинову, не только не есть нечто внешнее по отношению к литературе (и действительно не есть), но она компонент самой литературы, притом компонент ведущий, организующий. «Художник создает произведение, а критика включает, вводит это произведение в систему литературы, где оно обретает свой современный смысл и начинает играть свою общественную роль». И далее: «Критика... выступает как решающая сила, организующая целостную систему литературы»<sup>9</sup>. Да простит меня опытный автор, но не обидно ли все это звучит для литературы?

В действительности дело обстоит несколько иначе. Произведения литературы вовсе не обязательно «выжидают», когда критика отведет им место «в ряду». А наиболее смелые, новаторски неожиданные явления буквально врываются в литературу напоподобие кометы, и тогда пресса вынуждена ставить недоуменный вопрос: «Как быть с Вознесенским?»

Можно сослаться на произведения, с которыми читатель познакомился совсем недавно, — «Альгиста Данилова» В. Орлова, «Бессонницу» А. Крона, некоторые повести В. Быкова, пьесу «Синие кони на красной траве» М. Шатрова... Критика и сейчас не до конца определила свое отношение к ним или, по крайней мере, к иным из мотивов, прозвучавших в них. А произведения эти живут своей активной жизнью в сознании читателя.

Роль критики в оценке тех или иных тенденций действительно очень велика. Критика анализирует те закономерности, которые складываются объективно, она стремится возможно полнее, точнее и оперативнее выявить их, извлечь, а не привнести извне. Критика призвана выявлять объективно формирующиеся тенденции, анализировать их, стремясь поддержать действительно плодотворные, перспективные, и одновременно «уметь поправлять тех, кого заносит в ту или иную сторону», как ска-

<sup>9</sup> «Современная литературная критика. Вопросы теории и методологии». М. «Наука». 1977, стр. 166, 168.

зал об этом на XXVI съезде нашей партии Л. И. Брежнев.

Важнейшая часть работы критика — разбор художественного произведения. И какие, собственно, возможны теоретические обобщения без глубокого, тщательного, творческого разбора книги? Не случайно сами писатели призывают критиков давать развернутые анализы одного произведения. Еще на V съезде писателей СССР Н. Грибачев предлагал в каждом номере «Литературной газеты» печатать «критическую статью на полосу по одной книге, плохой или хорошей, даже одному рассказу или стихотворению с развернутым идейно-художественным анализом». Складывается довольно парадоксальная картина: анализ искусства начинается с отдельных произведений, но именно на этой-то стадии существует больше всего неясностей...

Самый распространенный упрек в адрес критики таков: ее анализ умерщвляет произведение. «Для того чтобы понять, «что внутри», как выражаются дети,— говорил С. Я. Маршак,— нет никакой необходимости нарушать цельность художественного произведения. Надо только поглубже взглянуть в него, не давая воли рукам».

Для того чтобы преодолеть реальные трудности, возникающие при анализе произведения, необходимо в первую очередь отчетливо понимать, что может дать анализ, а чего от него ждать невозможно. В конце концов, любая операция, направленная на познание какого-либо явления, извлекая главное, существенное в нем, отбрасывая или минуя второстепенное, в той или иной мере упрощает, огрубляет картину, если угодно — схематизирует ее.

Словившись, что определенные потери при аналитическом подходе к произведению неизбежны, еще раньше надо договориться о другом. Критик не комментатор прочитанного и красноречивый экскурсовод, который ведет за собой группу любителей, созерцающих данности. Он создает свое. О чужом, по поводу чужого, но свое. Иными словами, критику особенно важно понять, в какой мере произведение как явление искусства стало общественным явлением.

Входя в мир художественного произведения, критик на каком-то этапе неизбежно начинает то, что так пугает художников,— разъятие произведения, или, как говорил В. Г. Белинский, «разъединение идеи от формы, разложение элементов, образующих собою данную истину или данное явление». Вот тут-то критик и «дает волю рукам». На основе сложившейся концепции он внут-

ренне выстраивает здание своей рецензии или статьи. То есть за актом анализа следует синтез, разобранное собирается вновь. Но собирается не в той последовательности, как у художника, а в иной, в той, которая отвечает творческой задаче интерпретатора текста. Если чтение романа или поэмы — это как бы путешествие по улицам и площадям города, полного людей с их заботами и делами, то раздумья над произведением — нечто вроде аэрофотосъемки, когда город воспринимается общим планом, когда отчетливее выступает его план (а голоса людей, запахи, зрительные образы улиц и площадей продолжают сами жить в памяти). Рождение статьи — это перекomпоновка карты, ее перекройка, отбрасывание лишнего, укрупнение самого важного — у критика свой масштаб измерения. Но важно понять, что это не произвольный волевой акт, не «игра с текстом» (термин западного литературоведа Эриха Ауэрбаха), основанная на чисто интуитивном или экзистенциальном освещении произведения; нет, у серьезного критика этот акт обусловлен именно глубинными закономерностями жизни того же города, пониманием его духа.

Вспомним еще раз Белинского, начало цитаты уже приводилось выше. Отметив неизбежность «разложения элементов», он пишет далее: «И это действие разума отнюдь не отвратительный анатомический процесс, разрушающий прекрасное явление для того, чтоб определить его значение. Разум разрушает явление для того, чтоб оживить его для себя в новой красоте и новой жизни»<sup>10</sup> (разрядка моя.— В. Б.).

Подлинная критика дает произведению новую жизнь. Его художественно-эстетическая сущность обретает свое критическое и бытие. Но для этого как раз и необходимо, чтобы критика не подражала искусству, сбиваясь на беллетризованный пересказ содержания и уподобляясь путнику, который смертельно боится хоть на шаг отступить в сторону от тропинки сюжета.

Я сравнил книгу с городом. Но в отличие от города реального, растущего в течение десятилетий и даже столетий, город-книга создается одним человеком. Без разгадки личности этого человека, его индивидуальных особенностей, судьбы невозможно постичь творение литературы.

Писатель и критик... Сложная это систе-

<sup>10</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. М. Изд-во Академии наук СССР. 1955, т. VI, стр. 270.

ма. Иной раз что-то вроде гонки с выбыванием. При этом трудно привести пример, когда выбыл талантливый писатель из-за того только, что его книгу несправедливо оценил критик. По-настоящему талантливый писатель все равно будет продолжать работу. А вот выбывание критиков — дело нередкое. Уходят в беллетристику, литературоведение, журналистику...

Настоящее взаимопонимание критиков и писателей — вот то, чего нам остро недостает. А примеры самых добрых отношений между писателем и критиком (и вовсе не на комплиментарной основе) имеются. Приведем отрывок из статьи В. Астафьева «Поклонись родной земле», где он рассказывает о своих главных воспитателях:

«Какой бабушка была в жизни, такой ее и написал. Может, что-то убавил, но ничего не прибавлял. Она была очень колоритной фигурой, недаром ее у нас на селе звали «генералом». Я ее считаю главным, что ли, своим воспитателем. Другой — Василий Иванович Соколов, директор того детского дома в Игарке, где я некоторое время жил. Под именем Валериана Ивановича Репнина он выведен в повести «Кража». А в литературе это Александр Николаевич Макаров. Постоянно и с благодарностью вспоминаю его товарищеское, дружеское участие в моей писательской судьбе. Дружба с Александром Николаевичем очень многое мне дала».

Как известно, бездоказательное заушательство с наклеиванием социальных ярлыков, имевшее место в 20-е годы, давно кануло в Лету. Что же касается писателей современных, то болезненность их реакции на замечания критики возросла настолько, что партийной печати пришлось таким литераторам напомнить: нежелание того или иного автора прислушиваться к справедливым замечаниям в свой адрес, стремление поставить себя вне критики необходимо рассматривать как проявление нравов, чуждых нормам нашей жизни.

Советская литература знает примеры достойного отношения к критике, не утратившие своего социально-педагогического значения до сих пор. Прикованный к постели Н. Островский писал А. Караваевой: «Я обязан написать «Рожденные бурей». И не просто написать, а вложить в эту книгу огонь своего сердца. Я должен написать (то есть соучаствовать) сценарий по роману «Как закалялась сталь». Должен написать книгу для детей — «Детство Павлика». И непременно книгу о счастье Павлика Корчагина. Это, при напряженной большевистской работе, — пять лет. Вот минимум моей

жизни, на который я должен ориентироваться... Скажи, Анна, где найдется такой безумец, чтобы уйти от жизни в такое изумительное время, как наше?.. Я прошу тебя, обратись к критикам от моего имени с призывом открыть большевистский обстрел первых пяти глав, не боясь суровых слов, лишь бы это было нам на пользу. Мне можно и нужно говорить все, лишь бы это было правдой. Покажи первая пример критики произведения своего воспитанника и друга». Выдержку из письма Н. Островского почтнее стоило бы перечитывать иным редакционным сотрудникам, боящимся критики.

Непреходящий образец трезво-критического отношения к своему творчеству дает Горький. Но это же вооружало его правом называть вещи своими именами: «Пишете Вы плохо и мало заботясь о точности, ясности... Нет, не поправился мне рассказ. Жалею об этом».

В различные периоды развития советского искусствознания, литературоведения и критики интерес к творческой индивидуальности проявлялся в разной степени. «Было у нас время, — не без оснований вспоминает К. Симонов, — когда такой (то есть постоянный, пристальный. — В. Б.) интерес к личности писателя бичевался в нашей критике, его называли даже обывательским. Между тем такой интерес вполне естествен, потому что для каждого человека, читавшего талантливую книгу, за этой книгой, так или иначе, встает другой человек, написавший ее».

В 60—70-е годы появилось немало работ литературоведов и критиков, в которых с привлечением различного рода биографических материалов (дневников, рабочих тетрадей, мемуаров современников, устных свидетельств самого автора и т. д.) воссоздается живой образ художника. Назовем такие разные по манере и задачам, но сходные в указанном отношении книги, как «Личность Достоевского» Б. Бурсова, «Гамаюн», биографическое повествование об А. Блоке В. Орлова, — в обоих произведениях используется чрезвычайно широкий биографический материал, не исключающий даже и характеристик интимной жизни художника. Можно назвать и книги критиков о советских литераторах: «Писатель и его время» Л. Скорино (о В. Катаеве), книги Г. Колесниковой «Сергей Залыгин», Л. Левина о П. Антокольском и В. Луговском, Л. Лазарева о В. Быкове, Л. Финка о К. Симонове.

Сегодня мы знаем немало критиков-профессионалов, каждый из которых испытывает устойчивый интерес к творчеству того или иного художника, следит за ним по-

стоянно, двигаясь по отношению к его творческим маршрутам «параллельным критическим курсом». Критик стремится воспринимать творчество писателя не как совокупность сходных (или различающихся) тематически книг, а как своего рода целостную систему, все составляющие которой так или иначе связаны друг с другом. Произведения писателя, если брать их не изолированно, а во взаимосвязи, как бы бросают дополнительный свет друг на друга, свет порою столь яркий, что он помогает рассмотреть в глубинах произведения то, что невозможно увидеть простым глазом.

Критика непременно двуадресна. Она расположена между двумя полюсами: писателем и читателем. В этом одна из сложностей, диалектических противоречий ее бытия. То, что она говорит писателю, должно быть интересно и полезно читателю и наоборот.

Наглядной и крайне поучительной иллюстрацией того, какое глубокое воздействие имеет передовая критика на читателя, может служить следующий эпизод из жизни В. И. Ленина. В книге Н. Валентинова «Встречи с В. И. Лениным» приводится рассказ Владимира Ильича о восприятии литературной критики в его молодые годы:

«Говоря о влиянии на меня Чернышевского, как главном, не могу не упомянуть о влиянии дополнительном, испытанном в то время от Добролюбова — друга и спутника Чернышевского. За чтение его статей в том же «Современнике» я тоже взялся серьезно. Две его статьи — одна о романе Гончарова «Обломов», другая о романе Тургенева «Накануне» — ударили как молния. Я, конечно, и до этого читал «Накануне», но вещь была прочитана рано, и я отнесся к ней по-ребячески. Добролюбов выбил из меня такой подход. Это произведение, как и «Обломов», я вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова. Из разбора «Обломова» он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа «Накануне» настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается. Вот как нужно писать! Когда организовалась «Заря», я всегда говорил Староверу (Потресову) и Засулич: «Нам нужны литературные обзоры именно такого рода»...».

Позднее Ленин неизменно стремился «связать и литературную критику теснее с партийной работой, с руководством партией»<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 134.

Завету ленинского, по-хозяйски заинтересованного отношения к критике неукоснительно следует наша партия. Литературно-художественную критику она рассматривает как незаменимый инструмент эффективного воздействия на художественное сознание, как важное средство идейно-эстетического воспитания широких слоев трудящихся.

Положение современного читателя заметно изменилось. Стало больше отвлекающих факторов. Телевидение в первую очередь. Наверное, как никогда раньше критика должна сегодня убеждать свою аудиторию в том, что чтение книги не может быть подменено восприятием ее сценической, кино-, теле- и т. п. версий. Хотя бы потому, что чтение — это восприятие ценностей, индивидуальное по темпу, по степени внимания к тем компонентам, к которым предрасположена данная личность, по возможности вернуться (еще не добравшись до конца) к наиболее обратившим на себя внимание местам.

Но при всех изменениях в духовном статусе читателя рекомендательная роль критики по-прежнему чрезвычайно велика. Может быть, она стала еще больше. Тем более нам следует неустанно заботиться о культуре рецензионного труда. Пovyшать требования к нему, поднимать, если угодно, уровень его общественной престижности. Ничто так не может подорвать уважение читателя к критике, как ее непринципиальность и уклончивость. Случается ведь и такое: вокруг книжной новинки кипят читательские споры. Казалось бы, вот тут-то и должно прозвучать авторитетное слово критика: кому как не ему раскрыть подлинную ценность нового произведения, показать спорное в нем — в общем, вынести профессиональное суждение. Между тем встречаемся мы порой с такой картиной: писатель спокойно пописывает, критик спокойно покрывает, старательно обтекавая все острые углы...

В Отчетном докладе XXVI съезду партии Л. И. Брежнев подчеркнул, что наука должна быть постоянным «возмутителем спокойствия», показывая, на каких участках наметились застой и отставание, где уровень знаний дает возможность двигаться вперед быстрее, успешней. Партийное требование быть «возмутителем спокойствия» в полной мере относится к литературно-художественной критике.

Одно из средств совершенствования рецензионного дела — самокритика. С. Залыгин справедливо замечал: «Мало у нас критических статей на критические статьи».

Подхватывая его мысль, скажу: а может быть, стоило бы заняться в печати анализом рецензий? Сопоставив их с теми книгами, которые разбираются? И почему бы не сделать это для начала журналу «Литературная учеба»? А может быть, можно представить себе сборник лучших рецензий года?

В последнее время в критике все более ярко выражается личность автора, его гражданский темперамент: критика становится все более публицистически заостренной и в то же время раскованной, более богатой красками, стиливыми оттенками. Попросту говоря, критика сделалась интересной, ее охотней читают. И в этом смысле она все ближе смыкается с литературой. С другой стороны, в серьезной критике в последние годы усилилось тяготение к концептуальности, глубине и масштабности обобщений, теоретико-методологической вооруженности, то есть критика в большей мере становится и наукой.

И все же заметные различия между критикой и литературоведением в подходе к явлению искусства остаются. Критик, как правило, стремится к тому, чтобы аналитическое осмысление художественных явлений сохраняло ощущение их эстетической целостности. Литературовед же в зависимости от характера поставленной задачи может взять в качестве предмета анализа отдельный компонент формы и содержания, основываясь на том, что в целом произведение уже получило оценку.

В работе критика отчетливо просвечивает активность авторского отношения к явлениям и тенденциям развития самой действительности. основополагающим, ведущим методологическим его принципом является конкретный историзм.

В труде историка литературы и критика конкретно-исторический подход к действительности проявляется неодинаково. Да это и понятно: критик зачастую анализирует произведения литературы и искусства, которые еще «не имеют истории». Это, например, первые произведения начинающего автора, которым важно дать объективную, взвешательную и доброжелательную оценку. Для осуществления исторического подхода особенно важно знание критиком современной жизни. В постановлении ЦК КПСС о критике прямо указывается на необходимость основательнее сверять, «соотносить явления искусства с жизнью».

В настоящее время критика, избавившись от рецидивов вульгарного социологизма, все больше внимания уделяет социологическому фактору при исследовании общественных явлений. Появились интересные работы подобного рода, авторы которых собственные наблюдения над развитием литературыверяют точными данными, добытыми социологией, и соответствующим образом уточняют свои выводы.

Признание большой роли социологического момента в работе критика никоим образом не должно приводить к недооценке эстетической природы искусства — со всей силой подчеркнем это еще раз. Напротив, эстетический критерий, мера соответствия произведения исторически утвердившимся общественным представлениям о художественности, о прекрасном, должен все время быть в поле зрения критика.

Отделить искусство от неискусства, определить степень совершенства искусства — это, наверное, и есть исходная профессиональная задача критика. А каков же, собственно, критерий совершенства, профессионализма самой критики? Ответы на поставленный вопрос могут быть не вполне однозначными. Мне кажется, мера профессионального совершенства суждений критика — это степень его убедительности, доказательности. Для читателя важны не просто мнения и впечатления критика, сколько бы ни были они интересны и ярки. Необходимо именно система внутренних связанных аргументов, посылок, несущих в себе единую мысль.

Высокий профессионализм особенно важен для критики и еще вот почему. Критика — наиболее «прикладная» часть науки о литературе. Как мы знаем, граница между нею и литературой столь подвижна, что зачастую трудно проследить, где критика становится самой литературой. Это свидетельствует о связи теории и художественной практики. Однако есть здесь и известная опасность — отхода от внутренних аналитических задач критики в сторону беллетризации, эссеистики и т. д.

Партийное постановление содержит в себе призыв глубже анализировать природу критики и ее возможности, добиваться все более эффективного и благотворного влияния на художественный процесс, на развитие эстетических вкусов и потребностей тех, для кого творит советский писатель.

Горький.



## ЭТО ДЕСЯТИЛЕТИЕ

### Диалог

**А.** Бочаров. Десятилетие со дня выхода постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» — отличный повод для того, чтобы оглянуться на свершенное, поразмыслить о том, что оказалось наиболее насущным в жизни нашего критического цеха. Начну с частных, которые на самом деле далеко не так уж часты. Они наиболее материальны, я их улавливаю прежде всего.

Во-первых, создан журнал «Литературное обозрение», и его деятельность заметно повлияла на осмысление текущего литературного процесса, на связи литературы с другими искусствами. Во-вторых, теперь ежегодно присуждаются Государственные премии за наиболее значительные работы критиков, что несомненно способствует авторитету, престижности нашей деятельности. Вот и совсем недавно мы поздравляли нового лауреата Виталия Михайловича Озерова, автора книг «Коммунист наших дней в жизни и литературе. Литературно-критические и публицистические очерки» и «Тревоги мира и сердце писателя. О друзьях и врагах культуры». Наконец — тут я скажу уж совсем о своем, цеховом, — на факультете журналистики Московского университета создана кафедра литературно-художественной критики, которой я сейчас руковожу. Введен на всех факультетах и отделениях журналистики университетов курс «Литературно-художественная критика». Следовательно, работать в печать идут сейчас молодые журналисты, которые обладают более высоким, чем прежде, уровнем практических и теоретических знаний по критике. И это тоже непосредственно сказывается на анализе и оценке новых произведений.

Но есть еще и глубинные течения, которые рождены постановлением, они не

столь наглядны, но в них-то, возможно, и заключается самое существенное. Это и новый методологический уровень творческой работы, новая общественная атмосфера вокруг художественных явлений; и то, что можно назвать повышением качества работы; наконец, подготовка и ориентация творческих кадров, молодых критиков и литературоведов — всех тех, кто на практике реализует задачи, выдвинутые постановлением. Должен заметить, что все эти проблемы — уровня, качества и кадров — стоят достаточно остро. И конечно, прежде всего волнует вопрос идейно-методологической вооруженности самой критики. Тут вам, Евгений Юрьевич, как практику и как проректору Литературного института, конечно, виднее.

**Е. Сидоров.** Я уже несколько лет веду семинар студентов-критиков в нашем институте. Эта работа такая, что на каждом шагу заставляет даже самого закоренелого практика задумываться о теоретических основаниях нашей профессии. Но об этом чуть позже. Скажу о главном предмете нашей беседы — о постановлении ЦК КПСС. Такого рода программного партийного документа о литературно-художественной критике не было за всю историю советской культуры.

Указав на серьезные недостатки и просчеты критики, партия четко определила ее задачи, наметив тем самым долговременную программу дальнейшего движения нашего жанра в контексте всей художественной культуры развитого социализма. Без преувеличения можно сказать, что постановление ЦК КПСС имеет историческое значение: оно повысило общественную значимость критического слова в литературно-художественном процессе. Критика оказалась в центре общественного внима-



ния. С критика сегодня больше спрашивается, но ему и прав дается больше, к нему прислушиваются, его охотнее, чем раньше, печатают, издают его книги.

Для успешного развития критики создана, таким образом, благоприятная атмосфера и почва. Есть и всходы, чья плодородность будет зависеть прежде всего от глубины корневого захвата. За последние годы вышли статьи и книги, обращенные к современному литературному процессу, историко-литературные работы, которые выдерживают достаточно высокие критерии как научные, так и собственно стиливые.

Заметное развитие в последние годы получила теория критики. Думаю, что самознание критики — плодотворный процесс, также во многом стимулированный постановлением ЦК КПСС. Появились работы Б. Бурсова, П. Николаева, Ю. Суровцева, В. Баранова, вышло несколько содержательных сборников ИМЛИ (последний из них — «Актуальные проблемы методологии литературной критики» под редакцией Г. Белой, В. Кожина и А. Мясникова), сборник МГУ «Проблемы теории литературной критики» под редакцией П. Николаева и Л. Чернец.

Остро ставится вопрос: что же такое критика? Литература, публицистика или меньшая сестра, золушка литературоведения? Существует много и классических и современных определений нашего жанра. В. Кожин, например, определяет критику «как вид публицистики», как «литературную публицистику», входящую в один ряд с публицистикой морально-этической, научной, философской, педагогической, экономической, политической, правовой и т. д. Здесь отмечена важная, но лишь одна грань критики. Ю. Суровцев, исходя из знаменитого пушкинского определения, справедливо акцентирует научные основания критико-публицистической деятельности. Б. Бурсов считает критику частью литературы. Это не схоластический заочный спор, ибо каждому из нас надо хотя бы вчерне определить предмет нашей деятельности, его основание и пафос. Рискну дать и свое определение, не претендующее, разумеется, на полноту и безапелляционность, тем более что оно учитывает уже высказанные точки зрения моих коллег.

Так вот, для меня, как и для Б. Бурсова, критика есть часть литературы (не литературоведения, не эстетики, а именно литературы в полном смысле слова). Это особый род творческой, идеологической деятельности, предметом которой является эстетический анализ и оценка ли-

тературных явлений, опирающиеся на научные критерии познания и имеющие целью публицистическое участие в обсуждении и разрешении не только литературных, но и актуальных жизненных проблем.

Ю. Суровцев очень верно обратил внимание на двойственную природу критики: по отношению к публике критик выступает представителем искусства, его ценностей и интересов; по отношению к писателю — представителем общественного (и читательского) мнения во всеоружии социального и идеологического сознания.

Мне уже довелось говорить однажды, что критика получает свежие импульсы и выдвигает значительные имена, как правило, в переходные художественные периоды, когда общество и литература готовятся к качественно новому шагу в развитии представлений о судьбе человека в современном мире. Искусство всегда живет идеями, и хороший критик призван раньше других уловить и сформулировать носящуюся в воздухе и разлитую в художественных образах сокровенную мысль о своем времени, его потенциях и противоречиях, его нравственном наполнении. Роль критика, таким образом, близка к роли философа и публициста, прокладывающего вместе с прозаиком, поэтом, драматургом пути к постижению смысла человеческой жизни, неразрывно связанной с исторической судьбой народа, с идейным и моральным опытом прошлого. Такова русская классическая традиция критики, и прежде всего революционно-демократической.

Что же касается «практического» бытия нашей критики, то бесспорно одно: критику сегодня читают охотнее, чем вчера. О ней говорят и спорят не только литераторы, но и, что особенно важно, рядовые читатели. Правда, журнал «Литературное обозрение», проведя выборочное исследование среди читателей одного из районов, выяснил, что критикой среди них интересуется... лишь один процент. Возможно, так оно и есть. Но, во-первых, это исследование выборочное и недостаточно репрезентативное, а во-вторых, критика всегда, во все времена читалась лишь определенным кругом читателей, подготовленных для восприятия научно-публицистических текстов. Критика не может, не должна гнаться за массовым читателем, у нее другие задачи. Хотя, конечно, в идеале каждый критик мечтает, чтобы его прочли многие, как читают поэзию и прозу.

**А. Бочаров.** Весь вопрос в удельном весе этой читающей аудитории в том, кто же

составляет этот процент и как его мнение влияет на остальную массу читателей.

**Е. Сидоров.** Хочется думать, что хорошую критическую книгу или статью читает именно тот круг, который в первую очередь определяет уровень культуры в нашей стране.

**А. Бочаров.** Заметное в последние годы повышение общественного авторитета критики бесспорно усиливает ее общественное значение. Это сказывается в ряде существенных аспектов. Во-первых, расширился круг художественных проблем и явлений, которые вовлечены в серьезный критический анализ. У нас никогда не выходило такого обилия книг по самым разнообразным проблемам, будь то социально-психологический анализ, или проблемы мастерства, или развитие отдельных жанров. Попробуем назвать книги последнего времени, взятые, что называется, прямо из этого потока: «Гуманизм, советской литературы» В. Дмитриева, «Пределы достоверности» И. Янско́й и В. Кардина, «Художественный конфликт и развитие современной советской прозы» А. Погрибного, «Реалистическая условность в современной советской прозе» Н. Черной. Конечно, они разные и по объему и по глубине проникновения в материал, но каждая из них ставит, как видим, существенные проблемы современной прозы: гуманизм, документальность, условность, конфликт.

**Е. Сидоров.** Охотно поддержу вас, Анатолий Георгиевич. Но прежде чем перейти к конкретным фамилиям, скажу, что каждый и ст и н н ы й критик сам представляет определенную точку зрения. Вместе же, если судить по книгам и дискуссиям последнего времени, они вывели нашу критику на позиции серьезного обсуждения самых коренных литературных (а стало быть, и жизненных) вопросов. Перечислю только некоторые из этих вопросов: классика и современность, национальное и интернациональное в художественной культуре социализма, судьба социалистического романа, положительный герой и народный характер в прозе 70-х годов, стиливое многообразие литературы социалистического реализма, эстетическая сущность нашего творческого метода... Здесь литературные явления все чаще рассматриваются в широком контексте и отечественных традиций и мирового художественного процесса. Расширение горизонта мысли есть предвестие и ее качественного углубления. В лучших образцах современной критики надежно живет поиск правды и способов ее художественного воплощения. В работах,

о которых я веду речь, помимо всего прочего, утверждается достоинство критического слова, выражается неприятие общих мест, расхожих клише и стереотипов.

И вот имена некоторых моих коллег, чьи статьи и книги читаю с интересом безотносительно к тому, разделяю или не разделяю их позиции по конкретным художественным поводам: А. Адамович, Н. Анастасьев, Л. Аннинский, Г. Асатиани, А. Бочаров, А. Бучис, В. Гусев, И. Дедков, В. Дементьев, А. Зверев, И. Золотусский, Ю. Карякин, Ф. Кузнецов, Л. Лавинский, Г. Маргвелашвили, А. Марченко, Ал. Михайлов, В. Новиков, В. Озеров, В. Оскоцкий, П. Палиевский, Б. Панкин, И. Роднянская, М. Чудакова, А. Урбан.

Нельзя забывать и опыт нашей критики 60-х годов, который во многом подготовил нынешнее ее состояние. Конкретно имею в виду «селекционную» критическую работу таких литераторов, как А. Макаров, статьи И. Виноградова, И. Гринберга, И. Крамова, Л. Лазарева, В. Лакшина, С. Лесневского, В. Огнева, С. Рассадина, Б. Сарнова, А. Туркова, Л. Якименко, Н. Яновского и некоторых других критиков, активно участвовавших на журнальных страницах в обсуждении проблем текущей советской литературы.

**А. Бочаров.** Важно было бы исследовать, сколь ощутимое воздействие на искусство и критику, на все то новое, что пришло за эти десять лет, оказали наряду со специальным постановлением по критике еще и документы XXV и XXVI съездов партии, ряд важнейших решений партии по вопросам экономики, культуры, о работе с творческой молодежью, о дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы. Только в этом комплексе, в таком контексте можно ощутить значение всего нового.

Касаясь собственно идейно-творческой, теоретической стороны нашей работы, необходимо выделить несколько моментов, особо характерных для развития критической мысли за это десятилетие. Один из них — крупно утверждающаяся концепция личности, представление о литературном герое, поставленное теперь на более широкую эстетическую платформу, чем просто разговор о положительных и отрицательных персонажах, как то было прежде. Концепция личности объемлет сложного человека. А сложного этого героя мы видим, если брать вторую половину 70-х годов, среди героев Залыгина и Распутина, Трифонова и Ананьева и других. Утверждение концепции личности вместо привыч-

ного «герой современности», вместо жесткого разделения на положительных и отрицательных — несомненно шаг вперед всего нашего искусства и нашей критики.

На мой взгляд, важно и принятое нашей критической мыслью понимание метода социалистического реализма как исторически открытой эстетической системы. Эта эстетическая широта метода, не имеющая ничего общего со всеядностью, стала сегодня общепризнанной. Мы напрочь отрешились от понимания метода социалистического реализма как суммы норм и априорных установлений. Признание эстетической широты и эстетической открытости вошло в критический обиход безоговорочно как исходное в наших оценках явлений литературы и искусства.

Непосредственно с этим связано и осмысление в с е с о ю з н о г о литературного процесса. Раньше мы смотрели на братские литературы все-таки как на меньших братьев, а теперь уже просто невозможен сколько-нибудь серьезный разговор о литературном процессе без учета достижений и особенностей советских национальных литератур. Кстати, это поставило сегодня перед нами новую задачу: попытаться осмыслить место нашей литературы в большом мировом сложно-многонациональном процессе. Мы вроде научились ориентироваться в своих братских литературах, но надо бы критикам активнее включать в свои работы еще и опыт литератур польской, венгерской, других социалистических стран (сейчас этим занимаются немногие — В. Огнев, Теракопян, отчасти в какой-то степени П. Топер, С. Бэла). А между тем опыт критического освоения многонациональной советской литературы показывает всю плодотворность расширения критического диапазона. На материале одной только русской литературы сегодня просто невозможно обобщать все наши критические выводы: мировой литературный контекст весьма существенно поправляет иные наши скоропалительные и запальчивые утверждения и упоения.

И еще как важный итог десятилетия — обилие дискуссий, которые в последнее время проходят. Сам дух постановления партии, все то, что в нем говорилось, предполагает серьезное и всестороннее осмысление художественного процесса, а стало быть, необходимость сопоставлений, столкновений различных точек зрения, в результате чего и возникает объемная и научно состоятельная концепция. И пусть мы иногда бываем недовольны качеством дискуссий, уровнем, на котором они ведут-

ся, — их общий положительный итог несомненен. Например, недавние дискуссии в «Литературной газете» о деревенской прозе и прозе о быте: они не были завершены сколько-нибудь категорическими редакционными выводами, но ведь нам важно не столько редакционное заключение, которое бы, по шутиливой поговорке, «закрыло тему», — нам важен сам дух дискуссии, диспута, спора, свободного выражения мнений, потому что такие споры — отличная школа и для читателя и для самих критиков.

**Е. Сидоров.** В общем, картина, нарисованная вами, близка к истине. Что же касается ее частных и деталей, то в отношении проблемы «социалистический реализм как открытая эстетическая система» следовало бы заметить следующее.

Эстетическая широта, открытость нашего метода, будучи общепризнанными сегодня, нуждаются тем не менее в серьезном теоретическом осмыслении. Хотя само утверждение этого принципа далось нелегко, в острых дискуссиях и заслуга талантливого ученого Д. Ф. Маркова здесь неоспорима, однако надо идти и дальше вглубь. Как осуществляется это эстетическое многообразие конкретно? Какие формы художественного обобщения присущи социалистическому реализму на современном этапе? Каково место романтизма в нашей литературе? Много еще неясного, спорного. И здесь нам действительно никак не обойтись без сравнительно-типологического изучения художественных явлений во всех наших братских литературах, а дальше — литератур социалистических стран, всего мирового литературного процесса. Вы совершенно правы: необходим качественно новый рывок научно-критической мысли, который позволил бы постигнуть не только интернациональное и национальное в природе того или иного жанра, стиля, характера и прочего, но и обозначил место лучших произведений литературы развитого социализма в мировой культуре XX века. Не только на уровне идей, что сделать сравнительно просто, но на уровне эстетических исканий, концепции человека, стиля и жанра.

Попытки такого рода уже делаются. Хочу обратить внимание читателей на недавно вышедшую книгу «Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма», где в статьях В. Ковского «Литература в контексте культуры» и Л. Арутюнова «Интернационализм и взаимообогащение литератур» намечаются интересные пути рассмотрения эстетических

ценностей социализма в процессе общечеловеческих духовных исканий.

Теперь относительно дискуссий. Постановление ЦК КПСС призывает критиков и писателей к активному обсуждению острых и принципиальных вопросов нашего литературного развития. И действительно, творческая атмосфера литературных обсуждений — важное завоевание последнего десятилетия, в которое немало вложили сил и «Литературное обозрение», и «Вопросы литературы», и «Литературная газета», и «Дружба народов», и «Литературная учеба». Набирают силу критические отделы в республиканских литературных журналах, выходящих на русском языке, особенно в Прибалтике и Грузии.

Но в связи с этим вот о чем думаешь: как важно правильно выбрать дискуссионную тему! У нас же нередко дискуссии планируются по простейшему принципу: газета или журнал обязаны провести одно-два обсуждения в год... Ну а если нет настоящей темы для принципиального спора? Тогда дискуссия начинает напоминать наш с вами, Анатолий Георгиевич, диалог: возможно, есть расхождения в частностях, но единство в главном полное. Обычно это уже не спор, не сшибка мнений, а спокойная беседа единомышленников (что тоже жанр почтенный, но другой, не тот, который — дискуссия!).

Не стоит искусственно себя взбадривать на дискуссию; не надо бояться острых тем и выбирать для споров предметы бесспорные; не надо редакторам с чрезмерной остороженностью относиться к субъективизму в спорах, к тому, что идет вразрез с привычными мнениями.

Хочу, кстати, коснуться модной нынче практики публикации «двух критических мнений о книге» (или о творчестве какого-нибудь автора). Сам прием в принципе хорош, но он совершенно отрицает себя в тех случаях (а их немало, к сожалению), когда редакция журнала или газеты отказывается обнародовать свое четкое мнение по данному поводу, когда она на глазах у всех пытается обойти важное, сгладить острые углы. Скажем, в журнале «Литературное обозрение» в 1978 году обсуждались романы В. Пиккуля, о которых один из спорщиков сказал, что это такая историческая романистика, где отчетливо «желание воссоздать прошлое, каким оно было на самом деле»; другой критик, историк по образованию, увидел в тех же книгах «искажение мыслей исторических персонажей», «подтасовку некоторых документов». А что же редакция? А вот что: «Нам

думается, что все изложенные выше точки зрения полезны и небезынтересны как для читателей, так и для автора романов». Безразличней, пожалуй, не скажешь. А ведь речь шла о действительно серьезных вопросах, имеющих не только эстетический, но и идейно-методологический смысл!

**А. Бочаров.** Но всегда ли у редакции может быть (и должно быть) четкое, окончательное мнение? Где гарантия, что мнение критика, представляющего редакцию, будет исчерпывающе точным? Мне больше по душе, к примеру, недавнее обсуждение «Альтиста Данилова» в том же «Литературном обозрении», когда В. Пискунов и С. Еремина, представлявшие редакцию, были все-таки не оракулами, а третьей, наиболее рассудительной стороной.

**Е. Сидоров.** Истина одна, как бы мы ни уважали диалектику. И редакция, как правило, знает, в чем дело и где правда. Но она, бывает, по разным, порой внелитературным, соображениям вступает на стезю тактической игры. Если же редакция действительно не в силах четко определить свое мнение о спорной книге, то не надо делать вид, будто ты из гуманно-педагогических соображений до поры до времени его скрываешь. Читатель ведь тоже не вчера родился.

**А. Бочаров.** Но вернемся к вашему замечанию о том, что открытость нашего метода нуждается еще в серьезном теоретическом осмыслении. Нужно сказать, что в этом нуждаются и некоторые другие насущные для литературы теоретические проблемы. Когда в свое время был выдвинут, опираясь на знаменитую ленинскую работу, тезис о партийности искусства, он поначалу был весьма неразработан, и ученым и критикам нужно было затратить много усилий, чтобы увидеть партийность как действительно эстетическую категорию (в этом плане обращу внимание на работы Г. Куницына «Еще раз о партийности художественной литературы: Трактат в лицах» и «Общечеловеческое в литературе»). Но и по сегодняшний день в этой важной области немало вопросов, требующих дальнейшего изучения.

Точно так же обстоит дело и с открытой эстетической системой: надо уточнять какие-то положения и в дальнейшем, но принципиально важно то, что, руководствуясь этой уже упрочившейся методологией, мы в состоянии правильно оценить многие значительные достижения нашей литературы, казавшиеся некоторым догматическим критикам неким нарушением порядка «в кругу расчисленных светил».

**Е. Сидоров.** Мне не хотелось бы, чтобы наш разговор принял слишком букволический характер: мол, все у нас в критике хорошо, все развивается в высшей степени гармонично. Вот мы говорим о партийности, идейности, народности. А разве не приходилось вам читать журнальные выступления, где народность никак не связывается с партийностью и партийность даже словно бы выносятся молчаливо за скобки? Разве не приходилось слышать таких разговоров, что положительный герой уже не нужен, вот, мол, народный характер — совсем другое дело. Конечно, личность героя усложнялась, но правомерно ли полемически противопоставлять два этих понятия, одно вытеснять другим?

**А. Бочаров.** Но, может быть, народный характер и впрямь более емкое определение, чем положительный герой? Спектр народного в нашем представлении более насыщен, чем приметы положительного.

**Е. Сидоров.** Выскажу такую крамольную мысль: сегодня критику особенно много хлопот с принципиальным полемическим выступлением, затрагивающим мировоззренческие вопросы, выказывающим твердость, неуступчивость в спорах, скажем, о классическом наследии, народном характере, историческом романе и т. п.

**А. Бочаров.** Ну зачем же так категорично? Мне, например, запомнилось принципиальное и убедительное выступление А. Андрианова в «Литературной газете» против идейно незрелой статьи Б. Васильева «Талант и художественное постижение жизни», появившейся в «Нашем современнике». Можно вспомнить и ряд серьезных полемических выступлений В. Оскоцкого, Ю. Кузьменко и некоторых других.

**Е. Сидоров.** Нет, я не о частностях, а о существе проблемы. Верный в целом пафос «консолидации сил» нашей многонациональной литературы, презрение к всяческой «групповой возне» вовсе не означает, на мой взгляд, что эта консолидация художников самых разных взглядов должна происходить за счет тактических уступок идейно-художественного свойства. Подлинная консолидация возможна только на платформе творчески развивающейся марксистско-ленинской теории, иного пути не дано. Между тем в литературных редакциях (будем откровенны) часто опасаются обвинений и упреков в тенденциозности, пристрастности к определенным позициям. Но ведь тенденциозность должна быть непременно, когда речь идет о мировоззрен-

ческих вопросах развития литературы и теории!

Мы порой забываем о социалистическом первородстве нашей литературы при всей ее генетической связи с классическим наследием. Я решительно против социологизирования, но мое воспитание не позволяет мне вести разговор о литературе с абстрактно-духовных позиций. О народе вообще. О духовности вообще. О нравственности вообще. Уходя в область внеклассовых, национально-духовных характеристик.

**А. Бочаров.** Мы говорили об идейных, методологических завоеваниях критики 70-х годов. Следует, вероятно, посмотреть, как же все это сказалось на качестве критики.

Представляется, что литература последнего десятилетия, в частности проза, дала немало подлинно сложных по своей идейно-художественной структуре произведений. Оказалась ли наша критика способной правильно понять и оценить их? Я лично думаю, что критика в целом справилась с осмыслением главного. Нет произведений, которые оказались бы недооцененными, хотя есть и слишком шумно, прямо-таки рекламно вознесенные. Другое дело, что критика, как и журналистика вообще, ограничена своими возможностями и в постановке некоторых проблем, и в более полном разборе тех или иных романов. Пожалуй, только Ю. Суровцев получил в «Дружбе народов» достаточно площади для разговора о романе Ч. Айтматова «И дольше века длится день». Серьезные, аргументированные разборы произведений, органично включенные в единую картину творчества данного писателя, принадлежат перу Б. Панкина. Так что в целом я не думаю, будто критика не поднялась к вершинам «произведений века», проглядела какие-то выдающиеся книги. Наоборот, критика чаще открывала в книгах такие глубины, которые не были «предусмотрены» самими авторами: критика напряженнее жаждет увидеть мудрость искусства, чем те художники, что уповают больше на интуицию таланта. А от одного прозаика я получил письмо, где были следующие фразы: «Ваша статья — это Ваш взгляд на мои вещи, взгляд, который несколько отличается от моего. Я знаю какие-то тайны моих вещей, которые не знает никто, тайны, которые покажутся мистическими, идеалистическими. Вы же постигли все объективным взглядом, который верен по-своему». Верен по-своему!

Но часто писатели бывают недовольны, что критик не может понять их произведений во всей глубине, и при этом не допускают и мысли, что эта глубина лишь чудится им, а в самой художественной ткани она не выражена, не обозначена, так что виноват не критик, а недостаточная художественная выразительность.

Предполагая, что критика порой говорит больше, чем это есть в иных произведениях, я прежде всего имею в виду критику поэзии. Она сегодня сильнее, чем сама поэзия. Не хочу сталкивать критику и прозу, но в понимании общих вопросов на материале литературных произведений критика в каких-то случаях тоже шла впереди, особенно в связи с усилившимся сегодня в прозе тяготением к мифологическим структурам. Именно критика увидела и обосновала необходимость постановки вечных вопросов, без чего литература не может полноценно дышать. Сейчас для многих прозаиков такая мифологизация, такое влечение к вечным вопросам стали чуть ли не единственной целью, единственным критерием достоинств произведения. И такое обращение к вечным вопросам критика уже должна заземлять, ставить их на реальную почву. И в этом диалектическом процессе, когда сталкиваются потребность в постановке общих вопросов и реальная угроза утраты интереса к актуальным проблемам современного бытия, критика делает свое благое дело, не отставая от литературы, а порой помогая обрести естественные границы, естественные соотношения. Например, последняя повесть А. Кима «Лотос» вызвала разные толки. Можно, конечно, сказать, что критика не достигла всего, что там сказано. Но мне кажется, что критика в целом определила то объективное, что есть в этом произведении, и в то же время показала, образно говоря, не только цветок лотоса, но и его луковицу, где слишком много словесных слез накручено на сравнительно небольшое ядро.

**Е. Сидоров.** Анатолий Ким — очень одаренный, самобытный писатель. Мне только кажется, что когда речь идет о смерти, не стоит так эстетизировать собственный стиль. Балансировать между красотой и натурализмом. На Андрея Платонова бы оглянуться (читая «Лотос», я вспоминал о Платонове, и это к чести Кима). Думаю, писатель в повести «Нефритовый пояс» ищет новые стилевые краски, новое (почти трифоновское) ощущение жизни. Своеобразие развития А. Кима обещает значительные и неожиданные книги.

**А. Бочаров.** Продолжу свое рассуждение, в которое вклинилась тема А. Кима.

Как известно, у критики есть три объекта, требующих своеобразного подхода к анализу каждого из них: произведение, автор и творческий процесс. И думаю, что самое уязвимое у нас сегодня звено — как критика осмысливает отдельное произведение... Здесь царит сплошное благолепие. В рецензионном потоке патоки мы утрачиваем представление, какие вещи являются действительно значительными, а какие второстепенными, а то просто серыми. А ведь в постановлении ЦК прямо говорилось о необходимости повышать требовательность к произведениям, написанным на низком идейно-художественном уровне. И об этом снова напомнил Л. И. Брежнев в докладе на XXVI съезде.

Несколько лучше обстоит у нас дело с осознанием своеобразия творческой индивидуальности, идейно-философских концепций художника.

Постепенно мы избавляемся от принципа, господствовавшего долгие годы в нашей критике: не важно, что хотел сказать писатель, важно, что он сказал объективно. Мы все больше стараемся выявить, что же хочет сказать автор, в чем его мировоззренческая, философская позиция. Только при этом условии можно ведь понять эстетический идеал произведений, в которых нет риторически выраженной позиции автора или наглядного положительного персонажа. И хорошо, что у нас появились «портретные» статьи и очерки о Шукшине, Распутине, Астафьеве, Вампилове (особенно запомнилась мне яркая статья К. Рудницкого о Вампилове). Хотя думаю все-таки, что нет еще у нас достаточно крупных работ, которые полно и глубоко разбирались бы в творческом мире этих писателей. У нас больше любят писать статьи юбилейные, когда сам жанр определяет задачу и тональность: не анализ, а похвальное слово.

В издательствах «Советский писатель», «Советская Россия» выходят самые разные по объему «очерки творчества» самых разных писателей, в том числе и таких интересных, как Зоценко, Панова, Шукшин. Уже несколько очерков издано о Ч. Айтматове. Вроде все в порядке, и в то же время, как ни странно, ни один критико-биографический очерк не вызвал такого общественного резонанса, чтобы вокруг концепций творчества того или иного художника вдруг возник бы спор в критике. Ни один очерк не стал, как говорится, событием в критике.

Лучше обстоит у нас дело с осмыслением текущего литературного процесса. Здесь критика наиболее удачная, она тут остра и пронизательна. Итоговые статьи о литературе 70-х годов были разные, но многие из них — назову статьи А. Эляшевича, Ю. Кузьменко, И. Дедкова — точно и глубоко характеризовали наш литературно-художественный процесс.

**Е. Сидоров.** Думаю, что и в осмыслении литературного процесса еще далеко не все совершенно. Если потомки будут судить о нашей литературе по критическим журнальным разделам, их ожидает картина фантастического благополучия и всяческого подъема при отдельных и нетипичных недостатках. Стыдно так относиться к литературе, которая ждет требовательной любви, а не холодного и расчетливого обожания самого замечательного таланта, не говоря уж о дарованиях поменьше.

Можно к вопросу осмысления литературного процесса и с другой стороны подойти. Что вы думаете, к примеру, о недавней статье И. Дедкова «Когда рассеялся лирический туман»? («Литературное обозрение», 1981, № 8)

**А. Бочаров.** И. Дедкова считаю одним из лучших сегодняшних критиков. Да и в этой статье много точных наблюдений, хотя я думаю, что она написана с предвзятых позиций. К примеру, он пересказывает подряд восемь или девять произведений, и получается, что все они об одном. Но если мы перескажем те произведения, которые Дедков прежде хвалил, то получится вот что: умирает мать, приезжают дети из города... умирает старик, приезжают дети из города. Такое опрощение в любой — в том числе и столь дорогой для Дедкова деревенской — прозе можно сделать. Или он пишет, что такой-то писатель вязнет в изображении деталей, но он сам хвалил деревенскую литературу за то, что она так внимательна к деталям. Или опять же недоволен, что в прозе московской школы много говорят и мало действуют. Ну а как же «Плотницкие рассказы» Белова: ведь там только и говорят! Так что в этой статье влюбленность Дедкова в одно направление прозы обернулась тенденциозностью по отношению к другому направлению, хотя я, грешным делом, думаю, что лучше такая тенденциозность, за которой чувствуется страсть, чем умиленное раскрашивание всего серовато-розоватой краской.

**Е. Сидоров.** Статья Игоря Дедкова вызвана реальной ситуацией. Это развернутая реплика по поводу шумных деклараций,

реально пока не подкрепленных глубоким и новым творчеством. В главном разделяешь его позицию. По конкретным именам возможны споры. Так, В. Маканина, к примеру, Дедков явно не понял. Вообще последовательная типология в критике, да еще на уровне сюжетов и героев, вещь опасная: тут нужен и индивидуальный подход. Тем не менее именно по таким статьям, как выступления И. Дедкова, можно судить, что сам стиль критической полемики явно улучшился за последние годы.

**А. Бочаров.** Я не думаю, что стиль полемики так уж явно улучшился, потому что общее благостно-благостное настроение накладывает свой отпечаток. Больше встречаются диалоги — вот как у нас с вами, — а не полемика. В этих диалогах каждый говорит про свое или оба сходятся, как мы с вами. Да и столь любимые многими редакциями «крутые столы» совсем не содержат острых углов. Поневоле возмечтаешь о новой рубрике «Прямоугольный стол». Хотя недавний «круглый стол» в «Вопросах литературы» о романах последних лет получился, на мой взгляд, удачным.

**Е. Сидоров.** Конечно, при всем том, что в целом заметно повысился уровень критических дискуссий и в них все реже встречаешь неуважительные ноты по отношению к оппоненту, все же есть еще случаи, когда профессиональная этика грубо нарушается, цитаты из критикуемого автора намеренно искажаются и его словам приписывается иной смысл, нежели он в них вкладывал. Сошлюсь на свой опыт. За последние годы мне пришлось выслушать только со страниц журнала «Москва» такие, например, обвинения: я оправдываю дезертирство (трактовка образа Гуськова в повести «Живи и помни» В. Распутина); не признаю за старухой Дарьей («Прощание с Матёрой»), а также за Ариной Родионовной (няня Пушкина) и мужиком Мареем из известного рассказа Достоевского «какую-либо духовную мудрость», перед которой, однако, все мои «собственные мудрствования» не более чем «капля дегтя» в бочке «мирового творчества добра» (!) и т. п. В этом случае сам стиль, словарь полемики, не говоря уж о существе дела, удивительно развязен и возвышенно-беспредметен. Лучше жать плечами и идти дальше. Поэтому и в голову не приходит отвечать, защищаться, возражать в печати. Так достойней.

**А. Бочаров.** Продолжая разговор о качестве, опять-таки невозможно обойтись без конкретных книг и имен: ведь в конеч-

ном счете в них-то все дело, качество — в самих книгах.

О книгах М. Храпченко, Д. Лихачева и других наших крупных литературоведов, о их роли в формировании современного уровня критики писалось уже много. Далеко за пределы XIX века выходят по своему значению работы Л. Гинзбург, и особенно последняя — «О литературном герое». Так же как работа Д. Затонского «Искусство романа и XX век» (о зарубежном романе) — за пределы XX века. Это исследование того русского классического и зарубежного контекста, в который нам следует вписывать современную советскую прозу, чтобы ясно различать истинные успехи от мистифицированных, реальные задачи от пустопорожних призывов.

В пору творческой зрелости вступили такие критики, как Ю. Кузьменко, издавший в прошлом году основательную проблемную книгу «Советская литература вчера, сегодня, завтра». Сборник статей и монографию о Быкове издал тот же И. Дедков. Хотя я не раз полемизировал с Б. Анащенковым, преувеличивающим, на мой взгляд, роль НТР в развитии литературы, его очерково-публицистические работы всегда заметны. А совсем недавно в Ленинграде вышла книга В. Лаврова, которая называется «Человек. Время. Литература. Концепция личности в многонациональной советской литературе». В прошлом году мы с вами встретили на всесоюзном семинаре большую группу критиков из провинции: Иван Рогощенков, Евсей Цейтлин, Виктор Горн. С интересом читаю статьи С. Чуприна, И. Шайтанова, С. Соложенкиной, А. Панкова.

**Е. Сидоров.** Я бы присоединил сюда А. Пикача из Ленинграда, Н. Иванову, В. Бондаренко из Москвы.

**А. Бочаров.** Список хороших критиков можно продолжить, но не буду перечислять фамилии, чтобы не создалось впечатления, будто я считаю себя вправе раздавать лавровые листики своим товарищам по профессии. Скажу лишь, что пополнение критиками идет, и этот процесс свидетельствует о здоровом организме. Когда нет здоровья в организме, то всегда появляются перебои. Существенно и то, что молодые критики в большой мере люди уже основательно образованные, защитившие диссертации, глубоко проникнувшие в какие-то определенные сферы литературы.

Единственно что меня в последнее время несколько настораживает, это то, что я называю чрезмерной литературностью критического текста. Теперешнее молодое по-

коление критиков, бесспорно, пишет лучше, чем поколение 50—60-х годов. К ним пришла иная культура слова — они порой пишут, не уступая в образности самим авторам, а то и превосходя их. Тут несомненное достоинство их статей: литературно яркие работы интереснее читать и, стало быть, они достигают большего эффекта. Но есть здесь и некоторая опасность, тем более что это смыкается с определенными — я бы назвал их орнаментными — тенденциями в самой прозе. За обилием цветистых эпитетов, изящно отточенных периодов, звонких парадоксов часто теряется энергия критической мысли, а она чрезвычайно важна для газетных и журнальных публикаций. «Залитературенность» критического текста может привести к реальному снижению эффективности. Вот и Л. Лазарев, ведущий на факультете журналистики творческую мастерскую критиков, сетует, что студенты, приходящие в мастерскую, часто подвержены этой тяге к украшательству стиля.

**Е. Сидоров.** Красота критики — это точность смысла.

**А. Бочаров.** Хорошая литературность никогда не вредит смыслу, если, конечно, этот самый смысл присутствует. Я часто полемизирую с И. Золотусским, но не могу не признать, что он критик, у которого есть отчетливая позиция, есть взгляды, выраженные в несвойственной мне самому яркой, броской, подчас парадоксальной манере. Или В. Турбин...

**Е. Сидоров.** Прекрасную книгу написал Л. Аннинский о Л. Толстом в кино. Жаль, что не сохранилось ее первоначальное название — «Охота на льва».

**А. Бочаров.** Лев Аннинский из тех критиков, кто мыслит процессами, проблемами, а не произведениями. И я в принципе разделяю его полемически острую позицию, которую сейчас так любят оспаривать: будто для него не важно само произведение, а то, что он хочет по поводу этого произведения высказать.

Он, конечно, гротескно заостряет свою позицию, но если говорить спокойно, то и впрямь критик силен тогда, когда у него за душой действительно есть то, что он хочет поведать людям, есть свои воззрения на ход жизненных и литературных процессов. Объективный подход к произведению не исключает того, что критик в целом ряде случаев может развивать свою мысль подбором произведений, словно бы выдернутых из самого литературного процесса. Думаю, что чаще всего критик не должен замыкаться в тексте этих произ-



ведений: его задача не ограничивается комментированием, популяризацией и даже, говоря совсем возвышенно, переводом художественного пафоса с языка образов на язык логики. Как публицист пользуется жизненным материалом, который дает ему основу для обобщений, так и критик обращается к художественному материалу, ища в нем подтверждения своим наблюдениям и воззрениям. Ведь критик состоит не при художнике, а, так сказать, при обществе. Да подобное происходит и в самой литературе. Одни прозаики, как, скажем, Ю. Казаков, пластично, объемно воссоздают тот мир, который они видят; другие, как Тендряков, проламываются сквозь какие-то явления действительности, утверждая свою страстную художническую мысль.

**Е. Сидоров.** В этой связи хочу повторить то, что говорил неоднократно: я скептически отношусь к позиции тех моих коллег, которые тайно, а иногда и явно считают, что литература — лишь повод для самовыражения критика. В подобной позиции мне всегда видится неуверенность, наивная попытка самоутверждения, обаятельная в юности и бесплодная в зрелые годы. Лучшая почва для самовыражения критика есть глубокое понимание текстов и того, что за ними стоит, — человека, времени, истории.

**А. Бочаров.** Среди различных функциональных форм критики есть такая, которая направлена (и я воспринимаю ее как главную, магистральную) на создание общественного мнения, общественной атмосферы вокруг жизненных и литературных проблем. В этом смысле критика не просто «служанка литературы», популяризатор литературы, а один из компонентов общественного мнения наряду с философией, историей, социологией, правом и т. д. На материале литературы и искусства она решает насущные проблемы общественного бытия. И эту задачу критики нужно выделить особо. С полным основанием мы отделились от догматического понимания, будто критика назначена учить литературу, учить художников. Но критика участвует в создании той общественной атмосферы, которая воздействует исподволь, постепенно. Критические статьи редко производят мгновенное действие, чаще они как раз создают атмосферу.

Критик, как мне представляется, не должен уметь писать, как писатель, а должен уметь писать, как журналист. Если писатель выражает себя через образы, у критика другое назначение, другой стиль. Он журналист, публицист, а журналистику мы не можем считать литературой как таковой. Или — уж

совсем идя на компромисс — скажу, что многообразие критики допускает сосуществование критики пластичной, погруженной в текст произведения, и критики публицистической, запал которой лежит вне какого-то одного произведения. К примеру, куда как далеко от произведения отходит В. Турбин — почитайте его недавнюю статью «О художественной фантастике».

А теперь я хочу обратить ваше внимание на одну проблему, которая стоит того, чтобы ее обсудить. Что значит для текущей критики быть ближе к жизни, вторгаться в жизнь? И каково может быть влияние критики на развитие литературы, связанной с такими большими общенародными проблемами, как освоение сибирского нефтяного материка, преобразование Нечерноземья, защита природы? Ведь уже появилось немало прозаических книг, посвященных этой проблематике.

**Е. Сидоров.** Думаю, что здесь пока впереди идут публицистика и драматургия. Если взять сельское хозяйство, то очерки, скажем, Ю. Черниченко имеют гораздо больший резонанс и значение, чем повести и рассказы, посвященные современному Нечерноземью. Пьесы А. Гельмана (а он настоящий театральный писатель, мастер сценической интриги, хотя и скромно выдает себя за драматурга-п у б л и ц и с т а) не случайно идут на сценах всех социалистических стран, потому что он черпает острые конфликты прямо из неустоявшейся жизни, где характеры и ситуации многомерны, неожиданны и никак не умещаются в тематические рамки производства, НТР и т. п.

**А. Бочаров.** Тут должна быть долговременная, а не скоропалительная отдача: истинная сила литературы, как мы уже прочно усвоили, не в скороспешности отклика, а в глубине осмысления. Один из интересных писателей, который показывает процессы, происходящие в Нечерноземье, — Ю. Куранов. Но и его «Глубокое на Глубоком» нельзя считать чистой художественной прозой: это в большей мере лирико-публицистическая эссеистика в связи с психологическими, социальными, экономическими проблемами Нечерноземья.

**Е. Сидоров.** Жизнь критика, как и каждого литератора, коротка, поэтому у него есть свой круг устоявшихся идей, авторов, сюжетов. Он не может писать обо всем и внутренне всегда ориентирован на свой мир образов и представлений об искусстве. Однако сказанное вовсе не означает, что я ратую за специализацию в критике. Напротив! Узкая специализация в литературе — бич нашего времени. Один специалист

по нравственности, другой по НТР, третий не понимает в стихах и пишет только о прозе, четвертый пишет только о стихах, хотя лучше бы и не писал о них: приводимые им с похвалой стихотворные цитаты сразу выдают недоразвитость поэтического вкуса. Для меня в идеале критик должен уметь писать и о прозе, и о поэзии, и о театре, и о кино, писать профессионально короткую рецензию и портрет, полемическую статью и обзор — важно только, чтобы он всегда был узнаваем и чтобы в его писаниях ощущалась внутренняя необходимость обращения к разнообразному материалу искусства.

**А. Бочаров.** Как и во всяком творчестве, это зависит от настроенности критика, от индивидуальных свойств его дарования. Конечно, критик-публицист может писать и о литературе, и о кино, и о театре, потому что его интересует больше всего проблема, процесс, разные лики типического явления. Тем же критикам, которых более интересует неповторимая художественная плоть художественного выражения, более свойственна центрированность, чем центробежность.

**Е. Сидоров.** Научный уровень современной критики тесно связан с состоянием эстетики, философской теории искусства. Связан с интерпретацией опорных для критики категорий и понятий. Например, трагическое, типическое, художественная правда... Трагического после Гегеля и Чернышевского вообще не коснулась серьезная теоретическая разработка, а ведь литература наших дней (Айтматов, Абрамов, Бондарев, Думбадзе, Распутин) дает немало для углубления наших представлений о трагических характерах и конфликтах. Возможен ли трагический конфликт в обществе, где нет антагонистических противоречий, в мирное время, в частной и социальной жизни? Думаю, что возможен. Стало быть, концепция трагического нуждается в развитии, ведь практика должна обогащать теорию, а в чем-то и спорить со сложившимися эстетическими стереотипами.

**А. Бочаров.** Это напоминает мне одного писателя, который чуть ли не на каждом собрании говорит, что литераторы плохо пишут, потому что критики не объясняют им, о чем и как нужно сегодня писать... Но уже всерьез: действительно, что такое трагическое в литературе? В «Теории литературы» Г. Поспелова есть такая категория и в «Эстетике» Ю. Борева есть. Вы можете не соглашаться с их трактовкой, но это еще не значит, что нет трактовок трагического. Да и никогда еще слабая разработанность

категорий не мешала литераторам создавать эстетически полноценные произведения. Все-таки руки критика — это не руки кукловода в театре марионеток.

**Е. Сидоров.** Или возьмем проблему подсознательного в жизни и литературе. Хорошие писатели давным-давно поняли, какая это тайная огромная сила — познать в литературе человека без анализа подсознательных его импульсов просто невозможно. А критика наша и теория привыкли к строгому психологическому детерминизму. Тайна, иррациональность не устраивают их. Но большая литература всегда тайна, не могущая быть до конца разгаданной и объясненной в терминах и понятиях привычной нам рациональной критики. Здесь очень важен тот магический остаток, который создает прелесть и мощь непосредственного впечатления, не передаваемого адекватно помимо образа.

**А. Бочаров.** У нас есть еще некоторая настороженность к этому термину — и этому явлению — в связи с идеалистическим истолкованием подсознательного. Мы, по просту говоря, боимся употреблять этот термин. Нечто аналогичное происходит и с понятием «массовая культура». Мы не можем найти емкого эквивалента этому понятию в наших условиях. Этот термин мы или трактуем как отрицательное явление буржуазной идеологии, или употребляем без кавычек, обозначая народность нашей культуры — той культуры, что идет в массы, воспитывая их, отвечая их чаяниям.

И, очевидно, нам еще предстоит более основательно выверить наш категориальный аппарат. Хотя среди наших критиков много ученых, критиков-литературоведов (А. Адамович, Г. Белая, В. Ковский, А. Латынина и другие), в разработке некоторых неотложно нужных понятий и категорий критики идут пока что вразнобой, что и видно на примере таких основополагающих категорий, как трагическое и типическое, или таких жанровых образований, как притча, миф, — у всех свои толкования.

И еще одно. Известно, что критика и литературоведение взаимно питают друг друга. Слова Белинского о критике как движущейся эстетике как раз и выявляют: движущаяся в истории и основанная на научном знании. И вот сегодня обнаружилось отставание в изучении истории русской советской литературы, рикошетом бьющее и по критике и по теории. За это десятилетие не было создано ни одного научного труда с целостной концепцией истории русской советской литературы (вузовские пособия, особенно под редакцией П. Выходцева,

весьма несовершенны и в значительной части исходят из устаревших концепций). Ныне ощутимо недостает серьезных работ по истории советской русской литературы, написанных на сегодняшнем уровне нашей литературной науки и художественной практики и помогающих объективно уяснить истинные токи, которые определяют глубинное движение литературы.

Из-за этого критика слабо ощущает «ближние тылы» современной литературы или слишком произвольно хозяйничает в них, и это подчас приводит к скоропалительным выводам о движении текущей прозы и поэзии. Вроде бы критика должна заниматься современностью, но она не может обитать только в современности, ей требуется историческая память, историческая ориентация. И потребность в научной истории литературы и критики хотя бы 1955—1980 годов, на мой взгляд, несомненна.

**Е. Сидоров.** У нас есть литературоведы мирового класса: М. Бахтин, Д. Лихачев, В. Шкловский, С. Аверинцев... Но в целом — вы правы — самосознание критики еще не достигло подлинно современного уровня. Возьмите тему — как критика осмысляет процессы взаимовлияния и взаимообогащения собственно в литературе, в критике непосредственно. В каждой республике выходят книги, посвященные этому вопросу, но лишь единицы из них серьезны с научной точки зрения. Большинство же напоминает гербарии, собирательство внешних совпадений на уровне сюжета, темы, героев, режиссуры, приемов. Выясняется, что всего предостаточно в каждой литературе — и романов, и поэм, и нравственно-философских исканий, и стилистического многообразия. Мы справедливо этим гордимся, но не пора ли признаться, что в литературе, в ее истории останутся лишь единицы, мастера, и всерьез изучать взаимодействие можно, прежде всего основываясь на крупных, выдающихся явлениях, и весь «совокупный продукт» художественного (и полухудожественного) производства вопроса сам по себе не решает. Надо, по крайней мере, отчетливо представлять истинную цену таланта и посредственности, не соединяя их вместе по каким-то особым, диссертационным соображениям. Аксиологический момент в литературной науке присутствует уже в самом выборе предмета для исследования.

**А. Бочаров.** Вы произнесли слова «самосознание критики». А я подумал: и книга Б. Бурсова «Критика как литература», и

такие сборники, как «Современная литературная критика», «Актуальные проблемы литературной критики», и дискуссия «Литературного обозрения» об эффективности критики — все это работа важная и перспективная. Особенно важно осмысление научно-публицистической природы критики, которое, следует признать, заметно упрощилось в последнее время. Но как часто это все еще бывает работой, что называется, на себя, такой саморефлексией критики, не оказывающей активного воздействия непосредственно на критическую деятельность, на уровень осмысления художественной практики!

А теперь, в конце нашего разговора, хочу вернуться к тому, с чего начал: насколько важна прямо вытекающая из постановления ЦК КПСС задача повышать квалификацию людей, занимающихся критикой в периодической печати, особенно в газетах. Она давно назрела, эта потребность в систематическом повышении квалификации газетных работников, многие из которых давно занимают эту должность и в газетной текучке не могут в должной мере уловить существенные тенденции сегодняшнего этапа нашего искусства и критики. В университетской системе образования существует трех-четырёхмесячный институт повышения квалификации, но туда направляют лишь преподавателей. Наш факультет предлагал брать на три месяца — в системе этого института — работников из газет, особенно молодежных, уделяющих много внимания вопросам литературы и искусства. Но, признаюсь, добиться этого нам пока не удалось. А именно газетная критика обращается к широкому читателю: критическое выступление, опубликованное миллионным тиражом, получает аудиторию, которой добивается не один прозаик или поэт. И этот вопрос повышения квалификации газетных работников под эгидой Минвуза, Союза писателей и ЦК ВЛКСМ весьма важен. Организовать постоянно действующий семинар, а не парадные и спорадические семинары, сделать это не праздничным мероприятием, а постоянно действующей системой было бы реальным вкладом в выполнение программы развития критики.

**Е. Сидоров.** Я же хочу в заключение сказать вот что. Если отвлечься от высоких материй, то перед критикой стояла и стоит одна задача, которую мы пока еще выполняем не в полную силу: четко и внятно говорить, что такое хорошо и что такое плохо в литературе и в жизни.

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Владимир Турнин. Журнал и стихи. — Я. Гордин. Неизбежность прозрения. — А. Турнов. Живая вода памяти. — Р. Юренев. Чудо братьев Васильевых.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

П. Чернасов. Правда о фашизме. — К. Преображенский. На скамье подсудимых — милитаризм.

## Литература и искусство

### ЖУРНАЛ И СТИХИ

Отдел поэзии в ежемесячнике «Дальний Восток» (1979—1981)

**И**звестны строки замечательного дальневосточного поэта Петра Комарова:

Сторонка дальняя моя,  
С перепелами вдоль обочин,—  
Твоею славой славен я,  
Твоей заботой озабочен.  
Благословен мой край и в нем —  
Наш труд,  
Наш дом, где все знакомо.  
Я — нитка в знамени твоём  
Над черепичной крышей дома.

Стихотворение это (по мастерству, идейной значимости я назвал бы его дальневосточной классикой) будто камертон к последующим поэтическим страницам журнала. Здесь устойчивы добрые традиции, заложенные еще Александром Фадеевым, развитые поэтами Петром Комаровым, Степаном Смоляковым, Сергеем Телькановым, работавшими в активе журнала в разные годы, традиции, в основе которых любовь к родному краю, к людям-созидателям. Важный след в поэтической биографии журнала оставлен приездом в Хабаровск в начале 50-х годов Твардовского и Луконина, пребыванием других выдающихся советских поэтов на Дальнем Востоке.

За почти полувековую деятельность журнал активно отражал на своих страницах состояние развития поэзии на Дальнем Востоке в тот или иной период. Мимо его внимания не прошло ни одного значительного

поэтического произведения и ни одного более или менее одаренного поэтического имени. Правда, за годы, истекшие после смерти Петра Комарова, «Дальний Восток» не представил читателю другого равного ему таланта. Радующая суть в другом: в неизмеримых масштабах раздвинулась площадь, освоенная поэзией на Дальнем Востоке. Если прежде журнал знал поэтов, живущих преимущественно в Хабаровске и Владивостоке, то теперь зрелые поэтические голоса доходят до журнала с самых разных меридианов и параллелей земли, именуемой Дальний Восток, и притом голоса не только русские, но и нанайские, и чукотские, и нивхские, и ульчские. Все это журнал видит, слышит, все это он вбирает в себя. Тот процесс, который происходит сейчас в поэзии Дальнего Востока, не случаен. На то есть социальные причины, давшие толчок новому этапу развития культуры, литературы, поэзии в частности. И эти социальные причины проистекают из советского образа жизни, ленинской национальной политики, из всей нашей социальной действительности. И в этом смысле нынешний день дальневосточной поэзии заряжен огромным, я сказал бы, историческим потенциалом. Мне даже кажется, что мы плохо себе представляем масштабы будущего развития дальневосточной поэзии и ее значения, ее роли, ее места в поэзии страны в

целом. Думаю, что уже и сегодня центральная литературная пресса недооценивает, более того, не замечает хороших поэтов, живущих и работающих на Дальнем Востоке, — постоянных, как говорится, авторов журнала «Дальний Восток». Я назову, на мой взгляд, наиболее значительные имена.

Михаил Асламов — бывший токарь, судовой механик, инженер, отметивший недавно свое пятидесятилетие, член Союза писателей, поэт опытный, пронзительный, хотя и сдержанный в выражении своих чувств. М. Асламов один из тех поэтов, кто устремлен к философскому осмыслению жизни, кто стремится глубоко понять суть и назначение творчества и призвания поэта:

И вот скажу: но все-таки, но все же  
Есть нечто, что изданий всех дорожче,  
И честь, и гордость — выше всех  
приплат.

А что до споров, кто кого  
талантливей:  
Талант всегда ведь сам себе —  
гарантия,  
На чувстве правды держится талант,

На чувстве дня, его раскатных  
ритмов;

Прокатится,  
оставив, словно рифы,  
Фундаменты плотин, домов —  
судьбы...

Пусть суетятся, пусть.  
А мне не надо.  
Я просто выйду утром за ограду,  
В пространство, что, как жизнь, —  
без городьбы.

Поэт неторопливо, несуетно, несколько замедленно всматривается в жизнь, но всматривается так пристально, что мы имеем основание верить: он увидит то, что окажется для него главным, и создаст свое главное произведение.

Еще на выездном заседании секретариата Правления СП РСФСР в 1978 году и вот сейчас при чтении журнала меня порадовало появление на Дальнем Востоке такого поэта, как Евгений Сигарев. За это время он трижды выступал на страницах журнала (№ 3 и № 5 — 1980 год, № 2 — 1981 год). И мне кажется, читатель не может не почувствовать, что перед ним поэт большого дарования, право же достойный всеобщего внимания критики. У него самобытна и густа красками художническая палитра. Резкая, сочная, выразительная, насыщенная. Он, собственно, единственный за эти три года, предложивший журналу поэму (я бы назвал ее микропоэмой). Маленькая поэма Евгения Сигарева «Тот май» — это обжигающая сердце вещь. Она о благородстве идущего вслед за военным молодым поколением, о преемственности поколений вообще.

...На долю мальчишек-суворовцев в шинелях до земли выпало великое — шагатым строем 9 мая 1945 года в глубоком азиатском городке... И вот в этом буйстве праздника и военного торжества вдрут

...в дробь шагов грохочущих  
Командный шепот вбит:  
— Короче шаг!  
Короче шаг!..  
— Ребята, инвалид..

В ушанке, малость косенький, —  
Не трогай, осадил! —  
Тележка на колесинах,  
Медалька на груди...

...Сквозь ног чужих сумятицу,  
Не отирая пот,  
Он быстро-быстро катится  
И страшно отстает...

Куда он?  
Воля вольному.  
Но через все пути  
Мне гнев его,  
Мне боль его,  
Мне честь его нести...

Он рядом в строй становится,  
Он мне — как высший суд!

Ах, как идут суворовцы!  
Вотничкам капут.

Суровая солдатская взволнованность, сдержанность, сердечность — все есть в поэме Е. Сигарева.

В этот ряд столь же сильных поэтических имен, также представленных на страницах «Дальнего Востока» за последнее время, я поставил бы и имена Бориса Репина (Сахалин), Олега Маслова (Благовещенск), Валентина Богданова (Сахалин), Людмилы Миланич (Хабаровск), Антонины Кымытваль (Чукотка), Яна Вассермана (Владивосток), Николая Старикова (Камчатка), впервые опубликовавшегося в журнале Юрия Белинского (Владивосток), Виталия Нефедьева (Хабаровск). Это имена преимущественно молодых поэтов, отстоящих уже на целое поколение от поколения Петра Комарова, но именно они определяют сегодня лицо дальневосточной поэзии.

К этому же поколению можно отнести Виктора Еращенко, Игоря Еремина, Ивана Белоусова, Бориса Лапузина, Юрия Кашука, Александра Черевченко, Анатолия Пчелкина — поэтов, неплохо заявивших о себе в разное время на страницах журнала, но, увы, за три последних года не сказавших значительного, весомого поэтического слова.

Не хотел бы обидеть, к примеру, Анатолия Пчелкина, но, право, странно вялым выглядят его поэтический монолог (1979, № 7), обличительный по своей сути:

Всеядны, мелочны, напризны,  
мы редко думаем о жизни,—  
то лень, то некогда. Спешим.

На узловых ее вокзалах  
тем и похожи на козляков,  
что мелкодумьем мельтешим.

Очевидно, все-таки есть основание говорить, что в практике работы журнала нет должной озабоченности проблемами поэтического мастерства.

На мой взгляд, стоило бы построже отнестись, допустим, к стихам Юрия Кашука. Судя по подборкам в журнале, эстетические суждения этого одаренного поэта нередко неоправданно декларативны, а форма выражения их весьма сумбурна. Вот, к примеру, из публикации в январе 1979 года:

А стихи, что были плохи,  
что сгорели в тот же час,—  
переходная ступень,  
выгорающий носитель  
для иного корабля...

А вот из публикации в июне 1980 года:

Только теперь созревает строка.  
Видно, такая пора.  
Все, что написано до сорока,—  
Проба пера.

Неловкой по категоричности строкой как бы перечеркивается творчество Пушкина и Лермонтова, Маяковского и Есенина, из которых ни один не дожил до сорока.

Или вот в подборке Лады Магистровой сказано о том, что каждая пуля, которая в живое метит, «это — пуля в меня»... А в № 8 за 1979 год у Леонида Петухова читаем (о родине):

...Что прежде, чем ранить ее,  
Зазубренный рваный осколок  
Пройдет через сердце мое.

А я вспоминаю Фазу Алиеву, которая еще лет пятнадцать назад писала:

Где б ни стреляли,—  
В самой дальней дали,  
На чьей-то там земле  
Иль на родной,—  
Но пуля неизбежно попадает  
В простое сердце  
Матери одной.

В журнале должны были бы подсказать и Ладе Магистровой и Леониду Петухову, что надо привносить свое свежее поэтическое решение в важную тему, а не идти уже протоптанным.

Хотелось бы обратить внимание читателей на подборку стихов поэтов-женщин в № 3 за 1979 год — Татьяны Калиниченко, Райсы Мороз и Татьяны Вассуниной. Поэты

эти — люди одаренные, видят мир по-своему, свежо, мыслят образами, чисты чувствами и все какие-то весенние, звонкие. Пожалуй, главное в них — радость жизни, восторг перед жизнью, перед всеми ее проявлениями... Но восторг лишь первая ступенька на поэтической лестнице. Восторг бесплоден, он не рождает мысли. Вот мы читаем у Татьяны Вассуниной:

И вишни куст у старого забора —  
Все, что зимой мне показалось  
вздором,

Вдруг стало нужным.  
Слышу в разговорах  
Заботы новые о севе, о раскаде...  
И я сама, чего не зная ради,  
Бегу по фиолетовому снегу  
С букетом верб к чужому человеку.

Действительно взволнованный стих... Но рядом, у Татьяны Калиниченко:

А я опять бегу на берег  
Сказать: — Люблю...

Вот дальше такого восторженного «побега» на берег дело и не идет. Поэзия не движется, не привносит своей добавки к уже завоеванному, только восторг — слишком мало, только отражение — слишком мало. Нужно осмысление.

Остановлюсь еще на одной подборке стихов поэтов и поэтесс разных национальностей Дальнего Востока. В № 12 за 1980 год дана публикация произведений, имеющая, на мой взгляд, принципиальное значение для работы журнала. Во-первых, это стихи Антонины Кымытваль в переводе Михаила Эдидовича. Кстати, мне хотелось бы отметить большой вклад Михаила Эдидовича в переводческое дело. Он и сам поэт незаурядный, многогранный (хотя, может быть, излишне рациональный) и переводчик интересный. Стихи Антонины Кымытваль — серьезное явление в чукотской поэзии, в частности с точки зрения сопряжения так называемой европейской поэтической школы с поэтикой народов Севера и Дальнего Востока.

Здесь же стихи ульчской поэтессы Марии Дечули, прелестные своим выражением наивной мудрости. Великолепный материал для размышлений по вопросам перевода заложен в стихах нанайского поэта Константина Бельды. Интересны своей народностью и песенностью стихи Прокопия Лонке (с ульчского). И в который раз досадуешь на то, что центральная литературная пресса, порой отдающая целые газетные страницы для камерных диалогов по поводу какой-нибудь рядовой столичной поэтической книжки, не видит повода для большого профес-

сионального разговора о такой вот поэтической публикации, представляющей творчество поистине поэтов хороших и разных.

У журнала «Дальний Восток» есть добротный поэтический авторский актив. К названным уже именам я должен, безусловно, добавить имена Георгия Поротова, Вячеслава Пушкина (Владивосток), поэта-бамовца Александра Симакова, Евгения Лебкова (Сахалин), Бориса Борина, некоторых других. Огорчает, что эти большие силы еще не в полный накал, не в полную меру введены в действие, некая умиротворенность как бы лежит на всем. Журнал, его публикации не стали еще мобилизующим, организующим началом, если хотите, действительным центром поэтической жизни Дальнего Востока. Мало стихов о Дальнем Востоке как таковом, о его революционной, боевой, трудовой истории. Почти нет такого емкого жанра, как поэма. Чувствуется разрозненность, несконцентрированность поэтических интересов.

Слаб поэтический актив журнала за пределами края. Действительно, из «сторонних» публикаций за три последних года мы встретим лишь стихи Александра Дракохруста из Минска, Семена Лившица из Туапсе —

оба в прошлом дальневосточники, — Светланы Мекшен из Липецка и Натальи Карповой из Ленинграда... А ведь можно было бы найти реальные литературно-исторические связи, хотя бы по линии Ленинград — Дальний Восток, отразить их на страницах журнала. Тем более если иметь в виду, что журнал близится к своему пятидесятилетию. Также случайный характер носят и связи журнала с соседними национальными округами, районами — Бурятией, Якутией и другими.

Глубокое осознание исторического предназначения Дальневосточного края, осмысление своего времени в судьбе родины должны, на мой взгляд, придать поэтическим страницам «Дальнего Востока» ту импульсивную силу, которая выводит литературу на высокие творческие рубежи. «...твоею славой славен я, твоей заботой озабочен», — сказал поэт. Это и источник вдохновения и цель творчества — остаться в памяти народа певцом родного края, художнически запечатлеть его славную историю от первых босых «землеходцев, топором прорубавших путь», до наших современников, славных своей созидательной деятельностью.

**Владимир ТУРКИН.**



## НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПРОЗРЕНИЯ

Чингиз Гусейнов. Неизбежность. («Пламенные революционеры») М. Политиздат. 1981. 319 стр.

Судьба Фатали Ахундова уникальна. Мальчик из бедной азербайджанской семьи сделал удивительную служебную карьеру — стал полковником царской службы. Волею обстоятельств и силою своих способностей мальчик из глухого угла империи становится образованнейшим человеком, знает древнюю культуру Востока, молодую русскую литературу.

Фатали Ахундов значительную часть своей жизни посвятил героическому усилию, героической попытке сблизить, соединить два гигантских культурных пласта. Но книга Чингиза Гусейнова, однако, рассказывает не только об этом. Книга — об Ахундове-революционере. И революционер он был необычный. Он не составлял заговоров, хотя и были у него такие планы. «...Фатали заговорил о масонской ложе. Хасай-бек, прежде спокойно внимавший размышлениям Фатали, вдруг вспыхнул: «Да в своем ли ты уме?! Безумец! Создать масонскую ложу! Собираются друзья-единомышленники, царский чиновник Мирза Фатали и царский офицер Хасай-бек об-

суждать проблемы просвещения народа! «Эй, где ты, мой народ!» — кличут они на Эриванской площади или на Шайтан-базаре...» Хасай-бек мыслит простыми категориями. Для него действие однозначно. Для мудрого Фатали революция совершается прежде всего в душах людей. Он знает пути сложные, долгие — и верные. Отсюда его печальный оптимизм. «Кто одолеет царя? Француз? Англичанин? Германец? Или кичливый султан? Трусливый перс?..» «Мы, мы одолеем царя! — бросил Фатали, и Хасай-бек, восприняв это как шутку, умолк».

Оптимизм Фатали печален именно потому, что путь, избранный им, долог. Потому что он обрекает его, Фатали, на мучительное двойственное существование: царский чиновник, доверенное лицо наместников и в то же время ненавистник деспотизма — любого! — неутомимый деятель, готовящий почву для взрыва.

Повесть Чингиза Гусейнова по структуре своей сложна, ибо сложен, двойствен, противоречив внутренний мир героя. А действие повести, собственно, и совершается в этом внутреннем мире. Это история обще-

ственного прозрения талантливого человека в предельно неблагоприятных для этого условиях. Это история того, как человек, лишенный, казалось бы, всех способов борьбы, становится борцом.

Борьба Фатали началась прежде всего в сфере культуры. Исходная точка этой борьбы — стремление к объединению двух культурных традиций. Конечная цель — воспитать универсальное сознание, способное противостоять духовному напору, деспотизма. Ибо Фатали Ахундов прекрасно понимает, что деспотизм — это отнюдь не только тюрьмы, III отделение, армия. Это, быть может, прежде всего подавление воли к самостоятельному мышлению, подавление воли к сопротивлению. Переломным моментом в судьбе Фатали становится гибель Пушкина. Человек большого ума и тонкого исторического чутья, Ахундов понял эпохальное значение этой конкретной человеческой трагедии. Он пишет поэму «На смерть Пушкина», сразу же переведенную на русский язык Бестужевым-Марлинским. Гибель великого поэта, вся жизнь которого была подвигом противостояния, оказалась для Фатали мощным психологическим толчком, здесь и начался процесс прозрения, началось его, Фатали Ахундова, противостояние зловещему механизму самодержавия.

На первый взгляд книга построена хаотично, никак не построена. Но на самом деле в этой бессистемности есть своя четкая система. Герой помещен в центр огромного временного пространства, и его взгляд выхватывает из этого пространства, в котором перемешаны прошлое, настоящее и будущее, события и лица, нужные автору в данный момент. И в то же время принцип этот опирается на естественные особенности памяти немолодого и усталого человека.

Вообще надо сказать, что, выбрав эту свободную форму, Чингиз Гусейнов получил возможность постоянно находиться рядом с героем. «Я больше не явлюсь к тебе, мой читатель, на страницах документальной фантазии о жизни, уже однажды прожитой», — так заканчивает он короткое вступление. Но Гусейнов лукавит. Он постоянно является нам по ходу повествования, решительно вмешиваясь в его ход.

Перед нами тройная структура — сиюминутное сознание героя, живущего своей обычной жизнью, причем сознание не то что пронизанное воспоминаниями, а совмещенное с прожитыми ситуациями, и плюс к этому сознание автора, нагружающего структуру еще и своим знанием, недоступ-

ным герою (цитата из пушкинского письма, которое Фатали, естественно, знать не мог, допросы Лермонтова во время следствия по делу о стихотворении «Смерть Поэта», письмо Лермонтова Раевскому и т. д.).

Воспитание Фатали — это воспитание встречами, давшими ему новое зрение, новое понимание окружающей жизни. Книга в значительной степени — система встреч и разговоров героя с очень разными людьми.

«— С кем ты разговариваешь, Фатали?»

«— А разве я разговариваю?»

«— Ну да, ты сказал: «Как мне тебя познать?»»

«— С Аббас-Кули-агой.»

«— С Бакихановым?! — Изумление в глазах жены, хоть и привычна к странностям мужа. — Но он же, бедняга, умер!»

Судьба полковника Бакиханова — это возможная судьба Фатали: долгая усердная служба, разочарование, усталость, недоверие властей к чужаку — бесплодная судьба. Мысленные беседы с Бакихановым, уже умершим, — это поиски вариантов. Бакиханов взбунтовался, но бунт его выразился в уходе, в бегстве. Он ушел паломником в Аравию, в смерть. Ахундов преодолевает этот соблазн. Его бунт иной.

Чингиз Гусейнов концентрирует то, с чем и в действительности сталкивала его героя жизнь. Встречи, встречи, встречи. За Бакихановым следует Фридрих Боденштедт, немецкий поэт, переводчик и имитатор восточной поэзии. Это встреча с европейской культурой и, что важнее, европейским взглядом на культуру восточную.

Стилистика повести напоминает ту арабскую вязь, о которой столько — и чрезвычайно выразительно — говорится в книге. Одно событие пересекается с другим, одно имя тянет за собой другое. И появляются в сознании, в памяти героя четыре Александра: Пушкин, Александр Бестужев, Александр Одоевский и сослуживец Ахундова, связанный с петрашевцами. Ссыланные декабристы играют огромную роль в пробуждении духа Фатали. Бестужев и Одоевский — это радикальный путь, это попытка выступить открыто, с оружием в руках. Воспоминание о декабристах пронизывает всю книгу.

Раз за разом судьба сводит Фатали с носителями революционной идеи. Поляк Мечислав рассказывает ему о польском восстании 1831 года. Ахундов впитывает токи, идущие с разных сторон и стимулирующие его собственную волю к сопротивлению. Можно сказать, что Фатали Ахундов прошел воспитание эпохой. Чингиз Гусейнов останавливает и укрупняет для



читательского глаза те события из несущегося вокруг героя потока, которые определяли для Фатали существо времени.

В 30-е и 40-е годы, когда политическая жизнь России была скована имперским льдом, на Кавказе бушевали религиозные, национальные, социальные страсти. Бешеное сопротивление горцев имперской экспансии, трагическая безвыходность кавказской войны, противоречивость отношения к ней таких людей, как Бестужев и Лермонтов,— для Ахундова все это было еще одним великим уроком. Гусейнов отправляет своего героя к Шамилю, чтобы кровавая ситуация завоевания и сопротивления перестала быть для Фатали социальной и человеческой абстракцией, пускай даже мучительно переживаемой.

Книга построена так, что обжигающие уроки истории обступают со всех сторон — почти не остается того уютного защищенного быта, который дает отдых от бурь эпохи.

Человек масштаба Фатали Ахундова никогда не воспринимает уроки истории букв. вально. Ни один из путей, которыми шли окружавшие Фатали люди, пусть даже самые замечательные, не годился ему. Он выбрал свой путь, совершенно особый путь революционера-просветителя. Герой Гусейнова преодолевает соблазн заговора, соблазн прямого политического действия, бесперспективного в тех условиях. Он готовит умы и души людей для того момента, когда действие станет реальным.

Глава книги, рассказывающая о знаменитой историко-философской притче Ахундова «Обманутые звезды», расположена посредине повести. С нее начинается стремительное нарастание напряжения, ибо здесь герой на избранном им пути впервые открыто столкнулся с интересами власти. Парадоксальная ситуация, развернутая в притче, в результате которой жестокий Шах-Аббас добровольно уступает свой трон доброму и справедливому седельнику Юсифу, дает возможность Ахундову (и Чингизу Гусейнову) в чрезвычайно наглядной форме проанализировать серьезнейшую политическую проблематику. Шах Юсиф хочет лавиной указов, устранением лживых и нечестных чиновников изменить жизнь народа. Он хочет быстро и решительно изменить характер жизни народа, не меняя при этом ни государственной структуры, ни системы взаимоотношений между народом и властью. Но эта «револю-

ция сверху» проваливается. Уровень политического мышления народа остался прежним. Он не примет реформ.

Глава построена так, что процесс создания притчи идет параллельно ее цензурным мытарствам. Верный избранному принципу, Гусейнов и здесь прибегает к смелым временным смещениям. Чем дальше, тем сложнее становится соотношение временных пластов. Судьба Фатали, мучительно ищущего пути воздействия на действительность, почти сливается с судьбой незадачливого реформатора Юсифа, революционера на троне. «Фатали последние ночи долго не может уснуть. Вскрикивает во сне. Это голос Юсифа! И как поседел он!

Да, да, катастрофически седеет! Юсиф? И он тоже!

— Люди, я же хотел вам добра! — кричит Юсиф. И этот крик будит Фатали, он вскакивает во сне, еще не рассвело, еще очень темно. — Что же вы со мной сделали?!

Сложной символикой связал Фатали Ахундов свою притчу о крушении шах-революционера с восстанием декабристов. Он мыслит все острее и точнее. И сразу за главой о шахе Юсифе идет воспоминание Фатали о крестьянском мятеже, в котором и он чуть не погиб. И снова война на Кавказе, Шамиль, Хаджи-Мурат. Поездка в Турцию, встречи с турецкими молодыми радикалами.

И как результат напряженного анализа страждущего, мятущегося, жаждущего перемен мира — главное бунтарское сочинение Ахундова «Письма Кемалуддовле».

История создания этой книги, попытки издать ее и (как продолжение второго плана действия, в котором вершится второй, гибельный вариант судьбы героя: арест, крепость, шпицрутены) гипотетические, но, по существу, совершенно реальные последствия издания книги — все это написано Гусейновым страстно и чрезвычайно убедительно.

Мы увидели жизнь замечательного человека, бунтаря и мечтателя, глазами его самого и глазами автора, отделенного от своего героя более чем столетием. И это пересечение двух планов придает повести рельефность, насыщенность и делает естественной ее оригинальную форму.

Я. ГОРДИН.

Ленинград.



## ЖИВАЯ ВОДА ПАМЯТИ

Наталья Ильина. Судьбы. Из давних встреч. М. «Советский писатель». 1980. 304 стр.

Легко себе представить читателя, который начнет книгу Н. Ильиной прямо с середины, тем более что и издательская аннотация, если ее прочесть, к этому располагает, утверждая, что «особый интерес представляют в книге Н. Ильиной страницы, рассказывающие о таких деятелях отечественной культуры, как Анна Ахматова, А. Н. Вертинский, К. И. Чуковский и другие».

Разумеется, придирается к аннотациям куда проще, нежели их писать. «Жанр» этот и правда нелегкий: попробуй изложи в считанных словах, в чем соль и своеобразие той или иной книги!

Похоже, что и автор упомянутой аннотации испытывал некоторую растерянность перед каким-то слишком вроде уж пестрым, произвольным выбором «портретируемых» лиц: среди них двое ученых. один из которых умер на чужбине, и занесенная в Китай «мировыми безумными сквозняками», как сказал однажды Чуковский, актриса Корнакова. Однако пестрота эта, в сущности, не менее естественна, чем соседство самых отличных друг от друга лиц на фотографиях, поныне заключаемых в одну рамку на стенах миллионов изб и вполне современных городских квартир. Рассматриваешь одного, другого, расспрашиваешь хозяев, кто родич, кто давний друг, и все эти отрывочные сведения, спрыснутые, как в сказках, живой водой неравнодушной, благодарной памяти, вдруг как бы намагничиваются, начинают тяготеть друг к другу, к твоему собственному жизненному опыту, и скромная семейная хроника обретает черты летописи всего пережитого народом.

Нельзя сказать, чтобы Александр Иванович Воейков («дядюшка профессор», по семейному прозвищу) — один из «и других» согласно аннотации — был обойден известностью. Возможно, что-то и было ему в этом смысле недодано при жизни, но не так уж многие на свете удостоились того, чтобы их именем называли корабли, как это случилось с ним, первым русским климатологом.

И все же известность Воейкова была ограничена пределами его специальности. До появления книги Н. Ильиной можно было узнать о заслугах ученого, но не о его характере, бескорыстии, благородстве, независимости — обо всем облике этого прекрасно-чудаковатого русского интелли-

гента, «беспокойного Воейкова» для начала тех времен, ибо он был рыцарски готов прийти на помощь всем, в ней нуждающимся. Такие люди сами создают вокруг себя совершенно особый духовный климат, в первую очередь сказывающийся на близких людях и в конечном счете, пусть и в ограниченной мере, на судьбах соотечественников.

Конечно, дядюшка-профессор с его безоглядно жертвенным характером — во многом исключение даже в подобном ряду; и словно чтобы умерить, приглушить столь «высокую ноту», почти по соседству с ним во времени и в рамках того же очерка существует и другой Воейков — Александр Дмитриевич. В отличие от тезки он освещен двойным светом: его безудержная приверженность ботанике оборачивается рассеянным невниманием, а то и просто равнодушием к людям. И если даже «надбытность» старшего Воейкова по временам шокировала домашних, то что уж говорить о младшем! «...дядя Шура раздражал меня, — пишет о своем детском восприятии Н. Ильина, — неслыханный эгоизм, ему на все наплевать, кроме его растений, посадок, гербариев...» Но вот тут же детали житейбытия этого «неслыханного эгоиста»: «...мятая рубашка, оторванная пуговица на лоснящемся от старости пиджаке — кто стирал ему, кто заботился о нем, что он ел? Меня это тогда не интересовало...» «На улице мороз, а пальтишко у дяди Шуры демисезонное, потрепанное... боже мой, да эту кепку давно бы выбросить, уже неизвестно, какого она была в молодости цвета, какой формы...»

Давняя полудетская досада на нелепого родственника вдруг оборачивается чем-то совсем иным, и анекдотическая фигура на глазах преобразуется. Это не просто бесребреник (как и дядюшка-профессор), но такой же самоотверженный ученый. Долголетний сотрудник Мичурина, без средств, без поддержки, среди опасностей (он даже к хункузам в плен попадал и подвергался там пыткам, пока его кое-как не выкупили), Александр Дмитриевич жил только своей наукой, неустанно работал, выпускал книги, вызывавшие большой интерес на родине. И в награду за это подвижничество — полуничтожное существование на чужбине, одинокая смерть, гибель большой части собранных коллекций.

Об этом тяжело читать. Но об этом не-

обходимо напоминать и помнить. Поспособствуй кто-нибудь поактивнее устройству судьбы А. Д. Воейкова, хлопоты окупилась бы сторицей, и этот «эгоистический» фанатик прекрасно вписался бы в панораму нашей культуры. Да разве только непосредственной отдачей, практической эффективностью исчерпывалось бы значение подобных акций?!

Давно забыто даже в среде заядлых театралов имя Катерины Ивановны Корнаковой, некогда блеснувшей во МХАТе, а потом по сугубо личным обстоятельствам очутившейся за границей. И кажется: что нам Корнакова? Тем более что в своих попытках зажить в эмиграции театральной жизнью, сколотить любительскую труппу из молодежи была она столь же маниакально «эгоистична» и нетерпима, как А. Д. Воейков. Но знаменательно это родство душ, бесконечно далеких друг от друга во всем ином (если ботаник бедствовал, то Корнакова томилась в золотой клетке вполне счастливого замужества). Но «жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя». Раздумье о погибшем ученом переключается с раздумьем о погибшей актрисе, и раздумье это горькое, несмотря на то, что Н. Ильина пишет сдержанно, порой иронично — по большей части по отношению к самой себе, к своей бывлой скоропалительности и категоричности в оценках и выводах, но нередко и по отношению к некоторым чертам своих героев.

В очерке о Вертинском много интересных страниц (о его искусстве и человечности, о поддержке, оказанной им патриотическим, прогрессивным силам в эмиграции), но, пожалуй, самое важное — это авторские догадки, почему певец осел именно в Китае: здесь эмигранты менее всего могли ассимилироваться, раствориться в местном населении — «Вертинский же без русского слушателя обойтись не мог...».

Именно здесь, в эмиграции, впитывая и претворяя ее тоску по родине, Вертинский проявил в своих песенках невиданную прежде глубину чувства. А то, что Н. Ильина рассказывает о его, видимо, не сохранившихся песенках вроде «Дансинг гёрл» и

«Бар гёрл», открывает нам совсем неожиданный Вертинского, полного живого сочувствия к судьбам пресловутых «маленьких людей».

Когда однажды Н. Ильина покалывалась Ахматовой в своем былом непонимании ее стихов, Анна Андреевна прокомментировала это словами, слышавшимися в горькую пору из очередей: «...вас здесь не стояло». Да и нам, людям, не испытавшим того, что перенесли многие герои писательницы на чужбине, приходится делать определенные усилия, чтобы понять пережитое в этом мире иного измерения. И то, что писательница умно и тонко состыковывает шедшие по столь разным колеям судьбы, вскрывает их общие корни, представляется большой, принципиальной удачей книги.

Есть в ней пафос сопротивления «мировым безумным сквознякам», о которых упоминал Чуковский, разрыву естественных связей, утрате памяти о некогда близких.

Никого из героев книги ныне в живых нет. Но писательница могла бы, обращаясь к каждому, повторить слова поэта: «Разлучение наше мнимо: я с тобою неразлучима...»

В отрывке из ахматовской «Поэмы без героя», откуда взяты эти слова, есть упоминание о «безмолвии братских могил». Помимо очевидного, буквального их смысла, ощутима здесь и скрытая горечь от несправедливости бесследного исчезновения отдельной человеческой судьбы, этой капли в море «и других» (так ведь говорится не только в злополучной аннотации, к которой мы придрались вначале). Поэтому-то, хотя очерки об Ахматовой и Чуковском написаны с большой любовью и в то же время без «боязни улыбки и острого слова» (если воспользоваться выражением самого автора), я вполне понимаю дядюшку-профессора, для которого «самая большая... радость — впервые увидеть незнакомую дотеле местность». Именно незнакомые нам ранее люди, их судьбы, воскрешенные из небытия и забвения живой водой благодарной памяти, — самое интересное в книге Н. Ильиной.

А. ТУРКОВ.



## ЧУДО БРАТЬЕВ ВАСИЛЬЕВЫХ

Д. Писаревский. Братья Васильевы. М. «Искусство». 1981. 320 стр.

Фильм «Чапаев» по праву входит в число выдающихся произведений советской художественной культуры. Созданный в

1934 году, в пору осознания и провозглашения основных принципов социалистического реализма, он единодушно был признан ше-

девром этого метода, новаторским воплощением образа народного героя, русского трудящегося человека, поднятого революцией к вершинам исторического творчества. Сочетая эпическую широту и напряженный драматизм, он впечатляюще решал многие сложные творческие проблемы: взаимосвязи героя и массы, развитие традиций народного творчества, звукозрительный синтез изобразительных средств киноискусства, творческое переосмысление произведения литературы для экрана, создание реалистических, типизированных характеров как положительных, так и отрицательных персонажей. Он соединил в себе лучшие традиции советского киноискусства 20-х годов — эпический пафос и массовость «Броненосца «Потемкин» и революционность характеров «Матери». Он оказал решающее влияние на дальнейшее развитие кино — и не только кино, но и всего искусства социалистического реализма.

Почти полвека не сходит «Чапаев» с экранов нашей планеты. Он выдержал атаки снобов, осуждавших его за «традиционализм» и «агитационную предвзятость». Он преодолел цензурные препоны. Он появлялся на трудных участках испанской, второй мировой, вьетнамской и других войн, вдохновляя солдат на борьбу за правое дело. Так он стал явлением не только искусства, но и жизни человечества.

«Чапаеву» посвящено множество статей, несколько монографий. Среди них заметное место занимают предыдущие работы Д. С. Писаревского, исследовавшего на примере этого фильма теоретические проблемы типического, взаимодействия характера и сюжета, эпоса и драмы, а также детально описавшего творческий процесс создания фильма, включая и первые попытки экранизации романа Фурманова и все сценарные и съемочные варианты. Расширяя круг исследования, Писаревский опубликовал ряд работ и о других фильмах создателей «Чапаева» — режиссеров Георгия Николаевича и Сергея Дмитриевича Васильевых, называвших себя братьями Васильевыми.

Здесь ему пришлось изрядно потрудиться, так как ранние картины режиссеров не сохранились. Документальный фильм «Подвиг во льдах» о спасении экипажа дирижабля под командованием Нобиле удалось восстановить. Первый игровой фильм «Спящая красавица» пришлось описывать по сценарному плану, отзывам прессы, фотографиям и воспоминаниям зрителей. А о «Личном деле» Писаревский создал небольшой фильм, в который вошли сохранившиеся фрагменты и фотографии. Публиковались его статьи

о послечапаевских звуковых фильмах и о картинах, созданных С. Д. Васильевым после кончины своего собрата. И вот теперь в результате многолетних трудов в серии «Жизнь в искусстве» вышла монография Д. Писаревского «Братья Васильевы».

Естественно, центральное место в монографии занимает «Чапаев», его подробнейший анализ, история постановки, обстоятельства проката в разных странах. В книге отчетливо ощущается желание автора подтянуть до «Чапаева» и другие фильмы режиссеров, уделив им пристальное и любовное внимание. Эту тенденцию хочется отметить, потому что в советском и в зарубежном киноведении распространено мнение, что сверхающая вершина «Чапаева» осталась в творчестве Васильевых одинокой, что другие их фильмы не идут с ним в сравнение.

И действительно, до «Чапаева» братья Васильевы считались квалифицированными, но ничем не выдающимися режиссерами. «Подвиг во льдах» имел успех недолговременный: экспедицию Нобиле затмили более удачные арктические экспедиции и перелеты. Фильм «Спящая красавица» был резко раскритикован как выразитель ошибочных и устаревших пролеткультовских взглядов на искусство. «Личное дело» считали неудачей сами авторы. Постановку «Чапаева» Васильевым поручили неохотно, не сразу: тему гражданской войны считали исчерпанной, фильм планировался сначала как немой, рассчитанный на еще не амортизированную сеть немой киноаппаратуры, съемки шли вяло, подводили то техника, то погода, и вдруг...

Успех неслыханный, небывалый катился, как снежная лавина, из рабочих просмотровых зальчиков «Ленфильма», игнорируя скептиков-редакторов и критиков, вставая в юбилейные торжества пятидесятилетия советского кино. Фильм вызвал первую передовую «Правды», посвященную отдельному произведению искусства, правительственные поздравления, принес создателям высшие ордена и почетные звания — и все это совершенно справедливо, бесспорно по заслугам! Согласимся, такие чудеса в истории искусств встречались не единожды. И неудивительно: в самом факте рождения произведения искусства всегда есть нечто чудесное. Но все-таки чудо «Чапаева», чудо братьев Васильевых ошеломило кинематографической мир.

В своей книге Д. С. Писаревский старается объяснить его появление. И делает это интересно.

Критик внимательно исследует биографии обоих режиссеров. Выходцы из русской ин-

теelligentной среды, оба смело искали свое место в бурных событиях социалистической революции, гражданской войны. Нужно сказать, что свои изыскания Писаревский тщательно проверяет, документирует, без сожаления отказываясь от легенд, уже успевших украсить судьбы режиссеров. Он всячески подчеркивает их трудолюбие, широту интересов, требовательность. Он умело противопоставляет различные свойства характеров: задумчивую самоуглубленность Георгия Николаевича и кипучую энергию Сергея Дмитриевича, склонность первого к музыке и актерскому искусству, второго — к живой организационной деятельности. Он отмечает литературные способности обоих. Он интересно пишет о редкой профессии режиссеров-монтажеров, приспособившихся для советского экрана буржуазные зарубежные боевики. Я бы подробнее остановился на занятиях Васильевых у Эйзенштейна (они с гордостью считали себя его учениками), но и без этого у Писаревского множество примечательных фактов.

Понятно стремление Писаревского поправить сложившиеся в киноведении отрицательные оценки «Спящей красавицы» и «Личного дела». Он любовно и ярко описывает утерянные фильмы, документально показывает старания режиссеров поставить их самобытно, свежо. Но вульгарность концепции «Спящей красавицы» и скучная агитационная прямолинейность «Личного дела» для читателя остаются, по-моему, нерушимыми.

Так как же все-таки произошло чудо?

«Чапаев», повторяю, исследован Писаревским досконально. И слагаемые успеха рельефно одно за другим предстают перед читателем. Во-первых, сама личность Чапаева. Необычность судьбы русского крестьянина, прошедшего закалку войной и возвышенного революцией. Во-вторых, личность и книга Фурманова. В-третьих, смелость подхода к экранизации. Да, только так, решительно переосмысляя литературный материал, щедро обогащая его дневниками, письмами, фольклором, рассказами очевидцев и собственной фантазией, можно было создать истинно кинематографическое произведение, близкое первоисточнику и совершенно самостоятельное. Стоит ли еще говорить об исключительной одаренности актера Бориса Бабочкина, высоком мастерстве И. Певцова, талантливости Б. Блинова, В. Мясниковой, С. Шкурата и других исполнителей? О музыке Гавриила Попова, органически слившейся с русскими народными песнями? Об изобразительном искусстве операторов А. Сигаева и А. Ксенофонтова и

художника И. Махлиса? Перечисление можно продолжать и продолжать. Ведь ассистентом был одаренный Ю. Музыкант, а эпизодические роли играли такие актеры, как Н. Симонов и Б. Чирков.. Конечно, группа, как говорят в кино, была исключительно сильной. Но ведь собрать группу, вдохновить, направить, научить могли только эти режиссеры, подлинные создатели фильма — братья Васильевы.

Так состоялось это чудо.

Наступил новый, послечапаевский период творчества. От режиссеров теперь уже ждали новых чудес...

Писаревский увлеченно рассказывает о многочисленных достоинствах фильмов «Волочаевские дни» и «Оборона Царицына», «Фронт», «Герои Шипки» и «В дни Октября». Его анализы подкупают тщательностью и влюбленностью. Но, может быть, именно влюбленность мешает критику быть до конца справедливым. Мне кажется, тонко проникая в психологию и поступки режиссеров, Писаревский намеренно обходит их драму. Драму необычайного, уникального успеха, который режиссерам не удалось повторить.

А они к этому стремились. Им не хотелось уходить с испытанного пути поэтизации гражданской войны. И они выбрали достойную тему — борьбу дальневосточных партизан против японских оккупантов. Васильевы досконально изучили материал. Мудро отмерили, где следовать «Чапаеву», где от него отступать. И фильм «Волочаевские дни» вышел хорошим, серьезным. Он наверняка имел бы успех, если б его не сравнивали с «Чапаевым». И действительно, разве можно сравнить спокойного, сужаватого Андрея в исполнении Н. Дорохина с легендарным, человечным, взрывчатым Чапаевым Бабочкина? Разве можно сравнить умного, тонкого врага Бороздина — Певцова с японцем Усжимой, сыгранным Л. Свердлиным поверхностно-карикатурно? В. Мясникова и Б. Чирков повторили находки «Чапаева», а бело-гвардейский поручик (Ю. Лавров) далеко не достигал убедительности бело-гвардейского поручика, сыгранного в «Чапаеве» самим Георгием Николаевичем. Успех был, можно сказать, уважительный.

Авторам «Чапаева» следовало отойти от привычной тематики, искать новые краски. Они пытались сделать и это. Долго возились со сценарием и партитурой «Пиковой дамы». Обдумывали сценарий о советских дипломатах. Принимались за постановку киноконцерта Ансамбля красноармейской песни. Позже Васильевым предложили фильм об обороне Царицына, о событиях гражданской войны, которым тогда прида-

валось особое значение. И снова перепевы «Чапаева» и попытки отойти от них. Народного героя казака Перчихина сыграл комедийный артист М. Жаров. Бабочкин сыграл негодяя из негодяев — эсера. Но на первый план выступили тщательно выписанные образы реально существовавших исторических деятелей, что придало фильму официальный характер.

А в дни Великой Отечественной войны было некогда экспериментировать с тематикой. Васильевым была поручена экранизация актуальнейшей пьесы А. Корнейчука «Фронт». История театра помнит и печатанье этой пьесы на полосах газеты «Правда», спектакли, созданные поспешно, но вдохновенно и лучшими нашими театрами и самодеятельными коллективами... Фильмы снимаются долго. Васильевы много сделали, чтобы усложнить проблематику пьесы, углубить характеры. Но зрители опять узнавали в Горлове и в Огневе черты Чапаева.

Однако фильм запоздал. Писаревский объясняет читателям, что фильм был очень хорош, но он не может доказать, что проблемы, важные для командиров гражданской войны, сохранили актуальность до того времени, когда Советская Армия входила в Германию. Можно согласиться с похвалами режиссуре и актерскому исполнению. Можно согласиться, что сегодня, в исторической ретроспекции, фильм имеет определенную художественную ценность. Но в горячем 1944 году, когда он вышел, фильм казался устаревшим.

Преждевременная кончина Георгия Николаевича вскоре после войны надолго вывела из строя и Сергея Дмитриевича. Писаревский показал, как этот замечательный режиссер всецело отдавался работе — руководил «Ленфильмом», помогал молодым коллегам, участвовал в партийной и профсоюзной работе. Следующий за «Фронтом»

фильм вышел более чем через десять лет, в 1955 году. Это была снова батальная эпопея — «Герои Шипки». Трудно переоценить ее значение для молодого болгарского кино. С. Д. Васильев не только вывел на творческий путь целую плеяду болгарских ассистентов и актеров — он стал подлинным куратором болгарского кино вообще, его учителем, вдохновителем. Писаревский нашел интересный прием, оживляющий книгу: он записал воспоминания болгарских кинодеятелей о Васильеве, за их сердечными строками открывается картина самоотверженной и взыскательной дружбы.

Последней работой Сергея Дмитриевича был фильм «В дни Октября». Писаревский показывает, что режиссер сознательно стремился противопоставить его шедеврам, созданным на эту тему, — «Октябрю» С. М. Эйзенштейна, «Ленину в Октябре» М. И. Ромма. Он хотел противопоставить массовому эпосу «Октябрь» глубину человеческих характеров, игровым эпизодам «Ленина в Октябре» — строгую документированность. Однако эта попытка тоже не увенчалась успехом. Лента не стала шедевром, она осталась одной из достойных уважения страниц советской киноленинаны. Автор серьезной, добросовестной, талантливой монографии о выдающихся советских кинорежиссерах в понятном и благородном стремлении высоко оценить все ими содеянное отказался от возможности показать их творческую драму, драму авторов неповторимого шедевра.

Книга Д. Писаревского подкупает широтой охвата материала и глубокой любовью к советскому киноискусству. Поэтому в молодом советском киноведении эта книга займет свое достойное место, а образы талантливых и обаятельных людей — братьев Васильевых — завоюют сердца читателей.

Р. ЮРЕНЕВ.



### Политика и наука

#### ПРАВДА О ФАШИЗМЕ

Д. Мельников, Л. Черная. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. М. Издательство АПН. 1981. 432 стр.

Одна из центральных тем книги известного советского историка и международного Д. Мельникова и публициста-переводчика Л. Черной — разоблачение фальсификаций, связанных с историей германского фашизма от его зарождения до военно-политического краха в 1945 году. Советские ис-

следователи неоднократно анализировали «биографию» Германии первой половины XX столетия. И все же до недавнего времени вопрос о генезисе германского фашизма оставался малоизученным. Д. Мельников и Л. Черная восполнили этот пробел. Употребив медицинскую терминологию, можно сказать, что они провели тща-

тельное патологоанатомическое исследование нацистского режима.

Интерес авторов к избранной ими теме далеко не праздный и даже не академический. Фашизм живуч и многолик. Его разгром в 1945 году, к сожалению, не привел к ликвидации корней и истоков этого опаснейшего для мира движения, заложенных в самой природе современного буржуазного общества. Фашизм до сих пор не списан из актива реакционных сил империализма. Как не вспомнить здесь кровавую деятельность ОАС во Франции в 1961—1963 годах, семилетнюю диктатуру «черных полковников» в Греции в 1967—1974 годах, режим Пиночета в Чили, установленный в 1973 году, серию разоблаченных профашистских заговоров в Италии в 60—70-е годы, попытку фашистского переворота в Испании в 1981 году. Это лишь основные, наиболее известные факты.

Как в Новом, так и в Старом Свете продолжают действовать многочисленные неофашистские организации. В ФРГ в середине 70-х годов, по официальным данным, существовало более 100 подобных организаций. Во Франции, по сведениям газеты «Юманите», за период с 1944 по 1972 год вели подрывную деятельность 107 неофашистских группировок. В 1975 году в печати появились сообщения о тайном «Черном интернационале» — международной организации нацистов, ставившей своей целью ни много ни мало как свержение существующих правительств в странах Западной Европы и создание единого наднационального фашистского государства.

В последнее время набирают силу духовные наследники ветеранов наци, именующие себя «новыми правыми». Наиболее активны они на Британских островах, во Франции и все в той же Федеративной Республике Германии. «Новые правые», претендующие на респектабельность и умеренность, делают вид, что отказались от «крайностей» своих черно-коричневых предшественников. Они пытаются даже проникнуть в парламенты западноевропейских стран и получить высокую трибуну для проповеди своих взглядов, которые на проверку оказываются с тем же пивным душком 20-х годов, с тем же антикоммунизмом, с тем же расизмом (разница лишь в том, что «новые правые» наряду с антисемитизмом возбуждают ненависть к «цветным», составляющим сейчас значительную часть западноевропейского рабочего класса) и с той же лютой ненавистью к свободе и демократии. И, надо сказать, их речи собирают свою аудиторию. В свя-

зи с этим уместно привести высказывание известного американского философа Сантаяны: «Народ, который не помнит своего прошлого, обречен вновь его пережить». Мысль очень верная, и ее можно отнести не только к немецкому народу.

На волне неофашизма всплыли и останки «отцов-основателей» коричневого движения. На всем протяжении 70-х годов в странах Запада наблюдался гитлеровский бум, своего рода устойчивая «мода» на Гитлера. Со страниц печати, с теле- и киноэкранов на обывателя буквально велось наступление, стратегическая цель которого не вызвала сомнений — фальсификация истинного облика преступника номер один (именно так квалифицировал нацистского фюрера Нюрнбергский международный трибунал) и возглавляемого им режима, их обеливание и подспудное оправдание. Занятие отнюдь не безобидное. Вот почему, исследуя германский фашизм, отмечают Д. Мельников и Л. Черная, «нельзя пройти мимо зловещей фигуры, которая как бы персонифицировала все его качества — необузданность, жестокость, авантюризм, агрессивность, мимо фюрера и канцлера «коричневой империи» Адольфа Гитлера». Многолетние разыскания в архивах СССР, ГДР, Чехословакии и ФРГ, творческое освоение огромной литературы по истории германского фашизма позволили авторам воссоздать подлинный портрет главаря третьего рейха, старательно подретушированный многими буржуазными историками.

Есть, безусловно, своя логика и в том, что авторами книги о преступнике номер один стали именно Д. Мельников и Л. Черная. Их непосредственное, хотя и заочное знакомство со своим персонажем состоялось более сорока лет назад, когда они, тогда совсем молодые сотрудники ТАСС и Совинформбюро, четыре долгих года ежедневно следили за каждым шагом, за каждым словом Гитлера и других нацистских бонз, следили и отвечали на них едкой критикой в эфире и на страницах печати. В пропагандистском ведомстве Геббельса хорошо знали эти две фамилии...

Читатель книги Д. Мельникова и Л. Черной несомненно обратит внимание на остропублицистический стиль их в полном смысле научного исследования. Это сочетание, видимо, не случайно. Здесь мы сталкиваемся с важной проблемой методологического характера — нравственной позицией ученого-историка: имеет ли он право сохранять бесстрастность хрониста или должен выступать в роли судьи, а то и

прокурора? Проблема не нова. Над ней задумывалось не одно поколение историков. Тимофей Николаевич Грановский в середине прошлого века писал по этому поводу: «История может быть равнодушна к орудиям, которыми она действует, но человек не имеет права на такое бесстрашие. С его стороны оно было бы грехом, признаком умственного или душевного бессилия... Приговор должен быть основан на верном, честном изучении дела. Он произносится не с целью тревожить могильный сон подсудимого, а для того, чтобы укрепить подверженное бесчисленным искушениям нравственное чувство живых, усилить их шаткую веру в добро и истину».

Гражданская ответственность ученого-историка, конечно же, не имеет ничего общего с грубой тенденциозностью и ее неизбежной спутницей — научной недобросовестностью. Авторы рецензируемой книги избежали этих двух крайностей. Их приговор нацистскому фюреру и его режиму отличается удачным сплавом научной скрупулезности и яркой гражданственности.

Воссоздать истинный облик преступника номер один не просто. За послевоенные десятилетия на Западе о нем написаны горы книг и воспоминаний, сняты многие десятки, если не сотни кино- и телефильмов. При всем многообразии подходов и позиций авторов, писавших о Гитлере, западное «гитлероведение» можно разделить на два враждебных направления — карикатурно-шаржевое и апологетическое. Но следует отметить, что чем дальше отодвигались война и воспоминания о связанных с нею ужасах, тем больше набирало силу направление апологетическое. Карикатуры постепенно уступали место попыткам переосмысления гитлеровского феномена, что закономерно привело к созданию мифа о «злом, но великом» Гитлере. Эта крайне опасная концепция усиленно внедряется в сознание западного обывателя буржуазной пропагандой. И в самом деле: под силу ли простому смертному (и уж тем более бесноватому и даже параноику, каким одно время принято было считать Гитлера) в рекордно короткие сроки создать мощную политическую партию (НСДАП), привести ее к власти и стать единоличным диктатором Германии — страны, где издавна было сильно демократическое движение рабочего класса, а спустя всего семь лет установить фашистское господство практически на всей территории Западной, Центральной и Восточной Европы?

Признаться, этот вопрос волновал в сере-

дине 60-х годов и нас — тогдашних студентов-историков. Помню, с каким интересом мы встретили книгу А. А. Галкина «Германский фашизм» — первое в нашей литературе глубокое историко-социологическое исследование генезиса фашизма, его идеологии и практики, появившееся в 1967 году. Убежден, что и сейчас, в 80-е годы, тема книги не менее актуальна, требует дальнейшего развития. В частности, на Западе по-прежнему в ходу миф о величии Гитлера. На его разоблачение и направлена новая историко-публицистическая работа Д. Мельникова и Л. Черной.

В свое время В. Г. Белинский писал на страницах «Отечественных записок»: «...в глазах истинно мудрых простой, скромный, неблестящий Вашингтон в тысячу раз более всех возможных Наполеонов имеет право на имя великого человека. Только невежественная толпа, тупая чернь и жалкое суетумудрие преклоняют колени и обожествляют гнетущую ее наглую силу...» Как раз обыватель, мещанин становится питательной средой, порождающей гитлеров. История Германии 20-х — начала 30-х годов — наглядное тому доказательство.

Истоки неожиданного для современников бурного подъема германского нацизма скрывались в той реальной обстановке, какая сложилась в униженной и ограбленной Версальским договором веймарской Германии, в особенностях ее социально-экономического развития и классовой борьбы. Именно в это время нацизм как политическое движение был взят на вооружение германским монополистическим капиталом. Старые буржуазные партии были не в состоянии реализовать честолюбивые замыслы германских монополистов. Нацизм же с его откровенной воинственностью и социальной демагогией казался им, так сказать, «политической курицей», обещавшей снести золотые яйца прибыли. Щедрая экономическая и политическая помощь со стороны монополий была теми дрожжами, на которых взмошел германский фашизм.

Нелишним будет напомнить и то, что нацисты пришли к власти в Германии в обстановке «великого кризиса», охватившего весь капиталистический мир и наиболее болезненно поразившего Веймарскую республику. История свидетельствует, что периоды активизации профашистских сил, как правило, приходятся на фазы экономического спада и зстоя. Это подтвердили и 70-е годы, особенно их середина, когда впервые заговорили о «новых правых».

Показателен и другой исторический



факт: даже прорвавшийся к власти фашизм (в той или иной стране, в том или ином виде) закономерно выталкивает на вершину этой власти на редкость незначительные индивидуальности — с резко усеченным мировоззрением, интеллектом, образованием, подчас просто малограмотные. Своеобразный «кризис личности», характерные приметы которой — лишь хитрость и жестокость. Так было и в Германии.

Люди, присутствовавшие на Нюрнбергском процессе, единодушно отмечали, что одним из самых потрясающих впечатлений от процесса было несоответствие между ничтожностью обвиняемых и грандиозностью зла, которое они совершили. Это прямо относится и к преступнику номер один. Не случайно даже в апологетических сочинениях западных авторов довольно невнятно рассказывается о юности и молодости «великого» Гитлера. Причина ясна — жизненный путь будущего диктатора до тех пор, пока он не обратил на себя внимания хозяев Германии, не дает ровно никаких свидетельств не только гениальности, но и сколько-нибудь выдающихся способностей. Ничем не примечательное детство в типично мещанской семье австрийского таможенного чиновника, выбившегося в люди из сапожников. Четыре класса реального училища — это все, что осилил будущий «великий корифей и ученый». Затем неудачная попытка поступить в Венскую академию художеств и пятилетняя жизнь в ночлежках среди деклассированных элементов. Попытка сделать карьеру в кайзеровской армии также не увенчалась успехом. Окончание первой мировой войны Гитлер встретил ефрейтором, связным при штабе полка. В 1919 году ему было уже тридцать, а он ни в чем не преуспел. Впрочем, уже тогда на него обратили внимание: капитан Эрнст Рем предложил ефрейтору Гитлеру стать тайным осведомителем в его полку — доносить на революционно настроенных солдат и унтер-офицеров. Таково было начало политической карьеры Гитлера, подробно проанализированное авторами рецензируемой книги. «Для исследователя, — отмечают они, — именно в заурядности облика Гитлера в первые тридцать лет скрывается одно важное обстоятельство: жизнь Гитлера, его личные качества не могут служить объяснением его политической карьеры, как это пытаются изобразить, особенно в последние годы, на Западе. Феномен Гитлера не феномен личности, а феномен политический и социальный. Можно сказать, феномен машинно-бездушной, жестокой

западной цивилизации, но уж никак не феномен индивидуальности».

В сущности, можно говорить о двух Гитлерах — реально существовавшем и созданном нацистской пропагандой. После 1933 года, когда все средства массовой информации оказались в руках нацистской партии, в сознание миллионов немцев постепенно был внедрен пропагандистский образ фюрера, имевший мало общего с человеком по имени Адольф Гитлер. Именно благодаря тотальной пропаганде, проникавшей в каждый дом и отнимавшей у людей самостоятельное мышление, стал возможен тот массовый психоз, который охватил Германию с середины 30-х годов, когда немцы, прежде известные своим рационализмом, буквально обожествовали человека, приведшего их на край гибели. Для тех же скептиков, которые оказались невосприимчивы к нацистской пропаганде, существовал гигантский, разветвленный по всему государству аппарат террора, уничтоживший лучших представителей немецкой нации.

Поэтому когда некоторые буржуазные исследователи пытаются подойти к изучению нацистского режима с обычными мерками, они заранее обрекают себя на неудачу и непонимание его подлинной природы. Нацистская «государственность» характеризовалась полным попранием всех общепринятых норм и ценностей буржуазной демократии — многопартийной системы, прав личности, свободы слова и т. д. Нацистское государство, как справедливо отмечают Д. Мельников и Л. Черная, это не государство в общепринятом значении этого слова, а мафия со всеми присущими преступному миру законами, и к его изучению скорее применимы криминалистические приемы. То же можно сказать и о нацистской партии, которая была не партией в обычном понимании, а своего рода военизированной когортой, где не существовало критики, где царил абсолютное повинование рядовой массы партийным бонзам и фюреру как высшей инстанции. «Нацистская партия, террористический аппарат и наисовременнейшие средства массовой пропаганды, полностью поставленные на службу варварской идеологии нацизма, — таковы были «три кита», на которых покоился гитлеровский рейх».

Что касается внешней политики Германии в 1933—1938 годах, то серьезные исследователи, пытающиеся найти объяснение «чудесам» гитлеровской дипломатии, сумевшей без единого выстрела утвердить господство третьего рейха над значи-

тельной частью Центральной Европы, неизбежно приходят к выводу о том, что все «чудо» Гитлера заключалось в его патологическом антикоммунизме, которым он буквально заморозил французских, британских и иных политиков, прощавших распоясавшемуся фашистскому диктатору самые вопиющие нарушения общепринятых норм международного права ради столь близкой их сердцу идеи борьбы с большевизмом.

Да, зоологический антикоммунизм являлся определяющей чертой нацизма как идеологии. Борьбе с коммунизмом были подчинены, по существу, все акции Гитлера, как внутренние, так и внешние. Используя антикоммунистические лозунги, он сумел освободить Германию от ограничений Версальского договора; благодаря этим же лозунгам нейтрализовал западные «демократии», когда расправлялся с Австрией и Чехословакией. К сожалению, печальный опыт Мюнхена, приведший к трагедии второй мировой войны, ничему не научил послевоенных реакционных западных политиков, продолжающих и сегодня линию на поддержку любых антисоветских сил — от реваншистских до маоистских. К этой мысли-предостережению приводит и чтение книги Д. Мельникова и Л. Черной.

Агрессивный антикоммунизм германского фашизма сделал исторически неизбежным его военное столкновение с родиной социализма — Советским Союзом. Однако это была «дорога в могилу» (так называется одна из последних глав рецензируемой книги). И здесь фашизму не помогли ни «дар предвидения», ни «полководческий гений» Гитлера, о которых немало писалось на Западе.

Трудно понять авторов этих писаний, не желающих замечать очевидного. А оно состоит в том, что именно в «походе на восток», начатом 22 июня 1941 года, проявился весь авантюризм и полная несостоятельность Гитлера как стратега и полководца. По этому вопросу у нас уже сказано довольно много. В книге Д. Мельникова и Л. Черной приводятся убедительные материалы, разоблачающие миф о «великом полководце». За несколько дней до вероломного нападения на СССР Гитлер издал так называемый «приказ № 32», в котором распорядился к осени 1941 года... значительно сократить вооруженные силы Германии. Он был убежден, что «русская кампания» к тому времени закончится и Европа окажется в полной власти держав фашистской оси. Через три недели после начала агрессии против Советского Союза

был издан дополнительный «приказ № 32-б», где содержались конкретные указания по сокращению вооруженных сил и военного производства. Сложно представить себе более нелепый приказ в начале самой грандиозной по своим масштабам кампании, которая в конечном итоге привела Германию к катастрофе, а самого Гитлера к самоубийству. Объяснение этому, равно как и многим другим решениям Гитлера, может быть только одно: он всерьез уверовал (не без помощи собственной пропаганды и придворных аллилуйщиков) в собственную гениальность; являясь неограниченным диктатором, он уже считал для себя необязательными обычные критерии здравого смысла, логики и т. п. Он уже жил в фантастическом, созданном собственным воображением мире, все казалось ему дозволенным и осуществимым.

В книге подробно описываются последние дни существования «тысячелетнего рейха», павшего под сокрушительными ударами Советской Армии и армий стран антигитлеровской коалиции. Прослеживается и закономерный позорный конец его создателя, открыто пожелавшего увлечь за собой в могилу весь немецкий народ, оказавшийся, по его утверждению, недостойным своего фюрера и его «великих» идей.

Тонкий психологический анализ личности главаря германских нацистов позволил авторам, как представляется, выявить некие типические черты фашистского диктатора, свойственные не только Гитлеру, но и Муссолини, Франко, а также их современным эпигонам — Пиночету и другим. Со страниц книги предстает объемная панорама гитлеровского режима, являвшего собой классическую модель фашистского тоталитарного государства.

Книга Д. Мельникова и Л. Черной служит серьезным напоминанием о той опасности, которая по сей день кроется во всех разновидностях современного фашизма. Она предостерегает от исторического склероза и является аргументированным ответом советских исследователей реакционной буржуазной историографии и пропаганде, фальсифицирующей историю германского нацизма и биографию преступника номер один.

Много познавательного вынесет читатель из этой безусловно содержательной книги. Специалистам-историкам еще предстоит освоить ее. В чем-то, быть может, они будут спорить с авторами. Но это и в порядке вещей, поскольку работа Д. Мельникова и Л. Черной вносит немало нового в отечественную германистику. Многие пробле-

мы лишь обозначены и требуют специальных исследований. Профессиональный историк с сожалением констатирует отсутствие в книге научного аппарата; он может лишь догадываться о тех богатых источниках, которые использовали авторы. Но книга адресована в первую очередь широкому читателю, и он, думается, прочтя ее, не пожалеет о затраченном времени. Уверен, что она не останется незамеченной и зарубежными читателями. Во всяком слу-

чае, на проходившей в сентябре 1981 года в Москве третьей Международной книжной выставке-ярмарке книга Д. Мельникова и Л. Черной вызвала живой интерес у иностранных издателей. В заключение хочется искренне поздравить авторов с успешным завершением многолетнего труда, у истоков которого стоял А. Т. Твардовский, горячо поддерживавший замысел книги.

П. ЧЕРКАСОВ.



## НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ — МИЛИТАРИЗМ

Л. Н. Смирнов, Е. Б. Зайцев. Суд в Токио. М. Воениздат. 1980. 544 стр.

Токийский процесс над главными военными преступниками Японии, проходивший в 1946—1948 годах в Международном военном трибунале для Дальнего Востока, — вот событие, которому посвящена книга «Суд в Токио». Ее авторы — Председатель Верховного суда СССР Л. Смирнов, участвовавший в Токийском процессе как заместитель советского обвинителя, и журналист-международник Е. Зайцев — создали интересное, необычное по жанру произведение. Книга исторически точна, документальна, насыщена цитатами из стенограмм и протоколов заседаний трибунала, и в то же время каждая цитата, каждый факт сопровождается живым, художественным, если так можно выразиться, комментарием самих авторов «Суда в Токио». При чтении книги Л. Смирнова и Е. Зайцева возникает ощущение почти физического присутствия на историческом Токийском процессе, настолько убедительно и зримо передана его атмосфера.

Сочетание юридической точности с яркой, живой манерой повествования — пожалуй, одна из главных особенностей книги.

Без сомнения, читателя не оставит равнодушным и публицистическая страстность, с которой авторы «Суда в Токио» выступают против милитаризма, развенчивают недостойные попытки ряда западных юристов обелить японскую военщину, развязавшую кровавую войну в Азии и на Тихом океане.

...Желание предать прошлое забвению и даже переписать, «подправить» историю Страны восходящего солнца не исчезло у духовных наследников японских самураев и сегодня.

Старинный дом из желтоватого кирпича, в котором проходил Токийский процесс,

ныне находится на перекрестке современных оживленных улиц японской столицы. День и ночь мимо него проносятся сотни машин, оглашая воздух резкими гудками, насыщая его бензиновыми парами. Тяжело дышится здесь редким прохожим.

Ни они, ни водители машин почти не обращают внимания на здание бывшего военного министерства, где проходил Токийский процесс. Это неудивительно — ведь здание ничем не отмечено, нет тут мемориалов, нет памятных досок. Да и о самом суде над японскими военными преступниками практически ничего не сообщает ни официальная печать, ни многочисленные коммерческие радиостанции и телестудии. Правительственные и деловые круги нынешней Японии сделали все, чтобы замолчать Токийский процесс. А в стенах, где шли заседания Международного трибунала, сейчас расквартирована одна из частей «сил самообороны» — новоявленной японской армии, запрещенной конституцией страны и незаконно воссозданной в послевоенные десятилетия.

Но, может быть, японцы вообще не склонны помнить о войнах, как утверждают иные комментаторы-националисты, которых сейчас, в период возрождения милитаризма в Японии, все больше в редакциях буржуазных газет? Может быть. Только почему же тогда так ухожен дом-музей генерала Ноги — командующего японской армией в годы русско-японской войны? У входа красуется хорошо видный со всех сторон каменный столб с выбитыми на нем иероглифами имени генерала. В тесноте японской столицы городские власти умудрились даже отыскать место для небольшого парка, назвав его мемориальным парком Ноги. Есть в Токио и «Ноги кайкан» — зал имени Ноги. Не слишком ли

много для генерала, ставшего виновником гибели тысяч японских и русских воинов? Не много, считают те, кто незримо управляет кампанией возрождения японского милитаризма, — и на экраны Японии выходит лубочный многосерийный фильм «Высота 203», в искаженном историческом свете представляющий события русско-японской войны. Главный герой этого фильма — все тот же генерал Ноги, образ которого идеализирован до ангелоподобности.

Ныне милитаризм в Японии возрождается неприкрыто. С благословения руководства правящей либерально-демократической партии пересматриваются школьные учебники, в которых, в частности, будет стерто понятие «японская агрессия», а о Токийском процессе сказано лишь вскользь. Хидэки Тодзио и другие вдохновители японского милитаризма упоминаются официальной пропагандой лишь с положительной эмоциональной характеристикой. Ритуальные таблички с именами казенных Токийским трибуналом военных преступников помещены в храм Ясукуни. Этот синтоистский храм был специально сооружен в Токио во второй половине прошлого века для освящения японской военной агрессии и на протяжении многих десятилетий служил своего рода духовным центром японского милитаризма. Здесь объявлялись святыми все японские солдаты, павшие на полях несправедливых, захватнических войн. В наши дни правительство страны всерьез рассматривает вопрос о том, чтобы вновь превратить Ясукуни в национальную святыню, взять милитаристский храм под опеку государства.

В этих условиях особенно важным и необходимым представляется второе издание книги Л. Смирнова и Е. Зайцева «Суд в Токио».

«...в Токио судили не только главных военных преступников. Здесь, как и в Нюрнберге, помимо воли большинства буржуазных судей на скамье подсудимых незримо присутствовал еще один обвиняемый. Этот обвиняемый — империалистическая политика и дипломатия, но на сей раз в японо-милитаристском варианте, политика и дипломатия, которые вместе со своим нацистским союзником ввергли человечество в пучину второй мировой войны», — пишут авторы.

Используя огромный фактический материал, Л. Смирнов и Е. Зайцев убедительно доказывают, что за спиной одетых в раззолоченные мундиры генералов стояли руководители военно-промышленного комплекса, комплекса, который, в сущности,

правит и Японией 80-х годов. «Тому, кто хорошо знал историю зарождения, развития и реализации японского варианта заговора против мира, достаточно было окинуть взглядом скамью подсудимых, чтобы понять: кто-то грубо, резко и неоправданно укоротил ее. На скамье заняли свои места только политики, военные и идеологи. Те же, кто руководил их действиями, кто был подлинным режиссером событий, остались безнаказанными. И в первую очередь тогдашние руководители крупнейших японских монополий «Мицуи», «Мицубиси», «Сумитомо», «Ясуда», «Аюкава»...» — подчеркивают авторы книги.

Сегодня, как и четыре десятилетия назад, эти монополии вновь во главе военных приготовлений Японии. Именно на их заводах производятся боевые самолеты, ракетные катера, минометы и пушки. Большая часть этого оружия создается по американским образцам. Не случайно именно благодаря грубому, незаконному вмешательству американской стороны в ход Токийского процесса руководители японского военно-промышленного комплекса, ставшие прямыми виновниками гибели миллионов людей, избежали наказания. Под давлением и при прямом участии американских политиков и промышленников из года в год лихорадочными темпами растет военный бюджет современной Японии. В нынешнем году японские ассигнования на военные нужды достигли невиданного уровня, превысив 2 триллиона 400 миллиардов иен.

Написанная с глубоко партийных, диалектических позиций, книга «Суд в Токио» позволяет осознать и то, что цели японской внешней агрессии времен второй мировой войны незримо присутствуют и в «мирной» японской дипломатии наших дней.

По-прежнему алчные взоры японских предпринимателей нацелены на страны Юго-Восточной Азии (пять из них объединены ныне в блок АСЕАН). Едва оттремели залпы второй мировой, как японские промышленники в счет контрибуции начали закладывать на Филиппинах, в Малайзии, Индонезии и Таиланде фундамент отраслей промышленности, развитие которых выгодно исключительно Японии. Господство японского капитала в этих странах привело к усилению диспропорций в их экономическом развитии, неприкрытой эксплуатации местных рабочих, росту безработицы и нищеты. «Японские предприятия по-прежнему остаются инородным телом для экономики стран АСЕАН», — с горечью пи-

шет издающийся на Филиппинах журнал «Дата Азия».

С целью сгладить недовольство стран АСЕАН натиском японских монополий японский премьер Д. Судзуки нарушил сложившуюся после войны традицию, согласно которой все главы правительств Японии свой первый зарубежный визит наносили в Вашингтон, а уж затем направлялись в другие страны. Судзуки после своего вступления в должность отдал предпочтение странам АСЕАН, но там его визит вызвал лишь новый взрыв антияпонских настроений. Они проявляются как в низах, так и в верхах этих государств. В Индонезии, например, их уровень достиг столь высокой отметки, что в местном японском посольстве всерьез рассматривали вопрос о возможной отсрочке визита японского премьера. По сообщению газеты «Индонезиан обсервер», полиция запретила въезд в столицу группам студентов из Бандунга и других городов страны, опасаясь массовых антияпонских выступлений. На Филиппинах президент Ф. Маркос во время пере-

говоров с Судзуки специально поднял вопрос об огромных затратах Японии на военные цели. Как указывала японская газета «Токио симбун», «руководители многих государств региона выражают тревогу, не приведет ли такое укрепление японских вооруженных сил к возврату к насилию времен второй мировой войны, которое хорошо помнят в Юго-Восточной Азии».

Конечно, современное международное положение не входит напрямую в круг вопросов, рассматриваемых в произведении Л. Смирнова и Е. Зайцева, но факты и мысли книги «Суд в Токио», касающиеся событий минувшей войны, очень полезно вспомнить и сейчас. С позиций партийной публицистики рассказывая читателям об антинародной сущности японского милитаризма, о зверствах японской военщины в оккупированных странах, книга доказывает историческую обреченность гегемонизма как такового. Обреченность рвущейся к власти военщины, политики захвата чужих земель, стремления к мировому господству.

**К. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.**



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ.** Этот высокий девятый этаж. Рассказы и повести. Куйбышевское книжное издательство. 1980. 231 стр.

**ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ.** День до обеда. Рассказы и повести. М. «Современник». 1980. 350 стр.

Среди персонажей повестей и рассказов Евгения Чернова преобладают добрые и хорошие люди. Например, вчерашняя деревенская девушка Зоя, перебравшаяся в город (рассказ «Этот высокий девятый этаж»). Или молодой человек, размышляющий, как добиться идеальных супружеских отношений (повесть «На узкой лестнице»). Или художник, вдруг понявший, что страсть к материальному благополучию постепенно съедает его талант (рассказ «Завтрашний день»). Но рассказ о вполне устроенной на первый взгляд жизни героев нередко пронизан тревогой.

«В комнате стоял сухой сладковатый неподвижный воздух. На журнальном столике, на картинах, подоконнике — полупрозрачный, словно дыхание на зеркале, слой пыли». Такой предстает нам квартира, где живет художник, и ощущение духовной инертности ее обитателя охватывает нас при чтении этого короткого отрывка. Скрытую тревогу автора за судьбу своих героев ощущаем и в описании Зоиного жилища, показанного как бы глазами матери Зои — пожилой крестьянки. «В первой комнате блеск и чистота... в общем, все хорошо, все по-ихнему. Но повеяло на Валентину Ивановну неуловимым холодком казенного помещения». Холодок этот мы остро ощущаем потому, что Е. Чернов умеет, не снижая ни на секунду динамику повествования, сочетанием самых обычных деталей и подробностей создать нервное напряжение. В напряжении этом угадывается художественное кредо автора, оно-то и окрашивает не очень, кажется, тяжелые проступки персонажей в драматические тона.

Вроде бы и раскаивается Зоя в конце рассказа, что, охваченная мещанской стыдливостью, оскорбила мать. Та перевозит в грузовике корову. Вспомнив, что настало время ее подойти, она хочет это сделать прямо во дворе современного городского дома, где живет Зоя. Дочь ошеломлена: она боится, что соседи будут насмехаться над ней. Она кричит на мать. Но когда та уезжает, Зою вдруг охватывает «острая горькая жалость к матери, пронзительная, останавливающая сердце любовь».

Раскаивается и герой повести «На узкой лестнице»: занятый своими семейными проблемами, он отогнал от себя возникшее было беспокойство о судьбе пожилой соседки по лестнице, вот уже много дней не выходящей, как обычно, на балкон. Но кто же мог знать, что соседка умерла от сердечного приступа, что спустился молодой человек к ней, он спас бы ее? И где гарантия, что он пришел бы именно в тот момент, когда было нужно? А герой тем не менее мучается от сознания своей вины, хочет узнать, как звали старуху, и этим именем назвать дочку... Однако тревога в подобных развязках не уходит, она по-прежнему пульсирует внутри коротких, отрывистых фраз, и это побуждает задуматься о том, что при всем раскаянии не поняли добрые, в общем-то, герои Е. Чернова чего-то очень важного, не уяснили всей глубины ума и совести критерии истинных человеческих ценностей. Самим строем, самым драматическим напряжением своих повестей и рассказов автор как бы утверждает: нельзя прожить духовно полноценную жизнь, не догадываясь, что малейшая душевная черствость способна вылиться в тяжелую трагедию, и дабы успокоить совесть, придется ограждать себя частоклолом лукавых аргументов, самооправданий.

Выход двух новых сборников Е. Чернова — а их составили произведения, созданные за последние годы, — совпал с сорокалетием автора, возрастом, как правило, знаменующим творческую зрелость, стремление как бы заложить прочный фундамент, на котором вырастут будущие творения. Такое стремление чувствуется и в книгах Е. Чернова. Нетрудно, конечно, заметить: многие сюжетные коллизии его произведений не им выдуманы. Вторая половина XX века с его спешкой, стремлением каждого из нас побольше успеть и духовные потери, подчас рожденные этой спешкой, — подобные большие проблемы затрагивает не только Е. Чернов, они в той или иной мере находят отражение в творчестве едва ли не каждого писателя наших дней. Но не теряется голос Евгения Чернова в этом многоголосье, умеет он выразить волнующие его явления по-своему, и волнение его, стремление помочь людям научиться понимать самих себя, свои порывы явственно ошугито в его эмоциональной прозе, сотканной из неброских, простых, но запоминающихся образов.

Автон Иванов.



**ВИКТОР ГОНЧАРОВ. Летающий мальчик.**  
Поэма. М. «Детская литература». 1981.  
125 стр.

Детям нужны не только отцы и матери, но и деды, утверждает в «Летающем мальчике» Виктор Гончаров. Родители не успевают поговорить с ребенком: они его кормят, одевают, следят за его воспитанием, но воспитывают детей, как правило, все-таки деды и бабушки, находящие время рассказать ребенку свою жизнь, вдруг так оказавшуюся похожей на сказку, или рассказать сказку, напоминающую их жизнь... Они дают ребенку те нравственные ориентиры, которые поведут его в новый для него мир и сделают продолжателем простых, но великих традиций добра, трудолюбия, доверия, искренности, на которых от века земля стояла.

Поэма В. Гончарова «Летающий мальчик» — это поэма-рассказ, поэма-сказка. Поэт вспоминает — и вместе со своим читателем удивляется своим воспоминаниям. Вместе с читателем размышляет: «Кто знает, от чего жизнь человеческая зависит...»

...Умирает от старости дед Кулеш и оставляет в наследство своему маленькому другу Саше вырезанную им во время гражданской войны деревянную ложку, которая «сама накормить может», которая спасла его, раненого, одного, в горах от голодной смерти.

Самое главное:  
Бездельников она,  
Ложка моя,  
Не кормит.  
Что-нибудь каждый день  
Сделай полезного  
Не себе —  
Так людям,  
Не людям —  
Так зверушкам каким...

Остается после деда водонапорная башня, где был он сторожем, медный, горящий от солнца петух над ней, поднятый на такую высоту Сашей, который однажды в порыве восхищения красотой земли смог взлететь, чтобы лучше и дальше увидеть. Смог Саша взлететь и понял, что нет невозможного для человека. Смог взлететь, чтобы выкормить сидящую на гнезде ворону, чтобы спасти от смерти вороненка Гошу, чтобы сделать еще и еще много добрых и удивительных дел.

Мальчик Саша с каждым днем обретал новых друзей. Он спасал их от беды и от грусти, от человеческой глухоты и черствости — но приходило время расставаться с ними, и он постигал еще одну истину жизни:

Не так-то просто  
Расставаться с теми,  
Сердца которых  
Тебе дорогими стали...

Вслушайтесь в повествование и услышите ритм сказа — неторопливый, позволяющий вдуматься. Разбивка на строки оберегает читателя от скороговорки, преподносит слова внятные, неподдельные, слова, произнесенные с достоинством и верой в то, что к ним прислушаются и их поймут.

Это поэма о том, как немного нужно человеку для счастья и как много счастья сам он может принести людям.

Т. Шеханова.



**Б. Я. РОЗЕН, Я. Б. РОЗЕН. Металл особой ценности.** М. «Металлургия». 1980. 207 стр.

Металлы, как и минералы, имеют свою судьбу. Одни из них широко известны всему человечеству, другие — лишь ограниченному кругу специалистов.

Необыкновенная судьба и у героя этой научно-популярной книги — алюминия. Один из самых распространенных на нашей планете, он начал свою промышленную «карьеру» лишь в конце 80-х годов прошлого века. И с тех пор кривая роста его производства неустанно идет вверх.

«Никогда еще в истории металлургии не было такого быстрорастущего производства какого-либо другого металла. Так, в 1896 году было произведено всего лишь 2 тысячи тонн алюминия, спустя 10 лет — в 10 раз больше. А за тридцатилетие — с 1890 по 1920 год производство алюминия увеличилось в 1650 раз», — пишет в предисловии к книге академик Н. Белов.

Однако в тяжелых муках проходило рождение юного богатыря. Полны драматизма страницы первой главы книги («Дорогой нераскрытых тайн»). Авторы лаконично, но выразительно описывают историю открытия алюминия и выделения его в чистом виде. Читатель с неослабевающим интересом следит за всеми перипетиями исследований Дэви, Велера, Эрстеда и других видных ученых — «охотников за алюминием».

Но это лишь предыстория. В последующих главах авторы знакомят читателя с зарождением и развитием алюминиевой промышленности у нас и за рубежом. Убедительно показана самоотверженная работа известных русских ученых (Н. Бекетова, В. Ильинского, П. Федотьева), создавших ряд эффективных способов производства алюминия. К сожалению, они не нашли тогда промышленного применения из-за косности царских чиновников и отсталости России.

Только после победы Великой Октябрьской социалистической революции начинается у нас строительство алюминиевых заводов и комбинатов. Впервые в нашей стране организуется крупное промышленное производство этого столь важного для народного хозяйства металла.

Нельзя без волнения читать описание рождения Волховского алюминиевого завода — первенца советской алюминиевой промышленности.

«Строительство разворачивалось на заболоченной площадке. Лошади и люди вязли в грязи. Котлованы затапливались водой. Для ее откачки в основном использовались ручные насосы. Все земляные работы вели вручную, лопатами... Ни экскаваторов, ни кранов не было».

Достаточно место в книге уделяется не только рассказу о разнообразном применении алюминия, его многочисленных сплавов

и некоторых соединений в нашей повседневной жизни и народном хозяйстве, но и о роли этого замечательного металла в развитии технического прогресса и культуры.

Среди других книг о металлах, изданных за последние годы разными издательствами в нашей стране, эта книга отличается своим характерным почерком. В ней удачно сочетаются живое изложение с научной достоверностью, историзм с современностью, популярное изложение научных теорий с обоснованным, аргументированным прогнозом.

Авторы сумели придать большому фактическому материалу сюжетное развитие. Особенно хорошо это проявляется в главах «Когда приходит успех», «В союзе с химией и электричеством». И еще одно достоинство книги. Она современна в подлинном смысле этого слова, потому что в ней разрабатывается одна из важнейших проблем эпохи НТР. Вместе с тем описание технологических процессов, связанных с производством и применением алюминия, не заслоняет главной цели авторов — показать величие творческого поиска ученых и инженеров, облагороженного служением народу.

Живое изложение делает книгу доступной для самого широкого круга читателей. Очень кралят книгу удачные цветные иллюстрации.

**Н. Еремин,**

*доктор технических наук,*

*лауреат Государственной премии СССР.*

Ленинград.



**Е. Н. ПЕРЦИК.** *Город в Сибири (Проблемы, опыт, поиск решений).* М. «Мысль». 286 стр.

Генерал В. Андриевич, опубликовавший в 1889 году свою «Историю Сибири», был не слишком высокого мнения о ее потенциале: «Это громаднейшее пространство до сего времени носит общее прозвище Сибирь, с которым, вероятно, и останется навсегда, потому что ничего другого, кроме Сибири, из него выйти не может. Справедливость этой оценки подтверждается 300-летней исторической жизнью этого громаднейшего в мире пустыря». Сегодня, спустя почти столет со времени появления этой малооптимистической оценки, Сибирь на чаше весов национальной экономики явно перетягивает многие районы страны. Более того, в условиях изменившейся ресурсной ситуации она начинает задавать тон, выступает законодателем многих экономических мод.

Одна из важнейших проблем развития производительных сил Сибири — необходимость реализации широкой программы проектирования и строительства новых городов, выбора оптимальных направлений реконструкции и расширения старых, ведь город всегда выступал опорной базой освоения новых территорий. Причем специфика сибирских территорий привносит массу усложняющих факторов. Это и необычный масштаб освоения, и экстремальные природ-

ные условия, и удаленность от районов высокой концентрации населения, и многое другое. В рецензируемой монографии автор всю эту многосложность пытается осмыслить.

Два обстоятельства хотелось бы выделить особо. Попытка проанализировать в одной работе процесс урбанизации столь крупного района (по существу, трех больших регионов) в нашей литературе предпринимается впервые. И, что весьма существенно, широкий круг взаимосвязанных методологических и конструктивных проблем в монографии исследуется комплексно, на базе обширного материала по отдельным городам и районам Сибири, который накоплен за последние годы.

Отмечая возросшую роль экономико-географических подходов к решению проблем развития городов, автор формулирует весьма конструктивную, на мой взгляд, мысль о необходимости создания общей географической концепции урбанизации Сибири «на основе сближения и интеграции подходов географии, архитектуры, экономики, социологии, экологии». Я бы добавил — и медицины, по крайней мере тех ее разделов, которые исследуют приспособляемость человека к природно-климатическим условиям среды обитания. Весьма знаменательно, что, предвидя значительные сдвиги в расселении, Сибирское отделение АМН СССР уже давно ведет большие работы в этом плане.

Понятно, что обсуждаемые проблемы особенно остры на таких специфических территориях, как Сибирь, и именно на переломе экономической ориентации страны. В этой связи представляется весьма досадным упущением тот факт, что в рамках программы «Сибирь», реализуемой десятками институтов под эгидой Сибирского отделения АН СССР, не наша отражения проблематика, непосредственно связанная с усилением урбанизации региона. Сегодня в этом комплексном документе, нацеленном на рациональное освоение природных ресурсов Сибири и развитие ее производительных сил, отсутствует целевая программа «Градостроительство в Сибири» или, может быть, даже более широкого плана — «Урбанизация Сибири». И тем ценнее оказываются монографические исследования по урбанистике, поскольку они в какой-то мере восполняют эти пробелы.

Работу отличает завидная обстоятельность. Она и в doskonaльном знании исходной сети населенных мест, и в хорошем владении региональной проблематикой, и в информированности автора об исследованиях на переднем крае ряда дисциплин.

Современная урбанизация — универсальный процесс, по-разному проявляющийся в различных условиях среды — и природной и человеческой. Для обеспечения оптимального протекания этого процесса необходимо прежде всего глубокое знание его закономерностей. Монография «Город в Сибири» хорошо вскрыла механизм проявления таких закономерностей для крупного региона страны.

**И. Дрейсер.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**А. Бухвальд.** Америка и американцы. Фельетоны, короткие рассказы. Перевод с английского. 336 стр. Цена 65 к.

**С. Львов.** Гражданин Города Солнца. Повесть о Томмазо Кампанелло. («Пламенные революционеры») 437 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Материалы XXVI съезда КПСС.** 223 стр. Цена 45 к.

**Устав Коммунистической партии Советского Союза.** Сувенирное издание. 128 стр. Цена 50 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**И. Андроников.** А теперь об этом. 448 стр. Цена 2 р. 10 к.

**М. Грубиян.** Письмена на листьях. Стихотворения. Перевод с еврейского. 143 стр. Цена 60 к.

**М. Колосов.** Три круга войны. Повесть. 464 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Д. Максимов.** Поэзия и проза Александра Влока. 552 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Л. Плоткин.** Писатель и эпоха. Статьи. 496 стр. Цена 1 р. 90 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**О. Генри.** Город без происшествий. Сборник рассказов. Перевод с английского. 414 стр. Цена 2 р. 20 к.

**М. Унамуно.** Избранное. В 2-х тт. Перевод с испанского. Т. I. Любовь и педагогика. Туман. Абель Санчес. Романы. Рассказы. Стихотворения. 518 стр. Цена 2 р. 50 к.

**И. Цаннар.** Избранное. В 2-х тт. Перевод со словенского. Т. I. Рассказы и повести. 447 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Д. Элиот.** Мидлмарч. Картины провинциальной жизни. Роман. Перевод с английского. 895 стр. Цена 4 р. 50 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Р. Амонов.** Весна в краю родников. Рассказы о детстве. 175 стр. Цена 45 к.

**Голоса на рассвете.** Сборник стихотворений молодых поэтов. Составление и предисловие Н. Старшинова. 206 стр. Цена 55 к.

**Огни башен и вышек.** Стихи и рассказы писателей Чечено-Ингушетии. Составление и предисловие М. Сулаева. 158 стр. Цена 45 к.

**Ф. Углов.** Сердце хирурга. Автобиографическая повесть. 287 стр. Цена 95 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**Ю. Долгополов.** Война без линии фронта. 200 стр. Цена 40 к.

**Л. Решетников.** Избранное. 559 стр. Цена 2 р. 30 к.

**А. Усольцев.** Солдатская земля. Повести, рассказы. 366 стр. Цена 1 р. 50 к.

**С. Штеменно.** Генеральный штаб в годы войны. Кн. I. 480 стр. Цена 2 р.

## «ПРОГРЕСС»

**Д. Гарднер.** Осенний свет. Роман. Перевод с английского. 429 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Горсть родной земли.** Современная палестинская новелла. Перевод с арабского. 311 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Из современной бельгийской поэзии.** Сборник. Переводы с французского и нидерландского. 287 стр. Цена 1 р. 66 к.

**Из современной японской поэзии.** Сборник переводов. 199 стр. Цена 1 р. 30 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**В. Бочарников.** В краю деда Маая. Очерки. («Писатель и время») 88 стр. Цена 15 к.

**В. Кардин.** Борис Лавренев. 173 стр. Цена 25 к.

**В. Медведев.** Свадебный марш. Роман. Предисловие Ю. А. Завадского. 204 стр. Цена 35 к.

**А. Рыбанов.** Собрание сочинений. В 4-х тт. Вступительная статья Е. Стариковой. Т. I. Кортин. Бронзовая птица. Выстрел. Трилогия. 524 стр. Цена 2 р.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**В. Бартошин.** Лебединый камень. Роман и рассказы. Симферополь. «Таврия». 272 стр. Цена 1 р. 30 к.

**В. Золотухин.** На Исток-речушку, к детству моему. Повести и рассказы. Предисловие В. Распутина. Барнаул. Алтайское книжное издательство. 232 стр. Цена 75 к.

**М. Львов.** Живу в XX веке. Стихи. Казань. Татарское книжное издательство. 384 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Г. Матовсан.** Зеленая долина. Рассказы. Ереван. «Советакан грох». 230 стр. Цена 95 к.

**Яснополянский сборник, 1980.** Статьи, материалы, публикации. Тула. Приокское книжное издательство. 253 стр. Цена 1 р. 30 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Муддагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян.**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 23/XI 1981 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 31/XII 1981 г.  
A 10630. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)  
Тираж 350.000 экз. Зак. 3844.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5  
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 05313.

Цена 1 руб. 20 коп.

70636